

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

## **Твен Марк Из 'Автобиографии'**

Твен Марк

Из "Автобиографии"

{1} - Так обозначены ссылки на примечания соответствующей страницы.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Из могилы. Перевод А.Старцева

Теннессийские земли. Перевод И.Гуровой

Джейн Лэмптон Клеменс. Перевод Н.Дарузес

Ранние годы. Перевод Н.Дарузес

Дядина ферма. Перевод Н.Дарузес

В роли медведя. - Селедка. Перевод Н.Дарузес

Джим Вулф и коты. Перевод Н.Дарузес

Макфарлейн. Перевод Н.Дарузес

Публичные чтения в Бостоне. Перевод Н.Дарузес

Ральф Килер. Перевод Н.Дарузес

Красоты немецкого языка. Перевод Н.Дарузес

Заметки о тавтологии и грамматике. Перевод Н.Дарузес

Прогулка с Преподобным. Перевод А.Старцева

Джон Хэй. Перевод А.Старцева

Как писать автобиографию. Перевод А.Старцева

Застольные речи. - Политические дела. Перевод Н.Дарузес

О дуэлях. Перевод Н.Дарузес

Человеческая натура. Перевод И.Гуровой

Президентские выборы. Перевод И.Гуровой

Сюзи пишет мою биографию. Перевод М.Лорие

Парижские укрепления. Перевод А.Старцева

Учение Джея Гулда. Перевод А.Старцева

Кто был Гек Финн. - Школьные друзья в Ганнибале. Перевод И.Гуровой

Избиение Моро. Перевод И.Гуровой

Мистер Рокфеллер и библия. Перевод А.Старцева

Некоторые любопытные адреса. Перевод И.Гуровой

Как я помог Хигби получить работу. Перевод А.Старцева

Орион Клеменс. Перевод М.Лорие

Чайковский. - Эллиен Келлер. Перевод И.Гуровой

Орион Клеменс. Перевод М.Лорие

Американский джентльмен. Перевод А.Старцева

Сообщение о моей смерти. Перевод А.Старцева

Эллиен Терри. - Снова Орион Клеменс. Перевод М.Лорие

Переписка о Геке Финне. Перевод М.Лорие

Скачущая лягушка. Перевод Н.Дарузес

Америкен паблишинг компани. Перевод Н.Дарузес

Джеймс Р. Осгуд. Перевод Н.Дарузес

Я становлюсь издателем. Перевод Н.Дарузес  
Банкротство издателя. Перевод И.Гуровой  
Брет Гарт. Перевод Н.Дарузес  
Юмористы. Перевод А.Старцева  
Я покупаю молитвенник. Перевод М.Беккер  
Молитва о прянике. Перевод Н.Дарузес  
Когда книга устает. Перевод Н.Дарузес  
Мы - англосаксы. Перевод А.Старцева  
Джим Вулф и осы. Перевод М.Беккер  
Негритянский балаган. Перевод Н.Дарузес  
Гипнотизер. Перевод Н.Дарузес  
Я побеждаю доктора Пика. Перевод Н.Дарузес  
Американская монархия. Перевод М.Беккер  
Смерть Сюзи. Перевод А.Старцева  
Купля-продажа гражданской добродетели. Перевод М.Беккер  
Кларк, сенатор от Монтаны. Перевод А.Старцева  
Палладиум свобод. Перевод А.Старцева  
Маленький рассказ. Перевод Н.Дарузес  
Брет Гарт. Перевод Н.Дарузес  
У меня нет чувства юмора. Перевод А.Старцева  
Ученые степени. Перевод А.Старцева  
Джим Гиллис. Перевод М.Беккер  
Мария Корелли. Перевод Н.Дарузес  
Святой Грааль. Перевод М.Беккер  
Теодор Рузвельт. Перевод М.Беккер  
Собака. Перевод А.Старцева  
Публичные чтения. Перевод Н.Дарузес  
Теодор Рузвельт. Перевод М.Беккер  
Теодор Рузвельт. Перевод М.Беккер  
Теодор Рузвельт. Перевод М.Беккер  
Эндрью Карнеги. Перевод М.Беккер  
Поминки по Олдричу. Перевод А.Старцева  
Теодор Рузвельт. Перевод М.Беккер  
Баттерс ускользнул от меня. Перевод А.Старцева  
Дилетанты в литературе. Перевод А.Старцева  
Примечания  
[ИЗ МОГИЛЫ]

Я пишу эту Автобиографию и помню все время, что держу речь из могилы. Это действительно так; книга выйдет в свет, когда меня не будет в живых.

Я предпочитаю вести разговор после смерти по весьма серьезной причине: держа речь из могилы, я могу быть до конца откровенен. Человек берется за книгу, в которой намерен рассказать о личной стороне своей жизни, но одна только мысль, что эту книгу будут читать, пока он живет на земле, замкнет человеку уста и помешает быть искренним, до конца откровенным. Никакие усилия ему не помогут, он вынужден будет признать, что поставил перед собой непосильную задачу. Самое искреннее, и самое свободное, и самое личное произведение человеческого ума и сердца - письмо с признанием в любви. Пишущий твердо знает, что никто посторонний не увидит его письма, и это дает ему безграничную смелость в выражении своих чувств. Порою случается, что обманутая девушка обращается в суд, и любовные письма становятся достоянием гласности. Когда автор такого письма видит его в печати, он испытывает невыносимое чувство неловкости. Он понимает, что никогда и ни за что не раскрыл бы так сердце, если бы знал, что пишет для посторонних. В письме нет ничего, что его бы позорило, ни единого слова, которое можно счесть неискренним, лживым,

но все равно - он никогда не позволил бы себе такой откровенности, если бы знал, что письмо попадет в печать.

И мне показалось, что я тоже смогу писать без преград, откровенно, свободно - как пишут признание в любви - если буду уверен, что никто посторонний не увидит, что я написал, до той самой поры, пока я не лягу в могилу, бесчувственный и равнодушный.

Марк Твен

Около 1870 года

[ТЕННЕССИЙСКИЕ ЗЕМЛИ]

Чудовищный участок, которым владеет наша семья в Теннесси, был куплен моим отцом немного более сорока лет назад. Он приобрел все эти семьдесят пять тысяч акров за один раз. Обошлись они ему, вероятно, долларов в четыреста. По тем временам это была весьма значительная единовременная выплата наличными, - во всяком случае, так считалось среди скал и сосновых лесов Камберлендских гор в округе Фентресс на востоке штата Теннесси. Когда мой отец уплатил эти огромные деньги, он остановился в дверях джеймстауновского суда и, оглядев свои обширные владения, сказал:

- Что бы со мной ни случилось, мои наследники обеспечены; сам я не доживу до той минуты, когда эти акры превратятся в серебро и золото, но дети мои до нее доживут.

Вот так, из самых лучших побуждений, он возложил на наши плечи тяжкое проклятие ожидаемого богатства. Он сошел в могилу с глубоким убеждением, что облагодетельствовал нас. Это была печальная ошибка, но, к счастью, он об этом не узнал.

Он сказал далее:

- Этот участок изобилует железной рудой и другими минералами. Тысячи акров покрыты корабельной сосной, лучше которой не найти во всей Америке, и этот лес можно сплавлять по реке Обэдс, потом по Камберленду в Огайо, из Огайо в Миссисипи, а там - в любое место ниже по течению, где он только может понадобиться. А сколько дегтя, смолы и скипидара можно будет добывать в этих сосновых борах! Да к тому же это область естественного виноделия, нигде во всей Америке даже культурные лозы не дают таких замечательных гроздьев, какие здесь приносит дикий виноград. Здесь есть пастбища, здесь есть почвы, пригодные для возделывания кукурузы, и пшеницы, и картофеля, здесь есть всевозможные породы деревьев, - короче, на этом огромном участке и в его недрах есть все, что придает ценность земле. Сейчас население Соединенных Штатов составляет четырнадцать миллионов человек, - за сорок лет оно увеличилось на одиннадцать миллионов и будет теперь увеличиваться еще быстрее; мои дети доживут до того дня, когда волна иммигрантов достигнет округа Фентресс, штат Теннесси, и тогда, владея семьюдесятью пятью тысячами акров превосходной земли, они станут сказочно богаты.

Все, что говорил мой отец о достоинствах этого участка, было абсолютной правдой; и он мог бы еще добавить, равным образом не погрешив против истины, что на этих землях имелись неистощимые запасы каменного угля. Но, весьма возможно, он обладал лишь смутным представлением о каменном угле, ибо в те времена простодушные теннессийцы не имели привычки выкапывать свое топливо из земли. И он мог бы также продолжить список блестящих возможностей, которые таил в себе этот участок, добавив, что он находится лишь в ста милях от Ноксвилла и как раз там, где неминуемо должна пройти какая-нибудь будущая железная дорога - от Цинциннати на юг. Но мой отец в жизни не видел железных дорог и даже, возможно, никогда о них и не слыхивал. Хотя это и покажется странным, но еще восемь лет назад находились люди, жившие под самым Джеймстауном, которые ничего не знали о железных дорогах и отказывались поверить в существование пароходов. В округе Фентресс не голосуют за Джексона{8}, там голосуют за Вашингтона{8}.

Когда была произведена эта грандиозная покупка, моему старшему брату еще не исполнилось пяти лет, а моя старшая сестра была еще грудным младенцем. Мы же, остальные, - а мы составляли большую часть нашей семьи, появились на свет позже и рождались время от времени в течение последующих десяти лет. Через четыре года после покупки случился великий финансовый крах 1834 года, и, пока бушевала эта буря, мой отец

разорился. Прежде он был окружен всеобщим уважением и завистью, как самый богатый гражданин округа Фентресс - ведь помимо своих огромных земельных владений он, по общему мнению, имел капитал в целых три тысячи пятьсот долларов; а теперь его состояние уменьшилось более чем вчетверо. Очень гордый, замкнутый и сухой человек, он, разумеется, не пожелал остаться в местах своего бывшего величия, чтобы служить предметом всеобщего сочувствия. После долгого, скучного и утомительного путешествия со своими чадами и домочадцами по пустынной глуши он добрался до тогдашнего "Дальнего Запада" и, наконец, раскинул свой шатер в маленьком городке Флорида, округ Монро, штат Миссури. В течение нескольких лет он там "держал лавку", но ему ни в чем не было удачи, если не считать того, что родился я. Вскоре он переехал в Ганнибал, и дела его пошли немного лучше: он получил почетную должность мирового судьи и был уже избран судьей по гражданским делам, когда услышал призыв, не повиноваться которому не может ни один человек. В первые годы своего пребывания в Ганнибале он опять стал довольно состоятельным по тем временам человеком, но несчастье снова подкосило его. Он по дружбе поручился за Айру \*\*\*, а Айра поспешил извлечь выгоду из нового закона о банкротстве поступок, который обеспечил ему легкую и спокойную жизнь до самой смерти и который разорил моего отца, свел его в могилу бедняком и обрек его наследников на долгую, тяжкую борьбу за кусок хлеба. Однако и на смертном одре мой отец вновь обретал бодрость и мужество, когда он вспоминал о наших теннессийских землях. Он говорил, что они скоро сделают нас всех богатыми и счастливыми. И с этой верой он умер.

Мы тут же обратили наши алчущие взоры на Теннесси. Все тридцать лет наших блужданий, наших взлетов и падений они были неизменно устремлены туда через все разделявшие нас континенты и моря, и по сей день они по-прежнему прикованы к этой неподвижной точке с надеждой, порожденной долгой привычкой, и с верой, которая то разгорается, то угасает, но никогда не исчезает совсем.

После смерти отца мы изменили наш образ жизни, но на временной основе, - собираясь окончательно все устроить после продажи земли. Мой брат занял пятьсот долларов и купил не приносящую дохода еженедельную газету, считая так же, как и мы все, - что не стоит ни за что браться всерьез, пока мы не разделаемся с землей и не сможем окончательно определить свою судьбу. Сперва мы сняли большой дом, но продажа участка, на которую мы рассчитывали, не состоялась (покупателю требовалась только часть нашей земли, а мы, посоветовавшись, решили продавать ее целиком либо не продавать совсем), и нам пришлось удовлетвориться домом похуже.

1890-е годы

[ДЖЕЙН ЛЭМПТОН КЛЕМЕНС]

Это была моя мать. Когда она умерла в октябре 1890 года, ей было почти восемьдесят восемь лет, - возраст преклонный, и какая стойкость в борьбе за жизнь для женщины, которая в сорок лет была такого хрупкого здоровья, что ее считали безнадежно больной и приговорили к смерти. Я хорошо ее знал в первые двадцать пять лет моей жизни; впоследствии я виделся с ней редко, мы жили далеко друг от друга. Я не собираюсь о ней писать, хочу просто поговорить о ней - дать не официальную историю, а только отрывочные картины из этой истории; если можно так сказать, изобразить в моментальных снимках ее характер, а не весь ее жизненный путь. Собственно говоря, ничего замечательного в ее жизни не было, но человек она была замечательный, прекрасный и внушающий любовь.

Куда исчезает то множество человеческих фотографий, которые должны бы запечатлеться у нас в сознании? Из целого миллиона фотографий этого первого и самого близкого друга, которые с юных лет должны были запечатлеться в моей памяти, осталось только одна, ясная и четкая. С тех пор прошло сорок семь лет; ей было тогда сорок лет, а мне восемь. Она держит меня за руку, и мы стоим на коленях у постели умершего брата, который был двумя годами старше меня, и слезы катятся без удержу по ее щекам. Она стонет. Это немое свидетельство горя, вероятно, было ново для меня, потому что оно произвело на меня сильное впечатление - впечатление, благодаря которому эта картина и до сих пор не

потеряла силы и живет в моей памяти.

У нее было хрупкое маленькое тело, но большое сердце, - такое большое, что и чужое горе и чужие радости находили в нем и отклик и приют. Величайшее различие между нею и другими людьми, которых я знал, заключалось, по-моему, вот в чем, и оно знаменательно: другие чувствуют живой интерес к очень немногому, а она до самого дня своей смерти живо интересовалась всем миром, всем и всеми в мире. Во всю свою жизнь она не умела интересоваться наполовину чем-нибудь или кем-нибудь, не умела ограничивать себя и оставаться равнодушной к какому-нибудь делу или к каким-нибудь людям. Больная, которая напряженно и неизменно интересуется всем и всеми, кроме себя самой, которая не знает, что такое скучная минута, - такая больная серьезный противник болезни, и ее нелегко одолеть. Я уверен, что именно эта черта характера моей матери помогла ей дожить почти до девяноста лет.

Ее интерес к людям и животным был теплый, сердечный, дружеский. В самых безнадежных случаях она всегда находила в них что-нибудь такое, что можно было оправдать и полюбить, даже если она сама наделила их этим. Она была естественным союзником и другом всех одиноких. О ней говорили, что она, благочестивая пресвитерианка, может попасться на удочку и замолвить доброе словечко за самого сатану. И такой опыт был проделан. Начали поносить сатану, заговорщики один за другим язвительно упрекали, беспощадно бранили его, жестоко обличали, - и наконец доверчивая жертва заговора попала в западню. Она согласилась, что обвинение справедливо, что сатана действительно погряз в пороках, как они говорили; но разве к нему отнеслись справедливо? Грешник есть грешник, и больше ничего; и сатана такой же грешник, как все другие. Почему же все другие спаслись? Неужели только собственными усилиями? Нет, таким образом никто не мог бы спастись. К их слабым усилиям присоединились горячие, взывающие о милости молитвы, которые возносятся ежедневно из всех церквей в христианском мире и из всех сострадательных сердец. А кто молится за сатану? Кто за тысячу восемьсот лет просто, по человечеству, помолился за того из грешников, которому было больше всего потребно, - за нашего собрата, который больше всех нуждается в друге и не имеет ни единого, за того из грешников, который имеет явное и неопровержимое право, чтоб за него молились денно и ночью, по той простой и неоспоримой причине, что он нуждается в этом больше других, как величайший из грешников?

Этот друг сатаны был кроток духом; незаученным, бессознательным пафосом речи она обладала от природы. Когда при ней обижали или позорили беззащитного человека или животное, в ней пробуждалась жалость или негодование, и тогда не было оратора красноречивей. Очень редко это красноречие было пламенным и грозным, чаще - кротким, сострадательным, трогательным и проникновенным, и таким неподдельным и выражавшимся так благородно и просто, что я много раз видел, как оно вознаграждалось невольными слезами. Когда кого-нибудь обижали, будь то человек или животное, боязливость, естественная для ее пола и хрупкого сложения, исчезала, и на первый план выступало мужество. Как-то я видел на улице дьявольски норовистого корсиканца, грозу всего города, который на глазах у благоразумно сторонившихся горожан гонялся за своей взрослой дочерью с толстой веревкой и грозился измочалить о нее эту самую веревку. Мать моя распахнула дверь перед беглянкой и стала на пороге, раскинув руки и загородив собой дверь, вместо того чтоб захлопнуть и запереть ее. Корсиканец бранился, чертыхался, грозил ей веревкой, но она не дрогнула и ничем не проявила страха; она стояла прямо и гордо и поносила его, стыдила, высмеивала, бросала ему вызов тихим голосом, неслышным на улице, но пробудившим в нем совесть и дремавшее человеческое достоинство; он попросил прощения, отдал ей веревку и поклялся самой богохульной клятвой, что не видывал женщины храбрее, потом молча ушел своей дорогой и больше ее не беспокоил. После этого они стали друзьями, потому что в ней он нашел то, в чем давно нуждался: человека, который его не боится.

Как-то на улице в Сент-Луисе она удивила дюжего возчика, который избивал свою

лошадь тяжелым кнутовищем: она отняла у него кнут и так убедительно говорила в защиту провинившейся лошади, что он сам сознался в своей вине и даже дал обещание, которого не мог бы сдержать (не такая у него была натура): обещание, что он никогда не будет дурно обращаться с лошадьми.

Такое заступничество за обиженных животных было для нее самым обыкновенным делом; и, должно быть, она умела показать свои добрые намерения, никого не обидев, потому что всегда добивалась своего, нередко заслуживая одобрение и похвалу противника, не говоря уж об уважении. Все бессловесные твари находили в ней друга. По какому-то неуловимому признаку каждый бездомный, загнанный, грязный, беспутный кот сразу узнавал в ней свою покровительницу и защитницу и шел за ней до самого дома. Инстинкт его не обманывал, его принимали с распростертыми объятиями, как блудного сына. Одно время, в 1845 году, у нас было девятнадцать кошек. И все они были ничем не замечательны, никаких заслуг у них не было, кроме того, что они были несчастны, а это заслуга небольшая и очень дешевая. Для всех нас, не исключая матери, они были обузой, но им не повезло - и этого было достаточно: они оставались у нас. И все-таки лучше иметь таких любимцев в доме, чем никаких; детям нужны любимцы, а держать животных в клетках нам не позволяли. О пленниках и речи быть не могло: мать моя не позволила бы лишить свободы даже крысу.

В маленьком городке Ганнибале, в штате Миссури, где я жил мальчиком, все были бедны и не сознавали этого, и всем жилось неплохо, но это как раз понимали все. Общество там делилось на ступени: люди из хороших семей, люди из семей попроще, люди из совсем простых семей. Все знали друг друга и были друг с другом любезны, и никто не важничал слишком заметно; однако грань классового различия была проведена весьма четко, и общественная жизнь каждого класса замыкалась в его рамках. Это была маленькая демократия, где исповедовали свободу, равенство и Четвертое июля{13} - и совершенно искренне. Однако аристократический душок был очень заметен; он был, и никто не видел в этом дурного и не задумывался над тем, что тут есть какая-то непоследовательность.

Я думаю, что такое положение вещей следует приписать тому обстоятельству, что население городка пришло из рабовладельческих штатов и сохранило институт рабства и на новой родине. Мать моя с ее широкой натурой и либеральными взглядами не годилась в аристократки, хотя была ею по воспитанию. Быть может, немногие это знали, потому что тут действовал скорее инстинкт, чем принцип. Внешне это выражалось случайно, а не намеренно, и довольно редко. Но мне было известно ее слабое место. Я знал, что в душе она гордится тем, что Лэмптоны - теперь графы Дэрем - владели родовыми поместьями в течение девяти столетий, что они были хозяевами Лэмптон-Кастля и занимали высокое положение еще в то время, когда Вильгельм Завоеватель{14} переплыл море, чтобы покорить англичан. Я спорил осмотрительно и со смягчающими оговорками, потому что приходилось быть осторожным, вступая на эту священную почву, говорил, что нет никакой заслуги в том, чтобы просидеть на одном участке земли девять столетий, особенно с помощью субституций{14}, на это способен любой человек, с умом или без ума; гордиться можно только субституцией, и больше ничем; значит, моя мать попросту происходит от субституций, а это все равно, что гордиться происхождением от закладной.

А вот мои предки - другое дело; они стоят выше, потому что среди них был один предок, некий Клеменс, который и сам кое-что совершил, что принесло ему честь, а мне удовольствие: он был членом суда, который судил Карла I{14} и передал его палачу. Я делал вид, что шучу, но на самом деле не шутил. Я действительно питал уважение к этому предку, и уважение это с годами росло, а не уменьшалось. Он сделал все что мог, чтобы сократить список коронованных бездельников своего времени. Тем не менее я могу засвидетельствовать, что мать моя никогда не заговаривала о своих знатных предках в присутствии посторонних, для этого у нее было достаточно американского здравого смысла. Но с другими Лэмптонами, которых я знал, дело обстояло иначе. "Полковник Селлерс" был Лэмптон и довольно близкий родственник моей матери, и при жизни этого чудака всякий, кто с ним знакомился, первым долгом слышал упоминание о "главе нашего рода",

оброненное как бы невзначай, но так неловко, что с точки зрения сценического искусства это было ниже всякой критики. Это, конечно, вызывало вопросы, и для того оно и говорилось, чтобы их вызвать. И тут рассказывалась грустная повесть о том, как наследник Лэмптонов приехал в Америку лет сто пятьдесят тому назад, разочаровавшись в этом жульничестве наследственной аристократии, женился и, удалившись от света в глушь лесов, занялся воспитанием будущих "американских претендентов" {15}, в то время как на родине, в Англии, его считали умершим, а все титулы и поместья перешли к младшему брату, узурпатору, на котором лежала ответственность за несговорчивых и не желающих уступить место узурпаторов наших дней. Полковник всегда говорил с почтительностью придворного о теперешнем претенденте, который ему приходился кузеном, совершенно серьезно называя его "графом" "Граф" был не лишен способностей и мог бы чего-нибудь добиться, если б не этот несчастный случай с его происхождением. Он был кентуккиец и человек, не лишенный здравых понятий, но денег у него не было и зарабатывать их было некогда, потому что все его время тратилось на попытки раздобыть у меня и других родичей средства на то, чтобы провести свою претензию через палату лордов. У него были все документы, все доказательства, и он был уверен, что выиграет дело. И так он промечтал всю свою жизнь, вечно в бедности, порою в самой настоящей нищете, и умер наконец далеко от родины, в больнице; похоронили его чужие люди, которые не знали, что он граф, потому что он ничуть не был похож на графа. Бедняга подписывал свои письма "Дэрем", и в них он, бывало, упрекал меня, зачем я голосую за республиканцев: это, видите ли, не аристократично и, следовательно, не по-лэмптоновски. И тут же приходило письмо от какого-нибудь ярого демократа-виргинца, родственника со стороны отца, который жестоко разносил меня за то же самое, но на том основании, что республиканцы - партия аристократическая, и недостойно потомка цареубийцы связываться с этими скотами. Бывало, иной раз я доходил до желания совсем не иметь предков, столько от них было неприятностей.

Как я уже говорил, мы жили в рабовладельческом округе, и до уничтожения рабства моей матери приходилось соприкасаться с ним изо дня в день в течение шестидесяти лет. И все же, как она ни была добросердечна и сострадательна, мне кажется, она едва ли сознавала, что рабство есть неприкрытая, чудовищная и непростительная узурпация человеческих прав. Ей ни разу не пришлось слышать, чтобы его обличали с церковной кафедры, наоборот - его защищали и доказывали, что оно священо, тысячи раз; слух ее привык к библейским текстам, оправдывавшим рабство, а если и были другие, отрицавшие рабство, то пасторы о них умалчивали; насколько ей было известно, мудрецы, праведники и святые единодушно утверждали, что рабство справедливо, законно, священо, пользуется особым благоволением Божиим, а рабам следует благодарить за свое положение денно и нощно. По-видимому, среда и воспитание могут произвести совершенные чудеса. В большинстве случаев наши рабы были убежденные сторонники рабства. Без сомнения, то же происходит с гораздо более развитыми умственно рабами монархии: они признают и почитают своих господ, монарха и знать и не видят унижения в том, что они рабы, рабы во всем, кроме названия, и менее достойны уважения, чем наши негры, если быть рабом по доброй воле хуже, чем быть рабом по принуждению, - а это несомненно.

Впрочем, в рабстве округа Ганнибал не было ничего, что могло бы побудить к действию дремлющие инстинкты гуманности. Это было благодушное домашнее рабство, а не зверское рабство плантаций. Жестокости были очень редки и отнюдь не пользовались популярностью. Делить негритянскую семью и продавать ее членов разным хозяевам у нас не очень любили, и потому это делалось не часто, разве что при разделе имения. Не помню, чтобы я видел когда-нибудь продажу рабов с аукциона в нашем городе; подозреваю, однако, что виною этому то, что такой аукцион был обычным, заурядным зрелищем, а не из ряда вон выходящим и запоминающимся. Я живо помню, как видел однажды человек десять чернокожих мужчин и женщин, скованных цепью и лежавших вповалку на мостовой, - в ожидании отправки на Юг. Печальнее этих лиц я никогда в жизни не видел. Скованные цепью рабы представляли, должно быть, редкое зрелище, иначе эта картина не запечатлелась

бы в моей памяти так надолго и с такой силой.

"Работорговца" у нас все ненавидели. На него смотрели как на дьявола в человеческом образе, который скупает и продает беззащитных людей в ад, потому что у нас и белые и черные одинаково считали южную плантацию адом; никаким более мягким словом нельзя было ее описать. Если угроза продать неисправимого раба "в низовья реки" не действовала, то ничто уже помочь не могло - дело его было пропавшее.

Обычно принято думать, что рабство неизбежно ожесточало сердца тех, кто жил среди рабов. Думаю, что такого влияния оно не имело, - если говорить вообще. Думаю, что оно притупляло у всех чувство гуманности по отношению к рабам, но дальше этого не шло. В нашем городе не было жестоких людей - то есть не больше, чем можно найти в любом другом городе тех же размеров в любой другой стране; а насколько мне известно по опыту, жестокие люди повсюду очень редки.

1897-1898 гг.

[РАННИЕ ГОДЫ]

...Вот это и все о былых годах и новоанглийской ветви Клеменсов. Второй брат обосновался на Юге и отдаленным образом виновен в моем появлении на свет. Он получил свою награду несколько поколений назад, какова бы она ни была. Он уехал на Юг со своим закадычным другом Фэрфаксом и поселился вместе с ним в Мэриленде, но впоследствии переехал дальше и зажил своим домом в Виргинии. Это тот самый Фэрфакс, чьим потомкам предстояло пользоваться любопытной привилегией - стать английскими графами, рожденными в Америке. Основателем династии был Фэрфакс кромвелевских времен{17}, военачальник парламентского рода оружия. Графство весьма недавнего происхождения перешло к американским Фэрфаксам, так как в Англии не оказалось наследников мужского пола. Старожилы Сан-Франциско помнят "Чарли", американского графа середины шестидесятых годов - десятого лорда Фэрфакса по Книге пэров Берка{17}, - занимавшего какую-то скромную должность в новом рудничном городке Вирджиния-Сити в штате Невада. Он ни разу в жизни не выезжал из Америки. Я знал его, но не близко. Характер у него был золотой, и в этом заключалось все его состояние. Он отбросил свой титул, дав ему передышку до тех времен, когда его обстоятельства поправятся настолько, чтобы стать созвучными с титулом; но времена эти, думается, так и не настали. Он был человек мужественный и по натуре не чуждый великодушия. Выдающийся и весьма вредный подлец по фамилии Фергюссон, вечно затевавший свары с людьми, которым он в подметки не годился, однажды затеял ссору и с ним - Фэрфакс сбил его с ног. Фергюссон поднялся и ушел, бормоча угрозы. Фэрфакс никогда не носил с собой оружия, не стал носить и теперь, хотя друзья предупреждали его, что Фергюссон по своему вероломному нраву рано или поздно наверняка отомстит каким-нибудь подлым способом. В течение нескольких дней ничего не произошло; потом Фергюссон поймал графа врасплох и приставил револьвер к его груди. Фэрфакс вырвал у него револьвер и хотел было застрелить его, но тот упал перед ним на колени, просил и умолял: "Не убивайте меня. У меня жена и дети". Фэрфакс был вне себя от ярости, но эта мольба тронула его сердце. Он сказал: "Они-то мне ничего не сделали", - и отпустил негодяя.

От виргинских Клеменсов вплоть до времен Ноя тянется туманный ряд моих предков. По преданию, некоторые из них в елизаветинские времена были пиратами и работорговцами. Но это не порочит их чести, ибо тем же занимались Дрейк{18}, Хокинс{18} и другие. В то время это считалось почтенным занятием, компаньонами в деле бывали даже монархи. В юности и у меня самого имелось стремление стать пиратом. Да и читатель, если заглянет поглубже в тайное тайных своего сердца, обнаружит - впрочем, не важно, что он там обнаружит: я пишу не его автобиографию, а свою собственную. Позже, во времена Якова I{18} или Карла I, согласно преданию, один из этого ряда предков был назначен послом в Испанию и женился там, добавив своим потомкам струю испанской крови, чтобы несколько оживить нас. Также по преданию, этот или другой предок, по имени Джоффри Клемент, помог приговорить Карла I к смерти. Сам я не разбирался в этих преданиях и не проверял их



- отчасти по лени, отчасти же потому, что был слишком занят отделкой родословной с нашего конца для придания ей большего блеска; но другие Клеменсы утверждают, будто бы они во всем разобрались и предания выдержали проверку. Поэтому я всегда считал доказанным, что и я тоже, в лице моего предка, помог Карлу I избавиться от бедствий. Мои инстинкты тоже меня в этом убеждали. Если мы обладаем каким-нибудь сильным, упорным и неискоренимым инстинктом, можно быть уверенным, что этот инстинкт не родился вместе с нами, а унаследован от предков, от самых отдаленных предков, а потом укрепился и отшлифовался под влиянием времени. Я же всегда был неизменно враждебен к Карлу I и потому совершенно уверен, что это чувство просочилось ко мне из сердца этого судьи по венам моих предшественников: не в моем характере питать вражду к людям из личных соображений. Я не чувствую никакой вражды к Джеффрису{19}. Должен был бы, но не чувствую. Это доказывает, что мои предки во времена Якова II{19} были к нему равнодушны, не знаю почему; я никогда не мог дознаться, но именно это оно и доказывает. И я всегда чувствовал себя дружески настроенным по отношению к Сатане. Конечно, это у меня от предков; должно быть, оно в крови, - не сам же я это выдумал.

...Итак, свидетельство инстинкта, подтвержденное словами Клеменсов, которые будто бы проверяли источники, заставляло меня верить, что Джоффри Клемент, делатель мучеников, приходится мне прапрадедом, благоволил к нему и даже гордиться им. Это дурно повлияло на меня, ибо пробудило во мне тщеславие, а оно считается недостатком. Поэтому я мнил себя выше людей, которым не так повезло с предками, как мне, и это побуждало меня при случае сбивать с них спесь и говорить им в обществе обидные для них вещи.

Случай такого рода произошел несколько лет назад в Берлине. Уильям Уолтер Фелпс был в это время нашим посланником при императорском дворе и как-то вечером пригласил меня на обед с графом С., членом совета министров. Сей вельможа был знатного и весьма древнего рода. Мне, конечно, хотелось дать ему понять, что у меня тоже имеются кое-какие предки, но я не желал вытаскивать их из гроба за уши, и в то же время мне никак не удавалось ввернуть о них словечко кстати - так, чтобы это получилось как бы невзначай. Думаю, что и Фелпс был в таком же трудном положении. Время от времени он принимал рассеянный вид, именно такой, какой полагается иметь человеку, который желал бы, чтобы знатный предок обнаружился у него по чистой случайности, но никак не может придумать такого способа, чтобы это вышло достаточно непринужденно. Но в конце концов после обеда он сделал такую попытку. Он прохаживался с нами по гостиной, показывая свое собрание картин, и напоследок остановился перед старой гравюрой грубой работы. Она изображала суд над Карлом I. Судьи в пуританских широкополых шляпах расположились пирамидой, а под ними за столом сидели три секретаря без шляп. Мистер Фелпс показал пальцем на одного из этих троих и произнес торжествующе-равнодушным тоном:

- Один из моих предков.

Я указал пальцем на одного из судей и отпарировал с язвительной томностью:

- Мой предок. Но это не важно. У меня есть и другие.

С моей стороны было неблагородно так поступить. Впоследствии я всегда об этом жалел. Но это сразило Фелпса. Не хотел бы я быть на его месте! Однако это не испортило нашей дружбы, что показывает все благородство и возвышенность его натуры, невзирая на скромность его происхождения. И с моей стороны тоже было похвально, что я этим пренебрег. Я ничуть не изменил своего отношения к нему и всегда обращался с ним как с равным.

Но в одном смысле вечер был для меня не из легких. Мистер Фелпс считал меня почетным гостем, и граф С. тоже, но я-то этого не считал, потому что в приглашении Фелпса ничто на это не указывало: это была просто неприятная дружеская записка на визитной карточке. К тому времени, как доложили, что обед подан, Фелпс и сам начал сомневаться. Что-то надо было сделать, а объясняться было уже некогда. Он хотел было, чтобы я прошел вперед вместе с ним, но я воздержался; он попробовал провести С. - и тот

тоже уклонился. Пришел еще и третий гость, но с ним никаких хлопот не было. Наконец мы все вместе протиснулись в дверь. Состоялась некоторая борьба из-за мест, и мне досталось место слева от Фелпса, граф захватил стул напротив Фелпса, а третьему гостю пришлось занять почетное место, поскольку ничего другого ему не оставалось. Мы вернулись в гостиную в первоначальном беспорядке. На мне были новые башмаки, и они сильно жали; к одиннадцати часам я уже плакал тайком, - сдержаться я не мог, такая была жестокая боль. Разговор вот уже час как истощился. Графа С. еще в половине десятого ожидали к одру одного умирающего чиновника. Наконец все мы поднялись разом, повинувшись некоему благотворному внутреннему толчку, и вышли в парадную дверь - без всяких объяснений - все вместе, кучей, не соблюдая старшинства, и там расстались.

Вечер имел свои недостатки, но мне все же удалось протащить своего предка, и я остался доволен.

Среди виргинских Клеменсов были Джир и Шеррард. Джир Клеменс был широко известен как меткий стрелок из пистолета, и однажды это помогло ему умиротворить барабанщиков, которые не поддавались ни на какие слова и уговоры. В то время он совершал агитационную поездку по штату. Барабанщики стояли перед трибуной и были наняты оппозицией для того, чтобы барабанить во время его речи. Приготовившись к выступлению, он достал револьвер, положил его перед собой и сказал мягким, вкрадчивым голосом:

- Я не хочу никого ранить и постараюсь обойтись без этого, но у меня имеется по пуле на каждый барабан, и если вам вздумается играть, то не стойте за ними.

Шеррард Клеменс был республиканец, во время войны - член конгресса от Западной Виргинии; а потом он уехал в Сент-Луис, где жили и сейчас живут родичи Джеймса Клеменса, и там стал ярким мятежником. Это произошло после войны {21}. Когда он был республиканцем, я был мятежником; но когда он стал мятежником, я (на время) превратился в республиканца. Клеменсы всегда делали все что могли для сохранения политического равновесия, какие бы неудобства это им ни причиняло. Я ничего не знал о судьбе Шеррарда Клеменса, но как-то мне пришлось представлять сенатора Хаули широкому республиканскому собранию в Новой Англии, и после того я получил язвительное письмо от Шеррарда из Сент-Луиса. Он писал, что северные республиканцы - нет, "северные хамы" - огнем и мечом уничтожили старую южную аристократию, и мне, аристократу по крови, не подобает якшаться с этими свиньями. Разве я забыл, что я "Лэмбтон"?

Это была ссылка на родню моей матери. Матушка моя была урожденная Лэмpton - через (п), - так как не все американские Лэмптоны старых времен были в ладах с грамотой, и потому фамилия пострадала от их рук. Она была уроженка Кентукки и вышла за моего отца в Лексингтоне в 1823 году, когда ей было двадцать лет, а отцу - двадцать четыре. Ни у того, ни у другого не было никакой излишней собственности. В приданое за ней дали двух или трех негров и, кажется, ничего больше. Они переехали в дальний и захолустный городок Джеймстаун, в горном безлюдье восточного Теннесси. Там у них родились первые дети. Но так как я принадлежал к позднему выводу, то ничего об этом не помню, - меня отсрочили до Миссури. Миссури был малоизвестный новый штат и нуждался в аттракционах.

Думаю, что мой старший брат Орион, сестры Памела и Маргарет и брат Бенджамен родились в Джеймстауне. Были, возможно, и другие, но на этот счет я не так уверен. Для такого маленького городка приезд моих родителей составил большую прибыль. Надеялись, что они тут и осядут и городишко станет настоящим городом. Предполагали, что они останутся. И вот началось процветание. Но вскоре мои родители уехали, цены опять упали, и прошло много лет, прежде чем Джеймстауну представился новый случай продвинуться вперед. Я описал Джеймстаун в моей книге "Позолоченный век", но это было понаслышке, а не по личному опыту. После моего отца осталось прекрасное имение в окрестностях Джеймстауна - 75000 акров\*. К тому времени, как он умер - в 1847 году, - участок находился в его руках уже около двадцати лет. Налоги были ничтожные (пять долларов в год за все), отец уплачивал их аккуратно и держал бумаги в полном порядке. Он всегда говорил, что в его время земля не приобретет большой ценности, но впоследствии, для детей это будет

надежный источник дохода. Там имелись уголь, медь, железо, лес, и отец говорил, что с течением времени железные дороги прорежут эту область, и тогда эта земельная собственность станет собственностью на деле, а не только на бумаге. Там рос также дикий виноград многообещающего сорта. Отец посылал образцы к Николасу Лонгворту в Цинциннати, чтобы он высказал свое мнение, и Лонгворт ответил, что из этого винограда можно делать такое же хорошее вино, как из его Катобы. В земле имелись все эти богатства, а также и нефть, но мой отец этого не знал, и, разумеется, в те времена он не придал бы этому значения, даже если б и знал. Нефть нашли только около 1895 года. Хотелось бы мне иметь сейчас хоть половину этой земли, тогда я не стал бы писать автобиографию ради хлеба. Умирая, мой отец завещал: "Держитесь за землю и ждите; смотрите, чтобы никто ее у вас не выманил". Любимый кузен моей матери Джеймс Лэмптон, который фигурирует в "Позолоченном веке" под именем полковника Селлера, всегда говорил об этой земле, - и с каким энтузиазмом к тому же: "В этой земле миллионы, да, миллионы!" Правда, он говорил то же самое о чем угодно - и всегда ошибался, но на сей раз он был прав, а это доказывает, что человек, стреляющий пророчествами направо и налево, не должен приходить в уныние. Если он, не унывая, палит во все, что ни встретится, то когда-нибудь попадет и в цель.

---

\* Поправка: кажется, там было больше 100000 акров. (Прим. автора от 1906 г.)

Многие считали полковника Селлера выдумкой, фикцией, чистейшей фантазией и делали мне честь, называя его моим "созданием"; однако они ошибались. Я просто-напросто изобразил его таким, каким он был; в нем трудно было что-нибудь преувеличить. Эпизоды, которые казались самыми невероятными и в книге и со сцены, вовсе не были моей выдумкой, а действительными событиями его жизни, и я при них присутствовал лично. Публика каждый раз помирала со смеху, глядя на Джона Реймонда{24} в эпизоде с репой, но как ни маловероятен этот эпизод, он верен до самых нелепых подробностей. Это случилось у Лэмптона в доме, и я при этом присутствовал. Вернее, я сам и был тот гость, который ел репу. Великий актер в этой трогательной сцене вызвал бы слезы у самого черствого зрителя - и в то же время заставил бы смеяться до колик. Но Реймонд был хорош только в комических ролях. В них он был очень хорош, изумителен; одним словом великолепен; во всем остальном он был пигмей из пигмеев. Настоящий полковник Селлерс, каким я его знал в лице Джеймса Лэмптона, был прекрасная и высокая душа, мужественный, честный и прямой человек, с большим и бескорыстным сердцем, человек, рожденный для того, чтобы его любили; и его любили друзья, а родные перед ним преклонялись. Именно - преклонялись. В своей семье он был чуть поменьше бога. Настоящего полковника Селлера никто не видел на сцене. Его видели только наполовину. Другую половину Реймонд сыграть не мог, она была выше его возможностей. Только один человек мог сыграть всего полковника Селлера - это Френк Майо{24}.

Мир наш полон самых удивительных случаев. И встречаются они там, где их меньше всего ждешь. Когда я ввел Селлера в книгу, то Чарлз Дадли Уорнер{24}, который сотрудничал со мной, предложил изменить имя Селлера на другое. Десять лет назад в одном из глухих уголков Запада он повстречал человека, которого звали Эскол Селлерс, и ему пришло в голову, что имя Эскол как раз подойдет нашему полковнику, оттого что оно редкое и необычное. Мне эта мысль понравилась, хотя я усомнился, не явится ли этот человек и не станет ли протестовать. Но Уорнер решил, что этого быть не может: он, конечно, успел умереть за это время; и все равно, будь он живой или мертвый, а имя нужно взять, - это как раз то, что требуется, и нам без него не обойтись. И замена была сделана. Знакомец Уорнера имел ферму из самых скромных и небогатых. Через неделю после выхода книги в Хартфорд явился университетски образованный джентльмен с изысканными манерами, разодетый, как герцог, и настроенный довольно грозно: по глазам было видно, что он собирается подать на нас в суд за клевету, - и звали его Эскол Селлерс! Он никогда не слышал о другом Селлере и жил за тысячи миль от него. Программа у оскорбленного аристократа была определенная, чисто деловая: американское издательство должно изъять

все, что уже вышло из печати, и выкинуть имя из набора, иначе он предъявит иск на 10000 долларов. Он получил-таки от издательства согласие и тысячу извинений, а мы переменили имя на старое: полковник Малберри Селлерс. По-видимому, на свете все возможно. Возможно даже существование двух людей, не связанных родством и носящих невозможное имя Эскол Селлерс.

Джеймс Лэмптон всю жизнь витал в тумане радужных грез и наконец умер, не дождавшись осуществления ни одной из них. В последний раз я видел его в 1884 году, - через двадцать шесть лет после того, как я съел миску сырой репы у него в доме, запив угощение ведром воды. Он состарился и поседел, но по-прежнему легко влетел ко мне в комнату и был все тот же, что и всегда, все было налицо: сияющие счастьем глаза, полное надежд сердце, убедительная речь и воображение, творящее чудеса, - все было налицо, и не успел я пошевелиться, как он уже полировал свою лампу Аладина, и передо мной засверкали скрытые сокровища мира. Я сказал себе: "Нет, я ни капельки его не прикрасил, я изобразил его таким, каким он был, он и теперь все тот же. Кейбл{25} его узнает". Я попросил его извинить меня и на минуту выбежал в соседнюю комнату, к Кейблу. Кейбл вместе со мной читал лекции, разъезжая по Америке. Я сказал ему:

- Я оставлю дверь открытой, чтобы вам было слышно. У меня здесь интересный посетитель.

Затем я вернулся к себе и спросил Лэмптона, что он сейчас делает. Он начал рассказывать мне про "небольшое предприятие", которое затевает в Нью-Мехико с помощью сына:

- Так, безделица, сущий пустяк, лишь бы не скучать в свободное время и не дать капиталу залежаться, а главное, чтобы мальчик приучался к делу, да, приучался к делу. Колесо фортуны не стоит на месте! Может быть, ему когда-нибудь придется зарабатывать себе на хлеб, - чего на свете не бывает! Но это так, безделица, сущий пустяк, как я уже говорил.

Это и был пустяк, судя по началу его речи. Но в его ловких руках он рос, расцветал и ширился - о, до невероятия! Через полчаса он кончил, кончил таким замечанием, произнесенным очаровательно небрежным тоном:

- Да, это, конечно, пустяк по нынешним временам, не о чем, в сущности, говорить, а все-таки забавно. Помогает скоротать время. Мальчик придает этому большое значение: молод, знаете ли, воображение работает; нет опыта в делах, который обуздывает фантазию и помогает судить здраво. Думаю, что миллиона два здесь можно нажить, а пожалуй, и три, но не больше; все-таки, знаете ли, для мальчика, который только начинает свою карьеру, это недурно. Я бы не хотел, чтобы он нажил целое состояние, - это успеется и позже. В его годы оно только вскружило бы ему голову, да и в других отношениях было бы вредно.

Тут он сказал что-то насчет того, что забыл бумажник дома, на столе в большой гостиной, и что все банки сейчас уже закрыты...

Но я его прервал и попросил оказать честь мне и Кейблу - посетить нашу лекцию вместе с другими друзьями, которые пожелают сделать нам ту же честь. Он согласился и поблагодарил меня с видом короля, милостиво снизошедшего до нашей просьбы. А прервал я его потому, что понял, что он собирается попросить у меня билеты, с тем чтобы уплатить за них на следующий день; а мне было известно, что долг он непременно уплатит, хотя бы для этого пришлось заложить с себя платье. Побеседовав еще немного, он сердечно и тепло пожал мне руку и распрощался. Кейбл просунул голову в дверь и сказал:

- Это был полковник Селлерс.

1897

[ДЯДИНА ФЕРМА]

Как я уже говорил, этот обширный участок теннессийской земли мой отец держал двадцать лет нетронутым. После того как он умер - в 1847 году, - мы начали распоряжаться землей сами и через сорок лет распорядились всем, кроме 10000 акров, так что ничего не осталось и на память о продаже. Около 1887 года, - а возможно и раньше, - ушли и эти 10000.

Моему брату подвернулся случай променять землю на дом с участком в городе Корри, в нефтяных районах Пенсильвании. Около 1894 года он продал это имущество за двести пятьдесят долларов. Так было покончено с теннессийской землей.

Принесло ли разумное предприятие отца хоть пенни наличными, кроме этих денег, я не помню. Нет, я упустил одну подробность: оно доставило мне возможность наблюдать Селлера и написать книгу. От моей половины книги я получил 20 000 долларов, - может быть, немногим больше; от пьесы - 75000 долларов, как раз по доллару за акр. Это любопытно: меня еще не было на свете, когда отец приобрел землю, значит, он действовал без всякого пристрастия, однако же только мне одному из всей семьи пришлось на ней нажить. При случае я буду кое-когда и дальше упоминать об этой земле по ходу рассказа, потому что она так или иначе оказывала влияние на нашу жизнь на протяжении более чем одного поколения. Всякий раз, как собирались тучи, она вставала перед нами, протягивала руку и с оптимизмом Селлера подбодряла нас, говоря: "Не бойтесь - положитесь на меня - ждите". Она держала нас в надежде целых сорок лет, а потом покинула нас. Она усыпила нашу энергию, сделала из нас визионеров - мечтателей и тунеядцев: мы все собирались разбогатеть в следующем году - для чего же работать? Хорошо начинать жизнь бедняком, хорошо начинать ее богачом - и то и другое здорово! Но начинать жизнь бедняком в надежде на богатство... Тот, кто этого не испытал, не может себе представить, что это за проклятие.

Мои родители переехали в штат Миссури в начале тридцатых годов, - не помню, когда именно, потому что в то время меня еще не было на свете и я этим вовсе не интересовался.

В те дни это было долгое путешествие и, должно быть, весьма нелегкое и утомительное. Они поселились в маленькой деревушке Флорида, округе Монро, где я и родился в 1835 году. В деревушке было сто человек жителей, и я увеличил население ровно на один процент. Не каждый исторический деятель может похвастаться, что сделал больше для своего родного города. Может быть, с моей стороны нескромно упоминать об этом, но зато это правда. Нигде не записано, чтобы кому-нибудь другому удалось совершить нечто подобное, будь это даже Шекспир. А я осчастливил Флориду и, вероятно, мог бы осчастливить таким же образом любой город, будь это даже Лондон.

Не так давно мне прислали из Миссури снимок дома, в котором я родился. До сих пор я всегда утверждал, что родился во дворце, - вперед буду осмотрительнее.

Я любил вспоминать, как мой брат Генри вошел в костер, разложенный на дворе, когда ему была неделя от роду. Замечательно, что я мог запомнить такую вещь, а еще замечательнее, что я упорствовал в своем заблуждении ровно тридцать лет и уверял, что действительно помню этот случай; разумеется, этого не было, в этом возрасте брат еще не умел ходить. Если бы я дал себе время подумать, то не обременял бы свою память такой невероятной чепухой в течение тридцати лет. Многие думают, что впечатления, которые накапливаются в детской памяти за первые два года жизни, живут не больше пяти лет, но это неверно. Случай с Бенвенуто Челлини<sup>{28}</sup> и саламандрой следует считать действительно имевшим место, и вполне достоверен замечательный пример в записках Эллен Келлер<sup>{28}</sup>, - но об этом я поговорю как-нибудь в другой раз. Много лет я был уверен, что помню, как помогал моему деду распивать грог, будучи шести недель от роду, но теперь я уже об этом не рассказываю: я состарился, и память моя работает хуже прежнего. Когда я был помоложе, я помнил решительно все, было оно или не было, теперь же рассудок мой слабеет, и скоро я буду помнить только то, чего никогда не было. Очень грустно превращаться в такую развалину, однако всем нам этого не миновать.

Мой дядя, Джон Э. Куорлз, был фермер, и ферма его находилась в четырех милях от Флориды. У него было восемь человек детей и пятнадцать или двадцать негров, и в других отношениях он был не менее счастлив, особенно в отношении характера. Мне никогда не приходилось встречать человека добрее дяди Джона. Лет до одиннадцати-двенадцати, с тех пор как мы перебрались в Ганнибал, я гостил у него по два и по три месяца в году. Намеренно я никогда не выводил его или тетку в своих книгах, зато ферма его раза два мне очень пригодилась. В книгах "Гекльберри Финн" и "Том Сойер - сыщик" я переместил ее в

Арканзас. Это было дальше на целых шестьсот миль, но не так уж трудно сделать: ферма была невелика - может быть, акров пятьсот, однако, будь она и вдвое больше, я бы этим не затруднился. А до этической стороны вопроса мне нет никакого дела: я переместил бы целый штат, если б того потребовали интересы литературы.

Эта ферма дяди Джона была настоящим раем для мальчишек. Дом был пятистенный, бревенчатый, с широкой крытой галереей, соединявшей его с кухней. Летом стол накрывали посередине галереи, в тени и прохладе, а еда была такая роскошная, что я готов прослезиться при одном воспоминании. Жареные цыплята и поросята, дикие и домашние индейки, утки и гуси, свежая оленина, белки, кролики, фазаны, куропатки, перепела; сухарики, горячая драчена, горячие гречневика, горячие булочки, горячие маисовые лепешки; вареные початки молодой кукурузы, бобы, фасоль, томаты, горох, ирландский картофель, бататы; пахтанье, парное молоко, простокваша; арбузы, дыни-кantalупы - все это только что с грядки; пироги с яблоками, пироги с персиками, пироги с тыквой, яблоки в тесте - всего не перечесать. Главная роскошь заключалась в том, как все это было приготовлено, - особенно некоторые блюда: например, маисовые лепешки, горячие сухарики, булочки и жареные цыплята. Ничего этого не умеют как следует готовить на Севере. Ни один северянин не может научиться этому искусству, как мне известно по опыту. На Севере думают, что умеют печь маисовые лепешки, но это просто вздорный предрассудок. По-моему, нет ничего вкуснее южных маисовых лепешек и ничего хуже северной имитации этих лепешек. На Севере очень редко пробуют жарить цыплят, и хорошо делают: этому искусству нельзя выучиться к северу от линии Мэзон - Диксон{29} и ни в одной из европейских стран. Это говорится не понаслышке, а по опыту. В Европе воображают, что подавать на стол с пылу горячий хлеб разных сортов - "американский" обычай; но это слишком широкое обобщение: такой обычай существует на Юге, на Севере он распространен гораздо меньше. На Севере и в Европе горячий хлеб считается вредным для здоровья. Это, должно быть, тоже вздорный предрассудок, вроде европейского предрассудка, будто вредно пить воду со льдом.

Жаль, что столько хороших вещей на свете пропадает даром только потому, что они вредны для здоровья. Не думаю, чтоб какая-нибудь пища, данная нам богом, была вредна, если употреблять ее умеренно; за исключением микробов. Однако находятся люди, которые строго-настроено воспретили себе пить, есть и курить все то, что пользуется сомнительной репутацией. Такой ценой они платят за здоровье. И, кроме здоровья, они ничего за это не получают. Удивительное дело! Это все равно, что истратить все свое состояние на корову, которая не дает молока.

Ферма стояла посреди большого двора, и двор этот был с трех сторон обнесен забором, а сзади - высокой оградой из кольев, за которой стояла коптильня; по ту сторону ограды был фруктовый сад, а за садом негритянские хижины и табачные плантации. Во двор входили по деревянным ступенькам; ворот, сколько я помню, не было. В одном углу двора росло десятка два ореховых деревьев, простых и грецких; и когда поспевали орехи, там можно было собрать целое богатство.

Немного подальше, на одном уровне с домом, стоял маленький бревенчатый домик; от него поросший лесом косогор круто спускался книзу, мимо амбаров, житницы, конюшен и табачной сушильни, к прозрачному ручью, который журчал по своему песчаному ложу, извиваясь вправо, влево и во все стороны в густой тени лоз и нависших ветвей, - райское местечко, где можно было разувшись бродить по воде; имелись и заводы, где нам запрещали купаться, и потому мы частенько туда бегали. Нас воспитывали в правилах христианской религии, и потому мы рано научились ценить запретный плод.

В бревенчатом домике жила седая старуха негритянка, прикованная болезнью к постели; мы навещали ее каждый день и со страхом взирали на нее, полагая, что ей больше тысячи лет и что она беседовала с самим Моисеем. Все эти сведения доставляли нам негры помоложе, и сами в них верили. Сопоставив все то, что нам удалось узнать, мы пришли к убеждению, что она расстроила свое здоровье во время долгого странствия в пустыне после исхода из Египта, а потом так и не могла поправиться. У нее была круглая плешь на

макушке; бывало, мы подкрадывались к старухе, созерцая эту плешь в благоговейном молчании, и думали, что волосы у нее, должно быть, вылезли от страха в ту минуту, когда тонул фараон. Мы звали ее тетка Ханна, по южному обычаю. Она была суеверна, как все наши негры, и, как они, глубоко религиозна. Она верила в силу молитв и время от времени пускала их в ход, однако не в тех случаях, когда нужно было действовать наверняка. Если поблизости оказывались ведьмы, она связывала белыми нитками остатки своих курчавых волос в маленькие пучки, - и против этого ведьмы ничего не могли поделать.

Все негры были нам друзья, а с ровесниками мы играли как настоящие товарищи. Я употребляю выражение "как настоящие" в качестве оговорки: мы были товарищами, но не совсем, - цвет кожи и условия жизни проводили между нами неуловимую границу, о которой знала и та и другая сторона и которая делала полное слияние невозможным. Мы имели верного и любящего друга, союзника и советчика в лице дяди Дэна, пожилого негра, у которого была самая ясная голова во всем негритянском поселке и любвеобильное сердце честное, простое, не знавшее хитрости. Он служил мне верой и правдой многие, многие годы. Я с ним не виделся лет пятьдесят, однако все это время мысленно пользовался его обществом и выводил его в своих книгах под именем Джима и под его собственным и возил его по всему свету - в Ганнибал, вниз по Миссисипи на плоту и даже через пустыню Сахару на воздушном шаре; и все это он перенес с терпением и преданностью, которые принадлежат ему по праву. Именно на ферме я и полюбил его черных сородичей и научился ценить их высокие достоинства. Чувства симпатии и уважения к ним сохранились у меня на протяжении шестидесяти лет и ничуть не пострадали за это время. Мне и теперь так же приятно видеть черное лицо, как и тогда.

В школьные годы я не знал отвращения к рабству. Я не подозревал, что в нем есть что-нибудь дурное. Никто не нападал на него при мне: местные газеты не высказывались против рабства; с кафедры местной церкви нам проповедовали, что бог его одобряет, что оно священо и что сомневающемуся стоит только заглянуть в библию, - в подтверждение этого нам приводили тексты; если сами рабы ненавидели рабство, то они благоразумно молчали. В Ганнибале нам редко приходилось видеть, чтобы с рабом обращались дурно, а на ферме - никогда.

И все же было в детстве моем незначительное событие, связанное с этим, и, должно быть, оно произвело на меня глубокое впечатление, иначе не оставалось бы в моей памяти так ярко и живо, резко и отчетливо все эти медленно текущие годы. У нас был маленький негритенок, которого мы нанимали у кого-то из жителей Ганнибала. Он был родом из восточной части штата Мэриленд; его оторвали от семьи, от друзей, увезли на другой конец американского материка и продали в рабство. Мальчик был веселого нрава, простодушный и кроткий и, должно быть, самое шумливое создание на свете. Целыми днями он насвистывал, пел, вопил, завывал, хохотал - и это было сокрушительно, умопомрачительно, совершенно невыносимо. Наконец в один прекрасный день я вышел из себя, в бешенстве прибежал к матери и пожаловался, что Сэнди поет уже целый час, не умолкая ни на минуту, и я не могу этого вытерпеть, так пусть она велит ему замолчать. Слезы выступили у нее на глазах, губы задрожали, и она ответила приблизительно так:

- Если он поет, бедняжка, то это значит, что он забылся, - и это служит мне утешением; а когда он сидит тихо, то я боюсь, что он тоскует, и это для меня невыносимо. Он никогда больше не увидит свою мать; если он в состоянии петь, я должна не останавливать его, а радоваться. Если бы ты был постарше, ты бы меня понял и порадовался бы, что этот одинокий ребенок может шуметь.

Речь была простая, сказанная простыми словами, но она достигла цели, и шумливость Сэнди меня больше не раздражала. Мать никогда не говорила громких фраз, но у нее был природный дар убеждать простыми словами. Она дожила почти до девяноста лет и до самых последних дней не утратила этого дара, особенно если чья-нибудь низость или несправедливость возмущали ее. Она не раз пригодилась мне для моих книг, где фигурирует под именем тети Полли. Я заставил ее говорить на диалекте, пытался придумать еще

какие-нибудь усовершенствования, но ничего не нашел. Один раз я использовал и Сэнди: в "Томе Сойере" я попробовал было заставить его белить забор, но из этого ничего не вышло. Не помню, под каким именем я вывел его в книге.

Я и сейчас могу совершенно отчетливо представить себе ферму. Я вижу там каждую вещь, каждую деталь: комнату, где собиралась вся семья, с кроватью для прислуги в одном углу и прялкой в другом; стон прялки, то замиравший, то усиливавшийся и слышный издали, казался мне самым заунывным звуком на свете, наводил на меня скуку и тоску по родному дому и населял атмосферу блуждающими призраками мертвецов; большой очаг, в зимние вечера доверху набитый пылающими ореховыми поленьями, на концах которых пузырился сладкий сок - и не пропадал даром, потому что мы соскребали его и отправляли в рот; сонная кошка лениво растянулась на неровных камнях очага; собаки во сне жмутся поближе к огню; тетка вяжет по одну сторону очага, по другую - дядя курит коротенькую трубку из маисового початка; гладкий, не покрытый ковром пол, слабо отражающий веселые языки пламени, испещрен черными ямками в тех местах, куда упали горящие угли и угасли медленной смертью; с полдюжины детей возятся в полумраке в глубине комнаты; стулья с плетеными сиденьями, качалки; пустующая колыбель дожидается времени сослужить свою службу; ранним холодным утром дети в ночных рубашках жмутся в кучу на камнях очага и оттягивают время - им не хочется оставлять это уютное место и идти мыться на открытую ветру галерею между домом и кухней, где стоит общий умывальник.

Мимо забора шла проселочная дорога, пыльная в летнее время, излюбленное местопребывание змей, которым нравилось лежать там и греться на солнце; если это были гремучие змеи или гадюки, мы убивали их; если это были черные змеи или представители знаменитой породы "очковых", то мы без всякого стыда спасались бегством; а ужей, которые у нас назывались "подвязками", мы уносили домой и сажали в рабочую корзинку тети Патси в виде сюрприза; к змеям она питала предубеждение и всегда пугалась, как только они выползали из корзинки у нее на коленях. Она так и не могла к ним привыкнуть, все наши труды пропадали даром. И к летучим мышам она тоже оставалась холодна и не терпела их, а мне казалось, что нет ничего милей летучей мыши. Мать моя была сестрой тети Патси и разделяла ее дикие предрассудки. Летучая мышь чудесно нежна и шелковиста на ощупь, ее очень приятно гладить, и я не знаю животного более благодарного за ласку, если с ним обращаться умеючи. Мне эти перепончатокрылые известны до тонкости, потому что они во множестве населяли нашу большую пещеру, милях в трех ниже Ганнибала, и я частенько приносил их домой, чтобы сделать сюрприз матери. Это было нетрудно устроить в будни, потому что тогда я, по всей видимости, приходил из школы, и, значит, мышей со мной не было. Мать моя не была подозрительна, наоборот, очень доверчива, и когда я говорил: "У меня в кармане есть кое-что для тебя", то она засовывала туда руку. Отдергивала она руку всегда сама, мне не приходилось просить ее об этом. Замечательно, что она так и не привыкла к летучим мышам. Чем больше ей представлялось случаев, тем больше она упорствовала в своем заблуждении.

Думаю, что она за всю свою жизнь ни разу не побывала в пещере, но, кроме нее, туда ходили все. Много экскурсантов приезжало осматривать пещеру издалека, с верховьев и низовьев реки. Она тянулась на целые мили и представляла собой запутанный лабиринт узких и высоких развилин и коридоров. Там было нетрудно заблудиться кому угодно, даже летучей мыши. Я сам там заблудился однажды вместе со своей спутницей, и наша последняя свеча догорела почти дотла, когда мы завидели вдаль, за поворотом, огоньки разыскивавшего нас отряда.

Метис, "Индеец Джо", заблудился там однажды и умер бы голодной смертью, если бы иссяк запас летучих мышей. Но это не могло случиться, их там были целые мириады. Он сам рассказывал мне всю эту историю. В книге, которая называется "Том Сойер", я заморил его до смерти в пещере, но единственно в интересах искусства, - на самом деле этого не было. "Генерал" Гейне, который был у нас первым городским пьяницей, пока Джимми Финн не занял это место, блуждал там в течение недели и наконец просунул носовой платок в дыру на



вершине холма близ Сэйвертона, - кто-то увидел платок, и его откопали. В его рассказе нет ничего неправдоподобного, кроме носового платка. Я знал "генерала" многие годы, и платков у него никогда не было. Но возможно, что это был его нос. Он-то, несомненно, мог привлечь внимание.

Пещера была страшным местом, потому что в ней находилось мертвое тело - тело молодой девушки четырнадцати лет. Оно лежало в стеклянном цилиндре, помещавшемся внутри медного цилиндра, подвешенного на перекладине в одном из узких переходов. Тело сохранялось в спирту, и говорят, что озорники вытаскивали его за волосы и заглядывали мертвой в лицо. Девушка эта была дочь хирурга из Сент-Луиса, человека выдающихся способностей и очень известного. Он был чудак и поступал иной раз весьма странно. Он сам отвез бедняжку в это заброшенное место.

За дорогой, где змеи грелись на солнце, поднималась густая заросль молодняка, через которую на протяжении четверти мили вела в полумраке тропинка; потом заросль сразу обрывалась, и тропинка выводила на широкую луговину, со всех сторон окруженную стеной леса, заросшую полевой клубникой и яркими звездами полевой гвоздики. Клубника была душистая и сладкая, и как только она поспевала, мы забирались туда с раннего утра, полного живительной свежести, когда росинки еще сверкали на траве и леса звенели первыми птичьими песнями.

С левой стороны, на поросшем лесом косогоре, были качели. Делались они из коры, содранной с молодого орешника. Когда кора высыхала, качаться на них становилось опасно. Они обычно рвались, когда ребенок взлетал футов на сорок кверху, вот почему и приходилось чинить каждый год столько переломанных костей. Самому мне везло, но из моих двоюродных братьев ни один этого не избежал. Их было восемь человек, и в общей сложности они за все время поломали четырнадцать рук. Но обходилось это почти даром: доктора нанимали на круглый год, и за двадцать пять долларов он лечил всю семью. Я помню двух врачей во Флориде - Чоунинга и Мередита. За двадцать пять долларов в год они не только лечили всю семью, но и поставляли лекарства. И не скупились на них: полную дозу мог выдержать только самый крепкий человек. Основным пойлом была касторка. На прием давали полстакана и добавляли еще полстакана ново-орлеанской патоки, чтоб было вкуснее, но вкус ничуть не улучшался. После касторки шла каломель, после каломели - ревень, а после ревеня - ялаппа. Потом пациенту пускали кровь и ставили ему горчичники. Система была ужасная, и все же процент смертности был не очень высок. От каломели пациент истекал слюной и терял половину зубов. Дантистов не было. Если зубы начинали портиться или болели, врач знал одно средство брался за щипцы и выдергивал зуб. Если челюсть при этом оставалась на месте, то не по его вине. Доктора приглашали, только если болезнь была самая тяжкая, в других случаях больного лечил свой человек, бабушка. Каждая старуха считалась лекаркой, собирала свои лекарства в лесу и умела составлять такие специи, которые даже чугунного льва вывернули бы наизнанку. А кроме того, был еще "индейский знахарь" - переживший свое племя величественный дикарь, сведущий во всех тайнах природы и целительных силах трав; в глухих поселках большинство населения верило в его силы и рассказывало чудеса о совершенных им исцелениях. На острове Св. Маврикия в просторах Индийского океана живет человек, который напоминает нашего индейского знахаря. Он негр и не учился быть доктором, но в одной болезни он знает толк и может ее лечить, а доктора не могут. Его приглашают, когда кто-нибудь заболит этой болезнью. Это детская болезнь, очень страшная и опасная, и негр лечит ее каким-то настоем из трав, который составляет сам по рецепту, доставшемся от отцов и дедов. Рецепта он никому не показывает. Состав держит в секрете, и есть опасения, что так и умрет, не огласив его; тогда на острове Св. Маврикия произойдут волнения. Все это мне рассказывали тамошние жители в 1896 году.

В те времена у нас была еще одна лекарка, которая врачевала верой. Ее специальностью была зубная боль. Это была старуха, жена одного фермера, и жила она в пяти милях от Ганнибала. Она возлагала руки на челюсть пациента, говорила: "Веруй!" - и

исцеление совершалось мгновенно. Миссис Оттербек, я ее хорошо помню. Два раза я ездил к ней верхом, сидя позади матери, и видел исцеление воочию. Пациенткой была моя мать.

Скоро в Ганнибал переехал доктор Мередит; он стал нашим домашним врачом и несколько раз спасал мне жизнь. Не будем его осуждать. Человек он был хороший и действовал с самыми лучшими намерениями.

Мне рассказывали, что я был болезненный, вялый ребенок, как говорится - не жилец на этом свете, и первые семь лет моей жизни питался главным образом лекарствами. Как-то я спросил об этом мою мать, когда ей шел уже восемьдесят восьмой год.

- Должно быть, ты все время беспокоилась за меня?

- Да, все время.

- Боялась, что я не выживу?

После некоторого размышления, - по-видимому, для того, чтобы припомнить, как было дело:

- Нет, я боялась, что ты выживешь.

Местная школа была за три мили от дядиной фермы. Она стояла на просеке, среди леса, и в ней училось около двадцати пяти мальчиков и девочек. Мы ходили в школу более или менее регулярно, летом раза два в неделю; отправлялись туда по утреннему холодку лесными тропинками и возвращались в сумерках, к концу дня. Все школьники приносили с собой обед в корзинке - сдобные булки, пахтанье и другие вкусные вещи. Вот об этой стороне моего воспитания я всегда вспоминаю с удовольствием. В первый раз я пошел в школу семи лет. Рослая девица лет пятнадцати, в коленкоровом платье и широкополой шляпе, какие тогда носили, спросила меня, потребляю ли я табак, - то есть жую ли я табачную жвачку. Я сказал, что нет. Она посмотрела на меня презрительно и немедленно обличила перед всеми остальными:

- Глядите, мальчишке семь лет, а он не умеет жевать табак!

По взглядам и комментариям, которые за этим последовали, я понял, что пал очень низко, и жестоко устыдился самого себя. Я решил исправиться, - но ничего не добился, кроме рвоты, и так и не смог приучиться жевать табак. Курить я выучился довольно прилично, но это никого со мной не примирило, и я так и остался ничтожеством, не заслуживающим доброго слова. Я стремился добиться уважения, но это мне не удалось: дети относятся без всякой жалости к недостаткам своих товарищей.

Как уже сказано, я гостил на ферме каждый год, пока мне не исполнилось лет двенадцать - тринадцать. Жизнь, которую я вел там с моими двоюродными братьями, была полна очарования, таким же остается и воспоминание о ней. Я могу вызвать в памяти торжественный сумрак и таинственность лесной чащи, легкое благоухание лесных цветов, блеск омытых дождем листьев, дробь падающих дождевых капель, когда ветер качает деревья, далекое постукивание дятлов и глухое токование диких фазанов, мельканье потревоженных зверьков в густой траве, - все это я могу вызвать в памяти, и оно оживает, словно наяву, и так же радостно. Я могу вызвать в памяти широкие луга, их безлюдье и покой; большого ястреба, неподвижно парящего в небе с широко распростертыми крыльями, и синеву небосвода, просвечивающую сквозь концы крыльев. Как сейчас вижу пурпурные дубы в осеннем наряде, позолоченные орешники, клены, пылающие румяными огнями, и слышу шуршание опавшей листвы, по которой мы бродили. Вижу синие гроздья дикого винограда, висящие среди листвы молодых деревьев, помню их вкус и запах. Я знаю, какова на вид дикая ежевика и какова она на вкус; помню вкус лесных орехов и финиковой сливы; помню, как по моей голове барабанили дождем простые и грецкие орехи, когда вместе со свиньями мы собирали их морозным утром и они сыпались на землю, сбитые ветром. Я помню, какие пятна оставляет ежевика и какой у них красивый цвет, помню и пятна от ореховой шелухи, которые не поддаются ни мылу, ни воде, что нам было знакомо по горькому опыту. Я помню вкус кленового сока, помню, когда его надо собирать и как устроены корыта и сточные желоба, как уваривают сок и как крадут сахар, когда он готов; помню также, насколько краденый сахар вкуснее полученного честным путем, что бы там ни

говорили святоши. Я знаю, как выглядит хороший арбуз, когда он греет на солнце свой круглый животик, лежа среди побегов тыквы, и умею узнавать зрелый арбуз без "вырезки"; помню, как заманчиво он выглядит в лохани с водой под кроватью, куда его положили охладиться; помню, как он выглядит на столе в большой крытой галерее между домом и кухней, когда дети, облизываясь, толпятся вокруг, ожидая жертвоприношения; помню, с каким треском вонзается нож в его макушку, и вижу, как трещина бежит перед лезвием и нож доходит до самого низа; вижу, как арбуз раскалывается пополам, показывая сочную красную мякоть и черные семечки, как отстает сердцевина - завидный кусок, которого достаиваются только избранные; я помню, как выглядит мальчишка, спрятавшись за ломтем такого арбуза в ярд длиною, помню, что он чувствует при этом, - я сам был на его месте. Я помню вкус арбуза, полученного честным путем, и вкус арбуза, добытого другим способом. И тот и другой хороши, но люди опытные знают, который вкуснее. Я помню, как выглядят на дереве зеленые яблоки, персики и груши и какое они вызывают потом бурчанье в животе. Я помню, как выглядят они, когда созрели и сложены под деревьями в пирамиды, как они красивы и какие у них яркие краски. Помню, как выглядит мороженое яблоко, когда лежит зимой в бочке на дне погреба, как трудно от него откусить, как ломит от холода зубы и как оно все-таки вкусно. Я помню склонность старших выбирать для детей яблоки с пятнышками и когда-то знал способ перехитрить старших. Я знаю, как выглядит яблоко, когда печется и шипит на очаге, знаю, как приятно съесть его горячим, со сливками, посыпав сахаром. Мне памятно тонкое искусство колоть орехи молотком на утюге так, чтобы ядро оставалось целым, помню также, как эти орехи в соединении с зимними яблоками, сидром и лепешками обновляли рассказанные взрослыми старые сказки и старые анекдоты, сообщая им занимательность и свежесть, и помогали скоротать вечер так, что время летело незаметно. Помню кухню дяди Дэна, какой она была в счастливые вечера моего детства; как сейчас вижу черную и белую детвору, сгрудившуюся поближе к очагу, игру огня на их лицах, тени, пляшущие по стенам, светлые по сравнению с пещерным мраком в глубине комнаты; слышу, как дядя Дэн рассказывает бессмертные сказки, которые были впоследствии собраны в книгу дядюшкой Римусом {39} и пленили мир; чувствую снова, как радостная дрожь пробегает по телу, когда близится рассказ о привидениях, и сожаление, овладевавшее мной, потому что этим рассказом всегда заканчивался вечер и ничто не стояло между нами и ненавистой постелью.

Помню ничем не застланную деревянную лестницу в дядином доме, влево от площадки, стропила и покатую крышу над моей кроватью, квадраты лунного света на полу, белый и холодный снеговой простор, видневшийся в незанавешенное окно. Помню, как завывал ветер, как дрожал дом в бурные ночи и как тепло и уютно было лежать под одеялом и прислушиваться; как снежная пыль просеивалась в щели оконных рам и ложилась холмиками на полу, отчего комната по утрам казалась холодной, и это убивало всякое желание встать, если оно имелось. Я помню, какой темной была эта комната в новолуние и какая в ней стояла гробовая тишина, если случалось проснуться среди ночи, тогда забытые грехи толпою выплывали из тайников памяти и назойливо осаждали меня, а время для этого было совсем неподходящее, - и как зловеще и заунывно звучало уханье совы и вой волка, доносившиеся вместе с ночным ветром.

Помню, как в летние ночи бесновался дождь на этой крыше и как приятно было лежать и прислушиваться к нему, наслаждаясь белыми вспышками молнии и величественными ударами и раскатами грома. Комната была расположена очень удобно; до громоотвода можно было достать из окна рукой, и было очень ловко слезать и снова взбираться по нему в летние ночи, когда предстояли дела, которые желательно было сохранить в тайне.

Помню ночную охоту на енота и на опоссума в обществе негров - долгий путь сквозь непроглядный мрак лесов и волнение, которым загорались все, когда далекий лай опытной собаки доносил о том, что дичь загнана на дерево; и как мы продирались сквозь кусты и колючки и спотыкались о корневища, добираясь до места; как разводили костер и валили дерево, как неистовствовали собаки и охотники; и какое это было необыкновенное зрелище в

багровом блеске огня, - все это я помню хорошо, помню и удовольствие, которое при этом испытывали все участники, кроме енота.

Помню сезон голубиной охоты, когда птицы слетались миллионами и сплошь покрывали деревья, так что ветви ломались под их тяжестью. Голубей били палками; ружья были не нужны, их не пускали в ход. Помню охоту на белок, на луговых тетеревов, на диких индеек и другую дичь; помню, как мы собирались в эти экспедиции по утрам, еще в темноте; как бывало холодно и неприятно и как я жалел о том, что не болен и надо идти. Жестяной рожок сзывал вдвое больше собак, чем требовалось; от радости они скакали и носились вокруг, сшибая детвору с ног, и без всякой надобности поднимали невозможный шум. По данному сигналу они исчезали в лесу, и мы молча пробирались за ними в неприветливой тьме. Но скоро в мир прокрадывался серый рассвет, птицы начинали чирикать, потом всходило солнце и заливало все вокруг светом и радостью; все было свежо, душисто, покрыто росой, и жизнь снова казалась благом. Пробродив часа три, мы возвращались домой здоровые и усталые, нагруженные дичью, очень голодные - и как раз вовремя, к завтраку.

1898

[В РОЛИ МЕДВЕДЯ. - СЕЛЕДКА]

Это было в 1849 году. Мне тогда исполнилось четырнадцать лет. Мы все еще жили в Ганнибале, штат Миссури, на берегах Миссисипи, в новом деревянном доме, построенном отцом лет пять назад. То есть одни из нас жили в новой половине дома, а остальные - в старой, которая выходила во двор и примыкала к новой вплотную. Осенью моя сестра устроила вечеринку и пригласила всю городскую молодежь на возраст. Я был слишком молод для этого общества и слишком застенчив - во всяком случае для того, чтобы якшаться с барышнями, - и меня не пригласили; то есть пригласили, но не на весь вечер. Десять минут - вот все, что приходилось на мою долю. Мне предстояло сыграть роль медведя в маленькой пьесе-сказке. Я должен был одеться в костюм, облегающий все тело, из чего-то бурого и лохматого, подходящего для медведя. Около половины одиннадцатого мне велели идти в мою комнату, переодеться в эту личину и быть готовым через полчаса. Я приступил было к делу, но передумал, потому что мне хотелось поупражняться немножко, а в комнате было очень тесно. Я пробрался в большой пустой дом на углу Главной улицы, не подозревая того, что человек десять молодежи тоже пошли туда переодеваться в свои костюмы. Я взял с собой маленького негртенка Сэнди, и мы с ним выбрали просторную и совсем пустую комнату на втором этаже. Мы вошли в нее разговаривая, и это дало возможность двум полуодетым девицам незаметно для нас укрыться за ширмой. Их платья и прочая одежда висели на крючках за дверь, но я этого не заметил; дверь закрывал Сэнди, но все его мысли были поглощены спектаклем, и он был так же мало способен заметить их, как и я сам.

Ширма была ветхая, со множеством дыр, но так как я не знал, что за ней прячутся девушки, то меня эта подробность не тревожила. Если б я знал, то не стал бы раздеваться в потоке безжалостного лунного света, который лился в занавешенное окно: я бы умер от стыда. Не смущаемый никакими предчувствиями, я разделся догола и начал репетировать. Преисполненный честолюбия, я решил добиться успеха, горел желанием прославиться в роли медведя, чтоб меня и в дальнейшем приглашали на эту роль, и потому принялся за работу с увлечением, которое обещало очень многое. Я скакал на четвереньках с одного конца комнаты на другой, а Сэнди восторженно аплодировал мне; я становился на задние лапы, рычал, ворчал и огрызался, становился на голову, кувырчался, неуклюже плясал, согнув лапы и поводя воображаемым рылом из стороны в сторону, - словом, проделывал все, что только может проделывать медведь, и многое такое, чего никакому медведю не сделать и чего, во всяком случае, ни один уважающий себя медведь делать не станет; и, разумеется, я не подозревал, что у меня есть еще зрители, кроме Сэнди. Под конец, став на голову, я замер в этой позе, чтобы передохнуть минутку. Наступило короткое молчание, потом Сэнди спросил оживленно и с интересом:

- Мистер Сэм, вы видели когда-нибудь сушеную селедку?

- Нет. А что это такое?
- Это такая рыба.
- Ну и что же? Разве в ней есть что-нибудь особенное?
- Еще бы, сэр! Конечно, есть. Ее едят со всеми потрохами!

Из-за ширмы раздалось подавленное женское хихиканье! Разом лишившись всех сил, я рухнул, словно подорванная башня, и опрокинул своей тяжестью ширму, похоронив под ней обеих девушек. В испуге они пронзительно взвизгнули раза два, может быть, визжали и еще, но я не стал дожидаться и считать. Я схватил свою одежду и скатился вниз, в темную переднюю, а за мной и Сэнди. Я оделся в полминуты и убежал с черного хода. Я заставил Сэнди поклясться в вечном молчании, потом мы ушли и спрятались, пока не кончилась вечеринка. Честолюбие мое выдохлось. После такого приключения мне стыдно было глядеть в глаза этой веселой компании, потому что в ней были две актрисы, которые знали мою тайну и, верно, стали бы смеяться надо мной исподтишка. Меня искали, но не нашли, и медведя пришлось играть одному молодому джентльмену в обычном цивилизованном платье. В доме было тихо, и все уже уснуло, когда я наконец отважился вернуться. На сердце у меня скребли кошки, я горько переживал свой позор. К моей подушке был приколот клочок бумажки с написанной на нем строкой, которая отнюдь не повысила моего настроения, а только заставила меня сгореть со стыда. Она была написана старательно измененным почерком, и вот какие там были насмешки:

"Не знаю, как ты плясал в медвежьей шкуре, зато голышом ты плясал отлично - очень, очень хорошо!"

Мы считаем мальчишек грубыми, бесчувственными животными, однако не во всех случаях так бывает. У каждого мальчишки найдется одно-два чувствительных места, и если знать, где они, то стоит только дотронуться, и его обожжет, как огнем. Я страдал невыносимо. Я так и ждал, что наутро о происшествии будет знать весь городок; но вышло иначе: тайна осталась известна только двум девушкам, Сэнди и мне. Это несколько утишило мои муки, но далеко недостаточно - главная беда оставалась: на меня смотрели четыре насмешливых глаза, и это было все равно что тысяча, - все девичьи глаза казались мне именно теми, которых я так боялся. Целый месяц я не мог взглянуть ни на одну молодую девушку и в смущении опускал глаза, когда какая-нибудь из них улыбалась мне, здороваясь при встрече. Я говорил себе: "Это она и есть", - и поскорее уходил от нее. Конечно, я повсюду встречал тех двух девушек, но или они ничем себя не выдавали, или я был недостаточно сообразителен, чтобы это подметить. Когда я уезжал из Ганнибала, четырьмя годами позже, тайна все еще оставалась тайной, я так и не разоблачил моих девушек и больше не надеялся на это и не ждал.

Одной из самых милых и хорошеньких девушек в городке во времена моего несчастья была та, которую я назову Мэри Уилсон, потому что ее звали иначе. Ей было двадцать лет; она была изящная и прелестная, цветущая и очаровательная, грациозная и привлекательная по характеру. Я перед ней благоговел, потому что она казалась мне ангелом, созданным из той глины, из которой делают ангелы, и, по справедливости, недостижимой для такого скверного, заурядного мальчишки, как я. Ее я даже не подозревал никогда. Однако же...

Место действия переносится в Калькутту, сорок семь лет спустя. Это было в 1898 году. Я должен был там выступать. Когда я входил в отель, из дверей выскользнуло видение, облаченное в сияние индийского солнца, - та самая Мэри Уилсон из моего давно минувшего детства. Поразительно! Прежде чем я успел прийти в себя от радостного изумления, она скрылась. Я подумал, что, быть может, вижу призрак, но нет, она была из плоти и крови. Это была внучка той другой Мэри. Другая Мэри, теперь вдова, была наверху и в скором времени прислала за мной. Она постарела, поседела, но все еще выглядела молодой и была очень красива. Мы долго сидели и разговаривали. Наши жаждущие души окунулись в живительное вино прошлого, волнующего прошлого, прекрасного прошлого, дорогого и оплакиваемого прошлого; мы называли имена, которых вот уже пятьдесят лет не произносили наши уста, и эти имена звучали музыкой; благоговейными руками откапывали мы наших покойников и

говорили о них трогательные слова; мы обыскивали запыленные покои нашей памяти и извлекали оттуда случай за случаем, эпизод за эпизодом, шалость за шалостью, и смеялись над ними таким добрым смехом, смеялись до слез; и наконец Мэри сказала - неожиданно и без всяких приготовлений:

- Скажите мне, что такого особенного в сушеной селедке?

Казалось бы, странный вопрос в такую торжественную минуту. Да еще заданный так некстати. Я был слегка шокирован. И все же в самых глубинах моей памяти что-то где-то зашевелилось. Это заставило меня думать, размышлять, доискиваться. Сушеная селедка? Сушеная селедка? Что особенного в суше... Я взглянул на нее. Ее лицо было серьезно, только какая-то смутная искорка таилась в глазах, которые... И вдруг я вспомнил и из далеких глубин седого прошлого до меня донесся знакомый голос: "Ее едят со всеми потрохами!"

- Наконец-то! Одну из вас я все-таки поймал! А кто же была другая?

Но тут она поставила точку. Так и не сказала мне.

Однако жизнь мальчишки отнюдь не вся сплошь комедия, в нее входит и много трагического. Пьяный бродяга - упомянутый в другом месте, тот, который сгорел в городской тюрьме, - потом угнетал мою совесть сто ночей подряд и заполнил их кошмарными снами - снами, в которых я видел так же ясно, как наяву, в ужасной действительности, его умоляющее лицо, прильнувшее к прутьям решетки, на фоне адского пламени, пылавшего позади; это лицо, казалось, говорило мне: "Если бы ты не дал мне спичек, этого не случилось бы; ты виноват в моей смерти". Я не мог быть виноват, я не желал ему ничего худого, а только хорошего, когда давал ему спички, но это не важно, у меня была тренированная пресвитерианская совесть, и она признавала только один долг - преследовать и гнать своего раба в любом случае и под любым предлогом, а особенно, когда в этом не было ни толку, ни смысла. Бродяга, который был виноват, мучился десять минут, я же, ни в чем не повинный, мучился три месяца.

Убийство бедняги Смарра в полдень на Главной улице наделило меня еще и другими снами, и в них всегда повторялась все та же безобразная заключительная картина: большая семейная библия, раскрытая на груди старого богохульника каким-то заботливым идиотом, поднимается и опускается в такт тяжелому дыханию, усиливая своим свинцовым весом муки умирающего. Мы странно созданы. Во всей толпе глазееущих и сочувствующих зрителей не нашлось ни одного, у кого хватило бы здравого смысла понять, что даже наковальня была бы здесь уместней и приличней, чем библия, менее доступна сарказму критики и быстрее довершила бы свое жестокое дело. В моих кошмарах я много ночей бился и задыхался под гнетом этой огромной книги.

На протяжении всего двух лет у нас произошло еще две или три трагедии, и мне так не повезло, что я каждый раз оказывался слишком близко. Был один невольник, которого убили глыбой шлака за какую-то пустяковую провинность, - я видел, как он умирал. И молодой эмигрант из Калифорнии, которого ударил охотничьим ножом пьяный собутыльник, - я видел, как жизнь красной струей хлынула из его груди. И случай с двумя буйными молодыми братцами и безобидным стариком дядюшкой: один из братьев давил старику коленями на грудь, а другой пытался застрелить его из револьвера системы Аллена, который никак не стрелял. Я, конечно, оказался как раз поблизости.

Потом был еще случай с молодым калифорнийским эмигрантом, который напился пьян и решил в одиночку ограбить "Дом валлийца" в темную грозовую ночь. Этот дом стоял на склоне Холидэй-Хилла, и его единственными обитательницами были одна бедная, но почтенная вдова и ее непорочная дочка. Напавший хулиган перебудил весь городок своими буйными криками, грубыми ругательствами и непристойностями. Я пробрался туда с приятелем, кажется, Джоном Бригзом, - посмотреть и послушать. Фигура мужчины была едва видна; женщины стояли на крыльце, скрытые глубокой тенью кровли, но мы слышали голос старшей из женщин. Она зарядила старый мушкет самодельными пулями и предупредила грабителя, что если он не уйдет, пока она сосчитает до десяти, то это будет стоить ему жизни. Она начала считать не торопясь, он захохотал. На "шести" он перестал

смеяться; потом в глубокой тишине слышалось только, как она считала ровным голосом: "Семь... восемь... девять... - долгая пауза, мы затаили дыхание - ...десять!" Красная вспышка пламени осветила тьму, и человек упал с пробитой, как решето, грудью. Тут хлынул ливень с громом, и только того и ждавшие горожане поползли на гору, в свете молнии напоминая нашествие муравьев. Эти люди видели все остальное: на мою долю было вполне достаточно. Я пошел домой, зная, что увижу все это во сне, и не ошибся.

Мое воспитание и обучение позволяли мне вникнуть в эти трагедии глубже, чем доступно было человеку невежественному. Я знал, для чего они. Я пытался скрыть это от самого себя, но в самых тайных глубинах своего взволнованного сердца я знал - и знал, что знаю. Все это было измышлено провидением ради того, чтобы заманить меня на дорогу к лучшей жизни. Это звучит крайне наивно и самонадеянно, но для меня здесь не было ничего странного: это вполне согласовалось с неисповедимыми и мудрыми путями провидения, как я их понимал. Меня бы не удивило и даже не слишком польстило бы мне, если б господь истребил все население городка ради того, чтобы спасти одного такого отступника, как я. При моем воспитании, мне казалось, что это вполне справедливо и очень стоит таких затрат. Чего ради провидение должно особенно тревожиться о таком своем достоянии, мне и в голову не приходило, и во всем этом простодушном городке некому было надоумить меня. Ни у кого и мысли такой не было, прежде всего.

Это сушая правда - я принимал все эти трагедии на свой счет, прикидывая каждый случай по очереди и со вздохом говоря себе каждый раз: "Еще один погиб - из-за меня: это должно привести меня к раскаянию, терпение господне может истощиться". Однако втайне я верил, что оно не истощится. То есть я верил в это днем, но не ночью. С заходом солнца моя вера пропадала, и липкий холодный страх сжимал сердце. Вот тогда я раскаивался. То были страшные ночи - ночи отчаяния, полные смертной тоски. После каждой трагедии я понимал, что это предупреждение, и каялся; каялся и молился: попрошайничал, как трус, клянчил, как собака, - и не в интересах тех несчастных, которые были умерщвлены ради меня, но единственно в своих собственных интересах. Оно кажется эгоизмом, когда я вспоминаю об этом теперь.

Мое раскаяние бывало очень искренним, очень серьезным, и после каждой трагедии я долго-долго раскаивался каждую ночь. Но обычно покаянное настроение не выдерживало дневного света. Оно бледнело, рассеивалось и таяло в радостном сиянии солнца. Оно было создано страхом и тьмою и не могло существовать вне собственной сферы. День одарял меня весельем и миром, а ночью я снова каялся. Я не уверен, что в течение всей моей мальчишеской жизни я когда-либо пытался вернуться на путь добродетели днем или желал на него вернуться. В старости мне никогда не пришло бы в голову пожелать чего-нибудь подобного. Но в старости, как и в юности, ночь приносит мне много тяжких угрызений. Я сознаю, что с самой колыбели был таким же, как и все люди, - не совсем нормальным по ночам. Когда умер "Индеец Джо"... Но об этом не стоит. Где-то я уже описывал, какую адскую бурю раскаяния мне пришлось тогда пережить. Думаю, что в течение нескольких месяцев я был чист, как свежевывающий снег - после наступления темноты.

1898

[ДЖИМ, ВУЛФ И КОТЫ]

Это было еще в те давние времена - в 1848 или 1849 году, - когда Джим Вулф появился у нас. Он был из глухого поселка в тридцати - сорока милях от нашего городка и принес с собой всю кротость, мягкость и простоту, какие были ему даны от природы. Лет около семнадцати, серьезный и худенький, честный, доверчивый, благородный; существо, достойное любви и привязанности. И невероятно застенчивое. С нами он прожил довольно долго, но так и не мог преодолеть этого своего недостатка: он никогда не чувствовал себя свободно в присутствии женщин, будь это даже моя добрая и кроткая мать, а разговаривать с девушкой было для него совершенно невозможно. Как-то он сидел неподвижно, - в комнате разговаривали дамы, - и вдруг по ноге у него поползла оса и пребольно ужалила его раз десять подряд; он не подал и виду, только слегка морщился при каждом укусе, да слеза

навернулась на глаза от этой пытки. Он стеснялся даже пошевелиться.

Вот с такими-то людьми и случаются самые неприятные истории. Как-то зимним вечером моя сестра позвала гостей тянуть леденцы. Я был слишком молод для того, чтобы меня приняли в компанию, а Джим слишком робок. Меня рано отослали спать, а Джим последовал за мной по собственному желанию. Его комната была в новой половине дома, окно выходило на крышу пристройки. На этой крыше лежало шесть дюймов снега и снег был покрыт ледяной коркой, скользкой, как стекло. Над гребнем крыши торчала короткая труба - обычное прибежище котов в лунные ночи, - а эта ночь была лунная. Ниже трубы, под застрехой, плети сухих лоз тянулись к столбикам, образуя уютный навес, и спустя час-другой целая толпа веселящейся молодежи собралась под ним, поставив блюдца жидкого с пылу горячего леденца на мерзлую почву, чтобы остудить. Слышались веселые шутки, поддразнивание и смех - взрыв за взрывом.

Приблизительно в это время два старых неважной репутации кота взобрались на трубу и завели ожесточенную свару, кто их знает из-за чего; приблизительно в это же время я бросил всякие попытки уснуть и пошел навестить Джима. Он не спал и сердился на котов и на их невыносимые вопли. Я насмешливо спросил его, почему он не вылезет на крышу и не прогонит котов. Он был уязвлен и опрометчиво ответил, что возьмет да и вылезет.

Слова были неосторожные, и, вероятно, Джим пожалел о них раньше, чем они сорвались у него с языка. Но было уже слишком поздно - ему нельзя было отступить. Я его знал; я знал, что он скорее сломит шею, чем отступится, если я сумею его раздражить.

- Ну, еще бы ты не вылез! Кто же сомневается?

Он рассердился и раздраженно выпалил:

- Может быть, ты сомневаешься?

- Я? Ну нет! И не подумаю сомневаться! Ты же всегда проделываешь удивительные штуки, - на словах, конечно.

Тут уж он вышел из себя. Кое-как напялил свои нитяные носки и стал поднимать окно, приговаривая дрожащим от злости голосом:

- Ты думаешь, я побоюсь? Да, думаешь? Ну и думай, что хочешь! Мне наплевать, что бы ты ни думал! Вот я тебе покажу!

Окно приводило его в ярость - никак не хотело подниматься.

- Не беда, давай поддержи, - сказал я.

И правда, я бы сделал все что угодно, лишь бы ему помочь. Я был всего-навсего мальчишка и радостно предвкушал события. Он осторожно вылез, цепляясь за подоконник, пока не стал твердо на ноги, потом пустился в опасный путь по обледенелому гребню на четвереньках; одна нога и рука были по эту сторону крыши, а другая нога и рука - по ту. Воспоминание об этом доставляет мне и теперь такое же удовольствие, как тогда, а ведь это было лет пятьдесят тому назад. Раздуваемая ветром короткая сорочка хлестала его по худым ляжкам; хрустальная кровля сверкала, как полированный мрамор в ярком сиянии луны; ничего не подозревавшие коты сидели, ошетилившись, на трубе, настороженно следя друг за другом, виляя хвостами и изливаясь в жалобном вое. Джим подползал медленно и осторожно, сорочка хлопала, а веселая, шаловливая молодежь под навесом, ничего этого не видя, нарушала торжественность минуты своим шумным смехом. Каждый раз, как Джиму случалось поскользнуться, во мне оживали надежды, но он полз все дальше и не оправдывал их. Наконец он подобрался поближе к трубе, осторожно встал на ноги, не торопясь соразмерил расстояние, нацелился схватить ближайшего кота - и промахнулся. Конечно, он потерял равновесие. Он упал на спину пятками вверх, со скоростью ракеты полетел с крыши ногами вперед, провалился сквозь плети сухой лозы и уселся прямо на четырнадцать блюдец с горячим леденцом - при всем обществе, да еще в том, в чем он был, тогда как этот паренек и одетый не смел взглянуть в глаза ни одной девушке. Поднялся переполох, целая буря криков, и Джим помчался по лестнице, усыпая свой путь черепками битой посуды.

Тем инцидент и кончился. Но я-то еще с ним не покончил, хотя сам не подозревал



этого. Восемнадцатью или двадцатью годами позже я приехал в Нью-Йорк из Калифорнии, к тому времени потерпев неудачу во всех остальных моих начинаниях, и без заранее обдуманного намерения ввалился в литературу. Это было в начале 1867 года. Мне предложили за большие деньги написать что-нибудь для "Сэнди Меркюри", и я ответил рассказом "Джим Вулф и коты". Получил я также и деньги за него - двадцать пять долларов. Мне, по-видимому, переплатили, но я ни слова не сказал на этот счет - в то время я был не так щепетилен, как теперь.

Годом или двумя позже рассказ "Джим Вулф и коты" появился в одной теннессийской газете - под маской, поскольку дело касалось правописания: он был замаскирован под южный диалект. Человек, присвоивший себе рассказ, был очень известен на Западе и пользовался большой популярностью, - и, я думаю, по заслугам. Он написал несколько самых забавных рассказов, из тех, какие мне пришлось читать, и отличался тем, что работал непринужденно и легко. Его имя не сохранилось у меня в памяти.

Прошло несколько лет; рассказ опять выплыл на поверхность - и выплыл в первоначальном виде, подписанный моим именем. Вскоре после этого сначала одна газета, а потом и другая ожесточенно напали на меня за то, что я "украл" "Джима Вулфа" у теннессийского литератора. Меня осудили беспощадно, но я и ухом не повел. Все это в порядке вещей. Кроме того, задолго до этого случая я узнал, что неразумно отвечать на клевету и этим раздувать ее, если только вы не заинтересованы в том, чтобы на вас клеветали. Клевета редко может устоять против молчания.

Но я еще не покончил с "Джимом и котами". В 1873 году я выступал с публичными чтениями в Лондоне в концертном зале на Ганновер-сквер, а жил в Лэнгем-отеле, на Портленд-плейс. По эту сторону океана у меня не было домашнего хозяйства, не было и официальных домочадцев, кроме Джорджа Долби - устроителя лекций, и Чарльза Уоррена Стоддарда<sup>{51}</sup> - калифорнийского поэта, а ныне профессора английской литературы в Вашингтонском католическом университете. Официально Стоддард был моим личным секретарем, а в действительности он был просто моим товарищем, - я нанимал его для компании. Как секретарю ему нечего было делать, кроме как ежедневно наклеивать в альбом вырезки из газет о громком процессе Тичборна<sup>{52}</sup> (о лжесвидетельстве). Но он и из этого ухитрялся создавать грандиозную работу, потому что отчеты о процессе заполняли по шесть газетных столбцов каждый день, и он обычно откладывал расклейку до воскресенья: тогда ему приходилось вырезать и наклеивать сорок два столбца, - поистине геркулесова работа. Он делал свое дело хорошо, но будь он постарше и послабей, оно убило бы его в первое же воскресенье. Несомненно, он и свои литературные лекции читает хорошо, но так же несомненно, что он начинает готовиться к ним за четверть часа до своего появления на кафедре, и это придает им свежесть и блеск, которых они могли бы лишиться под иссушающим влиянием усиленных занятий.

Он был интересным собеседником, когда не спал. Это был человек культурный, чуткий, обаятельный, мягкий, великодушный, он был честен сам и не сомневался в честности ближнего, и думаю, что и в душе и на словах это был самый чистый человек, какого я знал. Джордж Долби представлял собой полный контраст ему, тем не менее они не ссорились и отлично уживались друг с другом. Долби был крупный, румяный, полный жизни, сил и воодушевления, неутомимый и энергичный в разговоре, через край переполненный добродушием и брызжущий весельем. Задумчивый поэт и жизнерадостная горилла составляли избранный и вполне достаточный зверинец. Один нескромный анекдот повергал в отчаяние Стоддарда; Долби же рассказывал ему по двадцать пять в день. Долби всегда провожал нас домой после лекции и до полуночи занимал Стоддарда разговорами. Меня тоже. После его ухода на сцену выступал я с разговорами, а Стоддард дремал на диване. Я нанял его для компании.

Долби уже много лет устраивал концерты, спектакли, чтения Чарльза Диккенса, всякого рода выставки и аттракционы. Он успел узнать человека со всех сторон и не очень-то в него верил. Зато верил поэт; несчастные и заблудшие находили в нем друга.

Долби напрасно пытался убедить его в том, что он расточает свое милосердие не по адресу, - он так и не поддался убеждениям. Как-то во время лекции один молодой американец сумел добраться до Стоддарда в концертном зале и рассказал ему трогательную историю. Он сказал, что живет на левом берегу Темзы, и, неизвестно по какой причине, денежные переводы из дому не доходят до него; денег у него нет, работу он потерял, друзей не имеет; его юная жена и новорожденный младенец буквально голодают. Ради всего святого - не даст ли Стоддард ему займы один соверен, пока он не начнет опять получать деньги из дому? Стоддард был глубоко тронут и выдал ему соверен за мой счет. Долби издевался над ним, но Стоддард твердо стоял на своем. После лекции каждый из них рассказал мне эту историю по-своему, и я поддержал Стоддарда. Долби сказал, что оба мы с ним переодетые бабы, да к тому же еще и полоумные бабы. На следующей неделе молодой человек явился снова. Жена у него заболела плевритом, у ребенка не то глисты, не то еще что-то, я забыл название болезни, - все деньги ушли на доктора и на лекарства, несчастная маленькая семья умирает голодной смертью. Если бы Стоддард "по доброте сердечной мог уделить ему еще один соверен" и т.д. и т.д. Стоддард очень растрогался и уделил ему соверен из моих денег. Долби возмутился. Он не смолчал и обратился к посетителю:

- Ну, молодой человек, вы пойдете с нами в гостиницу и изложите ваше дело третьему члену нашей семьи. Если вы не внушите ему доверия, то я больше не стану платить вам по чекам нашего поэта, потому что сам я вам не верю.

Молодой человек охотно согласился. Я не нашел в нем ничего дурного. Напротив, я ему сразу поверил и пожелал уврачевать раны, нанесенные слишком откровенным недоверием Долби; и потому я сделал все, что только мог придумать, лишь бы он приободрился, почувствовал себя как дома и успокоился. Я рассказывал много всяких историй, между прочим и "Джим Вулф и коты". Узнав, что он тоже понемножку занимается литературой, я пообещал, что попытаюсь найти ему сбыт по этой части. Его лицо радостно просияло, и он сказал, что если б я только мог продать для него маленькую рукопись в "Ежегодник" Тома Гуда{53}, то это было бы самым счастливым событием в его печальной жизни и он всегда вспоминал бы меня с благодарностью. Для нас троих это был самый приятный вечер, только Долби негодовал и иронизировал.

Через неделю ребенок умер. Тем временем я успел переговорить с Томом Гудом и заручиться его сочувствием. Молодой человек послал ему свою рукопись, и в тот самый день, как умер ребенок, пришли деньги за рассказ три гинеи. Молодой человек явился с жалкой полоской траурного крепа на рукаве, благодарил меня и сказал, что эти деньги пришли как нельзя более вовремя, и его бедняжка жена благодарна мне выше всяких слов за оказанную мной услугу. Он заплакал, и, по правде сказать, Стоддард и я заплакали вместе с ним, что было только естественно. И Долби тоже заплакал. По крайней мере он утирал глаза, выжимал носовой платок, громко рыдал и вообще преувеличенно проявлял горе. Стоддарду и мне было стыдно за Долби, и мы постарались дать понять молодому человеку, что Долби не хотел его обидеть, - это только манера у него такая. Молодой человек грустно ответил, что он не обижается, его горе слишком глубоко, чтобы он мог чувствовать что-нибудь другое; он думает только о похоронах и непосильных расходах, которые...

Мы его прервали и попросили не беспокоиться, а предоставить все это нам, счета же посылать мистеру Долби и...

- Да, - сказал Долби с притворной дрожью в голосе, - посылайте их мне, я их оплачу. Как, вы уходите? Вам нельзя идти одному в таком дурном состоянии. Мы с мистером Стоддардом вас проводим. Идем, Стоддард. Мы утешим убитую горем маму и возьмем на память локон младенческих волос.

Это было возмутительно. Нам опять стало за него стыдно, мы так ему и сказали. Но он и ухом не повел.

- Знаю я эту породу, - сказал он, - джунгли ими кишат. Я вот что предлагаю: если он покажет мне свое семейство, я ему дам двадцать фунтов. Пошли!

Молодой человек сказал, что не желает оставаться тут для того, чтобы его оскорбляли,

отклонялся и схватился за шляпу. Но Долби сказал, что непременно пойдет с ним и не оставит его до тех пор, пока не найдет его семью. Стоддарт тоже пошел с ними, для того, чтобы утешать молодого человека и умирять Долби. Они переправились за реку, ездили по всему Саутворку, но так ничего и не нашли. В конце концов молодой человек сознался, что никакой семьи у него нет.

Рукопись, которую он продал в "Ежегодник" Тома Гуда за три гинеи, была "Джим Вулф и коты". И моего имени он под ней не поставил.

Так этот маленький рассказ был продан три раза. А теперь я снова продаю его, - это одна из самых доходных вещей, какие мне только доставались.

1898

[МАКФАРЛЕЙН]

Когда мне исполнилось двадцать лет, я перебрался в Цинциннати и прожил там несколько месяцев. Жильцы нашего пансиона были самые заурядные люди разного возраста и обоего пола. Все это был народ суетливый, легкомысленный, разговорчивый и жизнерадостный, даже добродушный, порядочный и доброжелательный, но при всем том удручающе неинтересный. За одним исключением - это был шотландец Макфарлейн. Ему было сорок лет, как раз вдвое больше, чем мне, но мы с ним во многом не сходились и стали дружить с самого начала. Я всегда проводил вечера в его комнате перед огнем и наслаждался отдыхом, слушая его неумолкаемый говор и приглушенные завывания зимней вьюги, пока часы не пробьют десять. В это время он поджаривал себе копченую селедку, на манер приятеля прежних времен из Филадельфии, англичанина Сэмнера. Селедку он съедал на сон грядущий, и это было мне знаком уходить.

Он был шести футов ростом, довольно худой, человек серьезный и искренний. Юмора в нем не было, он даже вовсе не понимал его. Улыбка у него была особенная, такая, которая только выражала его добродушие, но если я когда-нибудь и слышал, как он смеется, то совершенно этого не помню. В доме он ни с кем не водился, кроме меня, хотя со всеми был вежлив и мил. У него имелось десятка два-три увесистых книг - по философии, истории, точным наукам, и во главе всего этого ряда стояли библия и словарь. После селедки он всегда читал в постели часа два-три.

Как он ни любил поговорить, о себе он редко что-нибудь рассказывал. Если ему задавали личный вопрос, он не обижался, но и спросивший не получал ответа: Макфарлейн только уклонялся в сторону и спокойно повествовал о чем-нибудь другом. Как-то он рассказал мне, что не получил почти никакого образования и всему, что знает, выучился самоучкой. Это, кажется, было его единственное биографическое откровение. Холостяк ли он был, вдовец, или соломенный вдовец - это так и осталось его тайной. Одевался он по дешевке, но аккуратно и очень следил за чистотой. Пансион наш был из дешевых; он уходил из дому в шесть утра и возвращался к шести вечера; руки у него были жесткие, и потому я заключил, что он какой-то механик, работает по десять часов в день, за очень скромную плату, - но я так и не узнал этого наверное. Обычно техническая сторона профессии, образы и метафоры, относящиеся к ней, проскальзывают в разговоре человека и выдают его ремесло; но если Макфарлейну когда и случалось проговориться, то мне это несколько не помогло, хотя я целые полгода был настороже, выжидая этих самых разоблачений из одного только любопытства: меня несколько не интересовало, чем он занимается, но мне хотелось выследить его по всем сыщицким правилам, и очень досадно было, что это не выходит. Думаю, что это был человек замечательный, если ему столько времени удавалось избегать профессиональных тем в разговоре.

В нем была и еще одна достойная внимания черта: он знал весь словарь наизусть, с начала и до конца. Он утверждал, что знает. Он откровенно гордился таким успехом, говоря, что я не смогу найти ни одного английского слова, которое он не сумел бы сразу правильно написать и объяснить, что оно значит. Я потерял много времени, стараясь разыскать такое слово, которое поставило бы его в тупик, но все эти недели были потрачены даром, и в конце концов я бросил поиски; он так возгордился и так обрадовался, что я пожалел, зачем не

сдался раньше.

Библию, кажется, он знал не хуже, чем словарь. Нетрудно было заметить, что он считает себя философом и мыслителем. Разговор его всегда касался важных и серьезных предметов, и я должен отдать ему справедливость, признав, что в его беседе всегда участвовали сердце и совесть и не было и следа рассуждений и разглагольствований ради тщеславного удовольствия послушать самого себя.

Разумеется, его мысли, рассуждения и умствования принадлежали не вполне образованному и совсем недисциплинированному уму, однако иногда у него попадались любопытные и замечательные догадки. Например: это было в самом начале 1856 года - за четырнадцать или пятнадцать лет до того, как мистер Дарвин поразил весь мир "Происхождением человека", - однако Макфарлейн уже тогда говорил на эту тему со мной здесь, в пансионе города Цинциннати.

Одна и та же общая идея, но с некоторой разницей. Макфарлейн считал, что животная жизнь на земле развивалась на протяжении бесчисленных веков из микроскопических зародышей или, быть может, даже одного микроскопического зародыша, брошенного создателем на земной шар на заре времен, и что это развитие шло по восходящей шкале к предельному совершенству, пока не поднялось до человека; а потом эта прогрессивная схема разладилась и пришла в упадок!

Он говорил, что человеческое сердце - единственное дурное сердце во всем животном царстве; что человек единственное животное, способное питать злобу, зависть, ненависть, эгоизм, помнить зло, мстить; единственное животное, которое может терпеть собственную неопрятность и нечистоту в жилище; единственное животное, у которого пышно развился низменный инстинкт, называемый "патриотизмом"; единственное животное, которое грабит, преследует, угнетает и истребляет своих сородичей по племени; единственное животное, которое похищает и поработывает представителей чужого племени.

Он утверждал, что разум человека является грубым придатком и ставит его гораздо ниже других животных и что не было еще человека, который не пользовался бы своим разумом ежедневно в течение всей своей жизни для собственной выгоды и в ущерб другим людям. Самое духовное из духовных лиц, пользуясь превосходством своего интеллекта, низводит своих домашних на уровень смиренных рабов, а эти рабы, в свою очередь, становятся над другими, ниже стоящими людьми, в силу того, что ума у них все-таки немного побольше.

1898

[ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ В БОСТОНЕ]

Я очень хорошо помню Петролеума Везувиуса Нэсби (Локка){58}. Когда началась Гражданская война, он работал в редакции толедского "Клинка", старого, очень популярного и процветающего еженедельника. Выпустив одно из "Писем Нэсби", он открыл золотое дно. И сразу прославился. Избрав этот новый путь, он каждую неделю задавал медноголовым и демократам отличную взбучку, и его письма перепечатывались повсюду, от Атлантического до Тихого океана их читали, покатываясь со смеху, буквально все, - то есть все, кроме особенно тупых и закоснелых демократов и медноголовых. По внезапности слава Нэсби была подобна взрыву, по охвату - атмосфере. Вскоре ему предложили командовать ротой; он принял назначение и немедленно собрался ехать на фронт, но губернатор штата оказался умнее политических хозяев Кернера{58} и Петефи{58}, он не согласился подписать назначение Нэсби и велел ему оставаться дома. Он сказал, что на войне из Нэсби выйдет только один солдат - с одной саблей, а дома он равняется армии - с артиллерией! Нэсби послушался и продолжал писать свои зажигательные письма.

Я увидел его впервые, когда приехал погостить в Хартфорд; думаю, что это было года через три-четыре после войны. Оперный театр был битком набит людьми, которые пришли послушать его лекцию "Проклят будь Ханаан"{58}. Он выступал с этой самой лекцией - и никакой другой - в течение двух или трех лет и прочитал ее несколько сот раз, однако даже теперь он не в состоянии был произнести ни одной фразы, не заглядывая в рукопись, - кроме

вступительной. Его появление на сцене было встречено бурными аплодисментами, но он не остановился, чтобы раскланяться или еще как-нибудь ответить на приветствия, а прямо прошел к кафедре, раскрыл портфель и сразу словно окаменел в позе, которой так и не изменил ни разу за всю полуторачасовую лекцию, разве только для того, чтобы перевернуть страницу: он стоял, наклонившись всем телом над кафедрой, твердо опираясь на левую руку, как на столб, заложив правую руку за спину. Приблизительно в две минуты раз его правая рука протягивалась вперед, переворачивала страницу, потом опять убиралась на свое место за спину, действуя точь-в-точь как машина и напоминая машину: ритмически правильно, быстро, точно. Можно было вообразить, что слышишь лязг. Внушительный и плотный, он одевался по-провинциальному нескладно и походил на простоватого старика фермера.

Я умирал от любопытства послушать, как он начнет. Он не заставил меня долго ждать. Как только он оперся на левую руку, закинул правую за спину и нагнулся над рукописью, он слегка приподнял голову, сверкнул глазами на публику и громовым медвежьим голосом проревел такую фразу:

- Все мы приходим от наших предков!

После чего он так и продолжал реветь до самого конца, бесцеремонно прокладывая себе путь сквозь непрерывные аплодисменты и смех и совершенно не принимая их во внимание. Его лекция являла собой длительную пальбу залпами без промаха по таким мишеням, как рабовладение и его северные апологеты, а успехом он был обязан предмету лекции, но не манере читать; его чтение было лишено искусства, если большая и заражающая искренность и энергия не могут быть названы этим именем. Кончив читать свою лекцию, он в ту же минуту повернулся спиной к зале и сошел со сцены, по-видимому, несколько не заинтересованный лично аплодисментами, гремевшими за его спиной.

Сложение у него было, как у быка, а сила и выносливость - как у призового борца. Экспрессы в то время ходили не часто, он опоздал пересесть на поезд и, чтобы попасть вовремя на эту лекцию в Хартфорде, ехал две трети ночи и целый день в вагоне для скота, - а дело было среди зимы. Не пообедав, он перешел из этого вагона на кафедру, - однако со сцены его голос звучал мощно, и сам он не выказывал никаких признаков утомления и сонливости. Он просидел за полночь, беседуя и ужиная со мной, и то первым сдался я, а не он. Он рассказывал мне, что в первом своем сезоне он читал лекцию "Проклят будь Ханаан" по двадцать пять раз в месяц, девять месяцев подряд. Никакой другой лектор не побил такого рекорда, я полагаю.

Он рассказал, что, повторив свою лекцию двести двадцать пять раз подряд, мог произнести вступительную фразу, не заглядывая в рукопись, а иной раз даже так и делал, расхрабрившись. А вот и еще результат: он возвратился домой после длительного лекционного турне и в задумчивости сидел вечером у камина, как вдруг часы пробили восемь, прервав его раздумье. Привычка есть привычка, и, не успев сообразить, где находится, он проревел: "Все мы приходим от наших предков!"

Я начал читать лекции в 1866 году, в Калифорнии и Неваде; в 1867 году прочел одну лекцию в Нью-Йорке и несколько в долине Миссисипи; в 1868 году объехал весь Запад; а в два или три следующих сезона прибавил и Восток к своему маршруту. Каждый сезон нам теперь приходилось выступать с новой лекцией (и Нэсби вместе с другими) - на первый раз, для проверки перед аудиторией в две с половиной тысячи слушателей, в старом концертном зале бостонского лектория; этой проверкой все лектории страны определяли коммерческую цену лекции. Лекционное турне, в сущности, начиналось не в самом Бостоне, а в окрестных городках. Мы появлялись в Бостоне только после того, как порепетируем около месяца в этих городках и сделаем все нужные поправки и проверки.

При такой системе вся наша компания собиралась в Бостоне в начале октября и несколько недель проводила время, бездельничая и общаясь друг с другом. Жили мы в отеле Йонга, днем сидели в бюро Ретпата{60}, курия и разговаривая о своих литературных делах, а под вечер мы разъезжались по окрестным городкам, чтобы они показали нам, что хорошо и что плохо в новых лекциях. С провинциальной аудиторией трудно иметь дело: анекдот,

который она одобрит легкой рябью смеха, в городе вызвал бы целую бурю. Средний успех в провинции означает триумф в городе. Таким образом, когда мы в конце концов выступали на большой сцене концертного зала, вердикт уже был у нас в кармане.

Но иногда лекторы, которые были новичками в этом деле, не понимали всей важности "пробы на собаке", и такие могли явиться в концертный зал с непроверенным продуктом. Был один такой случай, который порядком встревожил кое-кого из нас, как только мы увидели афишу. Де Кордова, юморист, - вот из-за кого мы взволновались. Думаю, что у него была другая фамилия, но я позабыл какая. Он печатал в журналах мрачно-юмористические рассказы, которые встретили благосклонный прием у читателей и доставили ему довольно широкую известность. А теперь он вдруг вздумал браконьерствовать в наших владениях и захватил нас врасплох. Некоторые из нас захворали - так захворали, что не могли читать лекции. Мы отложили выступления в отдаленных местностях и остались в городе. Мы - Нэсби, Биллингс{61} и я - заняли передние места на одном из балконов и стали ждать. Зал был полон. Когда Де Кордова вышел на сцену, его встретили, как нам показалось, уж слишком радушно и почти до неприличия шумно. Думаю, что мы не ревновали и даже не завидовали, но все-таки нам это было неприятно. Когда я понял, что он собирается читать юмористический рассказ по рукописи, - мне стало легче, я воспрянул духом, но все еще тревожился. Для него, как для Диккенса, был устроен такой же высокий портал вроде виселицы, задрапированный материей, и он стоял позади, освещенный сверху рядом скрытых ламп. Вся эта штука выглядела элегантно и довольно внушительно. Слушатели были так твердо убеждены, что он собирается их насмешить, что первые десять фраз приняли на веру и смеялись от души, - настолько от души, что нам было трудно это перенести, и мы сильно приуныли. Тем не менее я не терял надежды, что он провалится; я видел, что он совсем не умеет читать. Скоро смех начал утихать, потом сокращаться в размахе, дальше - утратил непосредственность, а дальше - появились паузы между взрывами смеха, потом они стали длинней, еще длинней, еще и еще. Получилось так, что они перешли в почти сплошное молчание, в котором уныло гудел этот безжизненный, плохо тренированный голос. Потом целые десять минут весь зал сидел мертвый и бесчувственный. Мы глубоко вздохнули; этот вздох должен был бы выразить сожаление о неудаче нашего собрата по перу, но ничего подобного - мы были такие же подлецы и эгоисты, как и вся человеческая порода, и этот вздох выражал радость по поводу того, что наш безобидный собрат провалился.

Теперь он не читал, а мучился: он то и дело вытирал лицо платком, а голос его и вся повадка смиренно молили о сострадании, о помощи, о милосердии, и зрелище было трогательное. Но зал оставался холодным и безгласным и взирал на него с любопытством и выжидательно.

Высоко на стене висели большие часы; в скором времени взгляды всех зрителей покинули чтеца и сосредоточились на циферблате. По печальному опыту мы уже знали, что это значит; мы знали, что именно сейчас произойдет, но было ясно, что чтец не предупрежден и не знает этого. Время приближалось к девяти, половина зрителей следила за часами, а чтец все еще мучился. Без пяти минут девять тысяча двести человек поднялись в едином порыве и волной хлынули по проходам к дверям! Чтеца словно паралич хватил: несколько минут он стоял разинув рот и в ужасе глядел на это бегство, потом уныло повернулся и побрел со сцены нерешительной и неверной походкой лунатика.

Виноваты были администраторы. Они должны были сказать ему, что последние пригородные поезда отходят в девять и что половина зала встанет и уйдет в это время, кто бы ни разглагольствовал со сцены. Кажется, Де Кордова больше никогда не выступал перед публикой.

1898

[РАЛЬФ КИЛЕР{62}]

Он был родом из Калифорнии. Я, должно быть, познакомился с ним в Сан-Франциско, около 1865 года, когда был газетным репортером, а Брет-Гарт{62}, Амброз Бирс{62}, Чарльз

Уоррен Стоддарт и Прентис Мэлфорд{62} начинали литературную работу в еженедельнике мистера Джо Лоуренса - "Золотой век". Во всяком случае, я был уже знаком с ним в Бостоне несколькими годами позже, когда с ним дружили Гоуэлс{63}, Олдрич{63}, Бойл О'Райли{63} и Джеймс Т. Филдс{63}, - все они относились к нему с большой симпатией. Я сказал "дружили" с ним, и это настоящее слово, хотя он сам не назвал бы так фамильярно свои отношения с ними, - он был самый скромный в мире юноша, смиренно взирал на этих знаменитостей, и был, как ребенок, благодарен за дружеское внимание с их стороны, искренне благодарен, и когда мистер Эмерсон{63}, мистер Уиттьер{63}, Холмс{63}, Лоуэлл{63} или Лонгфелло удостаивали его кивка или улыбки, то его радость умилительно было видеть. В то время ему было не больше двадцати четырех лет, его мягкий от природы характер еще не испортили заботы и разочарования: он был жизнерадостен, и самым трогательным образом надеялся сделать литературную карьеру, хотя бы и не блестящую. Все, с кем он знакомился, становились его друзьями и вполне естественно и безотчетно брали его под опеку.

У него, вероятно, никогда не было ни родного дома, ни детства. Еще мальчиком он пришел откуда-то в Калифорнию, безропотно зарабатывал на хлеб самыми разнообразными и скромными занятиями и проводил время весело и с пользой. Между прочим, ему приходилось даже танцевать "чечётку" в негритянском балагане. Когда ему было около двадцати лет, он сколотил долларов тридцать пять бумажками, что на золото выходило вдвое меньше, на этот капитал совершил поездку по Европе и напечатал статью о своих путешествиях в "Атлантик монсли"{63}. В двадцать два года он написал роман под заглавием "Главерсон и его молчаливые товарищи", и не только написал, но и нашел для него издателя. Впрочем, тут нет ничего удивительного: есть люди, которым даже самый жестокосердый издатель не в состоянии отказать, и Ральф был как раз из их числа. Он благодарил за оказанную любезность так простодушно и искренне, так трогательно и красноречиво, что издатель махал рукой на прибыль, сознавая, что может получить несравненно больше, чем дадут деньги, - то, чего не купишь ни за какие деньги. Книга не могла дать прибыли, ни единого пенни, зато Ральф Килер говорил о своем издателе так, как говорят о божестве. Издатель, конечно, потерял на его книге долларов двести - триста и знал, на что идет, зато вернул все с избытком в виде восторженного преклонения автора.

Ральфу почти нечего было делать, и он нередко ездил со мной на лекции по маленьким городкам в окрестностях Бостона. Туда было не больше часа езды, и обычно мы выезжали около шести вечера, а утром возвращались в город. Чтобы объехать все пригороды Бостона, нужно было около месяца, и этот месяц был самым легким и приятным из четырех или пяти, составлявших "лекционный сезон". "Система лекториев" была тогда в полном расцвете, и контора Джеймса Редпата в Бостоне на Школьной улице поставляла лекторов в Канаду и северные штаты. Редпат давал лекториям на откуп по шесть, по восемь лекций, в среднем долларов по сто за каждую. Десять процентов он брал за комиссию, причем каждая лекция повторялась около ста десяти раз в сезон. В списке у него стояло порядочно имен, дающих доход: Генри Уорд Бичер{64}, Анна Дикинсон{64}, Джо Б. Гоф{64}, Хорэйс Грили{64}, Уэндел Филипс{64}, Петролеум В. Нэсби, Джон Биллингс, исследователь Арктики Хейз, английский астроном Винсент, ирландский оратор Парсонс, Агассиз{64} и другие. В списке у него было человек двадцать - тридцать менее выдающихся, менее знаменитых, которые работали за плату от двадцати пяти до пятидесяти долларов. Имена их давным-давно забыты. Для того, чтобы они попали на трибуну, нужен был какой-нибудь ловкий ход. И Редпат придумал этот ход. Все лектории стремились заполучить громкие имена, добивались их упорно, с тоской и любовью. Редпат снисходил к их мольбам, при условии: на каждое имя, привлекавшее публику, им отпускалось несколько таких, которые публику разгоняли. Такой порядок дал лекториям возможность продержаться несколько лет, но в конце концов погубил их и свел на нет все лекционное дело.

Бичер, Гоф, Нэсби, Анна Дикинсон были единственные лекторы, которые знали себе цену и настаивали на ней. В провинции им платили долларов двести - двести пятьдесят, в

центральных городах - четырехста. Лекторий всегда хорошо зарабатывал на этих четырех лекторах (если благоприятствовала погода), но обычно терял все на остальных, которые разгоняли публику.

Были среди них две женщины, способные разогнать публику, - Олив Логан{65} и Кэт Филд, - но первые два сезона получалось наоборот. Они брали по сто долларов за лекцию и были признанными любимицами публики целых два года. Потом они успешно разгоняли публику, и их услугами перестали пользоваться. Кэт Филд сразу завоевала потрясающую известность в 1867 году корреспонденциями из Бостона о чтении Диккенсом своих произведений в начале его триумфального турне по Америке, которые она посылала в "Трибюн" по телеграфу. Письма были хвалебные до иступления, почти идолопоклоннические, и этим она сразу попала в тон, потому что вся Америка встречала Диккенса с бешеным энтузиазмом. Кроме того, идея посылать статьи по телеграфу была новостью и всех поразила, и это чудо не сходило у всех с языка. Кэт Филд сразу стала знаменитостью. Скоро ее пригласили читать лекции; но прошло два-три года, и ее тема - Диккенс - потеряла свежесть и занимательность. Некоторое время ходили смотреть на нее ради громкого имени, но лектор она была плохой и читала жеманно и натянуто, а потому, когда публика удовлетворила свое любопытство и нагляделась на нее, ей пришлось отказаться от лекций.

Она была хорошая женщина, и эта хрупкая и мимолетная слава составила несчастье всей ее жизни. Она ею бесконечно дорожила и целые четверть века изо всех сил старалась удержать хотя бы подобие славы, но эти усилия не увенчались успехом. Она умерла на Сандвичевых островах, оплакиваемая друзьями и забытая миром.

Известность Олив Логан основывалась на... только посвященные знали, на чем. Совершенно очевидно, что это была известность дутая, а не заработанная. Она, правда, писала и печатала какие-то пустяки в газетах и малоизвестных журналах, но таланта в них не было заметно, - ничего похожего на талант. Ее писания не могли доставить ей славы, пиши она хоть сто лет. Имя ей создали газетные заметки, которые пускал в ход ее муж, мелкий журналист на грошовом жалованье. В течение года или двух эти заметки появлялись регулярно; нельзя было взять в руки газеты без того, чтобы не наткнуться на такую заметку:

"По слухам, Олив Логан наняла коттедж в Наханте, где собирается провести лето".

"Олив Логан решительно высказалась против коротких юбок для вечернего туалета".

"Слух, что Олив Логан собирается провести будущую зиму в Париже, оказывается неосновательным. Она еще не остановилась на определенном решении".

"Олив Логан присутствовала в субботу в зале Уоллока и высказалась положительно о новой симфонии".

"Олив Логан настолько оправилась после своей тяжелой болезни, что в случае дальнейшего улучшения врачи прекратят выпуск бюллетеней с завтрашнего дня".

Результаты этой ежедневной рекламы были весьма любопытны. Имя Олив Логан стало так же известно широкой публике, как имена знаменитостей того времени, люди говорили о том, что она делает и где бывает, обсуждали высказанные ею мнения. Иногда какой-нибудь невежественный субъект из глухой провинции любознательно задавал вопрос - и тут начинался ряд сюрпризов для всех присутствующих:

- А кто такая Олив Логан?

Изумленные слушатели обнаруживали, что они на этот вопрос ответить не могут. Им до сих пор не приходило в голову справиться.

- Что она делает?

Слушатели опять молчали. Им это не было известно. Они не наводили справок.

- Ну, тогда чем же она знаменита?

- О, есть что-то такое, не помню, что именно. Я не спрашивал, но полагаю, что это все знают.

Забавы ради я и сам нередко задавал такие вопросы людям, которые бойко толковали об этой знаменитости, о том, что она делает и говорит. Спрошенные изумлялись, обнаружив,



что принимали ее известность на веру и что они понятия не имеют, кто такая Олив Логан и что она сделала, если вообще сделала что-нибудь.

В силу этой странной образом создавшейся известности Олив Логан пригласили читать лекции, и по меньшей мере в течение двух сезонов все граждане Соединенных Штатов толпой валили в лекционные залы посмотреть на нее. У нее ничего не было за душой, кроме имени и дорогих туалетов, а ни того, ни другого не могло хватить надолго, - хотя на некоторое время этого было достаточно, чтобы получать по сто долларов за лекцию. Все о ней забыли еще двадцать пять лет тому назад.

Ральф Килер был очень приятным спутником в моих выездах из Бостона, и мы часто дружески болтали и курили в номере, распрощавшись с комитетом, который провожал нас до гостиницы. Без комитета дело не обходилось; его члены носили шелковые розетки, встречали нас на станции и везли в лекционный зал, а на эстраде усаживались в ряд позади меня; вначале принято было, чтобы председатель комитета представлял меня публике, но эти представления были так грубо-льстивы, что мне становилось стыдно, и я с большим трудом начинал свою беседу. Обычай был глупый. Представлять было совершенно незачем: делал это почти всегда какой-нибудь осел, заранее подготовивший речь, которая состояла из неуклюжих комплиментов пополам с унылыми потугами на остроумие. Поэтому впоследствии я всегда представлялся сам, разумеется, пародируя избитые представления. Председателям комитетов это пришлось не по вкусу. Какое было для них удовольствие красоваться перед аудиторией, битком набитой их земляками, произнося витиеватую речь; и они прямо-таки не могли перенести, что их лишают этого удовольствия.

Когда я сам рекомендовал себя публике, то вначале это было очень удачным вступлением, потом перестало действовать. Составлять речь нужно было очень обдуманно и старательно и говорить очень серьезным тоном, для того чтобы публика попала на удочку и приняла меня за председателя комитета, а не за лектора и чтобы поток преувеличенных комплиментов надоел им до тошноты; потом, когда дело подходило к концу и из мимоходом брошенного замечания выяснялось, что я - лектор и говорил сам о себе, то эффект получался очень неплохой. Но, как я уже говорил, этого козыря хватило ненадолго: газеты напечатали речь, и я уже не мог пускать ее в ход, потому что аудитория знала, с чего я начну, и сдерживала свои чувства.

Потом я попробовал формулу представления, заимствованную из моих странствований по Калифорнии. Всерьез это проделал один старатель в поселке "Рыжая собака", неловкий и нескладный верзила. Как он ни упирался, публика заставила его взойти на эстраду и отрекомендовать меня. С минуту он постоял молча, потом сказал:

- Мне об этом человеке ничего не известно. То есть... известны две вещи: первое, что он никогда не сидел в тюрьме, а второе (помолчав, почти с грустью) - неизвестно, почему он не сидел.

Такое вступление действовало некоторое время, потом попало в печать, и газеты выжали из него весь сок; с тех пор я перестал представляться публике.

Иногда с нами случались маленькие приключения, но все они были такого рода, что забывались без труда. Как-то раз мы приехали в городок поздно и не нашли на станции ни встречающих нас комитетчиков, ни саней. Мы наугад двинулись по улице в ярком свете луны, встретили целую толпу, которая куда-то шла, решили, что она идет на лекцию - догадка была верная, - и присоединились к ней. У входа я попытался протиснуться внутрь, но контроль меня задержал:

- Ваш билет, будьте добры.

Я нагнулся к нему и шепнул:

- Ничего, ничего, все в порядке. Я лектор.

Он многозначительно прищурил глаз и сказал довольно громко, так что слышала вся толпа:

- Нет, и не надейтесь. Трое вас таких уж пролезло в залу, и четвертому лектору придется заплатить.

Конечно, мы заплатили: это был самый простой выход из положения.

На следующее утро Килер наткнулся на приключение. Часов в одиннадцать я сидел у себя и читал газету, как вдруг он ворвался в комнату, весь дрожа от возбуждения, и крикнул:

- Идем со мной, скорей!

- В чем дело? Что случилось?

- Некогда рассказывать. Идем.

Мы быстро прошагали три или четыре квартала по главной улице, молча, оба взволнованные, я весь дрожал от страха и любопытства, наконец нырнули в какое-то здание и, пробежав по коридору насквозь, вынырнули на другом конце.

Там Килер остановился и, протянув руку, сказал:

- Смотри!

Я посмотрел, но ничего не увидел, кроме ряда книг.

- Что это такое, Килер?

- Да смотри же, - настаивал он вне себя от радости, - направо, дальше, еще дальше направо! Вон там, видишь? "Главерсон и его молчаливые товарищи".

Действительно, там стояла его книга.

- Это библиотека! Понимаешь? Публичная библиотека. И у них есть моя книга!

Глаза его, лицо, поза, жесты и все существо выражали восторг, гордость, счастье. Мне и в голову не пришло смеяться: такая беззаветная радость оказывает обратное действие. Я был тронут чуть не до слез, видя такое полное счастье.

Он уже успел все разузнать, подвергнув библиотекаря перекрестному допросу. Книга была в библиотеке около двух лет, и из записей явствовало, что ее брали три раза.

- И читали! - прибавил Килер. - Смотри: все страницы разрезаны.

Больше того, книга была куплена, а не подарена, - так записано в инвентаре. Насколько я помню, "Главерсон" был напечатан в Сан-Франциско. Надо полагать, было продано и еще несколько экземпляров, но только в продаже этого единственного Килер мог убедиться лично. Кажется невероятным, что продажа одного-единственного экземпляра книги могла доставить автору такое безграничное счастье, но я там был и сам это видел.

После того Килер поехал в Огайо, где разыскал одного из братьев Осэватоми Брауна{69} и, не зная стенографии, записал у него на ферме от слова до слова весь его рассказ о бегстве из Виргинии после трагедии 1859 года, - без сомнения, замечательный образец репортажа, прямо-таки подвиг для человека, не знающего стенографии. Он был напечатан в "Атлантик монсли", и я три раза принимался его читать, но каждый раз пугался и бросал, не дочитав до конца. Рассказ был написан так живо и ярко, что я как будто бы сам переживал с ними все эти приключения и неопишуемые опасности, и так при этом волновался, что не мог дочитать рассказ до конца.

Вскоре "Трибюн" дала Килеру поручение отправиться на Кубу и расследовать дело о каком-то правонарушении или оскорблении, которое нанесли нам испанские власти, по своему издавна заведенному обычаю. Он выехал из Нью-Йорка на пароходе, и последний раз живым его видели вечером накануне прибытия в Гавану. Говорили, что он не делал секрета из своей миссии и всем о ней рассказывал откровенно и простодушно, по своей привычке. На борту парохода были испанские военные. Может быть, его и не бросили в море, но все думали, что именно так и случилось.

1898

[КРАСОТЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА]

3 февраля. - Вчера читал лекцию с благотворительной целью в "Borsendorfersaal". Как раз когда я поднимался на эстраду, посыльный передал мне конверт, на котором стояло мое имя, а под ним было написано: "Пожалуйста, прочтите сегодня одну из этих вырезок". В конверте лежали две вырезки из газет, две версии одного и того же анекдота, одна немецкая, другая английская. Я хотел было прочесть моим слушателям немецкую версию и посмотреть, что из этого получится, но не отважился, когда заметил, какой внушительный вид имеет последнее слово. Жалею, впрочем, что не прочел: оно, вероятно, хорошо

прозвучало бы с эстрады и было бы встречено аплодисментами. А может быть, и кирпичами. Никогда нельзя сказать наперед, как поступит незнакомая публика, - вкусы у нее капризны. В анекдоте не без основания высмеиваются немецкие длинные слова, и преувеличение не так велико, как можно было бы думать. Немецкое длинное слово создано противозаконным способом, это гнусная фальсификация, подделка. Словари его не признают, и в словарях его нечего искать. Оно получилось из соединения целой кучи слов воедино, и при этом без всякой надобности: это выдумка лентяев и преступление против языка. Ничего ровно нельзя выиграть, нельзя даже сэкономить много места, напечатав на визитной карточке в одно слово: "Госпожа Смит, вдова покойного обер-секретаря полицейского департамента", и все-таки немецкая вдова поддается убеждению без особых хлопот и пишется так: "Госпожа покойного обер-секретаря полицейского департамента вдова Смит". Вот английская версия анекдота:

Дрезденская газета "Охотник", которая думает, что в Южной Африке водятся кенгуру (Beutelratte), говорит, что готтентоты (Hottentoten) сажают их в клетки (Kotter), снабженные крышками (Lattengitter) для защиты от дождя. Поэтому клетки называются "латтенгиттерветтеркоттер", а сидящие в них кенгуру - "латтенгиттерветтеркоттербейтельраттен". Однажды был арестован убийца (Attentater), который убил в Штреттертротеле готтентотку (Hottentotenmutter), мать двух глупеньких, заикающихся детей. Эта женщина по-немецки называется "Готтентотенштоттертроттельмуттер", а ее убийца "Готтентотенштоттертроттельмуттераттентетер". Убийцу посадили в клетку для кенгуру - "бейтельраттенлаттенгиттерветтеркоттер", откуда он через несколько дней убежал, но был случайно пойман каким-то готтентотом, который с сияющим лицом явился к судье.

- Я поймал кенгуру, - "бейтельратте", - сказал он.  
- Какого? - спросил судья. - У нас их много.  
- Аттентетерлаттенгиттерветтеркоттербейтельратте.  
- Какого это - "аттентетер", о ком ты говоришь?  
- О "Готтентотенштоттертроттельмуттераттентетер".  
- Так почему же ты не сказал сразу: "Готтентотенштоттертроттельмуттера  
ттентетерлаттенгиттерветтеркоттербейтельратте"?

1898

#### [ЗАМЕТКИ О ТАВТОЛОГИИ И ГРАММАТИКЕ]

6 мая. - Я не нахожу, что повторение важного слова несколько раз, скажем, три-четыре раза, в одном абзаце - режет ухо, если этим лучше всего достигается ясность смысла. Совсем другое дело, однако, тавтологическое повторение, которое не имеет оправдывающей его цели, а только показывает, что автор исчерпал свой фонд в словарном банке и ленится пополнить его из словаря. В таком случае мне хочется призвать автора к ответу. Мне хочется напомнить ему, что он относится к себе и к своей профессии без должного уважения, а в данном случае относится без должного почтения и ко мне. Нынче утром, за завтраком, один из моих семейных читал вслух интересную рецензию на новую книгу о Гладстоне<sup>{72}</sup>, в которой рецензент употребил энергичное слово "восхитительный" тринадцать раз. Тринадцать раз в короткой рецензии, не в длинной. В пяти случаях слово было верное, точное, самое лучшее, какое только можно найти в словаре, и потому оно не внесло диссонанса, но во всех остальных случаях оно звучало не в лад. Всякий раз оно было тоном выше или тоном ниже - либо то, либо другое, и выделялось так же неприятно, как фальшивая нота в музыке. Я заглянул в словарь и под одним только заголовком нашел четыре слова, которые могли бы заменить верными нотами фальшивые звуки, изданные четырьмя не к месту поставленными "восхитительными", и, конечно, если б я в течение часа порылся в словаре и поискал как следует, то нашел бы настоящие слова, со всеми оттенками, для замены всех остальных неподходящих.

Полагаю, что у всех нас имеются свои слабости. Я люблю точное слово, ясность изложения, а местами немножко хорошей грамматики для красоты слога, но этот рецензент

заботился только о последнем из всего упомянутого. Грамматика у него до глупости правильная, оскорбительно точная. Она все время лезет в глаза читателю, жеманится, кривляется, модничает и, с какой стороны ни смотри, только сердит и раздражает. Если говорить серьезно, я и сам пишу грамматически правильно, но не в этом духе, слава богу. То есть моя грамматика более высокого порядка, хотя и не на самой высоте. Да и у кого она на высоте? Грамматическое совершенство - надежное, постоянное, выдержанное - это четвертое измерение, так сказать: многие его искали, но никто не нашел. Даже этот рецензент, этот пурист, хоть и безбожно важничает, сделал две или три ошибки. По крайней мере мне так кажется. Я почти уверен в этом, сколько могу судить на слух, но не могу сказать положительно, потому что я знаю грамматику только по слуху, а не по нотам, не по правилам. В детстве я знал правила, знал наизусть, слово в слово, хотя и не понимал их смысла, - и до сих пор помню одно из них, в котором говорится, в котором говорится... не беда, вот-вот я его вспомню. Этот рецензент даже, по-видимому, знает (или: по-видимому, даже знает; или: по-видимому, знает даже), куда полагается ставить слово "даже" и еще слово "только". Я таких людей не люблю. Я не видел, чтобы хоть из одного такого вышел толк. При такой самонадеянности человек на многое способен. Мне это известно, потому что я не раз это замечал. Я бы не постеснялся обидеть такого человека, если бы мог. Когда человек возвел свою грамматику на такую высоту, то это кое-что значит. Это показывает, что он может сделать, если подвернется случай; это показывает, какого рода у него нрав; я это часто замечал. Я когда-то знал одного такого, который бог знает что делал. Такие люди ни перед чем не останавливаются.

Но, во всяком случае, рецензия этого грамматического хлыща интересна, как я уже говорил. И в ней есть одна фраза, которая буквально тает во рту, с таким совершенством пять последних слов передают то, что всем нам приходилось чувствовать после долгого сидения над увлекательной книгой. В ней говорится о гладстоновской манере беседовать, отмечая каждую мелочь, и его удачном обыгрывании предмета:

"Одна за другой сверкают перед нами грани блестящего ума, пока увлечение не утомит нас".

Это ясно изложено. Нам знакомо это чувство. В утренней газете я нашел фразу совсем другого сорта:

"Не было смерти перед делом Корнелиуса Лина, которое началось и кончилось смертью, после чего были изданы специальные правила".

По контексту я знаю, что это значит, но без этого маяка вы, наверно, вложите в нее не тот смысл, который входил в намерения автора.

1890-е годы

[ПРОГУЛКА С ПРЕПОДОБНЫМ]

Соблюдая установленные приличия, мы много при этом теряем. Конечно, не мало и выигрываем, но кое-что все же теряем. Вспоминаю один случай. Я отправился в Бостон пешком с пастором нашей церкви (он и пастор и мой близкий давнишний друг в одном и том же лице). К вечеру за двенадцать часов пути мы прошли почти тридцать миль. Я хромал и был полумертв от голода и усталости. Кожа у меня на пятках стерлась до мяса, сухожилия на обеих ногах укоротились на несколько дюймов, каждый шаг причинял мне нечеловеческие страдания. Преподобный был свеж, как розан. Я не мог без отвращения смотреть на его счастливую, улыбающуюся физиономию. По дороге встречались фермы, но стоило нам постучаться или окликнуть хозяев, как они прятались в погреб, - дороги в те времена кишели бродягами.

К десяти часам вечера, протащившись еще с полмили, мы, к великой моей радости, увидели деревушку, - назовем ее Даффилд, это не имеет значения. Через несколько минут мы вошли в местный трактир, и я повалился на стул возле большой раскаленной печки. Я был доволен донельзя, счастлив безмерно и мечтал об одном - чтобы мне дали отдых. Преподобный не считал нужным даже присесть. Он был полон нерастраченных сил, язык его только окреп после двенадцати часов неумолчной работы, и он жаждал общения; хотел

задать местным жителям уйму вопросов.

Мы попали в небольшую уютную комнату, футов двенадцать на шестнадцать, не более. К стене примыкала деревянная стойка в четыре-пять футов длиной; за ней - три полки из сосновых некрашенных досок, уставленные бутылками с настоящими на мухах горячительными напитками. В комнате не было ни ковра, ни каких-либо других украшений, если не считать литографии на стенке с изображением рысистых бегах под отчаянным градом (позднее выяснилось, что то, что я принял за град, были следы от мух). Когда мы вошли, в комнате уже находилось двое мужчин. Номер 1. Старый деревенский бездельник, сидевший напротив меня по другую сторону печки и харкавший на нее всякий раз, когда ему удавалось найти раскаленное докрасна место. Номер 2. Молодой, могучего сложения детина, откинувшийся вместе со стулом на сосновую стойку. Подбородком он опирался себе на грудь; на голове у него была шапка из цельного скунса, хвост которого ниспадал ему на левое ухо; ногами он обвивал ножки стула; штаны были засучены выше голенища сапог. Время от времени он тоже плевал в направлении печки, и попадал без малейшего промаха, хотя его отделяли от печки добрых пять футов.

С минуты, как мы к ним вошли, ни один, ни другой не сдвинулись с места и не произнесли ни единого слова, если не считать доброжелательного урчания, которым они ответили на наше приветствие. Преподобный бродил и бродил по комнате, обращаясь ко мне с нескончаемыми вопросами. Поскольку я не находил нужным нарушать свой покой, он понял, что ему придется искать других собеседников. Наблюдательность - его отличительная черта. По некоторым неуловимым приметам он пришел к заключению, что, хотя эти двое, сидевшие в комнате и могли на поверхностный взгляд сойти за глухонемых, второго из них, кто сидел ближе к стойке, можно было втянуть в беседу о лошадях (Преподобный признал в нем конюха, и дальнейшее показало, что он судил безошибочно).

Итак, исходя из своей гипотезы, он сказал:

- Ну как, недурных лошадок выводите, а?

Молодой парень вскинул мгновенно голову. Его добродушная физиономия осветилась, вернее сказать, загорелась живым интересом. Он вернул своему стулу вертикальное положение. Опустив ноги на пол, он сдвинул скунсовый хвост на затылок, положил могучие руки к себе на колени и устремил на возвышавшегося над ним Преподобного сияющий взгляд:

- Это точно, выводим... Недурных - не то слово!.. Здесь пошибче надо сказать!..

Без сомнения, это был добродушнейший молодой человек, и ему даже в голову не пришло задеть своего собеседника. Но в расщелины этих нескольких слов он сумел затолкать не меньше двух ярдов разнообразнейших и прелестнейших непристойностей. Приведенные выше три фразы не были полным ответом на заданный Преподобным вопрос; это была интродукция. Далее последовала пятиминутная речь, полная искренних чувств и коннозаводческих сведений. Она лилась легко и свободно, как поток лавы из бездонного кратера, и вся пламенела багровым огнем стихийной и сокрушительной брани. Сквернословие было его родным языком. Он не знал, что нарушает установленные приличия.

Когда оратор умолк, воцарилось молчание. Преподобный находился в состоянии паралича, должно быть, впервые за всю его жизнь ему отказал язык. Ничего подобного этому и я никогда не испытывал; это был чистый восторг. Блаженство, которое я вкушал до того, как бы померкло в сравнении с новым блаженством. Я позабыл о своих ободренных пятках. Для подобного случая я охотно дал бы себя ободрать целиком. Но даже смешка не вырвалось из моих плотно стиснутых губ. Я сидел с окаменевшим лицом, не шевеля даже пальцем само благонравие, и умирал от радости. Преподобный бросил на меня умоляющий взгляд, как бы взывая: "Не покидай друга в беде", но я остался как был, кто вправе требовать помощи от умирающего? И конюх взял слово второй раз, источая вторично из каждой поры своего организма несравненные богохульства и непристойности. Его речь звучала так живо, непосредственно, мило, что осудить ее как греховную значило бы подольщаться к нему.

В растерянности Преподобный решил перейти на другую, обыденную, заурядную тему, уводившую, как ему казалось, прочь от лошадиных страстей. Он спросил о чем-то, касающемся расстояния до Бостона и кратчайшей дороги туда, уповая, что эта сравнительно постная тема не даст собеседнику повода для дальнейших пылких речей. Какая ошибка! Конюх с живостью оседлал эту тему и пустился с ней вскачь сквозь грозу и артиллерийский огонь вперед и снова вперед с тем же блеском непристойного лексикона, который отличал его речи о лошадях.

Преподобный еще раз отказался капитулировать. Оторвав конюха от дорожной тематики, он подсунил ему виды на урожай. Снова осечка! Конюх набросился на урожай с невиданной яростью и пронесся по нему с тем же благоуханием и грохотом. В полном отчаянии Преподобный кинулся к старому лодырю и откупорил его невзначай банальнейшим замечанием о моих натертых ногах. В ответ старый лодырь - добрейшее существо! - изрыгнул, словно новый Везувий, поток сострадательных богохульств, напирая в особенности на целительные качества примочек из керосина. Он воззвал к молодому конюху за подтверждением чудодейственных средств керосина, как верного средства от потертостей на ногах. Тот откликнулся со знакомым нам благоуханным энтузиазмом, и в продолжение пяти минут Преподобный стоял без языка, пока через него перекачивались валы сточных вод.

Спасительная мысль блеснула в его мозгу. Он прошествовал к стойке, извлек из кармана письмо, пробежал его наскоро и сунул обратно в конверт; потом, положив конверт прямо на стойку, он отчалил, греховно прикинувшись, что забыл прихватить свой конверт. Проблеск надежды мелькнул в его затравленном взоре, когда он увидел, что приманка подействовала. Он увидел, как конюх зашагал не спеша к стойке, взял в руки конверт и стал разбирать адрес. Пауза, минута молчания - и громкий вопль конюха, исполненный радости:

- Как?! Вы священник?! (Взрыв сквернословия и богохульства невиданной мощи.) Почему же вы нам не сказали, кто вы такой?

Он бросился хлопотать. Полный сердечнейшего гостеприимства, он поднял с постели кухарку и горничную, и все они вместе наперебой стали заботиться о Преподобном. Потом этот восхитительный и восхищенный оратор усадил Преподобного на почетное место и принялся за подробный доклад о состоянии церковных дел у них в Даффилде. Он был блестящ, красноречив, откровенен и полон чистейших намерений, но рассказ его вскоре на добрую четверть градуса отклонился от курса и был весь напичкан непристойными выражениями. Слово факелы в преисподней, они сверкали в сплошном багровом чаду сквернословия, разрываемом через каждые четыре фута по фронту взлетающими до небес ракетными вспышками непередаваемых богохульств. Это был великий артист! Все его прежние опыты были лишь светлячками и болотными огоньками по сравнению с этим заключительным неслыханным фейерверком.

Когда мы остались вдвоем, Преподобный сказал, не скрывая своего облегчения:

- Одно меня, Марк, утешает. Напечатать эту историю вам никогда не удастся.

Да, кто решился бы ее напечатать? Но это было безумно смешно. Смешно потому, что этим людям были полностью чужды дурные намерения. В ином случае это было бы не смешно, а противно. Наутро сангвинический конюх вломился, когда мы сидели за завтраком, и, помирая со смеху, поведал почтенной трактирщице и ее маленькой дочке, что гуси замерзли в пруду. Язык изложения был столь же чудовищным, что и вчера. Слушательницы были взволнованы грустной судьбой гусей, но красноречие рассказчика оставило их равнодушными. Оно было для них привычным, не вызывало у них осуждения.

1903

[ДЖОН ХЭЙ{78}]

С четверть века тому назад я навел как-то Джона Хэя, нынешнего государственного секретаря. Хэй тогда жил в Нью-Йорке и временно занимал дом Уайтлоу Рида, уехавшего на несколько месяцев путешествовать по Европе. Хэй временно замещал Рида также и на посту редактора "Нью-Йорк трибюн". Два случая, связанных с этим воскресным визитом, я

запомнил особенно ясно и сейчас о них расскажу. Первый случай совсем несущественный, и меня удивляет, что он не выветривается у меня из памяти столько лет. Но прежде чем к нему обратиться, несколько слов о другом. Я знаком с Джоном Хэем очень давно. Я знал его в пору, когда он еще был никому не известным автором передовиц в "Нью-Йорк трибюн", во времена Хорэса Грили. Уже тогда он писал превосходно и должен был бы, я думаю, получать в три или четыре раза больше, чем ему платила газета. В те давние времена он был обаятелен красив, строен, изящен. Для меня, выросшего на Западе, в примитивных и грубых условиях, он был неотразимо хорош. Меня пленяла его легкость в обращении с людьми, манера беседовать - красноречие без тени искусственности. В основе его обаяния лежали прирожденные качества, но они получили окончательную отделку и блеск в Европе, где он жил несколько лет в качестве нашего поверенного в делах при венском дворе. Хэй был весел, сердечен, отличный товарищ.

Сейчас я подойду к своей теме.

Джон Хэй не боялся Хорэса Грили.

Я пишу эту фразу с красной строки, потому что значение сказанного в ней трудно преувеличить. Джон Хэй был единственным сотрудником "Нью-Йорк трибюн", который служил под началом Хорэса Грили и не боялся его.

Эти несколько лет, что Джон Хэй занимает пост государственного секретаря, он сталкивается с трудностями в международных делах, какие едва ли встречались кому-либо из его предшественников (в особенности, если учесть всю серьезность современных проблем), и мы видим, что он сохранил свою молодую отвагу и не страшится монархов с их флотом и армиями так же, как не страшился Хорэса Грили.

И вот я подошел к моей теме.

В то воскресное утро, четверть века тому назад, мы с Хэем сидели и хохотали вдвоем - почти так же, как это бывало у нас с ним в 1867 году, когда дверь растворилась и в комнату вошла миссис Хэй, строго одетая, в шляпе, в перчатках, вся в озарении пресвитерианской святости, - прямо из церкви. Мы поднялись, ощущая всем телом резкую перемену в окружающем климате. Только что стоял ласковый летний денек, но температура стала стремительно падать. Через минуту дыхание выходило у нас изо рта в виде пара, и на усах появились сосульки. Мы не успели поведать вошедшей хозяйке любезности, которые были у нас на кончике языка, - прелестная молодая женщина опередила нас в этом. На лице ее не было даже тени улыбки, вся фигура выражала неудовольствие. "Доброе утро, мистер Клеменс!" - холодно процедила она и вышла из комнаты.

Наступило неловкое молчание, я сказал бы - очень неловкое. Если Хэй рассчитывал, что я что-нибудь вымолвлю, он глубоко заблуждался - я утратил дар речи. Вскоре стало понятно, что и у него язык отнялся. Когда ко мне вернулась способность двигать ногами, я направился к двери. Хэй плелся рядом, без звука, без стопа, так сказать, поседевший за одну ночь. У дверей в нем проснулась былая учтивость, затеплилась на короткий момент и погасла. Раскрыв рот, он тяжело перевел дух. Он хотел, наверно, сказать, чтобы я заходил, но природная искренность помешала ему сфальшивить. Он сделал вторую попытку заговорить, на этот раз более удачную, и пробормотал виновато:

- Она очень строга насчет воскресений.

Как часто за эти последние годы восхищенные соотечественники говорили о Хэе (да и я повторял вместе с ними не раз): "Если долг повелит ему послушаться желания страны, он не сробеет перед восьмьюдесятью миллионами американцев".

С того посещения Хэя прошло двадцать пять лет, и жизненный опыт меня научил, что абсолютной храбрости не существует; всегда кто-нибудь да найдется, перед кем отступает самый лихой храбрец.

А вот второе, что запомнилось мне в связи с этим визитом. Мы заспорили, кто из нас старше, Хэй сказал, что ему сорок лет, я признался, что мне сорок два. Хэй спросил, не пишу ли я автобиографию, я ответил, что нет. Он посоветовал мне без отлагательств начать, сказал, что два года уже безвозвратно потеряно, после чего произнес речь примерно такого

рода:

"В сорок лет человек достигает вершины горы и начинает склоняться к закату. Средний, обычный, скажем резче, посредственный человек к этому возрасту преуспел уже в жизни, либо потерпел неудачу. В любом случае он прожил ту часть своей жизни, которая стоит внимания. В любом случае она стоит того, чтобы о ней написать. И если это повествование будет правдивым - поскольку это возможно, - оно будет, конечно, представлять интерес. Автобиограф непременно расскажет о себе правду, даже если он будет противиться ей, потому что правда в его рассказе будет в союзе с вымыслом, и этот союз будет на благо читателю. Каждая доля истины и каждая доля вымысла будут мазками кисти, каждый мазок ляжет в нужное место, и вместе они образуют его портрет. Но не тот портрет, который он втайне от нас решил написать, а подлинный, истинный, в котором выразится его внутренний мир, его душа, его сущность. Он не хочет солгать, но он лжет вам все время. Его ложь не назовешь преднамеренной, но и не назовешь безотчетной. Это ложь полусознательная, как бы дымка, окутывающая повествование, легкая, нежная, милосердная дымка, которая сообщит привлекательность его облику, позволит увидеть его добродетели и затенит недостатки. Но истинное в портрете останется истинным, попытка видоизменить то, что против него, не достигнет намеченной цели, туман не укроет подлинных черт, и читатель увидит человека таким, каков он есть. В каждой автобиографии скрыт дьявольский, тончайший секрет, и он противостоит всем стараниям автора переписать себя на свой лад.

Хэй дал мне понять, что мы с ним обычные, посредственные, средние люди. Я не пытался оспорить его приговор и мужественно затаил причиненную мне обиду. Между тем Хэй был совершенно не прав, когда утверждал, что мы уже выполнили свою основную задачу, миновали высшую точку, спускаемся вниз по склону, (а я-то еще на два года старше его!), короче говоря, что наша карьера в качестве благодетелей человеческого рода закончена. Я был тогда автором четырех или нет, пяти книг, но прошло много лет, и я не перестаю наводнять мир своими великолепными сочинениями. Хэй написал исторический труд о Линкольне, который никогда не поблекнет. За протекшие годы Хэй был нашим послом, прославился как блестящий оратор, сейчас он снискавший всеобщее восхищение государственный секретарь и был бы, наверное, избран в будущем году президентом, если бы мы были приличным народом, имели бы за душой хоть кроху благодарного чувства и не отказывались от президента из чистого золота каждый раз, когда под руками имеется другой - оловянный.

Узнав, что я потерял два года, я решил непременно их наверстать и принялся за автобиографию не медля. Однако через неделю мой энтузиазм поостыл, а потом и вовсе исчез, и я выбросил все в корзину. С той поры я не раз принимался за автобиографию и снова ее выбрасывал. Однажды я начал вести дневник, решив, что когда он достигнет более или менее обширных размеров, я превращу его в автобиографический очерк. Не вышло. Я тратил добрых полвечера, чтобы записать свои впечатления за день; когда же к концу недели я перечел свой дневник, он мне совсем не понравился.

За последние десять лет я пытался не раз подобраться к автобиографии поближе то тем, то другим способом, но без результата; все, что я сочинял, было слишком "литературой". Стоит взять в руки перо, и рассказ становится тяжелой обузой.

А он должен течь, как течет ручей среди холмов и кудрявых рощ. Повстречав на пути валун или выступ, поросший травой, ручей свернет в сторону, гладь его замутится, но ничто не остановит его - ни внезапный порог, ни галечная мель на дне русла. Он и минуты не течет в одном направлении, но при том он течет, течет без оглядки, нарушая все правила грамматического хорошего тона, пробегая иной раз круг в добрых три четверти мили, чтобы затем вновь вернуться к месту, где протекал час назад; он течет и течет и верен в своих причудах одному лишь закону, закону повествования, которое, как известно, вообще законов не знает. Главное для него - пройти до конца свой путь; как - не столь важно, важно пройти до конца.

Когда же берешь в руки перо, прихотливый ручеек становится как бы каналом. Он



течет медленно, плавно, достойно, дремотно. В нем нет ничего худого, не считая того, что он весь никуда не годится. Он слишком приглажен, слишком благопристроен, слишком литературен. Ни стиль его, ни сюжет, ни повадка не пригодны для истинного повествования. Он весь в отражениях, и тут ничего не поделаешь, это - в его природе. Сверкающий, словно покрытый лаком, наш канал отражает все, что есть на его берегах: деревья, цветы, коров - все, что ему повстречается. И, занятый этим, теряет драгоценное время.

1904

#### [КАК ПИСАТЬ АВТОБИОГРАФИЮ]

Во Флоренции в 1904 году я открыл наконец истинный способ как писать автобиографию. Не выбирай, чтобы начать ее, какое-либо определенное время своей жизни; броди по жизни как вздумается; веди рассказ только о том, что интересует тебя сейчас, в эту минуту; прерывай рассказ, как только интерес к нему начинает слабеть, и берись за новую, более интересную тему, которая пришла тебе только что в голову.

И еще: пусть этот рассказ будет одновременно автобиографией и дневником. Тогда ты сумеешь столкнуть живой сегодняшней день с воспоминанием о чем-то, что было похоже, но случилось в далеком прошлом; в этих контрастах скрыто неповторимое очарование. Не нужно никакого таланта, чтобы придать интерес рассказу, который будет одновременно автобиографией и дневником.

Итак, я открыл верный способ, как мне работать. Теперь этот труд будет для меня развлечением, просто-напросто развлечением, потехой, приятным препровождением времени, не потребует никакого усилия.

Нью-Йорк, 10 января 1906 г.

#### [ЗАСТОЛЬНЫЕ РЕЧИ. - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЛА.]

Мне предстоит произнести несколько речей в ближайшие два-три месяца, а за прошлые два-три месяца мне тоже пришлось произнести несколько речей, - и как-то вдруг мне подумалось, что люди, которые выступают с речами на собраниях того или другого рода, особенно на официальных банкетах, часто без всякой надобности утруждают себя подготовкой к выступлению. Обычно речь на банкете не играет важной роли по той причине, что банкет обычно устраивают, либо отмечая какое-нибудь событие скоропреходящего значения, либо чествуя почетного гостя, - и в этом нет ничего особенно важного: я хочу сказать - ничего такого, на чем следовало бы сосредоточиться оратору, произнося речь на такую тему, а действительно важно, быть может, чтобы оратор постарался говорить достаточно интересно, не утомляя и не раздражая людей, которые не пользуются привилегией говорить речи и не имеют права уйти, когда начинают говорить другие. Так что обыкновенное милосердие по отношению к этим людям требует, чтобы оратор хоть сколько-нибудь подготовился, вместо того чтобы идти на банкет с абсолютно пустой головой.

Человек, который часто произносит речи, не может уделять много времени на их подготовку и, вероятно, идет на банкет с пустой головой (как и я привык делать), намереваясь позаимствовать тему у других неподготовленных ораторов, которые будут говорить до него. А это совершенная правда, что если вам удастся попасть в список ораторов третьим или еще того дальше, можно рассчитывать с полной уверенностью, что не тот, так другой из предыдущих ораторов даст вам все нужные темы. В самом деле, у вас, надо полагать, их наберется гораздо больше, чем требуется, так что можно даже запутаться. Вам захочется говорить на все эти темы, а это, конечно, опасно. Следует выбрать одну из них и говорить на эту тему, и можно поставить сто против одного, что через две минуты вы пожалеете, что не выбрали какую-нибудь другую. Вы начнете отклоняться от избранной вами темы, потому что заметите, что есть и другая, гораздо лучше той.

Об этой старой-старой истине, известной мне по опыту, мне напомнил один случай в Плэйерс-клубе, где на днях двадцать два моих старых знакомых по клубу давали для меня обед\* в знак удовольствия увидиться со мной снова после трехлетнего отсутствия. Случай этот произошел по глупости совета директоров - совета, который исполняет свои

обязанности со времени основания клуба; а если это и не тот же самый совет, который был у них вначале, то это совершенно все равно, поскольку его членов, надо полагать, выбирают всё из того же сумасшедшего дома, откуда взяли и первый совет. В тот вечер председателем был Брандер Мэтьюз{84}, и он открыл заседание непринужденной, весьма утешительной и удачной речью. Брандер всегда бывает подготовлен и в форме, когда собирается выступить с речью. После этого он дал слово Гилдеру{84}, который пришел не подготовившись и, вероятно, надеялся почерпнуть что-нибудь у Брандера, но это ему не удалось. Говорил он плохо и сел хотя и не окончательно посрамленный, но с большим конфузом. Следующим выступал Фрэнк Миллет{84} (художник). Он с большим трудом довел до конца свою речь, доказав два положения: во-первых, что он готовился и не помнит всего, что приготовил; и во-вторых, что тема у него неважная. О подготовке свидетельствовало главным образом то, что он пытался прочесть два порядочной длины стихотворения - хорошие стихи, - но читал он неуверенно и плохим чтением превратил их в плохие. Скульптуру тоже надо было как-то представить, и Сент-Годенс{85} принял приглашение, пообещав выступить с речью, но в последнюю минуту не смог приехать, и вместо него пришлось встать и произнести речь совершенно неподготовленному человеку. Он не сказал ничего оригинального или волнующего, и, в самом деле, все им сказанное было так робко и нерешительно, совершенно заурядно, что новым и свежим показались только последние слова о том, что он совершенно не ожидал, что ему придется выступить с речью! Я бы мог закончить эту речь за него, столько раз я ее слышал.

---

\* На этом обеде возникла мысль об автобиографии, что и повело к диктовке данных материалов. (Прим. автора.)

Эти люди потерпели неудачу, потому что они думали (то есть Миллет и Гилдер) все время, пока говорил Мэтьюз; они старались держать в уме те пустяки, которые приготовили, и это не дало им почерпнуть какую-нибудь новую и свежую тему из того, что говорил Брандер. Точно так же и Миллет во время речи Гилдера все еще думал о том, что он сам приготовил, и потому упустил все темы, какие можно было заимствовать у Гилдера. Но я попросил Мэтьюза поставить меня последним в списке ораторов и потому воспользовался всеми преимуществами, какие возможны в таком случае. Ведь я явился без темы, а эти господа доставили мне множество тем, потому что я не был занят припоминанием того, что приготовил заранее, - ничего готового у меня не было. До некоторой степени я испортил речь Брандера, поскольку его речь была прямо рассчитана на то, чтобы представить меня как почетного гостя, и ему пришлось перестроиться на ходу, чтобы как-то извернуться; и он это проделал очень ловко, объяснив, что его речь несколько не на месте и читать ее пришлось в обратном порядке из-за того, что я попросил поместить меня последним в списке ораторов. Времени для подготовки у меня оказалось более чем достаточно, поскольку Гилдер дал мне тему, Брандер дал мне тему, Миллет дал мне тему. Все темы были свежие, с пылу горячие, и вызывали такое же пылкое желание ухватиться за них и говорить, как это было бы в обыкновенном разговоре где-нибудь за столом в пивной.

Так вот, я знаю, как надо составлять банкетные речи, потому что думал об этом предмете. Вот мой план. Когда это просто банкет для препровождения времени - такой, на каком я должен быть 27-го в Вашингтоне, где общество должно состоять из членов Гридайерн-клуба (я полагаю, исключительно газетных корреспондентов), и таких гостей, как президент и вице-президент Соединенных Штатов, и еще двоих, - то это, конечно, такой случай, когда человек может говорить о чем угодно, кроме политики и теологии; и даже если его попросят провозгласить тост, он может, не обращая внимания на самый тост, говорить о чем угодно. Итак, моя мысль вот такая - взять газету за тот день, утреннюю или вечернюю, и просмотреть заголовки телеграмм - сущая золотая россыпь тем, как видите! Я думаю, оратор может вытащить газету из кармана и заговорить все общество до смерти, далеко не истощив материала. Если бы говорить случилось сегодня, у вас имеется дело Моррис. И это наводит меня на мысль, каким неинтересным станет это дело года через два, через три, а может быть,

и через полгода, - и как раздражает оно сегодня, да и все последние дни. Это доводит до сознания один важный факт: что события нашей жизни - главным образом мелкие события, они только кажутся крупными, когда мы стоим к ним близко. Мало-помалу они отстаиваются, оседают, и мы видим, что ни одно из них не возвышается над другим. Все они приблизительно на одинаково низком уровне и особенного значения не имеют. Если бы мы взяли каждый день записывать стенографически все, что случилось накануне, с целью составить автобиографию из всего, что наберется, то понадобилось бы от одного до двух часов - и от двух до четырех часов, для того чтобы записать автобиографический материал одного дня, и в результате получилось бы от пяти до сорока тысяч слов. Это составило бы целый том. Не надо, однако, думать, что если на запись автобиографического материала за понедельник ушел весь вторник, то в среду писать будет нечего. Нет, в среду наберется для записи ровно столько же, сколько за понедельник набралось на вторник. И это потому, что жизнь не состоит главным образом - или даже в значительной степени - из фактов и событий. Она состоит главным образом из бури мыслей, вечно проносящихся в голове. Могли бы вы записать их стенографически? Нет. Могли бы вы записать стенографически хотя бы половину? Нет. Пятнадцать самых усердных стенографисток не угнались бы за вами. Поэтому полная автобиография никогда не была и никогда не будет написана. Она составила бы 365 двойных томов в год; и если б я выполнял как следует свой автобиографический долг с молодых лет, то все библиотеки мира не вместили бы написанного.

Мне любопытно было бы знать, как будет выглядеть дело Моррис в истории лет через пятьдесят. Учтите такие обстоятельства: еще не улеглись сильные волнения в страховом деле; даже вчера и третьего дня дискредитированные страховые магнаты-миллионеры еще не все были выкинуты вон, с глаз долой, под проклятия всего народа, но кое-кто из Мак-Карди{87}, Макколов, Гайдов{87} и Александеров еще сидят на ответственных постах, - например, директорами банков. Кроме того, сегодня все внимание нации сосредоточено на "Стандард ойл корпорейшн", самой громадной коммерческой организации, которая существует на нашей планете. Весь американский мир стоит затаив дыхание и ждет, выйдет ли "Стандард ойл" из своего миссурийского сражения с уроном? И если да, то с каким. Кроме того, у нас конгресс угрожает ревизовать Комиссию Панамского канала{87} и выяснить, куда она девала пятьдесят девять миллионов, а также узнать, как она собирается распорядиться с дополнительными одиннадцатью миллионами, выданными недавно. Кроме того, обсуждению подлежат еще три-четыре вопроса, представляющие громадный общественный интерес. А по другую сторону океана мы имеем отделение церкви от государства во Франции; угрозу войны между Францией и Германией из-за марокканского вопроса{87}; подавление революции в России, причем царь и его воровское семейство - великие князья - опомнились от страха и начинают истреблять остатки революционеров старым верным методом, который был в течение трех веков русским методом; мы имеем Китай, являющий собой полную тайн загадку. Никто не знает, в чем дело, но мы спешно перебрасываем три полка с Филиппин в Китай под началом генерала Фанстона{87} - человека, который захватил Агинальдо{87}, пользуясь методами, позорными даже для самого последнего головореза, отсиживающего свой срок в тюрьме. Никто, по-видимому, не знает, что такое китайская загадка, но все, по-видимому, думают, что там назревают колоссальные события.

Вот каково меню на сегодня. Вот какие вопросы предлагаются сегодня вниманию всего мира. Очевидно, они достаточно крупны, чтобы не оставлять места для мелочей, однако дело Моррис всплывает на поверхность и затмевает все остальное. Дело Моррис производит волнение в конгрессе и вот уже несколько дней будоражит воображение американского народа и не сходит с языка в разговорах. Эта автобиография попадет в печать только после моей смерти. Не знаю, когда это произойдет, и, во всяком случае, я не очень заинтересован в этом. Может быть, до этого осталось еще несколько лет, но даже если не больше трех месяцев, то я уверен, что американцы, встретив упоминание о деле Моррис в моей автобиографии, будут напрасно ломать себе голову, вспоминая, в чем же оно заключалось.

Это дело, которое кажется таким значительным сегодня, покажется через три-четыре месяца такой мелочью, что займет место рядом с неудавшейся русской революцией и другими крупными событиями того же рода, и никто не сможет отличить одно от другого по размеру.

Вот что такое дело Моррис. Некая миссис Моррис, дама культурная, утонченная и с положением в обществе, явилась в Белый дом и попросила минутного разговора с президентом Рузвельтом{88}. Мистер Барнс, один из личных секретарей президента, отказался передать ее карточку, сказав, что президента видеть нельзя, что он занят. Она ответила, что подождет. Барнс пожелал узнать, какое у нее дело, и она сообщила, что несколько времени тому назад ее муж был уволен с государственной службы, и ей хотелось бы, чтобы президент рассмотрел его дело. Барнс, решив, что это дело военного министерства, предложил ей обратиться к военному министру. Она ответила, что уже была в военном министерстве, но не могла попасть к министру, - она испробовала все средства, какие только могла придумать, но ничего не помогло. Теперь жена одного из членов кабинета посоветовала ей попросить минутного свидания с президентом.

Так вот, чтобы не вдаваться в излишние подробности, результат их разговора в общем был таков, что Барнс продолжал упорствовать, повторяя, что президента нельзя видеть, и все так же упорно предлагал ей уйти. Она вела себя спокойно, однако настаивала на том, что не уйдет, пока не увидит президента. Тут и произошел "инцидент с миссис Моррис". По знаку Барнса два дежурных полисмена бросились вперед, схватили даму и поволокли ее из комнаты. Она испугалась, закричала. Барнс говорит, что она вскрикнула не один раз и так, что "переполошила весь Белый дом", - хотя никто не явился посмотреть, что же случилось. Может создаться впечатление, будто инциденты в этом роде происходят по шесть-семь раз на дню, поскольку это никого не взволновало. Но дело обстояло иначе. Вероятно, Барнс так долго пробыл личным секретарем, что это повлияло на его воображение, - вот чем объясняется большая часть криков, хотя дама все же кричала и сама, как она допускает. Эту женщину выволокли из Белого дома. Она говорит, что, пока ее тащили по тротуару, ее платье перепачкалось в грязи, а со спины содралось полосами. Какой-то негр подхватил ее за лодыжки и таким образом не дал ей волочиться по земле. Он поддерживал ее за лодыжки, оба полисмена тащили за плечи и так доставили на место, - видимо, в какой-то полицейский участок в двух кварталах от Белого дома, - по дороге на землю сыпались ее ключи и портмоне, а добрые люди подбирали их и несли за ней. Барнс предъявил ей обвинение в помешательстве. По-видимому, полицейский инспектор счел обвинение достаточно серьезным, а поскольку ему впервые пришлось иметь дело с такого рода обвинением и он, вероятно, не сразу сообразил, как тут нужно действовать, он не разрешил друзьям этой дамы увезти ее, пока она не внесет в кассу пять долларов. Без сомнения, это для того, чтобы она не сбежала из Соединенных Штатов, - может быть, ему скоро вздумается поднять это серьезное обвинение и выяснить суть дела.

Эта дама, не выдержав потрясения, все еще лежит в постели в первой гостинице Вашингтона и, естественно, негодует на обращение, которому ее подвергли, - но ее спокойный, мягкий, сдержанный и прекрасно изложенный рассказ о том, что с ней приключилось, убедительно свидетельствует, что она не была сумасшедшей, хотя бы на скромную сумму в пять долларов.

Таковы факты. Как я уже говорил, много дней подряд они занимали почти безраздельно внимание американского народа; они затмили русскую революцию, китайскую загадку и все остальное. Такого рода события - подходящий материал для автобиографии. Вы записываете то, что в данный момент вас больше всего интересует. Если же оставить факт без записи на три-четыре недели, вы сами потом удивитесь, с чего вам вздумалось записывать такую вещь, - она не имеет ни цены, ни значения. Шампанское, которое опьяняло вас в то время, уже не действует, не веселит и не раздражает нервы - оно выдохлось. Но это то, из чего состоит жизнь, - мелкие происшествия и крупные происшествия, и все они становятся одного масштаба, если их оставить в покое. Автобиография, которая оставляет в стороне мелочи и перечисляет только крупные события, вовсе не дает верной картины жизни

человека; его жизнь составляют его чувства и его интересы, а время от времени мелкие и крупные события, с которыми и связаны эти чувства.

Дело Моррис скоро потеряет какое бы то ни было значение, однако биограф президента Рузвельта найдет этот инцидент чрезвычайно ценным, если станет его рассматривать, станет исследовать - и окажется настолько проникательным, чтобы заметить, какой это проливает свет на характер президента. Разумеется, самая важная задача биографа - это раскрытие характера того человека, чью биографию он пишет. Биограф Рузвельта должен разобрать карьеру президента шаг за шагом, милю за милей, на всем его жизненном пути, со всеми иллюстрирующими ее эпизодами и инцидентами. Он должен специально осветить дело миссис Моррис, потому что оно уясняет характер. Вероятно, этого не могло бы случиться в Белом доме ни при каком другом президенте, занимавшем прежде это помещение. Вашингтон не позвал бы полицию и не выбросил бы даму через забор! Я не хочу сказать, что так поступил Рузвельт. Я хочу сказать, что Вашингтон не потерпел бы никаких Барнсов среди своих сотрудников. Это Рузвельтов окружают Барнсы. Личный секретарь был совершенно прав, отказав допустить кого-то к президенту президент не может принимать всех и каждого по их личным делам, - поэтому совершенно правильно, что он отказал одному лицу в приеме по его частному делу, уравнив в правах всех американцев. Так делалось, разумеется, и прежде, с начала времен и до наших дней: людям всегда отказывали в приеме у президента по частным делам, отказывали каждый день - и при Вашингтоне, и в наше время. Секретари всегда отстаивали свои позиции, мистер Барнс тоже отстоял свою. Но методы менялись, смотря по тому, какой президент стоял у власти: секретарь одного президента улаживал дело на один лад, секретарь другого - на другой, но еще никогда ни одному из прежде бывших секретарей не приходило в голову перебросить даму через забор.

Теодор Рузвельт один из самых порывистых людей, какие только есть на свете. Вот почему и секретари у него такие же. Президент Рузвельт, вероятно, никогда не обдумывает, как правильнее поступить в том или другом случае. Вот потому-то и секретари у него такие, которые не способны найти правильное решение ни в каком деле. Мы, естественно, окружаем себя людьми, чьи наклонности и образ действия сходны с нашими. Мистер Рузвельт один из самых приятных людей, с какими я знаком. Я знаю его, встречаюсь с ним время от времени, обедаю с ним, завтракаю с ним верных лет двадцать. Я всегда наслаждаюсь его обществом, так он сердечен, прям, откровенен и, для данной минуты, совершенно искренен. Этими качествами он симпатичен мне, когда действует как рядовой гражданин, этим же он дорог и всем своим друзьям. Но когда он действует под их влиянием в качестве президента, то становится довольно-таки странным президентом. Он бросается от одного дела к другому с невероятной поспешностью - выкидывает курбет и оказывается опять там же, где был на прошлой неделе. Потом он перевернется еще несколько раз, и никто не может предсказать, где он в конце концов окажется после целого ряда таких курбетов. Каждое действие президента, каждое его высказывание отменяет предыдущее действие или высказывание, а то и противоречит им. Вот что постоянно происходит с ним как с президентом. Но каждое высказанное им мнение есть, несомненно, его искреннее мнение в данную минуту, и, так же несомненно, это уже не то мнение, которого он держался тремя или четырьмя неделями раньше и которое было таким же честным и искренним, как и более позднее. Нет, его нельзя обвинить в неискренности, - беда не в том. Его беда в том, что самое последнее увлечение захватывает его, захватывает целиком, с ног до головы, и на данное время отменяет все прежние мнения, чувства и убеждения. Он самая популярная личность, какая только была в Соединенных Штатах, и причина этой популярности как раз те же порывы энтузиазма, те же радостные излияния восторженной искренности. В этом он очень похож на всех остальных американцев. Они видят в нем свое отражение. Они видят также, что его порывы редко бывают дурны. Они почти всегда щедры, прекрасны, великодушны. Ни один не длится у него достаточно долго, чтобы он мог довести дело до конца и увидеть, что получится в результате, но все признают великодушные его намерений, восхищаются этим и любят его за это.

19 января 1906 г.

[О ДУЭЛЯХ]

Около 1864 года дуэли как-то сразу вошли в моду в штате Невада. Каждый стремился попробовать свои силы в этом новом спорте главным образом потому, что невозможно было уважать себя по-настоящему, не убив или не искалечив кого-нибудь на дуэли и не предоставив другому возможности убить или искалечить себя.

В то время я уже около двух лет жил в Вирджиния-Сити и служил редактором отдела городской хроники в газете мистера Гудмена "Энтерпрайз" {92}. Мне было двадцать девять лет. Во многих отношениях я был честлюбив, но только не в отношении дуэлей: новая мода меня ничуть не увлекала. Я не испытывал ни малейшего желания драться на дуэли. Я вовсе не собирался посылать кому-нибудь вызов. Я сознавал, что не заслуживаю уважения, но до известной степени утешался мыслью, что жизнь моя находится в безопасности. Мне было стыдно за самого себя, остальным сотрудникам было стыдно за меня, но я выносил это довольно стойко. Я с давних пор привык к тому, что мне всегда чего-нибудь да приходится стыдиться, и такое положение было для меня не новостью. Я с этим легко мирился. Планкет был сотрудником нашей газеты. Р.М.Дэггет {93} тоже был нашим сотрудником. И тому и другому не терпелось подраться на дуэли, но пока что это не удавалось и надо было ждать до поры до времени. Один только Гудмен сделал кое-что для поддержания престижа нашей газеты. Конкурирующим органом печати была газета "Юнион". Некоторое время ее редактировал Фитч, прозванный "Златоустом из Висконсина", - он был оттуда родом. Он упражнялся в ораторском искусстве на столбцах своей газеты, и Гудмен вызвал его на дуэль и пулей умерил его рвение. Помню радость всей редакции, когда вызов Гудмена был принят Фитчем. Мы долго не спали в ту ночь и прямо носили на руках Гудмена. Ему было всего двадцать четыре года; ему еще недоставало той мудрости, какая имеется у человека в двадцать девять лет, и он так же радовался вызову, как я тому, что не вызван. В секунданты он выбрал майора Грэвса (имя не то, но оно довольно близко; не помню точно, как звали майора). Грэвс явился наставлять Джо в искусстве дуэлей. Его начальством когда-то был Уокер {93} "сероглазый избранник судьбы", и Грэвс провоявал с этим замечательным человеком всю его флибустьерскую кампанию в Центральной Америке. Этот факт дает представление о майоре. Сказать, что человек служил майором при Уокере и вышел из боев, удостоившись похвалы Уокера, значит сказать, что майор был не только храбрым человеком, но что он был храбр в самом высшем значении этого слова. Все люди Уокера были такие же. Я близко знал семью Гиллисов. Отец проделал всю кампанию с Уокером, а вместе с ним один из сыновей. Они участвовали в памятном сражении при Пласа и выдержали до конца, несмотря на подавляющее превосходство противника, как и все люди Уокера. Сын был убит рядом с отцом. Отец получил пулю в глаз. Старик - он и в то время был стариком - носил очки, и пуля вместе со стеклом вошла в череп и осталась там. Были еще и другие сыновья - Стив {93}, Джордж и Джим, очень молодые, совсем мальчики, которым тоже хотелось участвовать в походе Уокера, ибо они унаследовали отважный дух своего отца. Но Уокер их не взял: он сказал, что поход дело серьезное и детям в нем не место.

Майор был величественный старик, держался по-военному, очень достойно и внушительно, от природы и по воспитанию был учтив, любезен, приветлив и обаятелен; и в нем было то свойство, которое мне довелось встретить только еще у одного человека - у Боба Хауленда {94}, - то свойство, которое заключается во взгляде, и когда этот взгляд в предостережение обращен на одного или нескольких людей, то этого довольно. Человек с таким взглядом не нуждается в оружии, он может пойти на вооруженного головореза, усмирить его и взять в плен, не сказав ни единого слова. Я видел однажды, как это проделал Боб Хауленд - худенький, добродушный, кроткий, любезный, не человек, а скелетик, с мягкими голубыми глазами, которые ласковым взглядом покоряли ваше сердце, а холодным замораживали его, - смотря по обстоятельствам.

Майор заставил Джо стать прямо, в пятнадцати шагах от него поставил Стива Гиллиса; велел Джо повернуться к Стиву правым боком, зарядить шестиствольный револьвер

флотского образца - изумительное оружие! - и держать его дулом вниз, прижатым к ноге, объяснив, что это и есть правильное положение оружия, а то, которое принято в Вирджиния-Сити (то есть поднять оружие в воздух и медленно опускать его, целясь в противника), совершенно неправильно. При слове "раз" вы медленно поднимаете револьвер, целясь в то место, куда желаете попасть. "Раз, два, три - стреляйте стоп!" При слове "стоп" можете стрелять, но не раньше. Можете выждать сколько угодно после этого слова. Затем, когда вы начнете стрелять, вы можете продвигаться вперед и стрелять на ходу в свое удовольствие, - если вам это доставляет какое-нибудь удовольствие. А тем временем противник, если его как следует проинструктировали и если он еще жив и может воспользоваться своим правом, идет на вас и тоже стреляет, - и всегда возможно, что результаты получатся более или менее плачевные.

Вполне естественно, что револьвер Джо, когда он его поднял, был направлен в грудь Стива, но майор сказал:

- Нет, это не годится. Вы можете рисковать своей жизнью, но не жизнью другого человека. Если вы останетесь в живых после дуэли, то надо, чтобы воспоминание о ней не преследовало вас всю жизнь и не мешало вам спать. Цельтесь противнику в ногу, но не в колено и не выше колена, потому что это опасные места. Цельтесь ниже колена; изучите противника, но постарайтесь, чтобы хоть что-нибудь осталось его матери.

Благодаря этим поистине мудрым и превосходным советам Джо свалил своего противника пулей ниже колена, отчего тот охромел на всю жизнь. А сам Джо потерял всего только клочок волос, что для него тогда было гораздо легче, чем теперь. Потому что, когда я видел его год тому назад, вся его шевелюра исчезла, - у него не осталось почти ничего, кроме бахромы, над которой куполом высится череп.

Через год после того представился случай и мне. Надо сказать, что я вовсе за этим не гнался. Гудмен уехал на неделю отдыхать в Сан-Франциско, и я остался за главного редактора. Я полагал, что это вовсе не трудно: работы почти никакой, стоит только писать по одной передовице в день; однако мне скоро пришлось отказаться от этого предрассудка. В первый же день я никак не мог придумать тему для статьи. Потом меня осенило: сегодня 22 апреля 1864 года, значит, завтра исполнится триста лет со дня рождения Шекспира; лучше темы и не придумаешь. Я достал энциклопедию, раскрыл ее и узнал, кто такой был Шекспир и что он сделал, потом, позаимствовав эти сведения, преподнес их публике; и надо сказать, что трудно было бы даже нарочно найти аудиторию, более нуждающуюся в сведениях о Шекспире. Того, что Шекспир сделал, не хватило бы на приличной длины передовицу, остальное я дополнил тем, чего он не делал, - и во многих отношениях это было куда интересней и занимательней, чем самые выдающиеся из его деяний. А на следующий день я опять не знал, что мне делать. Шекспиров больше под рукой не оказалось, обрабатывать было нечего. Ни в истории прошлого, ни в перспективах мировой истории не было ничего такого, из чего можно было бы состряпать передовицу для нашей публики, и, значит, оставалась только одна последняя тема. Этой темой был мистер Лэрд, владелец газеты "Юнион". У него редактор тоже уехал в Сан-Франциско, и Лэрд практиковался в редакторском ремесле. Я расшевелил мистера Лэрда несколькими любезностями того сорта, какими было принято обмениваться среди местных журналистов, а на другой день он мне ответил самым ядовитым образом. Мы ждали вызова от мистера Лэрда, потому что по правилам - по дуэльному этикету, пересмотренному и усовершенствованному нашими дуэлянтами, - если вам говорили что-нибудь неприятное, мало было отвечать в том же или более оскорбительном тоне: этикет требовал, чтобы вы послали вызов. И мы ждали вызова, ждали целый день. А его все не было. День близился к концу, час проходил за часом, и все сотрудники приуныли. Они пал" духом. Зато я возликовал и с каждым часом чувствовал себя все лучше и лучше. Они этого не понимали, зато понимал я. Такая уж у меня натура, что я могу радоваться, когда другие теряют надежду. Потом мы сообразили, что нам следует пренебречь этикетом и самим послать вызов Лэрду. Когда мы пришли к этому заключению, сотрудники начали радоваться, зато я веселился гораздо меньше. Однако в

делах такого рода мы всецело зависим от друзей; нам ничего другого не остается, как подчиниться тому, что они считают правильным. Дэггет написал за меня вызов, потому что у Дэггета был слог тот самый, какой требовался, убедительный слог, а мне его не хватало. Дэггет обливал мистера Лэрда струей неблагоприятных эпитетов, обличал его с силой и ядом, которые должны были подействовать убеждающе; Стив Гиллис, мой секундант, отнес вызов и вернулся дожидаться ответа. Ответа не было. Товарищи выходили из себя, но я сохранял душевное равновесие. Стив отнес другой вызов, еще пламеннее первого, и мы снова стали ждать. И ровно ничего не дождались. Я опять пришел в отличное настроение. Теперь я и сам почувствовал интерес к вызовам. Раньше я ими не интересовался, но теперь мне казалось, что я без всяких хлопот могу составить себе лестную и почетную репутацию; и мой восторг по этому поводу рос и рос по мере того, как Лэрд отклонял один вызов за другим, и часам к двенадцати ночи я уже начал думать, что нет ничего завиднее возможности драться на дуэли. И я пристал к Дэггету и заставил его послать вызов. Увы! Я перестарался. Я мог бы предвидеть, что так случится: нельзя было полагаться на Лэрда.

Все наши пришли в неопиcуемый восторг. Они помогли мне составить завещание - еще одна лишняя неприятность, а у меня их и без того было достаточно. Потом они проводили меня домой. Я совсем не спал: что-то не хотелось. Мне было о чем подумать, и на все это оставалось меньше четырех часов, потому что начало трагедии было назначено на пять, а один час начиная с четырех, - я должен был упражняться в стрельбе и запоминать, каким концом револьвера следует целиться в противника. В четыре часа мы пошли в маленькое ущелье, приблизительно в миле от города, и по дороге позаимствовали ворота для мишени у одного человека, который уехал на время в Калифорнию, - поставили эти ворота, а к середине прислонили доску от забора. Доска должна была изображать мистера Лэрда, хотя он был куда длиннее и худее. Для него годился разве ураганный огонь, да и то пуля раскололась бы, - для дуэли он совсем не подходил, хуже и не придумать. Я начал с доски. В доску я не попал. В ворота не попал тоже. Опасности подвергались только те, кто не успел убраться подальше от мишени. Я совсем упал духом и ничуть не обрадовался, когда вскоре мы слышали выстрелы в соседнем овражке. Я знал, что это такое: это Лэрдова шайка натаскивала его. Им были слышны мои выстрелы, и, конечно, следовало ожидать, что они захотят посмотреть, какие я тут ставлю рекорды - каковы их шансы против меня. Что ж, рекордами я похвалиться не мог; и я знал, что если Лэрд подойдет поближе и увидит, что на моих воротах нет ни единой царапины, то он будет так же рваться в бой, как я рвался в бой до полуночи, когда еще не был принят этот несчастный вызов.

Как раз в эту минуту маленькая птичка, не больше воробья, пролетела мимо и уселась на куст полыни, ярдах в тридцати от нас. Стив выхватил револьвер и отстрелил ей голову. Вот это был стрелок, не мне чета! Мы побежали подбирать птицу, и, как нарочно, в это самое время Лэрд со всей компанией показался из-за поворота, и все они подошли к нам. Когда секундант Лэрда увидел эту птичку с отстреленной головой, он побледнел и, как сразу можно было увидеть, взволновался.

Он спросил:

- Кто это стрелял?

Не успел я рта разинуть, как Стив сказал совершенно спокойно, деловитым тоном:

- Это Клеменс.

Секундант сказал:

- Ну, изумительно! И далеко была эта птица?

Стив ответил:

- Нет, не очень - ярдах в тридцати.

Секундант сказал:

- Н-да, удивительно метко. И часто он так попадает?

Стив ответил томно:

- О, четыре раза из пяти!

Мошенник врал бессовестно, но я промолчал. Секундант сказал:



- Да, меткость изумительная! А я-то думал, что ему и в церковь не попасть.

Я подивился его пронизательности, но промолчал. Они тут же с нами распрощались. Секундант повел домой Лэрда, не совсем твердо державшегося на ногах, и Лэрд вскоре прислал мне собственноручную записку, что не согласен со мной стреляться ни на каких условиях.

Итак, моя жизнь была спасена благодаря чистой случайности. Не знаю, что думала эта птица насчет вмешательства providения, но я чувствовал себя очень и очень приятно по этому случаю, - был совершенно спокоен и доволен. Впоследствии оказалось, что Лэрд попал в цель четыре раза из шести - и, заметьте, подряд. Если б дуэль состоялась, он так изрешетил бы мою шкуру, что в ней не удержались бы никакие принципы.

К завтраку по всему городу разнеслась весть, что я посылаю вызов на дуэль, а Стив Гиллис вручил его. Это каждому из нас могло стоить двух лет тюрьмы по новоиспеченному закону.

Губернатор Норс ничего нам не сообщал, зато кое-что сообщил нам один из его близких друзей. Он сказал, что самое лучшее для нас - это уехать с территории штата с первым же дилижансом. Дилижанс отправлялся в четыре часа утра, а тем временем нас будут искать, но не слишком рьяно; а если бы после ухода этого дилижанса мы остались на территории, то были бы первыми жертвами нового закона. Губернатору непременно хотелось принести кого-нибудь в жертву новому закону, и он продержал бы нас в тюрьме никак не меньше двух лет. Он не помиловал бы нас ни за что на свете.

Что ж, получалось, что мое присутствие нежелательно в штате Невада; мы просидели дома весь тот день, соблюдая должную осторожность - один только раз Стив сходил в гостиницу к другому моему клиенту. Это был некий мистер Катлер. Не одного Лэрда я пытался исправить, сидя на редакторском месте. Я осмотрелся, выбрал еще нескольких человек и вдохнул в них новую жизнь, горячо их критикуя и отзываясь о них неодобрительно; так что, когда я отложил редакторское перо, мне причитались две дуэли и четыре взбучки хлыстом. Насчет взбучек мы беспокоились мало, они не могли принести нам славы, и ходить за ними не стоило. Но по долгу чести следовало обратить внимание на вторую дуэль. Мистер Катлер приехал из Карсон-Сити и прислал из гостиницы вызов с посылным. Стив пошел успокаивать его. Стив весил только девятью пять фунтов, но всему штату было известно, что своими кулаками он может "убедить" любого, сколько бы тот ни весил и как бы ни тренировался. Стив был из семьи Гиллисов, а если Гиллис подходил к человеку с каким-нибудь предложением, то это были не пустяки. Когда Катлер узнал, что мой секундант Стив Гиллис, он значительно остыл: стал спокоен и рассудителен и согласился выслушать его. Стив дал ему четверть часа на выезд из гостиницы и полчаса на выезд из города, а не то будут приняты меры. Так и эта дуэль сошла благополучно, потому что Катлер уехал в Карсон-Сити раскаявшись, совсем другим человеком.

С тех пор мне не приходилось больше иметь дело с дуэлянтами. Я отнюдь не одобряю дуэлей. Я считаю их неблагоприятными, и мне известно, что дуэли опасны для жизни. Тем не менее я всегда очень интересовался чужими дуэлями. Всегда чувствуешь живой интерес к подвигам, какие случалось совершать самому.

В 1878 году, через четырнадцать лет после моей несостоявшейся дуэли, господина Фортю и Гамбетта подрались на дуэли{100}, которая сделала их героями во Франции и заставила над ними смеяться весь мир. В ту осень и зиму я жил в Мюнхене и так заинтересовался этой дуэлью, что написал о ней пространный отчет - он есть где-то в одной из моих книг, - отчет, в котором были некоторые неточности, но как разоблачение духа этой дуэли, мне думается, он вполне правилен и достоин доверия.

23 января 1906 г.

[ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НАТУРА]

Роясь в своих старых рукописях, я наткнулся на одну, написанную, как мне кажется, около двадцати двух лет назад. Она снабжена заголовком, и, по-видимому, это был набросок статьи для журнала. Теперь я очень хорошо понимаю, почему не напечатал ее. Судя по

всему, поводом к ее написанию послужило то, что примерно тогда случилось с Твичелом {100}, попавшим в положение, которое он не забудет до гроба, а может быть, и в гробу. Я замечаю, что от начала до конца этой иносказательной статьи сыпал намеками на Твичела, на разговор со священником, который встретился мне на улице, и еще на многое, что тогда приводило меня в ярость. Теперь, перечитывая эту старую статью, я догадываюсь, почему не отдал ее в печать: несомненно, я решил тогда, что моя иносказательная манера недостаточно совершенна, что мне не удалось как следует завуалировать Твичела и разговор, на который я намекал, и что любой хартфордец сумеет прочесть между строк все, о чем я не сказал прямо.

Я вставляю здесь эту дряхлую статью, а затем расскажу о вышеупомянутом случае из жизни Джо.

О человеке. Это слишком обширная тема, чтобы рассматривать ее целиком; поэтому я коснусь теперь лишь одной-двух частных. Я хочу взглянуть на человека со следующей точки зрения, исходя из следующей предпосылки: что он не был создан ради какой-то разумной цели, - ведь никакой разумной цели он не служит; что он вообще вряд ли был создан намеренно и что его самовольное возвышение с устричной отмели до теперешнего положения удивило и огорчило Творца. Ибо его история во всех частях света, во все эпохи и при всех обстоятельствах дает целые океаны и континенты доказательств, что из всех земных созданий он - самое омерзительное. Из всего выводка только он, он один наделен злобой.

А это самый низкий из всех инстинктов, страстей, пороков - и самый отвратительный. Злоба ставит его ниже крыс, личинок, трихин. Он единственное существо, которое причиняет боль другим ради забавы и знает, что это - боль. Правда, если кошка понимает, что причиняет боль, играя с перепуганной мышью, нам придется сделать оговорку и признать, что в одном отношении человек морально равен кошке. Все живые существа убивают, - это правило, кажется, не знает исключений, - но из них только человек убивает ради удовольствия, только он убивает по злобе, только он убивает из мести. А кроме того, из всех живых созданий только он обладает грязным умом.

Стоит ли восхвалять человека за его благородные качества, за его доброту, кротость, дружелюбие, за способность любить, за мужество, верность, терпение, стойкость, благоразумие, за многие обаятельные качества его души? Всем этим обладают и другие животные, свободные от черных и подлых свойств его натуры.

...В мире широко распространены некоторые приятно пахнущие, обсахаренные разновидности лжи, и, очевидно, все занимающиеся политикой люди безмолвно согласились поддерживать их и способствовать их процветанию. Одна ложь гласит, что в мире существует такая вещь, как независимость: независимость взглядов, независимость мысли, независимость действий. Другая - что мир любит проявления независимости, что он восхищается ею, приветствует ее. Еще одна - что в мире существует такая вещь, как терпимость в религии, в политике и так далее; а из этого вытекает уже упомянутая вспомогательная ложь, что терпимостью восхищаются, что ее приветствуют. Каждая такая разновидность лжи - ствол, а от нее ответвляется множество других: та ложь, будто не все люди рабы, та ложь, будто люди радуются чужому успеху, чужому счастью, чужому возвышению и полны жалости, когда за ним следует падение. И еще одна ложь-ответвление: будто человеку присущ героизм, будто злоба и предательство - это не основа основ его натуры, будто он не всегда бывает трусом, будто в нем есть нечто, заслуживающее вечности - в раю ли, в аду или где бы то ни было. И еще одна ложь-ответвление: будто совесть, эта моральная аптечка человека, не только создана Творцом, но и вкладывается в человека уже снабженная единственно правильными, истинными и подлинными рецептами поведения, и что точно такие же аптечки с точно такими же коррективами, извечные и неизменные, распределяются между всеми народами во все эпохи. И еще одна ложь-ответвление: будто я - это я, а ты - это ты, будто мы - нечто самостоятельное, индивидуальное, обладающее собственным характером, а вовсе не кончик глистообразной вереницы предков, непрерывной

чередой уходящей все дальше и дальше в глубь веков, к обезьянам; и будто эта наша так называемая индивидуальность не является на самом деле заплесневелой и прогорклой мешаниной наследственных инстинктов и понятий, заимствованных частица за частицей, мерзость за мерзостью от всей этой жалкой вереницы, причем истинно нового и оригинального в нас наберется ровно столько, чтобы подцепить на острие иголки и рассматривать под микроскопом. Отсюда понятно, почему таким фантастическим кажется утверждение, будто человек обладает личной, неповторимой и самостоятельной натурой, которую можно отделить от всего наносного в объеме, дающем возможность сказать: да, это человек, а не процессия...

...Рассмотрим первую ложь, которую мы упомянули: что будто бы существует такая вещь, как независимость, что она присуща отдельным индивидам, что она присуща сообществам людей. Однако если океаны и континенты доказательств что-нибудь и доказывают неопровержимо, - то именно полное отсутствие чувства независимости у всего рода человеческого. Редкие исключения только подчеркивают правило, освещают его, делают особенно заметным. Все жители Новой Англии по очереди в течение многих лет покорно выстаивали в вагоне поезда всю дорогу, не позволяя себе ни единой жалобы вслух; и такое положение длилось до тех пор, пока эти бесчисленные миллионы не произвели на свет одного-единственного независимого человека, который встал на защиту своих прав и заставил железнодорожную компанию снабдить себя сиденьем. Исходя из статистики и закона вероятности, можно сделать вывод, что для создания второго такого человека Новой Англии понадобится сорок лет. Существует закон, запрещающий поездам под угрозой соответствующего наказания занимать переезд на Эзилиум-стрит более чем на пять минут подряд. На протяжении многих лет пешеходы и экипажи ждали у переезда по двадцать минут и больше, пока его монополизировали поезда железнодорожной компании Новой Англии. Я не раз слышал энергичные протесты против подобного наглого нарушения закона, но тем не менее протестующие продолжали покорно ждать.

Мы - осторожные овцы, мы выжидаем, куда свернет стадо, и потом следуем за ним. У нас по каждому вопросу есть два мнения: одно наше личное, которое мы боимся выразить вслух, и второе, предназначенное для того, чтобы угодить миссис Гранди {103}, которым мы широко пользуемся, пока в конце концов привычка не прививает нам вкус к нему, а необходимость постоянно его защищать не заставляет нас полюбить его и проникнуться восхищением перед ним, так что мы забываем, какое жалкое чувство его породило. Посмотрите, как это проявляется в политической жизни страны. Вспомните, как, всеми силами души презирая в этом году какого-нибудь кандидата в президенты, мы боимся не отдать ему свой голос в следующем; как мы поливаем его грязью сегодня и превозносим до небес с публичной трибуны завтра, - причем привычка закрывать глаза на обличающие факты прошлого года вскоре порождает у нас искреннюю и тупую веру в то, что нам сообщается в этом году. Подумайте о тирании наших партий - о том, что зовется верностью и лояльностью по отношению к партии, об этой ловушке, придуманной интриганам для своекорыстных целей и превращающей избирателей в товар, в рабов, в зайцев, пока они вместе со своими хозяевами выкрикивают всякую ерунду о свободе, независимости, свободе совести, свободе слова, искренне не замечая вопиющих противоречий и забывая (или игнорируя) тот факт, что поколением раньше их отцы и тогдашние служители церкви выкрикивали все ту же святотатственную ложь, когда они захлопывали дверь перед затравленным рабом, когда побивали горстку его человеколюбивых защитников цитатами из священного писания и дубинками, когда глотали оскорбления южан-рабовладельцев и лизали им сапоги.

Если нам захочется узнать подлинную сущность человечества, достаточно будет просто наблюдать за его представителями во время выборов. Некий хартфордский священник, встретившись со мной на улице, заговорил о новом кандидате и принялся пылко и убежденно порицать его - слушать эту исполненную независимости и мужества речь было одно удовольствие\*. Он сказал: "Возможно, мне следовало бы гордиться, так как этот

кандидат - мой родственник; однако на самом деле я испытываю боль и отвращение, ибо я хорошо, даже весьма близко с ним знаком и знаю, что он законченный негодяй и всегда был таким". Но видели бы вы этого священника сорок дней спустя, когда он, председательствуя на политическом митинге, убеждал, настаивал, исходил в славословиях, превознося безупречную репутацию того же самого кандидата! Вам показалось бы, что он описывает Сиду{104}, Великое Сердце{104}, сэра Галахада{104} и Баяра{104}, рыцаря без страха и упрека, слившихся воедино. Был ли он искренен? Да, к тому времени уже был. Вот почему все это так жалко и безнадежно. Как мало усилий надо затратить человеку, чтобы научиться лгать и верить своей лжи, если обстоятельства показывают ему, что таково общее направление! Верит ли он этой лжи и до сих пор? Весьма возможно, что нет; ему ведь она больше не нужна. Речь шла о мимолетном эпизоде его жизни: уделив ему то, что надлежало, он поспешил вернуться к своим основным делам.

---

\* Я забыл его фамилию. Кажется, она начинается с "К". Он был одним из американских толкователей Нового Завета и ученостью не уступал самому Хэммонду Трамбулу{104}. (Прим. автора).

А какой мелкой, неубедительной ложью оказывается утверждение, что независимость действий и взглядов высоко ценится в людях, вызывает восхищение, почитается, вознаграждается. Когда человек выходит из политической партии, на него смотрят так, словно он был имуществом партии, ее рабом (впрочем, ими по сути и являются почти все члены любой политической партии) и украл самого себя, бежал с тем, что ему не принадлежит. На него клеветают, над ним издеваются, его презирают, выставляют на всеобщее поношение и позор. Его имя безжалостно смешивают с грязью, в ход пускаются самые гнусные средства, чтобы нанести ущерб его благосостоянию.

Проповедник слова божьего, который будет голосовать, повинувшись требованию своей совести, рискует умереть с голоду. Но он заслуживает такой судьбы, ибо учил лжи - тому, будто люди уважают и почитают независимость мысли и действий.

Если мистера Бичера обвинят в преступлении, все его последователи восстанут как один человек и будут защищать его до конца, но кто пожелает остаться его другом, если его обвинят в том, что он голосовал, повинувшись требованию своей совести? Предположим, в том же обвинят издателя газеты или... или кого угодно.

Все эти рассуждения о терпимости в любом ее виде - утешительная ложь. Терпимости не существует. Ей нет места в человеческом сердце, но по древней заплесневелой привычке все, захлебываясь и брызгая слюной, бормочут о ней. Нетерпимость - это все для себя и ничего для других... Такова основа человеческой природы, и имя ей - эгоизм.

Ради краткости не станем разбирать все остальные разновидности лжи. Это ни к чему не приведет и лишь еще раз докажет, что человек таков, каков он есть: любящий и любимый, когда дело касается его семьи или друзей, а в остальном - шумный, хлопотливый и пошлый враг себе подобных, который проводит здесь свой крохотный день, пачкая, что успеет, а потом поручает себя богу, уходит во мрак и уже не возвращается и не подает о себе никаких вестей, эгоистичный даже в смерти.

26 января 1906 г.

[ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ]

По-моему, нетрудно догадаться, что эта старая статья была написана двадцать два года тому назад, месяца через три-четыре после поражения мистера Блейна{106} на президентских выборах и избрания кандидата демократической партии Гровера Кливленда{106}, которое на время положило конец господству республиканцев, длившемуся на протяжении жизни целого поколения. Я чаще голосовал за республиканцев, чем за демократов, но никогда не был ни республиканцем, ни демократом. В нашем городе меня считали республиканцем, но сам я таковым себя не считал. Еще в 1865 (или, может быть, в 1866) году со мной произошел странный случай: до той поры я смотрел на себя как на республиканца, но затем решил голосовать независимо от каких бы то ни было партий, - и

обратил меня на этот путь убежденный республиканец. Этот человек впоследствии был выбран в сенат Соединенных Штатов и, насколько мне известно, оставил по себе незапятнанную память, если не считать того, что он был отцом ныне здравствующего Уильяма Рэндольфа Херста и, следовательно, дедушкой желтой прессы - этого страшнейшего из бедствий.

Херст был уроженцем штата Миссури; и я был уроженцем штата Миссури. Он был высоченным, худым, практичным, очень житейски-умным, но необразованным человеком лет пятидесяти. Я был пониже ростом и эрудированнее - по крайней мере мне так казалось. Однажды, выступая в Лик-Хаусе в Сан-Франциско, он сказал:

- Я республиканец и всегда буду республиканцем. Это мое намерение, а я редко отступаю от своих намерений. Взгляните, однако, на положение вещей. Республиканская партия идет от успеха к успеху, пожинает триумф за триумфом и уже начала считать, что политическая власть в Соединенных Штатах ее личная собственность и попытка любой другой партии посягнуть хотя бы на часть этой власти - просто наглость. Для страны ничего не может быть вреднее такого положения. Передать власть одной партии и сохранить ее за ней значит обеспечить стране скверное правительство, и самое главное обеспечить верное и неуклонное разложение общественной морали. Партии должны быть почти равны по силам, чтобы их руководителям приходилось подыскивать себе самых лучших людей. Родители-демократы должны по возможности делить своих сыновей между двумя партиями и делать все, что от них зависит, чтобы таким образом уравнивать силы. У меня только один сын. Он еще совсем малыш, но я уже учу его, убеждаю его, готовлю его голосовать против меня, когда он достигнет совершеннолетия, независимо от того, к какой партии я буду тогда принадлежать. Он уже хороший демократ, и я хочу, чтобы он оставался хорошим демократом, - до тех пор, пока я сам не стану демократом. Тогда я, если смогу, заставлю его перейти в республиканцы.

Мне показалось, что этот необразованный человек при всем при том очень мудр. С той поры и по сей день я голосовал, руководствуясь собственным мнением, а не официальным. С той поры и по сей день я не был членом никакой партии. С той поры и по сей день я не принадлежал ни к какой церкви. Во всех подобных вопросах я сохранял за собой полную свободу. И благодаря этой независимости я обрел душевный покой и уверенность, которым нет цены.

Когда лидеры республиканской партии заговорили о Блейне как о возможном кандидате на пост президента, хартфордские республиканцы очень огорчились и пришли к выводу, что, если его кандидатура будет выдвинута официально, он непременно потерпит поражение. Но они думали, что до этого не дойдет. В Чикаго открылся съезд республиканской партии, и началась баллотировка кандидатов. Мы играли на бильярде у меня дома - Сэм Дэнхем, Ф.Дж.Уитмор{107}, Генри К. Робинсон, Чарльз Э. Перкинс и Эдвард М. Банс. Играли мы поочередно, а в промежутках разговаривали о политике. Джордж, негр-дворецкий, дежурил в кухне у телефона. Как только очередной результат баллотировки становился известен в хартфордском центре республиканской партии, оттуда звонили ко мне, и Джордж сообщал нам эту новость по переговорной трубке. Никто из присутствующих серьезно не предполагал, что кандидатура мистера Блейна все-таки будет выдвинута. Все мои гости были республиканцами, но не питали особой любви к Блейну. В течение двух лет хартфордский "Карент" постоянно обличал и высмеивал Блейна. Каждый день газета выдвигала против него все новые обвинения. Она беспощадно критиковала его политическую деятельность и подкрепляла свою критику убийственными фактами. Вплоть до того времени "Карент" был газетой, которая высказывала свое мнение о выдающихся деятелях обеих партий с полной искренностью, и можно было не сомневаться, что ее суждения хорошо обоснованы, продуманы и здравы. В те времена я привык полагаться на "Карент" и принимал все его выводы на веру.

Мы продолжали играть на бильярде и спорить о политике, как вдруг часа в три Джордж преподнес нам через переговорную трубку потрясающую новость. Официальным

кандидатом был выдвинут мистер Блейн! Бильярдные кии со стуком опустились на пол, а игроки словно онемели. Никто не знал, что сказать. Наконец молчание нарушил Генри Робинсон.

- Вот уж не повезло, - грустно сказал он, - что мы обязаны голосовать за этого человека.

- Но мы вовсе не обязаны за него голосовать, - возразил я.

- Неужели вы хотите сказать, - удивился Робинсон, - что вы не собираетесь голосовать за него?

- Именно это я и хочу сказать, - ответил я. - Я не собираюсь голосовать за него.

Тут наконец и остальные обрели дар речи. И все затаили одну и ту же песню. Каждый заявил, что, раз уж представители партии выдвинули кандидата, спорить больше не о чем. Если выбор неудачен, очень жаль, но ни один лояльный член партии не имеет права лишиться этого кандидата своего голоса. Его долг ясен, и долг этот должен быть выполнен. Он обязан голосовать за кандидата своей партии.

Я сказал, что нет такой партии, которая обладала бы привилегией диктовать мне, как я должен голосовать; что если лояльность по отношению к партии - это проявление патриотизма, то, значит, я не патриот, и что вообще я не могу считать себя патриотом, так как чаще всего то поведение, которое большинство американцев считает истинно патриотическим, не соответствует моим взглядам; что если между американцем и монархистом действительно существует какая-то разница, то она в основном сводится к следующему: американец сам для себя решает, что патриотично, а что нет, в то время как за монархиста это делает король, чье решение окончательно и принимается его жертвой безоговорочно; что, по моему твердому убеждению, я единственный человек на шестьдесят миллионов, - за которыми стоят конгресс и правительство, - догадавшийся оставить за собой право самому создавать свой патриотизм.

Они ответили:

- Предположим, начнется война, какова тогда будет ваша позиция? Вы и в этом случае оставите за собой право решать по-своему, наперекор всей нации?

- Именно так, - ответил я. - Если эта война покажется мне несправедливой, я прямо так и скажу. Если в подобном случае мне предложат стать под ружье, я откажусь. Я не пойду воевать за нашу страну, как и за любую другую, если, по моему мнению, страна эта окажется неправой. Если меня насильно призовут под ружье, я вынужден буду подчиниться, но добровольно я этого не сделаю. Пойти добровольцем значило бы предать себя, а следовательно, и родину. Если я откажусь пойти добровольцем, меня назовут предателем, я это знаю - но это еще не сделает меня предателем. Даже единодушное утверждение всех шестидесяти миллионов не сделает меня предателем. Я все равно останусь патриотом, и, по моему мнению, единственным на всю страну.

Спор продолжался еще долго, но я никого в свою веру не обратил. Они все достаточно откровенно заявляли, что не хотят голосовать за мистера Блейна, но при этом добавляли, что голосовать все-таки будут. Потом Генри Робинсон сказал:

- До выборов еще далеко. Вам хватит времени, чтобы образумиться, и вы образумитесь. Вы не сможете противостоять всему, что вас окружает. В день выборов вы проголосуете за Блейна.

Я сказал, что вовсе не пойду голосовать.

С этой минуты и до полуночи редакция "Карента" переживала крайне неприятное время. Генерал Холи {109}, главный редактор (он же главнокомандующий этой газеты), был на своем посту в конгрессе, и до двенадцати часов ночи между ним и "Карентом" шел оживленный обмен телеграммами. За предыдущие два года "Карент" успел превратить мистера Блейна в "смоляное чучелко" {110} и каждый день обмазывал его свежей порцией смолы, - а теперь газете предстояло восхвалять и всячески приветствовать его и убеждать уже достаточно просвещенных читателей, что их долг - помочь "смолянному чучелку" стать у кормила власти. Положение получилось не из легких, и сотрудникам "Карента" во главе с генералом Холи понадобилось девять часов, чтобы проглотить эту горькую пилюлю. Но

наконец генерал Холи решился, и в полночь пилюля была проглочена. Не прошло и двух недель, как "Карент" уже лихо расхваливал то, что прежде строго порицал, а еще через месяц характер газеты изменился полностью - и по сей день ей еще не удалось до конца возратить себе прежние достоинства, хотя под руководством Чарльза Хопкинса Кларка она вернула их, по моим подсчетам, процентов на девяносто.

Фактическим редактором в то время был Чарльз Дадли Уорнер. Новые условия пришлось ему не по нутру. Обнаружив, что он не в силах повернуть свое перо в противоположном направлении и заставить его двигаться задом наперед, он решил отложить его совсем. Он отказался от обязанностей и от жалования редактора, жил с тех пор на доходы, которые получал как совладелец газеты, и на гонорары за журнальные статьи и за лекции, а в день выборов оставил свой голос при себе.

Беседа с ученым американцем, членом богословской коллегии, которая занималась пересмотром Нового Завета, протекала именно так, как я рассказал в своей старой статье. Он с большим жаром обличал Блейна, своего родственника, и заявил, что ни в коем случае не будет за него голосовать. Но он так привык пересматривать Новые Заветы, что ему потребовалось всего несколько дней, чтобы пересмотреть эти свои собственные слова. Едва я кончил разговаривать с ним, как мне встретился Джеймс Дж. Бэттерсон. Бэттерсон был председателем известной "Компании по страхованию путешественников". Это был прекрасный человек, волевой человек и превосходный гражданин. Он принялся обличать Блейна с не меньшим жаром, чем это только что проделал священник; но не прошло и двух недель, как, председательствуя на республиканском предвыборном митинге, он уже восхвалял Блейна, причем в таком восторженном тоне, что человеку неосведомленному могло показаться, будто республиканская партия была взыскана особой милостью и ей удалось заполучить в кандидаты кого-то из архангелов.

Время шло. День выборов был уже совсем близко. Как-то поздним морозным вечером Твичел, преподобный Фрэнсис Гудвин и я, пронизываемые ледяным зимним ветром, возвращались домой по пустынным улицам после заседания нашего клуба "Понедельники", где за ужином во время дебатов о современном политическом положении в стране, к вящему негодованию всех присутствующих, включая и дам, выяснилось, что среди нас находятся три предателя. Что Гудвин, Твичел и я намерены оставить свои голоса при себе, вместо того, чтобы отдать их архангелу. И вот где-то на этом пути домой Гудвина осенила счастливая мысль, которой он не преминул поделиться с нами.

Он сказал:

- Почему мы не хотим отдать наши три голоса Блейну? Несомненно, потому, что хотим по мере сил и возможностей способствовать его поражению на выборах. Отлично. Значит, наши голоса - это три голоса против Блейна. Здравый смысл подсказывает, что нам следует увеличить количество их до шести, проголосовав за Кливленда.

Даже мы с Твичелом сумели понять, что он говорит дело, и ответили:

- Правильно, мы так и поступим.

В день выборов мы отправились к урнам и претворили свой адский замысел в жизнь. В те времена голосование не было тайным. Любой присутствующий мог видеть, за кого подается голос, - и наше преступление в мгновение ока стало известно всему городу. Наше двойное преступление - по мнению всего города. Лишить Блейна своего голоса было уже серьезным проступком, но взять да и отдать этот голос кандидату демократов значило совершить преступление, которому даже в словаре трудно подыскать достойное наименование.

С этого дня и на довольно долгий срок жизнь Твичела превратилась в тяжелое бремя. Прихожане, говоря попросту, "озлились" на него, и исполнение его обязанностей приносило ему мало радостей, хотя, может быть, на его раны порой проливался целительный бальзам - когда ему приходилось хоронить некоторых членов своей паствы. Мне кажется, что схоронить их всех значило бы совершить поистине доброе дело и оказать благодеяние обществу. Но если Твичел и питал чувства вроде этих, он был слишком милосердным и

добрым человеком, чтобы выразить их вслух. Мне он ничего подобного не говорил, а я думаю, что был бы первым, с кем он поделился бы такими мыслями.

Твичел сильно уронил себя в глазах своего прихода. А ему приходилось содержать жену и маленьких детей. Его семья уже тогда была довольно многочисленной и все продолжала увеличиваться. С каждым годом ноша его делалась все более и более тяжелой, а жалованье оставалось прежним. Сводить концы с концами становилось все труднее, и если у него раньше была надежда на увеличение жалованья, то теперь с ней пришлось распрощаться. А жалованье было довольно мизерным - четыре тысячи долларов в год. Твичел не просил о прибавке, а самим прихожанам это и в голову не приходило. Поэтому, проголосовав за Кливленда, он, несомненно, обрек себя на большие невзгоды. Осуществление хваленого американского права на свободу и независимость убеждений и поступков имело катастрофические последствия. Но преподобный Фрэнсис Гудвин продолжал пользоваться таким же уважением, как и прежде, по крайней мере внешне, хотя в душе прихожане осудили его бесповоротно. Во всяком случае, в своей служебной деятельности он не потерпел никакого ущерба. Возможно, это объяснялось тем, что общественное мнение значило для него очень мало. Его отец имел капитал в семь миллионов и был стар. Преподобного Фрэнсиса ожидали повышение и наследство.

За себя мне тоже не приходилось беспокоиться. Мой заработок не зависел от Хартфорда и был вполне достаточен для всех моих нужд. Мнение Хартфорда повлиять на него не могло, а кроме того, мои друзья и знакомые уже давно знали, что я никогда не голосую за официального кандидата и, следовательно, настолько погряз в преступлениях такого рода, что никакое неодобрение исправить меня не может, - да и стою ли я хлопот, которые были бы затрачены на то, чтобы меня исправить?

Прошло еще месяца два, и настал Новый год, а с ним ежегодное собрание прихожан Джо и ежегодная продажа мест в церкви.

Четверг, 1 февраля 1906 г.

На самом собрании Джо не присутствовал. Священнику не полагается слушать, как обсуждаются финансовые дела его церкви. Поэтому он сидел один в ризнице, чтобы в случае надобности с ним можно было немедленно посоветоваться. Прихожане явились в полном составе. Все места были заняты. Едва только собрание было открыто, как кто-то вскочил на ноги и внес предложение, чтобы связь между их церковью и Твичелом была немедленно разорвана. Это предложение было поддержано, и повсюду стали раздаваться возгласы: "Ставьте на голосование!" Однако мистер Хэббард, коммерческий директор и совладелец "Карента", человек средних лет, благоразумный, спокойный, уравновешенный, потребовал сначала обсудить это предложение, а потом уже ставить его на голосование. Сказал он примерно следующее (я передаю содержание его речи своими словами, так как меня там не было):

- Мистер Твичел был вашим первым священником. Еще два месяца назад вам и в голову не приходило искать себе другого. Вы считали его хорошим пастырем, а теперь вдруг решили, что он недостойн им оставаться, поскольку его политические взгляды, с вашей точки зрения, недостаточно ортодоксальны. Ну, ладно: прежде он был достоин быть вашим пастырем, - теперь он недостойн. Его высоко ценили, - теперь, по-видимому, его ценность исчезла. Но только по-видимому. То, что в нем ценнее всего, не изменилось, - или я плохо знаю наш приход. Когда он стал нашим священником, этот район лежал на самой окраине, был мало населен, и недвижимость здесь почти ничего не стоила. Личность мистера Твичела оказалась тем магнитом, который сразу же начал притягивать сюда новое население. Это продолжается и по нынешний день. В результате за вашу недвижимость, которая прежде ничего не стоила, сейчас дают очень высокую цену. Поразмыслите же, прежде чем голосовать за это предложение. Церковь западного Хартфорда с глубоким интересом ждет результатов этого голосования. Недвижимость в тамошнем приходе стоит очень дешево. И им больше всего на свете нужен человек, который мог бы поднять ее цену. Увольте мистера Твичела сегодня, и завтра они пригласят его к себе. Цена недвижимости там начнет



подниматься, а здесь падать. Вот все, что я хотел сказать. Предлагаю приступить к голосованию.

Твичел не был уволен. Все вышеописанное произошло двадцать два года тому назад. Твичел стал священником этой церкви сразу же после своего рукоположения. Он служит в ней до сих пор и ни разу не расставался с ней ради какой-нибудь другой. Сороковая годовщина его пребывания в этом приходе была отпразднована теми же самыми прихожанами и их потомками всего недели две тому назад. И чествование прошло с большим энтузиазмом. С тех пор Твичел не совершил больше ни одной политической ошибки. Упорство, с каким он на всех выборах голосовал как положено, злило меня все эти годы и было причиной многих моих ругательных писем к нему. Но эти ругательства были притворными. На самом деле я никогда не осуждал его за то, что он голосует за своих проклятых республиканцев, - по той простой причине, что человек в его положении, когда ему приходится кормить большую семью, отвечает в первую очередь не перед своей политической совестью, а перед своей отцовской совестью. Чтобы исполнить один долг, приходилось жертвовать другим. И в первую очередь он должен был заботиться о своей семье, а не о своей политической совести. Он пожертвовал своей политической независимостью и такой ценой спас свою семью. При подобных обстоятельствах это был высший и лучший род человечности. Будь он Генри Уордом Бичером, он не имел бы права приносить в жертву свою политическую совесть, так как в случае увольнения его ждали бы тысячи новых кафедр и его семья все равно была бы обеспечена хлебом насущным. А Твичелу пришлось бы идти на риск - и на риск весьма значительный. Мне представляется весьма сомнительным, чтобы ему - да и кому угодно еще - удалось поднять цены на недвижимость в западном Хартфорде. По-моему, когда мистер Хэббард так напугал собрание прихожан, он пустил в ход всю свою фантазию. Я считаю, что для Твичела безопасней всего было по возможности оставаться на прежнем месте. Он спас свою семью, а это, на мой взгляд, было его первейшим долгом.

В нашей стране имеется примерно восемьдесят тысяч священников. Из них политической независимостью обладают человек двадцать, не больше, остальные ее лишены. Они должны голосовать за ту партию, к которой принадлежат их прихожане. Так они и поступают, и их нельзя осуждать. Причина, по которой они лишены политической независимости, заключена отчасти в них самих: они ведь не проповедуют политической независимости со своих кафедр. В том, что наш народ лишен политической независимости, повинны во многом и они.

Среда, 7 февраля 1906 г.

[СЮЗИ ПИШЕТ МОЮ БИОГРАФИЮ]

Когда Сюзи было тринадцать лет, эта худенькая девчушка с каштановыми косами, отливающими бронзой, - самая занятая пчелка во всем домашнем улье: ее день был до краев заполнен ученьем, лечебной гимнастикой и всяческими играми и развлечениями, - тайком, по собственному почину, движимая любовью, взвалила на себя еще одно дело - писать мою биографию. Трудилась она по ночам у себя в комнате и записки свои от всех прятала. Через некоторое время мать обнаружила их, стащила и показала мне; а потом призналась в этом Сюзи и рассказала ей, как я был доволен и горд. Вспоминать об этом случае для меня большая радость. Compliments мне делали и раньше, но ни один меня так не растрогал, ни один не был мне так дорог. Я и теперь могу сказать, что из всех комплиментов, похвал и почестей, от кого бы они ни исходили, самым ценным для меня всегда было и всегда будет то, что сделала Сюзи. Вот я перечитываю эти строки сейчас, после стольких лет, и опять воспринимаю их как высшую награду и испытываю то же радостное изумление, какое испытал тогда, только теперь к нему примешивается горькое сознание, что прилежная рука, торопливо царапавшая эти строки, уже никогда не коснется моей, - и я понимаю, что должен чувствовать смиренный, не ожидающий почестей человек при виде монаршего указа, возводящего его в дворянское звание.

Вчера в одной из старых записных книжек, которые я перерывал впервые за много лет,

мне попало упоминание об этой биографии. Совершенно ясно, что в те далекие дни я несколько раз, за завтраком или за обедом, позировал своему биографу. Да что там, я просто помню, что так оно и было, и помню, что Сюзи поймала меня на этом. Как-то утром, за завтраком, я сострил с весьма самодовольным видом, а немного позже Сюзи по секрету сообщила матери, что папа это сказал для биографии.

В том, что писала обо мне Сюзи, я не могу изменить ни строчки, ни единого слова. Время от времени я просто буду вводить кусочки из ее записей в их первоначальном виде. В них отразилась особенная простота, идущая от сердца - прекрасного, честного сердца ребенка. Все, что проистекает из этого источника, отмечено неповторимым очарованием и грацией, здесь могут быть нарушены все общепринятые законы литературы, но, однако, это литература, и заслуживает признания.

Орфография - порой вопиющая, но так писала Сюзи, так оно и останется. Мне дороги ее ошибки, для меня это чистое золото. Исправить их значило бы не облагородить это золото, а подмешать в него меди. Это была бы профанация, это бы все испортило. Исчезла бы свобода и гибкость, все стало бы сухим, казенным. Даже ее самые несурзные орфографические промахи меня не шокируют. Так писала Сюзи, она старалась изо всех сил, и для меня этим все сказано.

Языки давались Сюзи легко, история тоже давалась ей легко, и музыка тоже; все, чему ее учили, она постигала легко, быстро, основательно, - все, кроме правописания. Со временем она постигла и это. Но даже если бы она так и не научилась писать без ошибок, меня это не очень бы огорчило: я никогда особенно не уважал этой способности, хотя самому себе только ее и могу поставить в заслугу. Шестьдесят лет тому назад, когда я был мальчишкой, у нас в школе полагалось два приза: один - за хорошее правописание, другой за вежливое обращение. Призы эти представляли собой гладкие серебряные бляшки размером с доллар. На одной было выгравировано красивым круглым шрифтом "Правописание", на другой - "Вежливость". Получившие такую медаль носили ее на шее, на веревочке, и вся школа им завидовала. Любой школьник дал бы отрубить себе руку за право поносить эту бляшку хотя бы неделю, но таких счастливиц было только двое - Джон Робардз и я. Джон Робардз был неизменно, несокрушимо вежлив: я бы даже сказал, дьявольски вежлив; канальски вежлив, вежлив до отвращения. Именно такое чувство вызывала в нас эта его черта. И конечно, он всегда носил медаль за вежливость. А вторую медаль всегда носил я. Впрочем "всегда" - это слишком сильно сказано. Мы несколько раз теряли свои бляхи. Нам надоедало их носить. Хотелось разнообразия, и мы иногда обменивались медалями. Джону Робардзу приятно была даже видимость, будто он правильно пишет, а писал он прескверно. Мне же для разнообразия приятно было хотя бы считаться вежливым. Но, разумеется, такой самообман не мог длиться долго: кто-нибудь из одноклассников замечал нашу проделку и, как всякий нормальный школьник, незамедлительно доносил о ней по начальству. Учитель, конечно, отбирал у нас медали; но не позже чем в пятницу вечером они снова оказывались у нас. Если, скажем, мы лишились медалей в понедельник утром, то в пятницу днем, когда учитель подводил итоги за неделю, вежливость Джона оказывалась на первом месте. К концу занятий в этот день проводилось состязание по орфографии. Я, будучи в немилости, должен был отвечать последним, но к концу побоища, разбив наголову всех своих одноклассников, я всегда выходил победителем, с медалью на шее. Правда, один раз в самом конце такой битвы я сделал ошибку и, следовательно, потерял право на приз: я пропустил "р" в слове февраль, - но то была жертва на алтарь любви. Так сильна была в то время моя страсть к одной из девочек, что ради нее я пропустил бы весь алфавит, если б он вмещался в одном этом слове.

Итак, повторяю, я никогда особенно не уважал умения писать без ошибок. В этом смысле я не изменился и по сей день. До того как появились учебники орфографии с их твердыми, застывшими нормами, в правописании разных людей невольно проявлялись особенности их характера, а также интересные оттенки в выражении мыслей, так что появление этих учебников можно, пожалуй, считать сомнительным благом.

Сюзи приступила к моей биографии в 1885 году, когда мне шел пятидесятый год, а ей -

четырнадцатый. Начала она так:

Мы очень счастливая семья. Мы состоим из папы, мамы, Джин, Клары и меня. Писать я буду про папу, и мне нетрудно придумывать, что про него сказать, потому что он очень интересный человек.

Но погодите немножко - к Сюзи я скоро вернусь. В том, что касается рабского подражания, обезьяне далеко до человека. Обыкновенному человеку самостоятельные суждения недоступны. Он даже не пытается изучить предмет и подумать, чтобы составить себе о нем собственное мнение, ему интересно лишь узнать точку зрения соседа и присоединиться к ней. Я уже лет тридцать тому назад понял, что последний отзыв о той или иной книге почти наверняка будет копией первого отзыва о ней. Что последний рецензент в точности повторит все похвалы и все упреки первого, ничего нового к ним не добавив. Именно поэтому я из предосторожности не раз посылал свои новые книги в рукописи мистеру Гоуэлсу, когда он был редактором "Атлантик монсли", чтобы он мог не спеша подготовить на них отзыв. Я знал, что он напишет о моей книге правду, знал и то, что он найдет в ней больше достоинств, чем недостатков, потому что и сам понимал, что их больше. И я не разрешал отпечатать ни одного экземпляра книги, пока о ней не появится заметка мистера Гоуэлса. За такую книгу можно было не опасаться. Во всей Америке ни у кого из пишущей братии не достало бы храбрости усмотреть в книге то, чего не усмотрел в ней мистер Гоуэлс. Во всей Америке ни у кого из пишущей братии не хватило бы духу на свою ответственность сказать о книге новое, смелое слово.

Я считаю, что профессия критика - литературного, музыкального, театрального - наименее почтенная из всех профессий и что она, в сущности, не нужна - во всяком случае, не очень нужна. Когда мы с Чарльзом Дадли Уорнером готовили к выпуску в свет "Позолоченный век", редактор "Дейли график" уговорил меня дать ему рукописный экземпляр, поклявшись, что не поместит в своей газете отзыва раньше, чем это сделает "Атлантик монсли". Через три дня этот мерзавец опубликовал-таки отзыв. Жаловаться я не мог: единственная гарантия, какую я имел, было его честное слово, а следовало бы потребовать от него что-то более вещественное. Помнится, речь в его статье шла не столько о достоинствах и недостатках книги, сколько о моей нравственности. Меня обвинили в том, что я, пользуясь своей репутацией, обманул читающую публику, что половину книги написал мистер Уорнер, а я поставил свое имя, чтобы создать ей славу и успех, - успех, которого она не имела бы, не будь на ней моего имени, - и что такое мое поведение равносильно жульничеству и обману. "График" не пользовалась авторитетом ни в какой области. Выделялась она только тем, что это была первая и единственная ежедневная газета, выходившая с иллюстрациями; но у нее не было своего лица, издавалась она бедно; ее мнение о книге и вообще о каком бы то ни было произведении искусства не имело ни малейшего веса. Всем это было известно, и, однако же, все американские критики один за другим списали отзыв "Графика", изменив только отдельные слова и выражения, но оставив в силе обвинение меня в нечестной игре. Даже чикагская "Трибюн", самая влиятельная газета Среднего Запада, не сумела придумать ничего новенького, но повторила отзыв ничтожной "Дейли график", включая и обвинение в нечестности. Ну да ладно. Раз бог повелел, чтобы у нас были критики, и миссионеры, и конгрессмены, и юмористы, - будем безропотно нести это бремя.

А веду я все это вот к чему: тот критик, которому довелось первым описать мою внешность, допустил в своем описании множество дурацких и непростительных ошибок, из совокупности которых явствовало, что я поразительно, удручающе некрасив. Описание это благодаря газетам облетело всю страну и в течение четверти века снова и снова пускалось в ход. Как ни странно, во всей стране, видимо, не нашлось ни одного критика, достаточно храброго для того, чтобы посмотреть на меня, а потом взять перо и развеять эту ложь. А родилась эта ложь в 1864 году на Тихоокеанском побережье, - во мне тогда усмотрели сходство с Петролеумом В. Нэсби, который приезжал туда читать лекции. После этого целых двадцать пять лет ни один критик не мог нарисовать мой портрет, не прибегая к помощи

Нэсби. С Нэсби я был близко знаком, это был превосходный человек, но за всю мою жизнь я только к трем людям питал такую лютую ненависть, что мог бы обвинить их во внешнем сходстве с Нэсби. Такие вещи уязвляют меня в самое сердце. Мне и сейчас это обидно, и всех моих домашних, включая Сюзи, долгое время огорчало, что критики из года в год, без всяких к тому оснований, повторяют эту досадную ошибку. Даже в тех случаях, когда критик хотел проявить особенное дружелюбие и любезность, он не решался в моем описании пойти дальше моего костюма. Перешагнуть этот рубеж у него не хватало мужества. Все приятные, добрые, лестные слова, какие он рисковал употребить, он относил к моему костюму. А потом вытаскивал на сцену Нэсби.

В кармашке одной из моих давнишних записных книжек я нашел вчера вот эту вырезку из газеты. С выхода газеты прошло тридцать девять лет, и бумага и печать пожелтели от желчи, которая разлилась у меня в тот давно минувший день, когда я вырезал эту заметку, чтобы сохранить ее и еще долго над ней горевать. Вот она от слова до слова:

"Корреспондент филладельфийской "Пресс", описывая один из приемов у Шюйлера Колфакса{120}, говорит о нашем вашингтонском корреспонденте: "Среди присутствующих был Марк Твен, наш тонкий юморист; он привлекал к себе всеобщее внимание - и вполне заслуженно. Марк - холостяк, одет с безупречным вкусом, его белоснежный жилет свидетельствует о несчетных распрях с вашингтонскими прачками; но героизм Марка никто отныне не поставит под сомнение - такой белизны и гладкости никто еще не видел. Бледно-лиловые его перчатки так миниатюрны, словно их украли из турецкого гарема, или, что вероятнее... впрочем, все что угодно было бы вероятнее этого. Фигурой и чертами лица он несколько напоминает бессмертного Нэсби; но, в то время как Петролеум жгучий брюнет, у Твена шевелюра золотистая, мягкая, с янтарным отливом".

Теперь вернемся к биографии Сюзи и выслушаем беспристрастное мнение:

"Папину внешность описывали часто, но совсем неправильно. У него очень красивые седые волосы, не слишком густые и не слишком длинные, а в самый раз; римский нос, от которого его лицо кажется еще красивее; добрые синие глаза и маленькие усики. У него чудесная форма головы и профиль. У него очень хорошая фигура, - одним словом, внешность замечательно красивая. Все черты у него самые прекрасные, только зубы не замечательные. Цвет лица у него очень светлый, а бороды он не носит. Он очень хороший человек и очень смешной. Характер у него спльчивый, но в нашей семье все такие. Он самый чудный человек, других таких я не видела и не надеюсь увидеть - и такой рассеянный! Он ужасно интересно рассказывает. Мы с Кларой иногда сидели на ручках его кресла с двух сторон и слушали, а он рассказывал нам разные истории про картины на стене".

Я как сейчас это помню. На этих малышей было нелегко угодить, требовательная была публика.

Нью-Йорк. Четверг. 8 февраля 1906 г.

По одной из стен библиотеки в хартфордском доме книжные полки тянулись до самого камина, - вернее, полки подходили к камину с обеих сторон. На этих полках и на самом камине стояли всякие украшения. С одного конца писанная маслом голова кошки, в раме; с другого - головка прелестной девушки по имени Эммелина, в натуральную величину, импрессионистская акварель. А между этими двумя картинами располагалось десятка полтора уже упоминавшихся безделушек и еще одна картина маслом кисти Элиу Веддера{121} - "Юная Медуза". Время от времени дети требовали, чтобы я рассказал им страшную сказку - всегда экспромтом, на подготовку не давалось ни минуты, и чтобы в этой сказке фигурировали все наши безделушки и все три картины. Начинать полагалось с кошки, а кончать Эммелиной. Рассказывать в обратном порядке мне не разрешалось. Не разрешалось даже для разнообразия ввести какую-нибудь из безделушек пораньше или попозже. Этим безделушкам не давали ни одного дня покоя, передышки, воскресного отдыха. В их жизни не было воскресений, не было досуга. Все их существование являло собой однообразную смену злодейств и побоищ. Со временем и безделушки и картины слинялись, потрескались. А все потому, что их жизненный путь был так богат романтическими

и ледящими кровью приключениями.

В роли сказочника мне с самого начала приходилось нелегко. Когда девочки приносили мне картинку и требовали, чтобы я сочинил к ней рассказ, они закрывали ручонками всю остальную часть страницы, лишая меня возможности почерпнуть там какую-нибудь идею. От меня ждали сказки совершенно новой и оригинальной. Иногда они просто называли мне действующее лицо, или два, или десяток, и на этом зыбком фундаменте мне предлагалось немедленно построить сюжет, в рамках которого названные персонажи зажили бы деятельной и захватывающей преступной жизнью. Если девочкам случалось услышать название дотоле неизвестной им профессии, или животного, или еще чего-нибудь, я мог не сомневаться, что в ближайшей сказке мне придется иметь с ними дело. Однажды Клара потребовала, чтобы я экспромтом придумал рассказ про водопроводчика и "богонстриктора". Что такое боа-констриктор, она не знала, пока он не занял свое место в рассказе, - а тогда уже окончательно признала за ним право на существование.

### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Папина любимая игра - бильярд, и когда он устает и хочет отдохнуть, он всю ночь не ложится и играет на бильярде, от этого у него отдыхает голова. Он очень много курит, почти все время. У него настоящий писательский ум, потому он иногда не понимает самых простых вещей. Наш сигнал от воров часто портится, и папе пришлось отключить от него красную гостиную, потому что звонок завел привычку звонить даже когда окно красной гостиной закрыто. Наконец он подумал, а может быть, сигнал в порядке, и решил проверить. И вот он включил сигнал, а потом пошел вниз в гостиную и открыл окно; звонок зазвонил, ведь он бы зазвонил и если бы сигнал был в порядке. Папа, возмущенный, поднялся наверх и сказал маме: "Ливи, в красной гостиной сигнал нельзя оставлять. Я только что открывал там окно и проверил". - "Ну как же, юноша, - ответила мама, - раз ты открыл окно, ясно, что звонок зазвонил!" - "Я его для этого и открыл, я и вниз пошел нарочно проверить, будет он звонить или нет!"

Мама пробовала объяснить папе, что если он хочет проверить, работает ли звонок при закрытом окне, то открывать окно не надо, - но все напрасно, папа не мог это понять и очень рассердился на маму за то, что она хочет, чтобы он поверил в такую невозможную вещь".

Вот это честный, откровенный биограф - она мне не льстит. Я и сейчас так же туп по части всяких головоломок и непонятностей, как был в те далекие дни, когда Сюзи это подметила. Всякая сложность меня угнетает; потом начинает раздражать, а раздражение постепенно переходит в ярость. Я не могу спокойно дочитать простейший, самый обычный контракт - все эти "участвующие стороны", "договаривающиеся стороны", "заинтересованные стороны" мгновенно выводят меня из терпения.

В те дни, о которых пишет Сюзи, мне пришлось однажды столкнуться с досадной головоломкой. Мой поверенный Ф.Дж.Уитмор привез меня как-то домой из города в своем шарабане. Мы въехали в ворота и направились к конюшне. А дорога, надо сказать, была узкая, на один экипаж, и напоминала ложку, у которой ручка тянулась от ворот до большой круглой клумбы, не доезжая конюшни. Тут дорога разветвлялась и обходила клумбу петлей, которую я и сравнил с круглой частью ложки. Я сидел с правого борта. Подъезжая к петле, я, сидя, как уже сказано, справа (на этой же стороне находился и дом), заметил, что Уитмор забирает левее и собирается объехать клумбу слева. Я сказал:

- Стоп, Уитмор, объезжайте справа. Я хочу оказаться ближе к двери, когда мы остановимся у крыльца.

Он сказал:

- Так оно и будет. Справа я объеду эту клумбу или слева - решительно все равно.

Я объяснил ему, что он идиот, но он стоял на своем, и тогда я сказал:

- Ну что ж, попробуйте, убедитесь сами.

Он попробовал и подвез меня к дому так, как обещал. Я не мог взять этого в толк, - и до сих пор не могу. Я сказал:

- Уитмор, это чистая случайность. Второй раз это вам не удастся.

Он заявил, что удастся; мы выехали на улицу, повернули, опять въехали в ворота - и фокус опять удался. Это чудо поразило меня, ошеломило, ошарашило, - но не убедило. Я не верил, что он может еще раз повторить свой фокус, но он повторил его. Он сказал, что может повторять его сколько угодно, все с тем же результатом; но тут терпение мое истощилось, и я велел ему ехать домой и просить, чтобы его приняли в сумасшедший дом, - расходы я беру на себя. После этого я целую неделю не желал его видеть. В ярости я поднялся в спальню и стал изливаться Ливи, ожидая встретить ее сочувствие и породить в ней ненависть к Уитмору; но по мере того как я рассказывал, она только смеялась все звонче и веселее, потому что голова у нее была устроена, как у Сюзи. Ее-то никакие загадки и сложности не пугали. У нее и у Сюзи был аналитический ум. У меня же, как я пытаюсь показать, он был иного склада. Сколько раз я потом рассказывал про этот случай с шарабаном, в робкой надежде, что какой-нибудь слушатель да окажется на моей стороне, но этого так и не случилось. Я даже не могу толково и гладко описать путь этого злосчастного шарабана - я запинаясь, соображаю, восстанавливаю в памяти черенок ложки, и ее круглый конец, и шарабан, и лошадь, и как я сидел, - и стоит мне дойти до этого места и повернуть лошадь влево, как все идет прахом. Я не могу себе представить, как я могу оказаться с нужной стороны, когда мы подъедем к крыльцу. Сюзи была права: я много чего не понимаю.

Сигнализация от воров, о которой упоминает Сюзи, вела себя весело, беспечно и совершенно безответственно. Она вечно портилась то в одной точке, то в другой, а возможностей у нее было сколько угодно - к ней были подключены все окна и двери в доме, от погреба до верхнего этажа. Когда она портилась, то изводила нас этим лишь очень недолго. Мы живо обнаруживали, что она нас дурачит и издает душераздирающий звон просто для собственного развлечения. Тогда мы ее выключали и посылали в Нью-Йорк за монтером, - в Хартфорде их в то время не водилось. После ремонта мы ее снова включали и снова проникались к ней доверием. Настоящую службу она нам сослужила один-единственный раз. Все остальное время она резвилась, и ее дорогостоящее существование было совершенно бесцельно. В тот единственный раз она выполнила свой долг с начала до конца, выполнила серьезно, старательно, безупречно. Черной ненастной мартовской ночью, часа в два, раздался оглушительный звон, и я выскочил из постели, - я понял, что на сей раз это не шутка. Дверь в ванную приходилась с моей стороны кровати. Я вошел в ванную, зажег газ, поглядел на табличку, отключил сигнал на той двери, которую указывала табличка. Звон прекратился. Тогда я снова лег.

Миссис Клеменс спросила:

- Что это было?

Я ответил:

- Дверь в погреб.

Она спросила:

- Ты думаешь, туда забрался вор?

- Да, - отвечал я. - Разумеется. А ты думаешь, кто? Директор воскресной школы?

Она спросила:

- Что ему нужно, как по-твоему?

Я ответил:

- По-моему, ему нужны драгоценности, но он не знает нашего дома и воображает, что они в погребе. Неприятное дело - разочаровывать вора, с которым я даже не знаком и который не сделал мне ничего плохого, но если бы у него хватило ума навести справки, я бы ему рассказал, что мы там ничего не держим, кроме угля и овощей. А впрочем, может быть, он и знает наш дом, и ему как раз нужны уголь и овощи. Я даже склоняюсь к тому, что он пришел именно за овощами.

Она спросила:

- Ты пойдешь туда?

- Нет, - отвечал я. - Помочь я ему ничем не могу. Пусть выбирает сам.

Тогда она спросила:

- А что, если он поднимется в первый этаж?

Я ответил:

- Ничего. Мы об этом узнаем, как только он откроет там первую же дверь. Ведь зазвонит сигнал.

И в то же мгновение опять раздался ужасающий трезвон.

Я сказал:

- Вот он и пришел. Я же говорил. Я хорошо знаю воров и все их повадки. Это народ методичный.

Я заглянул в ванную - проверить, прав я или нет; и оказалось, что прав. Я выключил столовую, шум утих, и я снова лег.

Жена спросила:

- Ну а теперь, как ты думаешь, чего он ищет?

Я ответил:

- Думаю, что он отобрал себе сколько нужно овощей, а теперь ему нужны кольца от салфеток и всякая мелочь для жены и детишек. У воров всегда бывают семьи, и они всегда о них заботятся: возьмут для себя только самое необходимое, а остальное - в качестве сувениров - для семьи. Таким образом они и нас не забывают - те же сувениры напоминают им о нас. Мы их больше никогда не видим. Память о таких любезных посещениях мы храним только в сердце.

Она спросила:

- А ты пойдешь узнать, что ему нужно?

- Нет, - ответил я. - Мне и сейчас неинтересно. Это люди опытные, они сами знают, что им нужно. Едва ли я смогу ему помочь. Думаю, что он облюбовал фарфор и безделушки. Если он знает наш дом, так знает и то, что больше ничего интересного он в первом этаже не найдет.

Она спросила:

- А если он поднимется сюда?

Я ответил:

- Ну что ж. Он нас предупредит.

Она спросила:

- А что мы тогда будем делать?

Я ответил:

- Вылезем в окно.

Она спросила:

- Для чего же нам тогда сигнализация от воров?

Я ответил:

- Ты же видишь, до сих пор она оказалась очень полезна, и я тебе уже объяснил, в каком смысле она будет полезна, когда он поднимется сюда.

На том дело кончилось. Больше сигнал не звонил.

Через некоторое время я сказал:

- Наверно, его постигло разочарование. Он ушел с овощами и с безделушками, но, по-моему, он не удовлетворен.

Мы уснули. А утром без четверти восемь я был на ногах и очень спешил: мне надо было поспеть на поезд 8.29 в Нью-Йорк. Во всех комнатах нижнего этажа ярко горел газ. Мое новое пальто исчезло, исчез и мой старый зонт и новые, еще не надеванные лакированные штиблеты. Большое окно, выходящее во дворик позади дома, было распахнуто. Я вылез через него и проследил весь путь вора вниз по склону холма между деревьями, - проследил без труда, потому что путь этот был усыпан мельхиоровыми кольцами от салфеток, моим зонтом и еще всякими предметами, которые показались вору недостаточно ценными; и я с торжеством воротился домой и доказал жене, что этого вора действительно постигло разочарование. Я подозревал это с самого начала между прочим и потому, что он не полез на второй этаж, чтобы добратся до живых людей.

В тот день со мной много чего случилось в Нью-Йорке. Об этом я расскажу в другой раз.

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"У папы совсем особенная походка, нам она нравится, она ему к лицу, а многим не нравится; он всегда ходит взад вперед по комнате, когда думает, и за обедом после каждого блюда".

Как-то в те дни к нам приехала погостить одна дальняя родственница. Она прожила у нас неделю, но, несмотря на все наше радушие, явно чувствовала себя неважно. Сколько мы ни гадали, почему это так, найти причину нам не удалось. Лишь много позднее все разъяснилось. Всею виной была моя привычка шагать по комнате в перерывах между блюдами. Гостя вбила себе в голову, что я не выношу ее общества.

"Юноша", как, вероятно, уже догадался читатель, было интимное имя, которым называла меня жена. Звучало оно чуть насмешливо, но в то же время и ласково. У меня долго сохранялись некоторые черточки в характере и в поведении, свойственные человеку много моложе моих лет.

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Папа очень любит животных, особенно кошек, у нас один раз был серый котенок, которого он назвал "Лентяй" (папа всегда ходит в сером, чтобы шло к его волосам и глазам), и он таскал его на плече, это было очень, очень красиво, когда серая кошечка крепко спала, уткнувшись в серый папин пиджак и волосы. Он давал нашим разным кошкам ужасно смешные имена, например: Бродяга, Абнер, Пятнашка, Фройлен, Лентяй, Буффало-Билл, Пузырь, Кливленд, Булка, и еще Чума и Голод".

Когда дети были еще совсем маленькие, у нас была чернущая кошка по имени Сатана, а у Сатаны был черненький отпрыск по имени Грех. Девочкам очень трудно давались местоимения. Однажды Клара, тогда еще совсем крошка, вбежала ко мне, сердито сверкая черными глазами, и объявила: "Папа, Сатану надо наказать. Она сидит в парнике и не хочет уходить, а его котенок плачет".

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Папа употребляет очень крепкие выражения, но наверно не такие крепкие как когда он только женился на маме. Одна его знакомая дама любит перебивать когда другие говорят, и папа сказал маме, что надо будет сказать мужу этой дамы: "Хорошо что вашей жены там не было, когда бог сказал "Да будет свет".

Да, как я уже говорил, это - честный летописец. Она не замазывает недостатки человека, но выставляет их напоказ наравне с его более привлекательными свойствами. Замечание, которое она приводит, я, конечно, и правда отпустил, и даже сейчас, после стольких лет, я почти не сомневаюсь, что, если бы упомянутая дама оказалась налицо, когда Создатель сказал: "Да будет свет", она бы его перебила, и мы так и остались бы без света.

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Папа недавно сказал: "Я магвамп{129}, а магвамп чист до самой сердцевины" (Папа знает, что я пишу его биографию, и сказал это нарочно, чтобы я записала). Он совсем не любит ходить в церковь, я никак не могла понять почему, а теперь поняла когда он сказал, что терпеть не может никого слушать кроме себя, а самого себя может слушать часами и не устаёт, он конечно пошутил, но я уверена, что эта шутка основана на правде".

Пятница, 9 февраля 1906 г.

Замечание Сюзи относительно моих "крепких выражений" не дает мне покоя, я должен к нему вернуться. Первые десять лет после свадьбы я, когда был дома, непрестанно и неукоснительно держал язык на привязи, а если становилось совсем уж невтерпеж и нужно было облегчить душу, то уходил из дому, и притом достаточно далеко. Уважение и доброе мнение моей жены были мне дороже уважения и доброго мнения всего остального рода человеческого. Я трепетал, как бы она в один прекрасный день не обнаружила, что я всего лишь гроб повапленный, до краев набитый запретными словами. В течение десяти лет я так за собою следил, что ни минуты не сомневался в успехе своей тактики. А посему, пребывая в



грехе, я чувствовал себя ничуть не хуже, чем если бы был чист и невинен.

Но в конце концов я попался - совсем случайно. Как-то утром я пошел в ванную и по рассеянности оставил дверь приотворенной на два-три дюйма. До тех пор я еще ни разу не забывал плотно ее затворить. Я знал, как необходима такая предосторожность, потому что бритье всегда было для меня пыткой, и мне лишь очень редко удавалось его завершить, не прибегая к спасительным в таких случаях словесам. На этот раз я оказался без прикрытия, но я этого не знал. Бритва в тот день вела себя прилично, и во время бритья я обошелся тем, что ругался невнятно вполголоса - без шума и эффектных выкриков, не лая и не лязгая зубами. Потом я надел сорочку. Фасон моих сорочек я изобрел сам. Они разрезаны сзади и там же и застегиваются когда есть пуговицы. В этот раз пуговицы на месте не оказалось. Злость у меня сразу подскочила на несколько градусов, а соответственно и комментарии мои сделались и громче и красочнее. Но это меня не смутило, - дверь ванной была толстая, и я считал, что она плотно закрыта. Я распахнул окно и выкинул в него сорочку. Она упала на кусты, где ею, при желании, могли любоваться те, кто шел в церковь: от прохожих ее отделяла полоса травы шириной всего в каких-нибудь пятьдесят футов. Под аккомпанемент глухих раскатов грома я надел другую сорочку. На ней тоже не было пуговицы. Я расцветил свой лексикон применительно к случаю и эту сорочку тоже выкинул в окно. Я был слишком рассержен, слишком взбешен, чтобы предварительно обследовать третью сорочку, - кипя от ярости, я натянул ее на себя. На ней тоже не было пуговицы и она полетела в окно следом за своими товарками. Потом я выпрямился, подтянул резервы и ринулся в бой как целый эскадрон кавалерии. В разгар этой атаки взгляд мой упал на приотворенную дверь... и я окаменел.

Свой туалет я закончил не скоро. Я без нужды растягивал время, пытаюсь решить, что же мне теперь делать. Я тешил себя надеждой, что миссис Клеменс спит, но прекрасно знал, что это самообольщение. Улизнуть в окно я не мог. Оно было узкое, годилось только для сорочек. Наконец я решил профланировать через спальню с видом человека, не знающего за собой никакой вины. Половину пути я проделал благополучно. В ту сторону, где находилась моя жена, я не смотрел, это было бы опасно. Очень трудно притворяться невинным, когда факты против тебя, и уверенность в успехе моего предприятия быстро улетучивалась. Я держал курс к левой двери, потому что она была дальше других от моей жены. С тех пор как был построен дом, дверь эту ни разу не отворяли, но сейчас она казалась мне вожаемым прибежищем. Кровать была вот эта самая, на которой я сейчас лежу и день за днем безмятежно диктую свои воспоминания. Да, эта вот старая черная венецианская кровать с замысловатой резьбой, самая удобная кровать на всем свете, достаточно просторная для целой семьи и с таким множеством резных ангелочков на ее витых столбиках и на обеих спинках, что спящим в ней должны быть обеспечены душевный покой и приятные сновидения. Посреди комнаты мне пришлось остановиться. Дальше идти у меня не хватило сил. Я чувствовал на себе укоризненные взгляды - как будто резные ангелочки и те разглядывали меня с неприязнью. Вам это знакомо - когда ясно чувствуешь, что кто-то за твоей спиной пристально на тебя смотрит? Тут просто невозможно не оглянуться. И я оглянулся. Кровать стояла так, как сейчас, - более высокой спинкой к ногам. Если б она стояла как полагается, высокая спинка скрыла бы меня. Но поверх более низкой меня было видно. Я был лишен какого бы то ни было прикрытия. Я оглянулся, потому что не мог иначе, и то, что я увидел, до сих пор не померкло в моей памяти.

Я увидел черную головку на белых подушках, увидел молодое, прелестное лицо и кроткие глаза... но этого выражения я в них еще никогда не видел. Они так и сверкали от гнева. Я почувствовал, что погибаю, что буквально уничтожаюсь под этим обвиняющим взглядом. Должно быть, я молча простоял под этим опустошительным огнем не меньше минуты, - мне она показалась вечностью. Потом губы моей жены разомкнулись, и я услышал... последнее из тех выражений, которое сам только что отпустил в ванной. Слова были те же, но интонация робкая, ученическая, неумелая, до смешного неверная, до нелепости несоответствующая могучей силе самого речения. В жизни я не слышал ничего

более фальшивого, несуразного, несогласованного, дисгармонирующего, чем эти крепкие слова, положенные на такую слабенькую музыку. Я пытался удержаться от смеха, ибо я был преступник, взывающий о милосердии. Я пытался удержаться от хохота, и это мне удалось, пока она не сказала очень серьезно:

- Вот. Теперь ты знаешь, как это звучит.

И тут уж я не выдержал! Я сказал:

- Ливи, дорогая, если это звучит так, то, бог свидетель, я больше не буду.

Тогда и она поневоле рассмеялась. Мы оба хохотали до упаду, до полного изнеможения.

Девочки - шестилетняя Клара и восьмилетняя Сюзи - завтракали вместе с нами, и за столом мать осторожно коснулась вопроса о крепких выражениях осторожно, потому что не хотела, чтобы дети что-нибудь заподозрили, но неодобрительно. Девочки в один голос воскликнули:

- Но, мамочка, папа так говорит!

Я очень удивился. Ведь я воображал, что тайна надежно скрыта у меня в груди и никто о ней не догадывается. Я спросил:

- Откуда вы знаете, проказницы этикие?

- А мы часто слушаем на лестнице, когда ты внизу что-нибудь объясняешь Джорджу.

### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Одна из последних папиных книг это "Принц и нищий", и конечно же это самая лучшая его книга; некоторые хотят, чтобы он оставался верен своей прежней манере, один господин написал ему: "Мне так понравился Гекльберри Финн, и я с радостью убедился, что вы вернулись к вашей прежней манере". Это было мне обидно, очень обидно, потому что мне жаль, что так мало людей знают папу, то есть по-настоящему знают, а то они думают, что Марк Твен юморист и все время только шутит; "и с копной рыжеватых волос, которые давно пора подстричь, римским носом, жесткими усами и печальным, утомленным лицом с множеством морщинок" и проч. Вот так они изображают папу, я все хотела, чтобы папа написал книгу, которая бы показала, какое у него доброе сердце, и "Принц и нищий" отчасти такая книга. В ней масса милых прелесных (с этим словом Сюзи помучилась: она неуверенно надписала в нужном месте т, но по зрелом размышлении зачеркнула) мыслей, а язык! Это просто чудо. По-моему, одна из самых трогательных сцен - это когда нищий едет верхом со своими вельможами в королевском шествии и вдруг увидел свою мать, ой и дальше! Как она подбежала к нему когда увидела что он поднял руку ладонью наружу, а один из телохранителей грубо оттолкнул ее и потом как маленького нищего корила совесть когда он вспомнил постыдные слова, которые чуть не сорвались с его уст когда ее отгоняли от него: "Женщина, я не знаю тебя", и как стыд испепелил его гордость и все почести сразу потеряли всякую цену. Это удивительно красивая и трогательная сцена и папа так удивительно ее описал. Я никогда не видела такого разнообразия чувств как у папы. Например "Принц и нищий" полон трогательных мест, но почти всегда в них где-то прячется юмор. Вот в главе про коронацию, когда так волнуешься и маленький король только что получил обратно свою корону, папа вводит разговор про печать и как нищий говорит, что "щелкал ею орехи". Это так смешно и хорошо! Папа пишет так, что почти в каждом куске есть хоть немножко юмора, и наверно и дальше будет так писать".

Девочки всегда помогали матери редактировать мои книги в рукописи. Она, бывало, сидит на крыльце нашей фермы и читает вслух, держа наготове карандаш, а девочки не спускают с нее настороженных, подозрительных глаз, они были твердо убеждены, что едва она дойдет до какого-нибудь места, которое им особенно понравится, как непременно его вычеркнет. И подозрения их были вполне обоснованны. Те места, которые им особенно нравились, всегда содержали в себе одиозный элемент, требовавший смягчения или вымарки, и миссис Клеменс безжалостно с ними расправлялась. Для собственного развлечения и для того, чтобы насладиться протестами детей, я часто злоупотреблял доверчивостью моего простодушного редактора. Я нарочно вкрапывал в текст что-нибудь

изошренно предосудительное, с целью привести в восторг детей и увидеть, как карандаш делает свое палаческое дело. Часто я вместе с девочками умолял редактора смилостивиться, приводил пространные доводы, притворяясь, будто делаю это всерьез. Мне удавалось вводить их в заблуждение, да и ее тоже. Нас было трое против одной - борьба неравная. Но это было чудесно, и я не мог устоять против соблазна. Иногда мы одерживали победу и громко ликовали. А потом я сам потихоньку вымарывал преступную строку, считая, что она сослужила свою службу: троим из нас она доставила вдоволь веселья; и когда я ее вычеркивал из книги, ее постигала участь, с самого начала ей уготованная.

#### ИЗ БИОГРАФИИ

"Папа родился в Миссури. Его мать это бабушка Клеменс (Джейн Лэмpton Клеменс) из Кентукки. Дедушка Клеменс был из Первых Семейств Виргинии".

Конечно, такое впечатление создалось у Сюзи по моим рассказам. Как это получилось - не понимаю, ведь я никогда особенно не ценил знатность происхождения. Равнодушие это я не унаследовал от матери. Ее-то наши предки всегда интересовали. Свою родословную она вела от Лэмбтонов из Дэрема, Англия, - семейства, которое еще с саксонских времен владело там обширными землями. Не могу утверждать с уверенностью, но думаю, что эти Лэмбтоны лет восемьсот - девятьсот обходились без дворянских титулов, а потом, три четверти века тому назад, произвели на свет какого-нибудь великого человека и вторглись в Книгу пэров. Моя мать знала все на свете про виргинских Клеменсов и любила их возвеличивать, но она уже давно умерла. Освежать эти подробности в моей памяти было некому, и они постепенно забылись.

Понедельник, 12 февраля 1906 г.

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Мы с Кларой уверены, что папа сыграл с бабушкой ту шутку, про которую написано в "Приключениях Тома Сойера": "Поддай сюда розгу". Розга засвистела в воздухе, - казалось, что беды не миновать. "Ой, тетя, что это у вас за спиной?" Тетка обернулась, подобрала юбки, чтобы уберечь себя от опасности. Мальчишка в один миг перемахнул через высокий забор и был таков".

Сюзи с Кларой не ошибались.

Дальше Сюзи пишет:

"И мы знаем, что папа все время отлынивал от уроков. А как весело папе было притворяться мертвым, чтобы не нужно было идти в школу!"

Эти разоблачения и домыслы язвительны, но справедливы. Если для других мое притворство так же прозрачно, как для Сюзи, значит я в своей жизни много старался понапрасну.

"Бабушка не могла заставить папу ходить в школу, и тогда она отпустила его в типографию, чтобы он научился печатать. Он научился и понемножку сам набрался знаний, так что мог добиться успеха не хуже тех, кто в юные годы был более прилежным".

Сразу видно, что Сюзи не хватает через край, когда отдает мне должное, но сохраняет спокойствие, подобающее беспристрастному биографу. И еще сразу видно (это тоже делает ей честь как биографу), что похвалы и упреки она отмеривает строго поровну.

Я доставлял матери много хлопот, но, по-моему, это ее не тяготило, напротив. С моим братом Генри, который был на два года моложе меня, у нее совсем не было хлопот, и мне кажется, что ей трудно было бы выдержать его неизменное благонравие, правдивость и послушание, если бы я не вносил в эту монотонную жизнь некоторого разнообразия. Я не давал ей заскучать, а это очень ценно. Раньше я об этом как-то не думал, но теперь мне это ясно. Не помню, чтобы Генри хоть раз совершил по отношению ко мне (да и к кому бы то ни было) дурной поступок, но многие похвальные его поступки обходились мне дорого. Одной из его обязанностей было докладывать о моем поведении, когда в том возникала нужда, а сам я не удосуживался это сделать, и эту свою обязанность он выполнял неукоснительно. С него написан Сид в "Томе Сойере". Но Сид - это не Генри. До Генри даже Сиду было далеко.

Это Генри обратил внимание матери на то, что нитка, которой она зашила ворот моей

рубашки, чтобы я не сбежал купаться, стала другого цвета. Сама бы она это не обнаружила, и она была явно раздосадована, поняв, что такая веская улика ускользнула от ее зоркого глаза. Эта деталь, вероятно, добавила кое-какие детали и к моему наказанию. Что ж, удивляться тут нечему. Мы обычно вымещаем на ком-нибудь свои промахи, если только есть к чему прицепиться... но довольно об этом. Я отыгрался на Генри. Тот, кто несправедливо обижен, всегда может себя чем-то вознаградить. Я часто отыгрывался на Генри - иногда авансом: за что-нибудь, чего я еще не натворил. Это бывало, когда представлялся особенно соблазнительный случай и приходилось забирать плату вперед. Едва ли я брал в этом пример с матери, скорее всего, я сам додумался до такой системы. Однако и она порою действовала по тому же принципу.

Если случай с разбитой сахарницей попал в "Тома Сойера" - я уж не помню, так ли это, - то на нем можно пояснить мою мысль. Генри никогда не таскал сахар. Он брал его открыто, прямо из сахарницы. Мать знала, что он не будет таскать сахар тайком от нее, но относительно меня у нее были на этот счет сомнения. Вернее, сомнений не было - она отлично знала, на что я способен. Однажды в ее отсутствие Генри взял сахару из старинной наследственной сахарницы английского фарфора, которую мать берегла как зеницу ока, и его угораздило эту сахарницу разбить. Впервые мне представился случай пожаловаться на Генри, и радости моей не было границ. Я предупредил его, что пожалуюсь, но он и бровью не повел. Когда мать, войдя в комнату, увидела на полу черепки, она сперва слова не могла вымолвить. Я не стал нарушать тишину: мне казалось, что, если выждать, впечатление получится сильнее. Я думал, что она вот-вот спросит: "Кто это сделал?" - и тогда уж я выложу свою новость. Но расчет мой не оправдался. Промолчав, сколько следовало, она ничего не спросила, а просто стукнула меня наперстком по макушке, да так, что отозвалось в пятках. Тут я возопил со всем жаром оскорбленной невинности, думая пронзить ее сердце сознанием, что она наказала не того, кого нужно. Я ждал от нее раскаяния, трогательных слов. Я сказал, что виноват не я, а Генри. Но волнующая сцена не состоялась. Она сказала невозмутимо: "Ну, ничего, ты это все равно заслужил - либо раньше натворил что-нибудь, о чем я не прознала, либо еще натворишь что-нибудь тайком от меня".

Вдоль задней стены нашего дома шла наружная лестница на второй этаж. Однажды Генри зачем-то послали туда, и он захватил с собой жестяное ведро. Я знал, что ему надо подняться по этой лестнице, и вот я побежал наверх, запер дверь изнутри, а потом спустился в огород, который только что перепахали, так что там полно было превосходных твердых комьев черной земли. Набрав их изрядное количество, я притаился. Я выждал, пока Генри поднялся до верхней площадки, так что отступать ему было некуда, - и тут я обстрелял его комьями, а он пытался отбивать их своим ведром, но без особенного успеха, потому что стрелял я метко. Комья грохали о стену, и мать вышла посмотреть, что случилось. Я пробовал объяснить ей, что развлекаю Генри. Оба они кинулись ко мне, но я умел перемахивать через наш высокий дощатый забор и на этот раз не дался им в руки. Часа через два я рискнул воротиться домой. Во дворе никого не было видно, и я решил, что все забыто. Но я ошибся. Генри поджидал меня в засаде. С необычным для него проворством он запустил мне камнем в висок, и у меня вскопчила шишка, на ощупь величиной с Маттерхорн. Я помчался показывать ее матери, ища сочувствия, но она не слишком взволновалась. Она, видимо, считала, что такие случаи, если я накоплю их достаточно, в конце концов меня исправят. Для нее это был вопрос чисто воспитательного свойства. А мне-то казалось, что дело куда серьезней.

Когда мои провинности достигали таких масштабов, что наказания, наскоро придуманные матерью, им уже не отвечали, она откладывала кару до воскресенья и отправляла меня в церковь к вечерней службе. Изредка такое еще можно было стерпеть, но как правило - нет, и я, опасаясь за свое здоровье, почти всегда от этих хождений уваливал. Чтобы проверить, побывал ли я в церкви, мать прибегала к хитрости: она спрашивала, на какой текст из библии священник читал проповедь. Это меня ничуть не смущало. Чтобы назвать текст, незачем было ходить в церковь, - я сам выбирал, какой мне нравился. Все шло

как по маслу до того дня, когда я назвал один текст, а кто-то из соседей, побывавших в церкви, - совсем другой. После этого мать избрала новый метод - какой, уж не помню.

В те времена мужчины и мальчики носили зимой длинные плащи. Они были черные, на очень яркой клетчатой подкладке. Однажды зимним вечером, отправляясь в церковь, дабы искупить какое-то преступление, совершенное на неделе, я спрятал свой плащ у ворот, а сам побежал к товарищам поиграть, пока в церкви не кончится служба. Потом я вернулся домой. Но в потемках я надел плащ наизнанку. Войдя в комнату, я его сбросил и претерпел обычный допрос. Все шло отлично, пока дело не коснулось температуры в церкви. Мать сказала: "В такой вечер там, наверно, страх как холодно".

Я не заметил подвоха и по глупости ляпнул, что не озяб, потому что все время сидел в плаще. Она спросила, не снимал ли я его по дороге домой. Я не понял, к чему она клонит, и ответил, что не снимал. Тогда она сказала: "Ты так и щеголял в этих красных клетках? И тебя не подняли на смех?"

Разумеется, продолжать этот разговор было бы скучно, да и ни к чему. Я махнул рукой, и неизбежное свершилось.

А вот еще случай, он относится примерно к 1849 году. Том Нэш, сын почтмейстера, был мой ровесник. Миссисипи была скована льдом, и как-то поздно вечером мы с ним катались на коньках, - по всей вероятности, без разрешения. Иначе непонятно, с чего бы мы вздумали кататься на коньках чуть не в полночь, - если бы никто против этого не возражал, это было бы совсем неинтересно. И вот около полуночи, когда мы продвинулись примерно на полмили к Иллинойсскому берегу, мы услышали между родным берегом и нами зловещий гул, скрежет и треск и сразу поняли, что это значит, - река вскрывается! Не на шутку перепугавшись, мы повернули к дому. Мы мчались во весь дух всякий раз, как при свете луны, проглянувшей среди облаков, удавалось разобрать, где лед, а где вода. А в промежутках ждали, и опять пускались в путь, высмотрев надежный ледяной мост, и опять останавливались, оказавшись на кромке воды, и ждали, замирая от тоскливого ужаса, чтобы большая плывущая льдина вклинилась в пролив. Так мы пробирались к берегу целый час, и все время были сами не свои от страха. Но вот берег уже совсем близко. Мы опять стали - опять надо было ждать моста. А вокруг нас льдины сталкивались, скрежетали, горами налезали на берег, и опасность не уменьшалась, а увеличивалась. Нам так не терпелось ступить на твердую землю, что мы, не дождаввшись подходящей минуты, стали прыгать с льдины на льдину. Том не рассчитал прыжка и упал в воду. Он искупался в ледяной воде, но уже так близко от берега, что, проплыв совсем немного, коснулся ногами дна и выкарабкался на сушу. Я тут же нагнал его - без всяких происшествий. На бегу мы сильно вспотели, и купание Тома обернулось для него трагедией. Он слег и перенес одну за другой несколько болезней. Последней по счету была скарлатина, осложнившаяся полной глухотой. А через год или два он, естественно, и онемел. Но несколько лет спустя его кое-как научили говорить, хотя понять его иногда бывало трудно. Поскольку он себя не слышал, он, конечно, не мог и регулировать силу своего голоса. Когда ему казалось, что он говорит чуть ли не шепотом, его можно было услышать в Иллинойсе.

Четыре года назад (в 1902 г.) университет штата Миссури пригласил меня к себе по случаю присуждения мне почетной степени доктора литературы. Я воспользовался этим, чтобы провести неделю в Ганнибале, который в мое время был деревней, а теперь стал городом. С описанного мною приключения на реке прошло пятьдесят пять лет. Когда я уезжал, у вокзала собралась большая толпа. Я увидел, что по открытому месту ко мне направляется Том Нэш, и пошел ему навстречу, потому что сейчас же узнал его. Он был старый, седой, но в нем еще сохранилось что-то от пятнадцатилетнего мальчишки. Он подошел ко мне, сложил руки трубкой и, поднеся их к моему уху, кивнул в сторону своих сограждан и шепнул - то есть проревел паровой сиреной: "Как были чертовы болваны, Сэм, так и остались".

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Когда папе было около двадцати лет, он пошел работать на Миссисипи лоцманом.

Перед самым отъездом бабушка Клеменс велела ему поклясться на библии, что он не притронется к спиртным напиткам и не будет ругаться, и он сказал: "Хорошо, мама, обещаю", и держал слово семь лет, а потом бабушка освободила его от этого обещания".

Сколько позабытых зароків воскрешает в моей памяти эта вдохновляющая запись!

Вторник, 13 февраля 1906 г.

Иные из них я припоминаю без труда. Еще лет пятнадцати, в Ганнибале, я некоторое время был "Сыном воздержания", то есть членом организации, действовавшей по всей стране целый год, а может, и побольше. Выражалось это членство в том, что мы давали зарок не курить; вернее, оно выражалось частично в этом зароке, а частично в красном шерстяном кушаке, причем кушак считался куда важнее. Мальчишки вступали в организацию ради права его носить, а зарок рассматривали как несущественный привесок, - по сравнению с кушаком он значил ничтожно мало. Организация эта была слабая и просуществовала недолго, потому что не хватало праздников для поддержания ее сил. Мы могли маршировать в своих красных кушаках Первого мая, вместе с воскресными школами, да еще Четвертого июля - с воскресными школами, пожарной командой и отрядом милиции. Однако два показа кушаков в год слишком голодная диета для юношеской организации, ставящей себе высокие моральные цели. Будь я рядовым, я бы не выдержал больше одного шествия, но я назывался "Достоправный Сверхсекретарь и Внутренний Королевский Часовой" и был наделен привилегиями - выдумывать пароли и носить на кушаке розетку. На этих условиях я держался стойко и успел пожать лавры с целых двух демонстраций - Первого мая и Четвертого июля. А затем я подал в отставку и вышел из организации.

Я не курил полных три месяца, и нет слов, чтобы описать, какая тоска по куреву меня снедала. Курил я с восьми лет, первые два года тайком, а потом, после смерти отца, - открыто. Теперь я закурил, едва отойдя на тридцать шагов от помещения нашей организации, и испытал райское блаженство. Какой марки была сигара - не знаю. Наверно, не самой высшей, иначе предыдущий курильщик не бросил бы ее так скоро на землю. Но для меня то была лучшая из всех когда-либо изготовленных сигар. И предыдущий курильщик подумал бы то же, если б дорвался до нее после трех месяцев воздержания. Я докурил этот окурочок не стыдясь. Теперь я не мог бы сделать это не стыдясь, потому что теперь я стал культурнее. Но я докурил бы его. Говорю это с уверенностью - я достаточно изучил и себя и весь род человеческий.

В те дни сигары местного производства были так дешевы, что если человек вообще мог что-нибудь покупать, то он мог покупать сигары. У мистера Гарта была большая табачная фабрика, а в нашей деревне он держал лавочку для розничной торговли. Один сорт его сигар был доступен даже последнему бедняку. Они пролежали у него в лавке много лет и, хотя с виду были еще ничего, внутри обратились в труху, так что, если сломать такую сигару пополам, она улетучивалась, как облако пара. Этот сорт очень ценили за дешевизну. У мистера Гарта были и другие дешевые сорта сигар, и среди них немало плохих, но эти не имели себе равных, что видно даже по их названию - "Гартовы распредьявольские". Мы выменивали их на старые газеты.

Была в деревне и еще одна лавочка, куда имело смысл забегать неимущим мальчишкам. Держал ее одинокий и печальный маленький горбун, и у него всегда можно было застаться сигарами, если принести ему ведро воды из колодца, даже когда воды ему не требовалось. Однажды мы - не в первый раз застали его спящим в кресле и стали терпеливо ждать, когда он проснется, это тоже нам было не впервой. Но в этот раз он спал так долго, что терпение наше истощилось, и мы стали его будить, - а он, оказывается, умер. Я до сих пор помню, как это меня потрясло.

И в молодости и позднее я время от времени отравлял себе жизнь всякими зароками. И ни разу я об этом не жалел: независимо от того, долго или нет я себя обуздывал, всякий пороч, когда я вновь предавался ему после перерыва, доставлял мне столько радости, что я бывал вознагражден за все перенесенные муки. Впрочем, я, по-моему, уже рассказывал об этих своих экспериментах в книге "По экватору". Надо будет проверить. А пока я оставляю

эту тему и вернусь к тому, что писала обо мне Сюзи.

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Папа сколько-то времени был лощманом на Миссисипи, а потом его брата, дядю Ориона Клеменса, назначили Секретарем штата Невада, и папа поехал с ним в Неваду как его секретарь. Потом он заинтересовался добычей серебра в Калифорнии; потом стал репортером и работал в нескольких газетах. Потом его послали на Сандвичевы острова. Оттуда он вернулся в Америку, и его знакомые предложили ему выступать с лекциями, он и стал выступать с лекциями. Потом он поехал за границу на "Квакер-Сити", и на этом пароходе познакомился с дядей Чарли (Мистер Ч.Дж.Ленгдон из Элмайры, штат Нью-Йорк). Папа и дядя Чарли быстро подружились и когда они вернулись из путешествия, дедушка Ленгдон, отец дяди Чарли, велел дяде Чарли пригласить мистера Клеменса отобедать с ними в гостинице "Сент-Николас" в Нью-Йорке. Папа принял приглашение и поехал в "Сент-Николас" обедать с дедушкой и там в первый раз увидел маму (Оливия Льюис Ленгдон). Но потом они не виделись до августа следующего года, потому что папа уехал в Калифорнию и там написал "Простаков за границей".

Насчет второй встречи Сюзи допустила неточность. Первая состоялась 27 декабря 1867 года, а следующая - у миссис Берри, через пять дней. Мисс Ленгдон помогала хозяйке принимать новогодних визитеров. Я явился туда с визитом в десять часов утра. В тот день мне предстояло объездить тридцать четыре дома, и этот визит был первым. Я растянул его на тринадцать часов, а остальные тридцать три визита отложил до будущего года.

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Мама была дочерью мистера Джервиса Ленгдона (я не знаю, было у дедушки второе имя или нет) и миссис Оливии Льюис Ленгдон, из Элмайры, штат Нью-Йорк. У нее был брат и одна сестра: дядя Чарли (Чарльз Дж. Ленгдон) и тетя Сюзи (Сюзен Ленгдон Крейн). Мама любила дедушку больше всех на свете. Он был ее кумир, а она его. Мне кажется, что мамина любовь к дедушке была очень похожа на мою любовь к маме. Дедушка был очень хороший человек, и мы все думаем о нем с уважением и любовью. Мама в молодости очень болела и долго не могла учиться".

Она заболела шестнадцати лет - упала на льду, что вызвало частичный паралич, - и полностью здоровье у нее так и не восстановилось. Тогда, после падения, она два года пролежала в постели, и лежать могла только на спине. В Элмайре за это время перебивали все лучшие врачи, но они оказались бессильны. В те дни и в Европе и у нас много говорили про доктора Ньютона, причем и там и здесь его считали шарлатаном. Он переезжал из города в город с большой помпой, как коронованная особа, как цирк. За несколько недель до его приезда об этом событии оповещали огромные цветные афиши, и рядом с ними на стенах красовались устрашающих размеров портреты доктора.

Однажды родственник Ленгдонов, Эндрью Ленгдон, пришел к ним и сказал: "Вы всех перепробовали, испробуйте и этого шарлатана, Ньютона. Он остановился в "Ратбен-Хаус", лечит богатых по военным ценам, а бедных даром. Я сам видел, как он помахал руками над головой Джейка Брауна, а потом отнял у него костыли, и тот зашагал себе как ни в чем не бывало. Он и с другими калеками на моих глазах проделывал такие вещи. Те-то еще, может, были подставные, для рекламы, ну а с Джейком дело чистое. Пригласите Ньютона".

Ньютон пришел. Девушка лежала в постели, на спине. С потолка над нею свешивалась веревочная петля на блоке. Она висела там уже давно без употребления. Сперва надеялись, что с ее помощью можно будет изредка, для отдыха, приводить больную в сидячее положение. Но из этого ничего не вышло, - при малейшей попытке приподняться ее одолевала тошнота и страшная слабость. Ньютон распахнул окна (они давно стояли затворенные, за темными гардинами) и прочитал краткую горячую молитву; потом обнял девушку за плечи и сказал: "А теперь, дитя мое, давайте сядем".

Родные в испуге пытались ему помешать, но он не дал себя смутить и приподнял больную. Она посидела несколько минут - ни тошноты, ни слабости. Потом Ньютон сказал: "А теперь, дитя мое, мы с вами пройдемся". Он помог ей встать, и она, опираясь на его руку,

сделала несколько шагов по комнате. Тогда Ньютон сказал: "Я сделал все что мог. Она не излечена. Вероятно, и не излечится. Она никогда не сможет ходить помногу, но надо ежедневно упражняться, и скоро она сможет пройти двести-триста ярдов, и уж на это наверняка будет способна до конца своих дней".

За визит он взял полторы тысячи долларов, но за такое не жалко было бы и ста тысяч. Ибо с восемнадцати лет до пятидесяти шести она всегда могла пройти несколько сот ярдов не останавливаясь. А часто бывало, что она и четверть мили шла не уставая.

Опыты Ньютона кончались скандалами в Дублине, в Лондоне и в других местах. Ему часто доставалось и в Европе и в Америке, но Ленгдоны и Клеменсы навсегда остались ему благодарны. Однажды, много лет спустя, я встретился с ним и спросил, в чем его секрет исцелений. Он сказал, что не знает, но возможно, что из тела его исходит какой-то особый электрический ток, который и излечивает больного.

Среда, 14 февраля 1906 г.

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Вскоре папа опять приехал на Восток, и они с мамой поженились".

Казалось бы - до чего просто, быстро, легко, но это иллюзия. На самом деле все шло далеко не так гладко. Сватовство длилось долго. Было сделано три или четыре предложения и столько же получено отказов. Я разъезжал по стране с лекциями, но успевал время от времени заглядывать в Элмайру и возобновлял осаду. Однажды я всеми правдами и неправдами вытянул из Чарли Ленгдона приглашение погостить у них неделю. Это была чудесная неделя, но она не могла длиться вечно. Как устроить, чтобы хозяева предложили мне пожить у них еще? Сколько я ни ломал голову, все мои выдумки казались слишком прозрачными; я даже себя не мог обмануть, а уж если человек не может обмануть самого себя, едва ли ему поверят другие. Но наконец удача пришла, и с совершенно неожиданной стороны. То был один из случаев - столь частых в прошедшие века, столь редких в наши дни, - когда в дело вмешалось провидение.

Я собрался уезжать в Нью-Йорк. У ворот стояла повозка с моим чемоданом, и кучер Барни сидел на облучке, держа в руках вожжи. Было часов девять вечера, уже стемнело. Я простился с семейством, собравшимся на крыльце, и мы с Чарли залезли в повозку. Мы уселись позади кучера, на сиденье в задке повозки, которое было устроено только что, специально для нас, и не прибито к бортам, но мы - к счастью для меня - этого не знали. Чарли курил. Барни тронул лошадь кнутом. Она рванула, и мы с Чарли полетели вверх тормашками через задок повозки. В темноте огненный кончик его сигары описал в воздухе ярко-красную дугу - я ее как сейчас вижу. То была единственная различимая глазом деталь трагедии. Я ткнулся в мостовую макушкой, с минуту постоял в таком положении, а потом без чувств рухнул на мостовую. Обморок удался как нельзя лучше, если учесть, что я играл без репетиций. Мостовая была булыжная, ее в этот день чинили. Я попал головой в ямку между булыжниками. Она была засыпана чистым, свежим песком, который послужил отличным амортизатором. Булыжников я и не коснулся. Я не рассадил себе голову. Даже ушиб был не сильный. Я был совершенно невредим. Чарли здорово расшибся, но, поглощенный тревогой за меня, почти не заметил этого. Все семейство высыпало за ворота, впереди мчался Теодор Крейн с бутылкой бренди. Он влил мне в рот такую порцию, что впору было задохнуться или залаять, но не привел меня в чувство - об этом уж я позаботился. Приглушенные восклицания, исполненные жалости и сочувствия, приятно ласкали мой слух. То была одна из счастливейших минут в моей жизни. Ничто ее не омрачало - кроме сознания, что я целехонек. Я боялся, что рано или поздно это откроется и мне придется уехать. Я был такой несусветно тяжелый, что только объединенными усилиями Барни, мистер Ленгдон, Теодор и Чарли дотащили меня до дому, но все же это им удалось. И вот я водворен в гостиной. Победа! Я водворен, и теперь ничто не помешает мне какое-то время отягощать дом своим присутствием; пусть даже это будет короткое время, но все равно - здесь видна рука провидения. Меня усадили в кресло и послали за домашним врачом. Бедный старик, жаль было его тревожить, но тревожили его для дела, а я, будучи без



сознания, не мог этому воспротивиться. Миссис Крейн - добрая душа, она была у меня три дня тому назад, седая, красивая и все такая же отзывчивая, - принесла склянку с какой-то огненной жидкостью, призванной облегчать боль при контузиях. Но я знал, что моя контузия на такие уловки не поддастся. Налив этой жидкости мне на голову, она стала растирать ее, гладить, массировать, а струйка свирепого снадобья стекала у меня по спине и каждый дюйм ее пути был отмечен ощущением лесного пожара. Но я был доволен. Заметив, что миссис Крейн устала, Теодор, ее муж, предложил, чтобы ее сменила Ливи. Это была удачная мысль. Если бы она не пришла ему на ум, я скоро был бы вынужден очнуться. Но под руками Ливи если б только она продолжала свои манипуляции - я, вероятно, пролежал бы без чувств по сей день. Очень это были приятные манипуляции. Такие приятные, успокаивающие, восхитительные, что они даже пригасили огонь этого дьявольского зелья, пришедшего на смену "Болеутолителю" Перри Дэвиса.

Затем явился старый доктор, и тот взялся за дело как ученый и практик - иными словами, он предпринял розыски контузий, шишек и ссадин и объявил, что таковых не имеется. Он сказал, что мне надо лечь, забыть о моем приключении - и утром я буду здоров. Но он ошибся. Утром я не был здоров. Это не входило в мои планы, и я был еще далеко не здоров. Но я сказал, что мне нужен только покой, а доктора звать больше не нужно.

Благодаря этому приключению визит мой затянулся на целых три дня, и это очень помогло делу. Я на несколько шагов продвинулся в своих домогательствах. Потом я приехал еще раз, и тут мы условно обручились; а условие заключалось в согласии родителей.

В беседе с глазу на глаз мистер Ленгдон обратил мое внимание на одно обстоятельство, которое я и сам успел заметить, а именно на то, что я человек почти неизвестный; что из всех домочадцев со мной близко знаком только Чарли, а он слишком молод, чтобы правильно судить о людях; что я явился с другого конца континента, а значит - только люди, знавшие меня там, могут дать обо мне благоприятный отзыв... если я его заслужил; короче говоря - он требует поручителей. Я их назвал, после чего мне было сказано, что теперь мы объявим перерыв и я должен уехать и ждать, пока он напишет этим людям и получит ответы.

Ответы пришли. Меня вызвали в Элмайру, и состоялось еще одно совещание. Я в свое время назвал мистеру Ленгдону шестерых видных граждан Сан-Франциско, в том числе двух священников; а кроме того, он сам написал своему знакомому - главному бухгалтеру одного тамошнего банка, который когда-то заведовал воскресной школой в Элмайре. Нельзя сказать, чтобы ответы были обнадеживающими. Все эти люди проявили предельную откровенность. Мало того что они отзывались обо мне неодобрительно, - они ругали меня с совершенно неуместным рвением. Один из священников (Стеббинс) и бывший директор воскресной школы (жаль, я забыл его фамилию) заканчивали свои мрачные свидетельства предсказанием, что я неизбежно сопьюсь. Это было пророчество довольно обычного типа - бессрочное. Поскольку срок не указан, неизвестно, сколько времени нужно ждать. Я вот жду до сих пор, и пока не видно, чтобы оно сбывалось.

Когда с чтением писем было покончено, наступила долгая пауза, заполненная торжественной печалью. Я не знал, что сказать. Мистер Ленгдон, по-видимому, тоже. Наконец он поднял свою красивую голову, устремил на меня твердый, ясный взгляд и сказал:

- Что же это за люди? Неужто у вас нет ни одного друга на свете?

Я ответил:

- Выходит, что так.

Тогда он сказал:

- Я сам буду вам другом. Женитесь. Я вас знаю лучше, чем они.

Так неожиданно и счастливо решилась моя судьба. Позже, услышав, с какой любовью и восхищением я отзываюсь о Джо Гудмене, он спросил меня, где Гудмен живет. Я ответил, что на Тихоокеанском побережье. Тогда он сказал:

- По-моему, он ваш друг. Я не ошибаюсь?

Я сказал:

- Еще бы! Лучшего друга у меня за всю жизнь не было.

- Так о чем же вы думали? - спросил он. - Почему не сослались на него?

Я ответил:

- Потому, что он тоже наврал бы, только в другую сторону. Те наградили меня всеми пороками, Гудмен наградил бы меня всеми добродетелями. Вам, конечно, нужно было беспристрастное мнение. Я знал, что от Гудмена вы его не получите. Правда, я надеялся, что вы получите его от тех, кого я назвал, - да, может, так оно и есть. Но не скрою, я все же ожидал чего-то более похвального.

Наша помолвка состоялась 4 февраля 1869 года. Обручальное кольцо было золотое, без камня, внутри была выгравирована дата. Год спустя я снял его с ее пальца и отдал мастеру, чтобы он добавил вторую дату: 2 февраля 1870 года - день нашей свадьбы. Так оно стало венчальным. И с тех пор она ни разу его не снимала.

В Италии, год и восемь месяцев тому назад, когда смерть вернула ее милому лицу утраченную молодость и она лежала в гробу прекрасная, совсем такая же, какая была девушкой и новобрачной, это кольцо хотели снять с ее пальца, чтобы сохранить для детей. Но я не допустил такого кощунства. С ним ее и похоронили.

Вскоре после нашей помолвки стали поступать гранки моей первой книги "Простак за границей", и она читала их вместе со мной. Она их даже редактировала. Она была моим верным, беспристрастным и неутомимым редактором с тех времен и вплоть до последних месяцев своей жизни - более трети столетия.

Четверг, 15 февраля 1906 г.

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Когда папа был женихом, он писал маме много чудесных любовных писем, но мама говорит, что я еще мала их читать. Я спросила папу, как же мне быть, ведь я не могу написать его биографию без его любовных писем, а папа сказал, что можно записать мамино мнение о них, и будет не хуже. Я так и сделаю, - мама говорит, что это самые чудесные любовные письма, какие когда-либо писали, она говорит, что письма Готорна {149} к миссис Готорн даже не сравнить с ними. Мама (и папа) решили сначала жить в Буффало, и дедушка сказал, что он подыщет им пансион. Но потом он рассказал маме, что купил для них хорошенький домик, и прекрасно его обставил, и нанял молодого кучера Патрика Мак-Алира, и купил им лошадь, и когда они приедут в Буффало, все уже будет готово и будет их ждать. Но только не велел говорить "Юноше", так дедушка называл папу. Какой это был чудесный сюрприз! Дедушка сам поехал в Буффало с мамой и папой. И когда они подъехали к дому, папа сказал, что в таком пансионе, наверно, надо платить очень дорого. А когда секрет открылся, папа был так рад, что даже описать невозможно. Мама много раз мне про это рассказывала, и я ее спрашивала, что папа сказал, когда дедушка сказал, что этот чудесный пансион его дом, а мама ответила, что он даже сконфузился и от радости не знал что сказать. Через полгода после того, как папа с мамой поженились, дедушка умер. Для мамы это был страшный удар, папа говорил тете Сю, что он боится - вдруг Ливи никогда больше не будет улыбаться, так она горевала. Для мамы не могло быть более тяжкого горя, чем дедушкина смерть, и ничто не может с ней сравниться, кроме папиной смерти. Мама ухаживала за дедушкой во время его болезни и до самого конца\* все надеялась, что он поправится".

---

\* 6 августа 1870 г. - С.Л.К.

Нет на свете ничего столь поразительного, столь необъяснимого, как выносливость женщины. Мы с миссис Клеменс приехали в Элмайру около 1 июня ухаживать за мистером Ленгдоном. Два месяца, до самого конца, миссис Клеменс, ее сестра (Сюзи Крейн) и я по очереди дежурили около него день и ночь. Два месяца страшной, удушающей жары. В чем выражалось мое участие? Главная моя вахта была с полуночи до четырех утра - почти четыре часа. Вторая вахта у меня была дневная - кажется, только три часа. Остальные семнадцать часов сестры делили между собой, причем каждая упрямо и великодушно

старался забрать у другой часть дежурства. И никогда-то одна не будила другую, чтобы та ее сменила. Будили только меня.

Я ложился рано, с расчетом к полуночи выспаться. Но это мне не удавалось. Я являлся на дежурство сонный и все четыре часа клевал носом и чувствовал себя самым несчастным человеком. До сих пор ясно помню, как я сижу у постели в печальной тишине знойной ночи, машинально обмахивая белое, изможденное лицо больного веером из пальмовых листьев. До сих пор ясно помню, как я, задремывая, впадал в забытие, веер замирал в моей руке, и тогда я разом просыпался в страшном испуге. Помню, как мучительно я старался не спать; помню, как ощущал неторопливую поступь времени и как мне казалось, что стрелки на больших часах в углу не движутся, а стоят на месте. Делать ничего не нужно было - только помахивать веером, и самое это движение, тихое и однообразное, усыпляло меня. Болезнь у мистера Ленгдона была неизлечимая - рак желудка. Лекарств ему не требовалось. Это было медленное, неуклонное умирание. Время от времени ему давали выпить пены от шампанского, а есть он, сколько помнится, ничего не ел.

Каждое утро, за час до рассвета, в кустах под окном заводила свою унылую, жалобную песню какая-то птица неизвестной мне породы. Друзей у нее не было, она страдала одна, прибавляя свои муки к моим. Она не смолкала ни на минуту. Ничто в жизни, кажется, не доводило меня до такого отчаяния, как жалобы этой птицы. Из ночи в ночь я начинал ждать рассвета задолго до того, как он мог наступить. Я высматривал его, как человек, выброшенный бурей на необитаемый остров, высматривает на горизонте спасительный парус. И когда небо за шторами из черного делалось серым, я, наверно, испытывал то же чувство, как тот несчастный - завидев на фоне неба смутный силуэт долгожданного корабля.

Я был здоровый, крепкий мужчина, но, как и всякий мужчина, страдал недостатком выносливости. А обе эти молоденькие женщины не были ни здоровыми, ни крепкими, - и все же, приходя сменить их на дежурстве, я не помню, чтобы хоть раз застал их сонными, невнимательными; а ведь они, как я уже сказал, делили между собою семнадцать часов из каждых суток. Это было поразительно. Я восхищался ими - и стыдился собственной бездарности. Врачи, разумеется, уговаривали их пригласить к больному профессиональных сиделок, но дочери и слышать об этом не хотели. При одном упоминании об этом они так огорчались, что очень скоро им перестали докучать. Здоровье у миссис Клеменс всю жизнь было слабое, но духом она всегда была сильна. Духовная сила и поддерживала ее всю жизнь, не хуже, чем других поддерживает сила физическая. Когда дети наши были маленькие и болели, она и за ними ухаживала ночи напролет. Я помню, как она сидела с больным ребенком на коленях, укачивая его и тихо баюкая, - сидела всю долгую ночь без отдыха, без слова жалобы. Я же засыпал через каждые десять минут. Мне было поручено всего одно дело - поддерживать огонь в камине. Раз десять - двенадцать за ночь я подбрасывал в него дрова, но каждый раз меня для этого приходилось будить, и, едва сделав, что нужно, я тут же засыпал снова.

Да, с выносливостью женщины ничто не сравнится. На войне она в этом смысле заткнула бы за пояс целый полк мужчин, будь то в лагере или на походе. Я до сих пор с восторгом вспоминаю ту женщину, что села в почтовую карету где-то посреди прерий, когда мы с братом в 1861 году ехали через весь континент на Запад, - один перегон за другим она сидела прямая, бодрая, не проявляя ни малейших признаков усталости. В те времена в Карсон-Сити самым важным происшествием дня было прибытие почтовой кареты. Встречать ее выходил весь город. Мужчины вылезали из кареты все скрюченные и едва держались на ногах, измученные физически и духовно, издерганные, раздраженные до предела, а женщины выпархивали с улыбкой, как будто ни чуточки не устали.

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"После смерти дедушки мама с папой вернулись в Буффало и через три месяца у них родился маленький Ленгдон. Мама назвала его Ленгдон в память дедушки, это был удивительно хорошенький мальчик, но очень, очень слабенький. У него были удивительные синие глазки, но такого необыкновенного цвета, что, сколько мама их ни описывала, я никак

не могу ясно их себе представить. Мама все время тревожилась из-за его слабого здоровья, и он был такой ласковый и тихий, что наверно это тоже ее пугало, я просто уверена, что так и было".

Пятница, 16 февраля

#### ИЗ БИОГРАФИИ СЮЗИ

"Когда Ленгдон был совсем крошкой, ему нравилось держать в ручке карандаш, это была его любимая игрушка. Его, кажется, почти никогда не видели без карандаша. Когда он сидел на руках у тети Сюзи и просился к маме, он тянул к ней ручки не кверху ладошками, а книзу. (Через год и пять месяцев) после Ленгдона родилась я и проводила почти все время в том, что плакала, так что наверно я прибавила маме много хлопот. Скоро после того как родился маленький Ленгдон (через год), папа с мамой переехали в Хартфорд. Дом в Буффало слишком напоминал им про дедушку, поэтому вскоре после его смерти они переехали в Хартфорд.

Вскоре после того как родился маленький Ленгдон, к маме приехала погостить ее подруга (Эмма Най) и, пока жила у мамы, заболела тифом. Она так бредила и за ней было так трудно ухаживать, что наконец мама написала своим друзьям в Элмайру, чтобы они приехали и помогли за ней ходить. Приехала тетя Клара (мисс Клара Л. Сполдинг). Она нам не родственница, но мы зовем ее тетя Клара, потому что она близкая мамина подруга. Она приехала и стала помогать маме ухаживать за Эммой Най, но несмотря на хороший уход ей становилось все хуже и она умерла".

Сюзи права. За полтора года в Буффало мы натерпелись столько горя и ужасов, что уже не знали покоя, и нам захотелось уехать в какое-нибудь место, либо связанное с более приятными воспоминаниями, либо совсем для нас новое. Подчиняясь безжалостному закону - год траура! - который лишает понесшего утрату человека общества друзей как раз тогда, когда он больше всего в них нуждается, мы заперлись в своем доме и жили отшельниками, не бывая в гостях и никого не принимая у себя. Было, правда, одно исключение, одно-единственное. Дэвид Грэй{153} - поэт и редактор главной газеты города - был наш близкий друг, поскольку мы оба дружили с Джоном Хэем. У Дэвида была молодая жена и ребенок. Грэй и Клеменсы часто бывали друг у друга, только это и скрашивало для Клеменсов время их затворничества.

Когда это тюремное заключение стало нам невмозможным, миссис Клеменс продала дом, а я продал свой пай в газете, и мы перебрались в Хартфорд. Сейчас у меня есть кое-какая деловая сметка, приобретенная горьким опытом и за большие деньги; но в те дни у меня ее не было. Свой пай в газете я в свое время купил у Кинни (кажется, его звали Кинни) за ту цену, какую он назначил, - двадцать пять тысяч долларов. Позднее я обнаружил, что ценным в моей покупке было только право получать материалы агентства Ассошиэйтед Пресс. Этим правом, сколько помнится, мы пользовались не очень широко. Чуть ли не каждый вечер из Ассошиэйтед Пресс нам предлагали пять тысяч слов по обычным ставкам, а мы, поторговавшись, брали пятьсот. И все-таки это право стоило пятнадцать тысяч долларов и за такую цену его легко можно было продать. Я же продал за пятнадцать тысяч весь мой пай, включая и эту единственную его ценную статью. Кинни (если его так звали) был в таком восторге от того, как ловко он всучил мне за двадцать пять тысяч пай, не стоивший и трех четвертей этой суммы, что не мог держать свою радость при себе, а с упоением хвастал направо и налево. Я мог бы объяснить ему, что он принимает за собственную ловкость нечто весьма ничтожное и жалкое. Если тут имел место триумф, яркое проявление человеческих качеств, то говорить следует не о его ловкости, а о моей глупости; вся заслуга была моя. Он был расторопный, честолюбивый и довольный собою молодой человек, и он вскоре отбыл в Нью-Йорк, на Уолл-стрит, расpiraемый великолепными корыстными планами - планами быстрого обогащения, планами, осуществление которых предполагало ловкость их автора и глупость другой стороны. Кинни не удержался на Уолл-стрит. Он быстро потерял все деньги, какие успел из нее выжать.

15 февраля 1906 г.

## [ПАРИЖСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ]

Он [сын Твена - Ленгдон] родился преждевременно. У нас гостила одна дама. Уезжая, она захотела, чтобы миссис Клеменс проводила ее на вокзал. Я возражал. Но миссис Клеменс считала желание этой дамы законом. Гостя, прощаясь, потратила столько драгоценного времени, что Патрик, чтобы не опоздать к поезду, должен был везти их галопом. Улицы Буффало стали образцовыми много позднее. В ту пору они были вымощены крупным булыжником и не ремонтировались со времен Христофора Колумба. Так что поездка на вокзал равнялась переправе через Ламанш в штормовую погоду. Для миссис Клеменс это кончилось преждевременными родами и опасной болезнью.

Я знал только одного врача, который мог ее вылечить. Это была почти богоравная миссис Глизен из Элмайры. Вот уже два года, как она умерла, а до того добрых полвека была кумиром этого города. Я тотчас послал за ней, и она к нам приехала. Лечение пошло успешно, но через неделю она объявила, что должна вернуться в Элмайру: ее ждут там дела. Я был глубоко убежден, что, побудь миссис Глизен у нас еще три дня, Ливи будет вне всякой опасности. Но миссис Глизен считала свои дела неотложными и не соглашалась остаться. Тогда я поставил у подъезда специального сторожа - с приказом никого не выпускать без моего разрешения. При сложившихся обстоятельствах бедная миссис Глизен не имела свободы выбора - и осталась у нас. Она не затаила обиды. Когда я последний раз, три года тому назад, смотрел на ее прелестное дорогое лицо и седые шелковистые волосы, она самым милым образом меня в этом заверила.

Миссис Клеменс еще не успела оправиться от своей тяжелой болезни, как к нам приехала в гости из Южной Каролины ее школьная подруга, мисс Эмма Най, и слегла с тифозной горячкой. Мы взяли сиделок. Это были сиделки характерные для того времени, да и для всех предыдущих: чтобы они исправно несли дежурство у постели больного, нужно было неотлучно дежурить при них. Я дежурил при них днем, миссис Клеменс в ночное время. Чуть подремав, она вставала и будила сиделку, чтобы та дала лекарство больной. Нехватка спокойного сна не давала миссис Клеменс окрепнуть. Между тем болезнь мисс Най оказалась смертельной. Последние два-три дня миссис Клеменс не раздевалась и находилась неотлучно при ней. Эти два-три дня относятся к чернейшим в моей жизни.

К любопытным чертам моего характера принадлежат периодические перемены в моем настроении, внезапные переходы от глубокой хандры к полубезумным бурям и циклонам веселости. Одержимый таким пароксизмом веселости, я послал в редакцию за большой деревянной литерой заглавного М. Перевернув ее верхом вниз, я на ней вырезал весьма приблизительную и нелепую карту Парижа и напечатал ее со вздорными комментариями и с приложением похвал этой карте от целого ряда почтенных лиц, в том числе генерала Гранта {155}.

Франко-прусская война была в то время в центре внимания, так что и моя карта Парижа могла бы оказаться полезной - если бы в ней была хоть какая-нибудь польза. Она дошла до Берлина и доставила много радости учившимся там американским студентам. Студенты брали ее с собой в большую пивную и там, сидя за столиком, громко ею восхищались, пока им не удавалось привлечь внимание кого-либо из присутствовавших немецких военных. Тогда они поднимались, оставив карту лежать на столе, и дожидались в сторонке последствий. Ждать приходилось недолго. Военные накидывались на карту, сперва обсуждали ее между собой, потом приходили в ярость и, к великому восторгу студентов, кляли и поносили ее. В оценке автора этой карты Парижа военные расходились между собой: одни считали его благонамеренным, но тупым человеком, другие - законченным идиотом.

16 февраля 1906 г.

## [УЧЕНИЕ ДЖЕЯ ГУЛДА {155}]

Из всех бедствий, постигавших нашу страну, Джей Гулд был самым ужасным. Мои соотечественники тянулись к деньгам и до него, но он научил их пресмыкаться перед деньгами, обожествлять их. Они и раньше почитали людей с достатком, но это было отчасти

уважением к воле, к труду, которые потребовались, чтобы добиться достатка. Джей Гулд научил всю страну обожествлять богачей, невзирая на то, как их богатство добыто. Я не помню в дни моей юности в наших краях такого поклонения богатству. Я также не помню, чтобы в наших краях о ком-либо, жившем в достатке, было известно, что он добыл свои деньги нечестным путем.

Евангелие, оставленное Джеем Гулдом, свершает свое триумфальное шествие в наши дни. Вот оно: "Делай деньги! Делай их побыстрее! Делай побольше! Делай как можно больше! Делай бесчестно, если удастся, и честно, если нет другого пути!"

Это евангелие, как видно, считается общепризнанным. Мак-Карди, Макколы, Гайды, Александеры и другие бандиты, выбитые недавно со своих позиций в гигантских страховых компаниях Нью-Йорка, выступают его апостолами. Третьего дня в газетах появилось сообщение, что Маккол умирает. О других тоже не раз сообщалось за последние два-три месяца, что они накануне кончины. Не следует думать, будто они умирают от стыда и от горя, что раздели до нитки три миллиона держателей своих страховых полисов; их семьи, их вдов и сирот. Нет, не угрызения совести мучают этих людей. Они болеют от злости, что их вывели на чистую воду. Вчера - я прочел об этом сегодня в газете - Джон Маккол, совсем позабыв о своих предстоящих похоронах, преподнес американскому народу лекцию на тему о нравственности. Он знает, что все, что ни скажет богач (здоровый или умирающий, это неважно), немедленно прогремит через посредство печати от одного конца континента до другого и будет прочитано каждым, кто умеет складывать буквы в слова. Маккол проповедует, адресуясь якобы к своему сыну, на самом же деле - к нам с вами, к американцам. Первое впечатление, что он говорит искренно, и я полагаю, что он действительно искренен. Думаю, что нравственное чувство у него давно атрофировано. Думаю, что он действительно считает себя человеком высокой морали, может быть, даже святым. К тому же он убежден, что так о нем думают все. Ему поклоняются потому, что у него много денег, в особенности же потому, что на протяжении двадцати лет он добывал эти деньги нечестным путем. Я думаю, он так привык к воздаваемым ему почестям, настолько введен в заблуждение, что и в самом деле считает себя удивительным и прекрасным созданием божьим, благородным примером для грядущих веков. Он так счастлив, исполнен такой важности, так доволен собой, что можно подумать, что на совести у него нет черных пятен и в послужном кондуите ни одного преступления. Вот вам для образчика его небольшая проповедь:

"РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ!" - ТАК ГОВОРIT МАККОЛ

"Беседа с сыном, он рассказал о своей последней сигаре".

(Нам сообщает по телеграфу специальный корреспондент "Нью-Йорк Таймс"):

"Лейквуд, 15 февраля. - Джон Маккол чувствовал себя сегодня настолько бодрее, что провел продолжительную беседу со своим сыном Джоном Макколом-младшим и привел ему несколько интересных примеров из головокружительной истории своей деловой карьеры.

- Джон, - сказал он, - у меня было в жизни немало поступков, о которых я сожалею, но ни одного, который заставил бы меня краснеть. Мой совет молодым людям, которые хотят добиться успеха: брать жизнь такой, как она есть, и - работать, работать!"

Мистер Маккол уверен, что главное, что движет вперед человечество, это сильная воля. Он привел пример из своей биографии:

- Как-то раз, Джон, мы с твоей матушкой сидели и о чем-то беседовали. Я закурил сигару. Я был усердным курильщиком, хорошая сигара доставляла мне удовольствие. Твоя матушка не одобряла, что я курю.

- Джон, - сказала она, - брось сигару.

Я бросил сигару.

- Джон, - сказала она, - я прошу тебя, не кури больше совсем.

И сигара, которую я закурил и бросил тогда, была последней сигарой во всей моей жизни. Я решил перестать курить и перестал. Тому - ровно тридцать пять лет.

Мистер Маккол привел еще несколько случаев из своей деловой практики. Его

настроение заметно улучшилось. Это отчасти объясняется тем, что мистер Маккол получил сегодня сотни приветственных телеграмм в связи со вчерашним его заявлением о неизменно дружеских чувствах к Эндрию Гамильтону. "Куча телеграмм для отца из южных, северных, восточных, западных штатов. Все одобряют вчерашнее заявление, которое он сделал о своем друге судьбе Гамильтоне, - сообщил сегодня вечером молодой мистер Маккол, - все желают ему поскорее поправиться и быть в добром здравии. Он очень доволен".

В три часа ночи у мистера Маккола был приступ сердечной слабости. Приступ был незначительным, вызывать врача не понадобилось. Он сейчас ограничен в пище, пьет молоко и бульон. Старается сбавить вес.

В пять часов пополудни в доме Макколов состоялся консилиум в составе доктора Вандерпола и доктора Чарльза Л. Линдли. Они заявили миссис Маккол и миссис Дарвин П. Кингсли, дочери мистера Маккола, что находят состояние больного хорошим; непосредственной опасности нет.

"Мистер Маккол отлично провел этот день, чувствует себя лучше", заявил Маккол-младший вечером.

Дальше идет нечто вроде медицинского бюллетеня. Такие бюллетени выпускаются каждодневно, когда кто-нибудь из монархов или иная, достойная благоговения персона "отлично провели день и чувствуют себя лучше". В силу причин, которые остаются для меня непонятными, этот факт должен радовать и утешать все прочее человечество.

Сыновья и дочери Джея Гулда возвращаются в так называемом "высшем свете" Нью-Йорка. Лет десять-двенадцать тому назад одна из его дочерей вышла замуж за титулованного француза, безмозглого фата и игрока - ценой уплаты его миллионного долга. Соглашение касалось лишь прошлых, добрачных долгов - не будущих. Но будущие долги переросли в настоящие и достигли гигантских размеров. Сейчас, желая избавиться от своей незавидной покупки, она начала бракоразводный процесс, и весь мир сочувствует ей, - разве она не достойна сочувствия?

8-9 марта 1906 г.

[КТО БЫЛ ГЕК ФИНН.

ШКОЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ В ГАННИБАЛЕ]

Вот уже тридцать лет, как я получаю за год в среднем около дюжины писем от людей, мне совершенно незнакомых, которые сами (или их отцы) знали меня во времена моего детства и юности. И почти всегда эти письма приносят мне разочарование. Каждый раз оказывается, что я не был знаком ни с этими людьми, ни с их отцами. Я не знаю имен, на которые они ссылаются; воспоминания, которыми они делятся со мной, мне ничего не говорят. Все это доказывает, что они путают меня с кем-то другим. Но наконец сегодня утром меня обрадовало письмо от человека, называющего людей, с которыми я был знаком во времена моего детства. Мой корреспондент, приложивший к своему письму газетную заметку - одну из тех, которые за последний месяц обошли всю нашу прессу, - спрашивает, действительно ли его брат, капитан Тонкри, был прототипом Гекльберри Финна.

СМЕРТЬ "ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА"

Прототип знаменитого героя Марка Твена мирно доживал свой век в Айдахо.

(По телеграфу в "Таймс")

"Уоллес (штат Айдахо), 2 февраля (сообщение собственного корреспондента).

Капитан А.О.Тонкри, известный как "Гекльберри Финн" и, по общему мнению, послуживший прототипом знаменитого героя Марка Твена, был сегодня утром найден мертвым в своей комнате в Мэрее. Он скончался от разрыва сердца.

Капитану Тонкри, уроженцу Ганнибала (штат Миссури), было шестьдесят пять лет. В молодости он плавал на пароходах по Миссисипи и Миссури, где часто встречался с Сэмюелом Клеменсом; считается, что Марк Твен писал своего Гекльберри Финна именно с него. Он поселился в Мэрее в 1884 году и до самой своей кончины вел там спокойную, уединенную жизнь.

Я ответил, что Гекльберри Финном был Том Блэнкеншип. Поскольку автору этого

письма, по-видимому, хорошо знаком Ганнибал сороковых годов, он без труда припомнит Тома Блэнкеншипа. Отец Тома одно время был городским пьяницей - пост в те дни совершенно определенный, хотя и неофициальный. Он был преемником генерала... (имя генерала я забыл) и некоторое время занимал этот пост единолично и нераздельно. Однако несколько позже Джимми Финн приобрел необходимую квалификацию и стал оспаривать у генерала его место. Так что одно время у нас было два городских пьяницы, и наш городок страдал от этого примерно так же, как страдали католические страны в четырнадцатом столетии, когда в мире объявилось одновременно два римских папы {160}.

В "Гекльберри Финне" я нарисовал точный портрет Тома Блэнкеншипа. Он был неграмотен, неумыт, вечно голоден, но сердце у него было золотое. Он пользовался ничем не ограниченной свободой и был единственным по-настоящему независимым человеком на всю округу; поэтому он наслаждался постоянным тихим счастьем, а мы все ему отчаянно завидовали. Он нам нравился. Мы любили водить с ним компанию, а так как это строжайше запрещалось нашими родителями, дружба с ним ценилась еще выше, и во всем городке не было мальчика популярнее его. Года четыре тому назад я слышал, что он стал мировым судьей в одном из глухих поселков штата Монтана, считается прекрасным гражданином и пользуется всеобщим уважением.

Пока Джимми Финн занимал пост городского пьяницы, он не задира нос, не отгораживался от простых смертных, не был чересчур разборчив; он проявлял себя истинным и великолепным демократом и спал на заброшенном кожевенном заводе вместе со свиньями. Мой отец попытался как-то обратить его на стезю добродетели, но потерпел неудачу. Обращение заблудших на стезю добродетели не было профессией моего отца, у него это шло припадками, через довольно большие промежутки. Однажды он решил взяться за Индейца Джо. И тоже потерпел неудачу. Он потерпел неудачу, а мы, мальчишки, радовались: ибо пьяный Индеец Джо был очень интересен - просто благодетель для нас, но трезвый Индеец Джо представлял собой крайне унылое зрелище. Поэтому мы следили за трудами моего отца с большим беспокойством, но все кончилось благополучно - к полному нашему удовольствию. Индеец Джо стал напиваться еще чаще, чем раньше, и сделался невыносимо интересным.

Кажется, я в "Томе Сойере" уморил Индейца Джо голодной смертью в пещере. Но скорее всего я просто отдал дань требованиям романтической литературы. Не помню сейчас, умер ли настоящий Индеец Джо в пещере или вне ее, но зато отлично помню, что я узнал о его смерти в самую неподходящую минуту - как-то летним вечером, когда я ложился спать, а на дворе бушевала гроза, сопровождавшаяся таким ливнем, что улицы и переулки нашего городка превратились в реки, а я раскаялся во всех своих прегрешениях и решил впредь вести лучшую жизнь. Я живо помню эти ужасающие громовые раскаты, белый ослепительный свет молний и зловещий шум дождевых струй, хлещущих по стеклам. К тому времени я был уже достаточно просвещен и очень хорошо знал, что означает подобная заварушка: это сатана явился за душой Индейца Джо. Никаких сомнений у меня не было. Именно такой музыке и надлежало сопровождать отбытие Индейца Джо в преисподнюю; и если бы сатана явился за ним с меньшим шумом, я был бы несказанно удивлен и озадачен. Каждый раз, когда вспыхивала молния, я дрожал и съеживался, охваченный смертельным ужасом, а в промежутках чернильного мрака оплакивал свою неизбежную гибель и молил пощадить меня на этот раз и дать мне возможность исправиться, молил с энергией, чувством и искренностью, обычно совершенно чуждыми моей натуре.

Однако утром я понял, что тревога оказалась ложной, и почел за благо жить пока по-прежнему, в ожидании следующего напоминания.

Мудрое изречение гласит: "История повторяется". Недели две тому назад у нас обедала племянница моей жены (урожденная Джулия Ленгдон) со своим мужем Эдвардом Лумисом, - он вице-президент Делавэрской и Лакавоннской железнодорожной компании. В свое время он часто приезжал в Элмайру (штат Нью-Йорк) по служебным делам, а в пору своего жениховства бывал там, разумеется, еще чаще и в результате познакомился со многими



жителями этого города. За обедом он упомянул одно обстоятельство, которое мгновенно перенесло меня лет на шестьдесят назад, и я снова очутился в моей маленькой спальне в ту бурную ночь. Он сказал, что мистер Бакли был пономарем одной из двух епископальных церквей Элмайры и в течение многих лет с большим успехом приглядывал за мирскими делами этой церкви, так что весь приход считал его надежнейшей опорой, даром божьим и бесценным сокровищем. Однако он обладал двумя недостатками - не ахти какими страшными, но находившимися в вопиющем противоречии с его глубокой религиозностью: он выпивал, а кроме того - уснащал свою речь божбой похлеще тормозного кондуктора. Возникло движение, имевшее целью убедить его искоренить в себе эти пороки, и в конце концов он посоветовался со своим приятелем, тоже пономарем, но другой епископальной церкви, который страдал теми же недостатками, в той же степени огорченными весь его приход, - и вдвоем они решили обратиться на стезю добродетели, но не оптом, а в розницу. Они дали зарок не пить и стали ждать, что из этого получится. Девять дней все шло как нельзя лучше, и их всячески хвалили и поздравляли. Затем, в канун Нового года, им пришлось отправиться по делам в местечко, находящееся в полутора милях от Элмайры, как раз по ту сторону границы штата Нью-Йорк. Они очень мило провели вечер в буфете гостиницы, но под конец праздничное веселье местных обывателей стало их раздражать. Ночь была очень холодная, и поднимаемые вокруг бесчисленные стаканы горячего пунша начали оказывать на новоявленных трезвенников сильное действие. В конце концов приятель Бакли сказал:

- Бакли, а знаешь что, ведь мы находимся за пределами нашей епархии!

На этом и закончилось обращение № 1.

Затем они попробовали обращение № 2. Некоторое время результаты были великолепны, и друзья снискали общее одобрение.

Однажды муж моей племянницы, встретившись с Бакли на улице, сказал в разговоре:

- Вы мужественно боролись со своими недостатками. Мне известно, что в номере первом вы потерпели неудачу, но мне также известно, что номер два протекает весьма успешно.

- Да, - ответил Бакли, - с номером два пока все идет как по маслу, и мы смотрим на будущее с надеждой.

Лумис сказал:

- Бакли, у вас, разумеется, как и у всех людей, есть свои тревоги, но по вашему виду об этом ни за что нельзя догадаться. Я еще ни разу не видел вас грустным. Вы действительно всегда веселы? Всегда-всегда?

- Ну, как сказать, - ответил тот. - Нет, конечно, мне не всегда весело на сердце, но... Ну, вы, наверно, сами знаете, как бывает, когда проснешься ночью. Весь мир погружен во мрак, и так и кажется, что вот-вот разразится буря, начнется землетрясение или приключится еще какая-нибудь беда, и на душе вдруг становится холодно и неуютно... Так вот: когда со мной случается такое, я вдруг осознаю, какой я грешник, и от этих мыслей сердце у меня так колотится, словно сейчас разорвется, и такой меня охватывает ужас - ну, просто не могу описать, - что мурашки по коже бегают, и я встаю с постели, и падаю на колени, и молюсь, молюсь, молюсь, и даю обет исправиться... ну и все прочее. А потом утром солнышко весело сияет, птички поют - и весь мир кажется таким прекрасным, что я тоже, разрази меня бог, подбодряюсь.

А теперь я приведу небольшой отрывок из письма мистера Тонкри. Вот он:

"Несомненно, вы затруднитесь вспомнить, кто я такой. Я скажу вам. В детстве я жил в Ганнибале (штат Миссури) и учился вместе с вами в школе мистера Доусона, и вместе с Сэмом и Уиллом Боуэнами и Энди Фьюком и еще многими ребятами, чьи имена я забыл. Я был для своих лет очень мал ростом, и меня прозвали "Маленький Алек Тонкри".

Алека Тонкри я не помню, но со всеми остальными, кого он упомянул, я был знаком не менее близко, чем с нашими городскими пьяницами. Я отчетливо помню школу Доусона. Если бы я захотел описать ее, то мог бы, не особенно себя затрудняя, перенести это описание

сюда со страниц "Тома Соьера". Я хорошо помню заманчивые дремотные звуки лета, которые доносились через открытое окно с Кардифской горы - нашего мальчишеского рая, - и, сливаясь с бормотанием зубрящих учеников, делали это бормотание еще более заунывным. Я помню Энди Фьюка, самого старшего из нас - двадцатипятилетнего молодого человека. Я помню самую младшую из нас - Нэнни Аусли, семилетнюю девчушку. Я помню девятнадцатилетнего Джорджа Робардза, единственного ученика нашей школы, который занимался латынью. Смутно мне припоминаются и остальные из двадцати пяти мальчиков и девочек. Мистера Доусона я помню отлично. Я помню его сына Теодора, который был на редкость хорошим мальчиком. Да что там он был чрезвычайно хорошим, сверхъестественно хорошим, оскорбительно хорошим, омерзительно хорошим - и пучеглазым, - и я утопил бы его, подвернись подходящий случай. В нашей школе мы все были равны и, насколько я помню, сердца наши не ведали зависти; правда, мы завидовали Арчу Фьюку брату вышеупомянутого Энди. В летнюю пору мы все, разумеется, ходили босиком. Арч Фьюк был примерно моим ровесником: ему было лет десять-одиннадцать. Зимой мы относились к нему терпимо, ибо когда он ходил в башмаках, его великое дарование было скрыто от наших взоров - и мы о нем забывали. Но летом Арч отравлял нам жизнь. Мы все отчаянно завидовали ему ведь он умел пригибать большой палец на ноге к самой подошве, а потом отпускать его со щелчком, который был слышен за тридцать шагов. Никому другому в школе не удавалось добиться подобного эффекта, и у Арча не было соперников в области физических достоинств, кроме Теодора Эдди, который умел шевелить ушами, как лошадь. Впрочем, всерьез их сравнивать не приходилось: ведь когда он шевелил ушами, ничего не было слышно, так что все преимущества были на стороне Арча Фьюка.

Пятница, 9 марта 1906 г.

Я говорю о том, что было шестьдесят лет назад и еще раньше. Я помню имена некоторых из моих школьных товарищей, и даже их лица порой на мгновение всплывают перед моими глазами - ровно настолько, чтобы я успел их узнать, а затем опять исчезают. Так я увидел Джорджа Робардза, изучавшего латынь, худого, бледного, старательного, самозабвенно уткнувшегося в книгу, снова увидел его прямые черные волосы, свисающие по обеим сторонам лица ниже подбородка, словно две занавески. Вот он мотнул головой и забросил одну из этих занавесок на затылок - будто бы для того, чтобы она ему не мешала, а на самом деле для шика. В те дни среди мальчишек высоко ценились такие послушные волосы, которые можно было отбросить назад одним движением головы. Мы все глубоко завидовали Джорджу Робардзу. Никому из нас не удавалось проделать такую штуку со своими волосами. У меня и у моего брата Генри на голове была густая шапка кудрей. Мы испробовали все средства, чтобы разгладить эти упрямые завитки и заставить их послушно отлетать назад, - но безуспешно. Порой, хорошенько намочив нашу шевелюру и затем приклеив волосы к черепу с помощью гребня и щетки, мы ухитрялись на время их выпрямить и испытывали прилив радостной надежды. Но стоило нам мотнуть головой, как тщательно выпрямленные пряди снова свертывались в кудри, и нас снова охватывало уныние.

Джордж был во всех отношениях прекрасным юношей. Они с Мэри Мосс дали друг другу клятву в вечной верности, когда были еще совсем детьми, и считались женихом и невестой. Но вот в нашем городке поселился мистер Лейкнен и сразу стал видным и почитаемым гражданином. Он давно уже слыл хорошим юристом. Он был образован, хорошо воспитан, серьезен почти до строгости, а разговаривал и держался с большим достоинством. По тем временам он считался довольно старым холостяком. Его ждало блестящее будущее. Весь наш городок взирал на него с боязливым уважением, и, разумеется, о подобной партии девушки могли только мечтать. Цветущая красавица Мэри Мосс удостоилась чести ему понравиться. Он стал ухаживать за ней и получил ее согласие. Все говорили, что она поступила так, повинаясь родителям, а не велению сердца. Они поженились. И теперь все стали говорить, что он сам занялся ее дальнейшим образованием, намереваясь сообщить ей те знания, которые сделают ее достойной спутницей его жизни.

Может быть, все это было правдой. А может быть, и нет. Но, во всяком случае, это было интересно. А большего для городка вроде нашего и не требуется. Джордж вскоре уехал куда-то далеко и умер там, - "от разбитого сердца", сказали все. Это могло быть и правдой, потому что у него для этого были все основания. Ему не скоро удалось бы отыскать вторую Мэри Мосс.

Как давно произошла эта маленькая трагедия! Теперь память о ней хранится лишь в нескольких седых головах. Лейкнен давно умер, но Мэри еще жива и по-прежнему красива, хотя у нее есть внуки. Я видел ее и одну из ее замужних дочерей, когда четыре года назад ездил в Миссури получать почетную степень доктора прав Миссурийского университета.

Джон Робардз был младшим братом Джорджа - крохотный мальчуган с лицом, обрамленным золотыми занавесками, которые ниспадали ниже плеч и отбрасывались назад совершенно упоительным образом. Двенадцати лет, когда началась золотая лихорадка 1849 года, он вместе со своим отцом отправился через Великие равнины в Калифорнию, и я помню, как их кавалькада отбыла на Запад. Мы все сбежались посмотреть на отъезд, сгорая от зависти. И снова я вижу огромную лошадь, а на ней - гордого мальчугана с золотыми волосами, падающими на плечи. Мы все собрались поглазеть, сгорая от зависти, когда два года спустя он вернулся в ореоле ослепительной славы, - ведь он совершил путешествие! Никто из нас не уезжал дальше чем за сорок миль от родного города, а он пересек весь континент! Он побывал на золотых приисках, которые представлялись нам волшебной страной. И он совершил еще более удивительный подвиг: он побывал на кораблях - на кораблях, которые плавали по настоящему океану, по трем настоящим океанам. Ведь он проплыл на юг по Тихому океану, обогнул мыс Горн среди айсбергов, метелей и зимних бурь, а затем понесся на север, подгоняемый пассатом, и пересек кипящие экваториальные воды. Его загорелое лицо было доказательством того, что ему пришлось пережить. Каждый из нас не задумываясь продал бы душу черту за честь поменяться местом с Джоном. Я снова увиделся с ним, когда ездил в Миссури, четыре года назад. Он был уже стар, - хотя и не так стар, как я, и бремя жизни тяжело давило его плечи. Он сказал, что его двенадцатилетняя внучка читала мои книги и очень хотела бы познакомиться со мной. Это было грустное знакомство, так как она не могла уже выходить из своей комнаты и была обречена на безвременную смерть. И Джон знал, что жить ей осталось недолго. Ей было двенадцать лет - так же, как и ее деду, когда он отправился в свое великое путешествие. В ней я словно опять увидел того мальчика. Казалось, он вернулся из далекого прошлого и предстал передо мной в золотом сиянии своей юности. Она страдала сердечной болезнью, и ее короткая жизнь оборвалась несколько дней спустя.

Другим моим однокашником был Джон Гарс. А одной из самых хорошеньких девочек в школе считалась Эллен Керчвел. Они выросли и поженились. Он стал преуспевающим банкиром, видным и уважаемым человеком в своем городе. Он умер несколько лет тому назад, богатый и всеми почитаемый. "Он умер", - вот что мне приходится писать о большинстве этих мальчиков и девочек. Его вдова жива и радуется на своих внуков. Я видел могилу Джона, когда ездил в Миссури.

В те дни, когда мне только исполнилось девять лет, у мистера Керчвела был подмастерье, а также рабыня, обладавшая множеством достоинств. Но я не могу ни похвалить, ни простить этого доброго подмастерья и эту добрую рабыню, - ведь они спасли мне жизнь. В один прекрасный день я играл на бревне, которое, по моим расчетам, было привязано к плоту, - на самом деле оно к нему привязано не было; оно вдруг перевернулось и сбросило меня в Медвежью речку. Когда я успел уже дважды погрузиться с головой и поднимался к поверхности, чтобы совершить третье - роковое - нисхождение на дно, моя рука появилась над водой, и рабыня мистера Керчвела схватила ее и вытащила меня на берег. Не прошло и недели, как я снова лежал на дне, но, конечно, этому подмастерью понадобилось проходить там в такую неподходящую минуту, и он бросился в воду, нырнул, пошарил в тине, нашел меня, вытащил на берег и откачал. Так я был спасен вторично. Я тонул еще семь раз, прежде чем научился плавать, - один раз опять в Медвежьей речке и

шесть раз в Миссисипи. Я не помню, какие именно люди своим несвоевременным вмешательством воспрепятствовали намерениям провидения, которое куда мудрее их, но все равно у меня на них до сих пор зуб.

Моим однокашником был также Джон Мередит, мальчик необычайно кроткий и уступчивый. Он вырос и, когда началась Гражданская война, стал чем-то вроде начальника партизанского отряда южан; и мне рассказывали, что во время нападений на семьи северян в округе Монро - прежде это были друзья и близкие знакомые его отца - он был беспощаден и кровожаден, как никто другой. Мне трудно поверить, что речь идет о кротком товарище моих школьных дней, но тем не менее это может быть правдой. Ведь и Робеспьер в детстве был таким. Джон уже много лет спит в могиле.

Я учился также вместе с Уиллом Боуэном и его братом Сэмом, который был моложе его года на два. Перед началом Гражданской войны оба служили лоцманами на пароходах, курсировавших между Сент-Луисом и Новым Орлеаном. Когда Сэм был еще очень молод, с ним произошла странная история. Он влюбился в шестнадцатилетнюю девушку, единственную дочь богатого немца-пивовара. Он хотел жениться на ней, но оба они полагали, что папенька не только не даст своего согласия, но и запретит Сэму бывать у них. Старик был настроен совсем иначе, однако они об этом не знали. Он следил за ними, но отнюдь не враждебным взглядом. Легкомысленная парочка в конце концов вступила в тайную связь. Вскоре старик отец умер. Вскрыли завещание, и оказалось, что он оставил все свое богатство миссис Сэмюел Боуэн. Тогда бедняги совершили новую ошибку. Они отправились во французское предместье Каронделе и уговорили мирового судью зарегистрировать их брак, пометив его задним числом. У старого пивовара имелись какие-то племянники, племянницы, двоюродные братья и сестры и прочие ценности того же сорта. Эта компания пронюхала об обмане, представила доказательства и завладела имуществом покойного. И вот Сэм остался с молоденькой женой на руках, а у него ничего не было, кроме лоцманского жалованья. Несколько лет спустя Сэм вместе с еще одним лоцманом вели пароход из Нового Орлеана в Сент-Луис, как вдруг среди многочисленных пассажиров и команды вспыхнула эпидемия желтой лихорадки. Заболели и оба лоцмана, так что некому было стоять у штурвала. Пароход причалил к острову номер 82 и стал ждать помощи. Оба лоцмана вскоре умерли и были похоронены на острове, где и лежат до сих пор, если только река не размывла могилы и не унесла их кости, - что, весьма возможно, случилось уже давно.

Понедельник, 12 марта 1906 г.

[ИЗБИЕНИЕ МОРО]

Оставим пока моих товарищей, с которыми я учился шестьдесят лет назад, - мы вернемся к ним позднее. Они меня очень интересуют, и я не собираюсь расставаться с ними навсегда. Однако даже этот интерес уступает место впечатлению от происшедшего на днях события. Мир был оповещен об этом событии в прошлую пятницу, когда наше правительство в Вашингтоне получило от командующего нашими войсками на Филиппинах официальную телеграмму примерно следующего содержания:

Племя темнокожих дикарей моро укрепилось в кратере потухшего вулкана, неподалеку от Холо; и поскольку они относились к нам враждебно и были озлоблены, так как мы в течение восьми лет пытались лишить их свободы и законных прав, занятая ими позиция представлялась угрожающей. Командующий нашими войсками генерал Леонард Вуд{169} выслал разведку. Последняя установила, что все племя моро вместе с женщинами и детьми насчитывает шестьсот человек, что кратер расположен на вершине горы, в двух тысячах двухстах футах над уровнем моря, и что подъем туда для наших войск и артиллерии очень труден. Тогда генерал Вуд приказал произвести внезапное нападение и сам отправился с войсками, чтобы проследить за выполнением своего приказа. Наши войска поднялись на гору кружными и трудными тропами, захватив с собой также и пушки. Какие именно - точно не указывалось, но в одном месте их пришлось на канатах втаскивать по крутому обрыву высотой футов около трехсот. Когда наши войска приблизились к краю кратера, началась битва. Число наших солдат составляло пятьсот сорок человек. Кроме того, имелись

вспомогательные силы - отряд туземной полиции, состоящей у нас на жалованье (численность не указана), и отряд морской пехоты (численность не сообщена). Однако можно считать, что силы сражающихся были приблизительно равны: шестьсот наших солдат - на краю кратера, и шестьсот мужчин, женщин и детей на дне кратера. Глубина кратера - пятьдесят футов.

Приказ генерала Вуда гласил: "Убейте или возьмите в плен эти шестьсот человек".

Началась битва (так официально называется то, что произошло). Наши войска открыли по кратеру артиллерийский огонь, подкрепляя его стрельбой из своих смертоносных винтовок с точным прицелом; дикари отвечали яростными залпами - скорее всего, ругани; впрочем, последнее - это только мое предположение, а в телеграмме оружие, которым пользовались дикари, не указано. До сих же пор моро обычно пускали в ход ножи и дубины, а иногда допотопные мушкеты (в тех редких случаях, когда их удавалось выменять у торговцев).

В официальном сообщении сказано, что обе стороны сражались с большой энергией, что битва длилась полтора дня и закончилась полной победой американского оружия. Насколько полна эта победа, указывает тот факт, что из шестисот моро в живых не осталось ни одного. Насколько она блестяща, указывает другой факт, а именно: из наших шестисот героев на поле брани пало только пятнадцать.

Генерал Вуд наблюдал битву с начала и до конца. Его приказ гласил: "Убейте или возьмите в плен" этих дикарей. Очевидно, наша маленькая армия истолковала это "или" как разрешение убивать или брать в плен, смотря по вкусу; и так же очевидно, что их вкус был тем же самым, который уже восемь лет проявляют наши войска на Филиппинах{170}, - вкусом христиан-мясников.

Официальное сообщение надлежащим образом превозносит и приукрашивает "героизм" и "доблесть" нашей армии, оплакивает гибель пятнадцати павших и описывает раны тридцати двух наших воинов, которые пострадали во время боевых действий, причем описывает их в интересах будущих историков Соединенных Штатов, с мельчайшими подробностями. В сообщении упоминается, что локоть одного из рядовых был поцарапан метательным снарядом, и указывается фамилия этого рядового. Другому снаряд оцарапал кончик носа. Его фамилия тоже была упомянута в телеграмме, где слово стоит один доллар пятьдесят центов.

В сообщении, пришедшем на следующий день, подтверждались полученные накануне сведения, снова назывались фамилии наших пятнадцати убитых и тридцати двух раненых, и опять давалось подробное описание ран, раззолоченное соответствующими прилагательными.

Давайте вспомним две-три подробности нашей военной истории. В одной из величайших битв Гражданской войны было убито и ранено около десяти процентов солдат обеих сторон. При Ватерлоо, в котором участвовало четыреста тысяч человек, за пять часов было убито и ранено около пятидесяти тысяч, а триста пятьдесят тысяч остались целы и невредимы, в полной готовности для новых военных авантур. Восемь лет назад, когда разыгрывалась жалкая комедия, именуемая Кубинской войной{171}, мы призвали под ружье двести пятьдесят тысяч человек. Мы дали немало блестящих сражений и к концу войны потеряли из наших двухсот пятидесяти тысяч ранеными и убитыми на поле боя двести шестьдесят восемь человек и, кроме того, - благодаря искусству армейских врачей - в четырнадцать раз больше в полевых и тыловых госпиталях. Мы не истребили испанцев поголовно - отнюдь нет. В каждом бою наши враги несли потери, примерно равные двум процентам их общей численности.

Сравните все это с великолепными статистическими данными, полученными из кратера, где укрылись моро! С каждой стороны в бою участвовало по шестьсот человек; мы потеряли пятнадцать человек убитыми на месте, и еще тридцать два было ранено, - считая вышеупомянутые нос и локоть. У противника было шестьсот человек, включая женщин и детей, и мы уничтожили их всех до одного, не оставив в живых даже младенца, чтобы

оплакивать погибшую мать. Несомненно, это самая великая, самая замечательная победа, одержанная христианскими войсками Соединенных Штатов за всю их историю.

Так как же было принято сообщение о кой? Все газеты этого города с населением в четыре миллиона тринадцать тысяч человек напечатали это великолепное известие в пятницу утром под великолепными заголовками. Но ни в одной из редакционных статей не было упомянуто о нем ни единым словом. То же самое известие снова было напечатано в ту же пятницу во всех вечерних газетах, - и снова их передовые молчали о нашей неслыханной победе. Дополнительные статистические данные и прочие факты появились во всех утренних газетах, - и по-прежнему в передовицах ни восторга по их поводу, ни вообще какого-либо упоминания о них. Эти же добавления появились в вечерних газетах (в ту же субботу), - и снова ни малейшего на них отклика. В столбцах, отведенных под письма в редакцию, ни в пятницу, ни в субботу, ни в утренних, ни в вечерних газетах не встретилось ни единого упоминания о "битве". Обычно в этом разделе бушуют страсти читателя-гражданина; он не пропустит ни одного события, будь оно крупным или мелким, без того, чтобы не излить там свою хвалу или порицание, свою радость или возмущение. Но, как я уже сказал, эти два дня читатель хранил то же непроницаемое молчание, что и редакции газет. Насколько мне удалось установить, только один человек из всех восьмидесяти миллионов позволил себе публично высказаться по поводу столь знаменательного события - это был президент Соединенных Штатов. Всю пятницу он молчал столь же усердно, как и остальные. Но в субботу он почувствовал, что долг повелевает ему как-то откликнуться на это событие; он взял перо и исполнил свой долг. Если я знаю президента Рузвельта, - а я убежден, что знаю его, - это высказывание стоило ему большего стыда и страдания, чем любое другое, произнесенное его устами или вышедшее из-под его пера. Я его отнюдь не порицаю. На его месте и я, подчиняясь служебному долгу, был бы вынужден написать то же самое. Этого требовал обычай, давняя традиция, отступить от которой он не мог. Иного выхода у него не было. Вот что он написал:

Вашингтон, 10 марта

Вуду. Манила.

Поздравляю вас, а также офицеров и солдат, находящихся под вашей командой, с блестящей военной операцией, во время которой вы и они столь достойно поддержали честь американского флага.

(Подпись): Теодор Рузвельт

Все это заявление - простая дань традиции. В нем нет ни одного искреннего слова. Президент превосходно понимал, что загнать шестьсот беспомощных и безоружных дикарей в кратер, как крыс в крысоловку, а затем в течение полутора дней методически их истреблять с безопасных позиций на высотах - это еще не значит совершить блестящую военную операцию; и что это деяние не стало бы блестящей военной операцией, даже если бы христианская Америка в лице оплачиваемых ею солдат поражала бы несчастных моро вместо пуль библиями и "Золотой заповедью" {173}. Он превосходно понимал, что наши одетые в мундир убийцы не поддержали чести американского флага, а наоборот - в который уже раз на протяжении восьми лет войны на Филиппинах обесчестили его.

На следующий день, в воскресенье (это было вчера), телеграф принес дополнительные известия - еще более великолепные, делающие еще большую честь нашему флагу; и кричащие заголовки возвещают:

**ВО ВРЕМЯ БОЙНИ В КРАТЕРЕ ПОГИБЛО МНОГО ЖЕНЩИН.**

"Бойня" - хорошее слово; в самом полном словаре не найдешь лучшего.

Следующая строка, тоже набранная жирным шрифтом, гласит:

**ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ СМЕШАЛИСЬ С ТОЛПОЙ В КРАТЕРЕ  
И ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ С ОСТАЛЬНЫМИ.**

Речь идет всего только о нагих дикарях, и все же становится как-то грустно, когда взгляд падает на слово "дети", - ведь оно всегда было символом невинности и беспомощности, и благодаря его бессмертной красноречивости цвет кожи, вера,

национальность куда-то исчезают, и мы помним одно: это дети, всего лишь дети. И если они плачут от испуга, если с ними случилась беда - необоримая жалость сжимает наши сердца. Перед нашими глазами встает картина. Мы видим крохотные фигурки. Мы видим искаженные ужасом личики. Мы видим слезы. Мы видим слабые ручонки, с мольбой цепляющиеся за мать... Но видим мы не тех детей, о которых говорим: на их месте мы представляем себе малышей, которых мы знаем и любим.

Следующий заголовок, словно солнце в зените, пылает яркими лучами американо-христианской славы:

**ЧИСЛО УБИТЫХ ДОСТИГЛО УЖЕ 900.**

Никогда еще я так не гордился американским флагом!

Следующий заголовок сообщает, какие надежные позиции занимали наши солдаты. Он гласит:

**В ЯРОСТНОЙ БИТВЕ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ ДАХО  
НЕВОЗМОЖНО ОТЛИЧИТЬ МУЖЧИН ОТ ЖЕНЩИН.**

Нагие дикари были так далеко внизу, на дне кратера-западни, что наши солдаты не могли отличить женскую грудь от маленьких мужских сосков; они были так далеко, что солдаты не могли отличить еле ковыляющего двухлетнего карапуза от темнокожего великана. Это, несомненно, наименее опасная битва, в которой когда-либо принимали участие солдаты-христиане любой национальности.

Следующий заголовок сообщает:

**БОЙ ИДЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ.**

Следовательно, нашим солдатам потребовалось не полтора дня, а четыре. Это был долгий упоительный пикник, во время которого можно было сидеть сложа руки, постреливать "Золотой заповедью" в людей, мечущихся по кратеру, и мысленно сочинять письма восхищенным родным с описанием славных подвигов. Моро сражались за свою свободу тоже четыре дня, но для них это было печальное время. Каждый день они видели, как гибнут двести двадцать пять человек их соплеменников, так что ночью им было о чем горевать и кого оплакивать, причем вряд ли они утешались мыслью, что в свою очередь успели убить четверых своих врагов, а еще нескольких ранить в локти и в нос, - это им, наверное, не было известно.

Последний заголовок сообщает:

**ЛЕЙТЕНАНТ ДЖОНСОН, СБРОШЕННЫЙ ВЗРЫВОМ СО СКАЛЫ,  
ОТВАЖНО ВОЗГЛАВЛЯЕТ АТАКУ.**

Лейтенант Джонсон просто заполняет телеграммы, начиная с самой первой. Он и его рана пронизывают их своим блеском, словно искра, пробегающая огненной змейкой по уже обуглившемуся листку бумаги. На ум невольно приходит один из недавних фарсов Гиллета{175} "Слишком много Джонсона". Судя по всему, Джонсон оказался единственным из наших раненых, чьей раной можно было хоть как-то козырнуть. Она наделала больше шума в мире, чем любое другое событие такого же рода, с тех самых пор, как Шалтай-Болтай{175} упал со стены и разбился. Трудно сказать, что вызывает больший экстаз в официальных депешах - восхитительная рана Джонсона или девятьсот безжалостных убийств. Восторги, которые по цене полтора доллара за слово изливают Белому дому армейский штаб, находящийся в другом полушарии, зажгли ответный восторг в груди президента. Оказывается, бессмертно раненный лейтенант принимал под командой подполковника Теодора Рузвельта участие в битве при Сан-Хуан-Хилл - этом двойнике Ватерлоо{175}, - когда полковник - ныне генерал-майор - Леонард Вуд отправился в тыл за пилюлями и пропустил сражение. Президент питает слабость ко всем, кто был участником этого кровавого столкновения двух военных солнечных систем, и поэтому он, не тратя времени, послал раненому герою телеграмму: "Как вы себя чувствуете?" И получил ответ: "Благодарю, прекрасно". Историческое событие! Оно станет достоянием потомства.

Джонсон был ранен в плечо осколком. Осколком гранаты - поскольку было сообщено, что причиной всему был взрыв гранаты, который и сбросил Джонсона со скалы. У моро в

кратере пушек не было, следовательно Джонсона со скалы сбросил взрыв нашей собственной гранаты. Таким образом, достоянием истории стал тот факт, что единственный наш офицер, получивший достойную упоминания рану, стал жертвой своих же соратников, а не врага. Если бы мы поместили наших солдат вне радиуса действия наших пушек, весьма вероятно, что мы вышли бы из самой поразительной битвы во всей истории без единой царапины.

Среда, 14 марта 1906 г.

Зловещий паралич прессы не проходит. В "Письмах читателей" мелькнули в весьма незначительном количестве - гневные упреки по адресу президента, так странно назвавшего эту трусливую резню "блестящей военной операцией" и похвалившего наших мясников за то, что они "достойно поддержали честь флага". Но все передовые об этой военной операции дружно молчат.

Надеюсь, что молчание это не будет нарушено. По-моему, оно столь же красноречиво, сокрушительно и действенно, как самые негодующие слова. Когда человек засыпает среди шума, он спит спокойно, но стоит шуму прекратиться и тишина его будит. Эта тишина длится уже пять дней. И конечно же - она будит сонную нацию. И конечно - нация задумывается над тем, что это означает. Такого пятидневного молчания вслед за потрясающим событием свет не видывал с тех пор, как родилась ежедневная пресса.

Вчера на обеде без дам, в честь отъезда Джорджа Харви{176} в Европу, говорилось только о блестящей военной операции, и не было сказано ничего, что президент, или генерал-майор Вуд, или попорченный Джонсон могли бы счесть комплиментом или хвалой, достойной занесения в историю нашей страны. Харви сказал, что, по его мнению, негодование и стыд, вызванные этим эпизодом, будут все глубже въедаться в сердце нации, все сильнее воспалиться там и не останутся без последствий. По его мнению, это погубит республиканскую партию и президента Рузвельта. Я не верю, что это предсказание сбудется, ибо пророчества, обещающие что-либо нужное, желательное, хорошее, достойное, никогда не сбываются. Сбывшиеся пророчества такого рода подобны справедливым войнам - их так мало, что они просто не считаются.

Позавчерашняя телеграмма от счастливого генерала Вуда по-прежнему была составлена в самых радужных тонах. В ней по-прежнему с гордостью описывались подробности того, что именовалось "ожесточенной рукопашной схваткой".

Генерал Вуд, по-видимому, не подозревает, что он, как говорится, выдал себя с головой. Ведь если бы дело действительно дошло до ожесточенной рукопашной схватки, то девятьсот дерущихся врукопашную бойцов, да к тому же дерущихся ожесточенно, непременно должны были бы убить более пятнадцати наших солдат, прежде чем погибли бы сами - до последнего мужчины, женщины и ребенка.

Ну так вот: тон вчерашней телеграммы чуть-чуть изменился, - словно генерал Вуд собирается умерить свои восторги и начать оправдываться и объяснять. Он заявляет, что берет на себя всю ответственность за сражение. Следовательно, он почувствовал, что за царящим здесь молчанием скрывается потребность кого-то обвинить. Он утверждает, что "во время сражения не имело места преднамеренное истребление женщин и детей, но что многие из них были убиты, так как моро прикрывались ими во время рукопашной".

Такое объяснение лучше, чем ничего; гораздо лучше. Однако, раз сражение велось главным образом врукопашную, к концу четырехдневной бойни должна была наступить минута, когда в живых остался только один туземец. У нас там было шестьсот человек; мы потеряли только пятнадцать; почему же наши шестьсот солдат убили этого последнего моро - может быть, женщину, может быть, ребенка?

Генерал Вуд, несомненно, убедится, что объяснение - задача для него непосильная. Он, несомненно, убедится, что человеку, исполненному соответствующего духа и располагающему соответствующими воинскими силами, куда легче истребить девятьсот невооруженных дикарей, чем объяснить, почему он так беспощадно довел эту работу до конца. Вслед за этим генерал Вуд, сам того не замечая, порадовал нас неожиданной



вспышкой юмора, откуда следует, что ему полезно было бы редактировать свои донесения:

"Многие моро притворялись мертвыми и коварно убивали американских санитаров, которые оказывали помощь раненым".

Странная картина! Санитары стараются оказать помощь раненым дикарям! Но с какой целью? Дикари были все истреблены. С самого начала предполагалось истребить их всех до одного. Так какой же смысл оказывать временную помощь человеку, которого вслед за тем уничтожат? Депеши называют эту бойню "битвой". На каком основании? В ней не было ни малейшего сходства с битвой. В любой битве приходится пять раненых на одного убитого. Когда эта так называемая битва окончилась, на поле боя должно было лежать не меньше двухсот раненых дикарей. Куда они делись? Ведь в живых не осталось ни одного моро!

Вывод ясен: мы завершили свои четырехдневные труды и подчистили все недоделки, хладнокровно прикончив этих беспомощных людей.

Радость президента по поводу этого выдающегося события приводит мне на память ликование одного из его предшественников. Когда в 1901 году пришло известие, что полковник Фанстон нашел горное убежище филиппинского патриота Агинальдо и взял его в плен с помощью особого военного искусства, которое научило его подделывать документы, лгать, переодевать своих солдат-мародеров в форму врага, выдавать себя и их за друзей Агинальдо, дружески пожимать руку офицерам Агинальдо, чтобы рассеять их подозрения, и тут же стрелять в них, - когда телеграмма, возвещавшая об этой "блестящей военной операции", достигла Белого дома, то, по словам газет, смиреннейший, кротчайший и добрейший из людей - президент Мак-Кинли {178} - не мог совладать с охватившей его восторженной радостью и вынужден был дать ей выход в движениях, напоминавших пляску.

20 марта 1906 г.

[МИСТЕР РОКФЕЛЛЕР {179} И БИБЛИЯ]

Теологические изыскания мастера Джона Рокфеллера-младшего - одна из крупнейших американских потех. Каждое воскресенье молодой Рокфеллер толкует какой-нибудь библейский текст в своей школе. Назавтра агентство Асошиэйтед Пресс и газеты сообщают об этом, и вся страна начинает смеяться. Американцы смеются, но не знают, в своей недогадливости и простоте, что смеются они над собой. Да, над собой.

Молодому Рокфеллеру, вероятно, лет тридцать пять. Он некрасив, скромн, лишен чувства юмора, искренне доброжелателен и зауряден во всех отношениях. Если бы он предъявил лишь свои скромные умственные способности без миллионов отца, его толкование библии осталось бы никому не известным. Но его отец считается самым богатым человеком на свете, и потому теологические кувыркания Рокфеллера-сына считаются интересными и содержательными. Полагают, что старший Рокфеллер стоит миллиард долларов. Налоги он платит с двух с половиной миллионов. Он - убежденный христианин, христианин-самоучка и уже много лет состоит адмиралом воскресной школы в Кливленде, в штате Огайо. Уже много лет он там выступает с беседами и объясняет слушателям воскресной школы, как он раздобыл свои доллары. И все эти годы они слушают как зачарованные и делят свое преклонение между богом и мистером Рокфеллером - с перевесом в пользу последнего. И эти беседы отца передаются по всей нашей стране и читаются с не меньшим восторгом, чем теологические изыскания сына.

Я уже говорил, что американцы смеются над тем, как молодой Рокфеллер комментирует библию. Между тем им надлежало бы знать, что так же толкуют им библию с каждой церковной кафедры и так толковали многим поколениям до них. Было бы тщетно искать там хоть одну новую мысль (если вообще позволительно искать мысль у теологов). Метод молодого Рокфеллера повсеместно принят церковниками. Церковь столетиями промышляет извлечением изящной морали из неприглядной действительности. Рассуждения Рокфеллера - это лохмотья одежды, давно уже сношенной церковью. Все они из того же замшелого реквизита, возраст которого - сотни и сотни лет.

Молодой Джон никогда не исследовал библию, он знакомился с ней с одной-единственной целью: подогнать ее текст к тем суждениям, которые он когда-то усвоил

из вторых рук. По свежести и оригинальности мысли его проповеди на уровне проповедей всех других богословов, начиная от папы римского и вплоть до него самого. Американцы смеются, слушая глубокомысленные рассуждения молодого Рокфеллера о характере и поступках библейского Иосифа, но разве американская церковь не истолковывает поступки и личность Иосифа столь же нелепо и вздорно? Американцам пора бы понять, что, когда они смеются над молодым Джоном, они смеются над самими собой. Им следовало бы вспомнить, что младший Рокфеллер не первым подмалевывает библейского Иосифа. Той же кистью и теми же красками его, словно на смех, малюют уже века.

Я много лет знаю молодого Рокфеллера, ценю его и считаю, что настоящее место для него - это церковная кафедра. Сияние его интеллекта образовало бы нимб над его головой, что было бы очень кстати. Впрочем, боюсь, что ему придется покориться судьбе и занять место отца в качестве главы грандиозной "Стандард Ойл Корпорейшн".

К числу самых очаровательных теологических достижений молодого Рокфеллера принадлежит оглашенный им три года назад комментарий к увещанию Христа, с которым тот обратился к юноше, тяготившемуся богатством и желавшему спасти свою душу. "Продай имение свое и раздай нищим", - сказал Христос юноше. Молодой Джон Рокфеллер так комментировал этот текст.

"Если что-либо преграждает тебе путь к спасению души - сделай все, чтобы устранить эту преграду. Если это деньги - расстанься с ними, отдай беднякам. Если это имущество - продай его до последнего лоскута и выручку отдай беднякам. Если это воинское честолюбие - покинь военную службу. Если это страсть к человеку или вещи, или занятию - отрешись от них, чтобы полностью отдаться делу спасения души".

Какой мы должны сделать вывод? Видимо, тот, что миллионы Рокфеллера-старшего и Рокфеллера-сына столь незначительный факт, что не могут рассматриваться как преграда к спасению души. И значит, увещание Христа к ним не относится. Одна газета в Нью-Йорке направила репортеров к шести или семи нью-йоркским священникам, чтобы узнать их мнение по этому поводу. За вычетом одного, все одобрили ход мысли молодого Рокфеллера. Просто не знаю, что бы мы стали делать без наших священников. Легче было бы, кажется, обойтись без солнца на небе, я уже не говорю о луне!

Три года тому назад я отправился с молодым Джоном в его воскресную школу и там произнес речь (не на богословскую тему, это было бы дурнотонно - а я всегда предпочту хороший вкус благочестию). Выяснилось, что каждый, кто выступает там с речью, тем самым становится одним из попечителей школы. И я тоже был удостоен этого звания. На днях я получил извещение, что послезавтра вечером в церкви назначено собрание попечителей школы и что меня приглашают прийти на собрание и быть одним из ораторов. Если я занят, не угодно ли будет изложить свою речь на бумаге; она будет оглашена.

Я был занят по горло другими делами и потому извинился и изложил свою речь на бумаге.

"14 марта 1906 г.

Мистеру Эдуарду М. Футу, председателю собрания.

Уважаемый друг и коллега.

Я искренне желал бы лично присутствовать на собрании попечителей воскресной школы мистера Рокфеллера-младшего (среди коих за услуги, оказанные школе, числюсь и я), но, подумав, решил не идти. Все дело в Иосифе. Эта история с Иосифом может возникнуть в любую минуту, и тогда быть беде, потому что мистер Рокфеллер и я расходимся по этой проблеме. Тому уже восемь лет, как я изучил всю историю Иосифа самым тщательным образом (в свете 47-й главы Книги Бытия {181} в Библии) и напечатал на эту тему в "Норс Америкен Ревью" специальный этюд, вошедший в дальнейшем в XXII том моих сочинений. Я был уверен, что разделался с Иосифом, что тема исчерпана, и занялся другими делами. Каково же было мое изумление и горе, когда я узнал из газет, что мистер Рокфеллер решил снова заняться Иосифом, как видно, не зная, что заниматься этим вовсе не следует, поскольку все, что касается Иосифа, мною разрешено и исчерпано раз навсегда.

То, что мистер Рокфеллер говорит нам об Иосифе, свидетельствует, что он в Иосифе не разбирается. Он не читал напечатанной мною статьи, и его оценка Иосифа не совпадает с моей. Ничего подобного не было бы, если б он статью прочитал. Он считает Иосифа невинным агнцем, - а это не так. Иосиф был... впрочем, почитайте мою статью, и вы точно узнаете, кем он был и кем не был. На протяжении столетий проблема Иосифа оставалась одной из самых запутанных, но я разобрался в ней, поскольку, в отличие от всех остальных богословов, сужу об Иосифе на основании установленных фактов. Они же, стремясь к заранее намеченной цели, его обеляют. Иные факты закрашивают совсем и на их месте малюют другие. Их писания походят на банковские отчеты, какие выпускает правление банка, зная, что крах неминуем, и силясь обмануть ревизоров. Банкиры пытаются скрыть задолженность банка и вписывают активы, которых у них нет.

Не думайте, что я фантазирую.

Вот, что писал в позапрошлом воскресенье высокоученый и сведущий доктор Силвермен на страницах газеты "Таймс":

"Крестьяне, земледельцы и скотоводы, жизнь которых зависит от урожая плодов земных, жестоко пострадали от недорода. Чтобы они не погибли от голода, Иосиф переселил сельских жителей в города от границы и до границы Египта (Книга Бытия, глава 47-я) и дал им пищу. Пока у них были деньги, он брал с них в уплату деньги; когда деньги иссякли, он стал брать в залог скот - лошадей, овечьи стада и ослов; когда же скота не хватило, - тогда и их землю. И власти сами кормили лошадей, овечьи стада и другой мелкий скот, который иначе подох бы.

В дальнейшем земля была возвращена прежним владельцам (ох, так ли? М.Т.). Им дали семян, чтобы вновь засеять поля, им дали столько скота, лошадей и овец, сколько им было надобно, и от них взяли за это только пятую часть урожая и приплода скота, которую они и отдали в уплату властям.

Действия Иосифа показали, что он был гуманным человеком и государственным мужем. Они произвели очень сильное впечатление на фараона и на советников фараона, и нет ничего удивительного, что Иосиф стал после этого вице-королем Египта. Иосиф разбил на голову спекулянтов и ростовщиков, которые грабили при неурожае бедный народ, обрекая его на нищету и голодную смерть. Он взял у нуждающихся их землю и скот как залог, а потом вернул им обратно (ох, так ли?! - М.Т.). За пищу, которую он им предоставил, он брал с них по средним рыночным ценам. Если бы мудрый Иосиф не озаботился устройством общественных складов, люди потеряли бы все, что имели, страна обнищала бы и много тысяч погибло, как это уже бывало не раз во времена недорода".

Таков банковский отчет доктора Силвермена, изящно составленный, с золоченым бордюром, адресованный ревизорам.

А вот что сказано в Библии (курсив мой):

"И не было хлеба по всей земле: потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля Египетская и земля Ханаанская.

Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов.

И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?

Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас.

И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за лошадей и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их.

И прошел этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего; ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших.

Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб; и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть и чтобы не опустела земля.

И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону.

И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого.

Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон; посею и не продали земли своей.

И сказал Иосиф народу: вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу; вот вам семена и засевайте землю.

Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону; а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим.

Они сказали: ты спас нам жизнь; да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону.

И поставил Иосиф в закон земле Египетской, даже до сего дня: пятую часть давать фараону, исключая только земли жрецов, которая не принадлежала фараону".

Я не нахожу здесь ни единого слова о каком-то "залоге". Это - новинка, поскольку речь идет о действиях Иосифа. Недурная новинка, я бы даже сказал, утешительная новинка! Но где же для нее основания? Я их не вижу. Где сказано, что Иосиф давал ссуду этим несчастным крестьянам "под залог" их земель и скота? Я вижу, что он захватил у них землю до последнего акра и всю скотину до последней овцы. А где сказано, что Иосиф кормил злосчастных бедняг "по средним рыночным ценам"? Я вижу, что он обобрал их до нитки, до последней пяди земли, до последней овечьей шерстинки, а потом "по средним рыночным ценам" приобрел их права и свободу в обмен на краюху хлеба и цепи рабства. Я вас спрашиваю, есть ли вообще "средняя рыночная цена" или какая бы то ни было другая цена в золоте, государственных бумагах, брильянтах на драгоценнейшее достояние человека, его свободу, без которой его жизнь лишается всякого смысла? Иосиф поступил великодушно с попами - в этом я ему не могу отказать. Великодушно и политично. И они не забыли этого.

Нет, благодарю вас, благодарю вас от всей души, но чувствую, что мне лучше остаться дома. Потому что я щепетилен, гуманен, вспыльчив, и я не вынесу, если молодой мистер Рокфеллер, которого я глубоко почитаю, поднявшись на кафедру, примется подмалевывать Иосифа. Примите мои наилучшие пожелания.

Марк Твен,

попечитель воскресной школы".

23 марта 1906 г.

[НЕКОТОРЫЕ ЛЮБОПЫТНЫЕ АДРЕСА]

Много лет тому назад миссис Клеменс любопытства ради коллекционировала странные и оригинальные адреса, которые украшали письма, присланные мне незнакомыми людьми из самых глухих уголков земного шара. Один из таких адресов создал доктор Джон Браун {185}, а письмо это, вероятно, было первым, которое он мне написал после того, как мы вернулись на родину из Европы в августе или сентябре 1874 года. По-видимому, доктор писал наш адрес по памяти, так как он превратил его в следующее забавное крошево:

МИСТЕРУ С.Л.КЛЕМЕНСУ.

(МАРКУ ТВЕНУ)

ХАРТФОРД, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК.

ВБЛИЗИ БОСТОНА, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

Дальнейшему просто трудно поверить, хотя это факт. Нью-йоркский почтамт, где любой состоящий там на жалованье идиот мог бы сразу сказать, кому и в какой именно Хартфорд адресовано письмо, взял да и отправил его в крохотное селение, затерянное в глуши обширного штата Нью-Йорк! И все почему? Да потому, что это забытое богом и людьми селение именовалось Хартфорд! Оттуда оно вернулось на нью-йоркский почтамт. Вернулось без сопроводительной надписи: "попробуйте Хартфорд в Коннектикуте", хотя

тамошний почтмейстер отлично знал, что отправитель письма имел в виду именно этот город. Тогда нью-йоркский почтамт вскрыл письмо, узнал из него адрес доктора Джона, а затем вложил его в новый конверт и отослал в Эдинбург. После этого доктор Джон узнал мой адрес у издателя Мэзиса и послал мне свое письмо вторично. Он приложил к нему старый конверт - тот, который испытал вышеперечисленные приключения, - и гнев его против нашей почтовой системы был подобен ярости ангела. Насколько я могу судить, он впервые за всю свою жизнь позволил себе почти желчный, почти оскорбительный тон. Почта Великобритании, писал он, хвалится тем, что, как бы ловко ни был зашифрован истинный адрес на конверте, она все равно разыщет адресата, в то время как... тут доктор Джон напустился на нашу почтовую систему, которая, по его мнению, была создана для того, чтобы по мере сил и возможностей мешать письму достичь места своего назначения.

Доктор Джон имел полное право так ругать нашу почту в ту эпоху. Но эпоха эта длилась недолго. Если не ошибаюсь, генеральным почтмейстером тогда был Кэй. Он был новой метлой и некоторое время мел всем на удивление. Он ввел несколько железных правил, которые превратили переписку нации в хаос. Ему не пришло в голову - разумные мысли редко приходили ему в голову, - что среди нас есть несколько миллионов человек, которые не часто пишут письма, не имеют ни малейшего представления о почтовых правилах и непременно напутают в адресе, если в нем можно будет что-нибудь напутать; ему не пришло также в голову, что обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы письма этих простаков попали по адресу, а не изобретать новые способы, как помешать этому. Кэй вдруг выпустил несколько чугунных правил - одно из них гласило, что письмо должно доставляться в место, указанное на конверте, и что на этом все усилия найти адресата кончаются; разыскивать его не следует. Если в указанном месте его не окажется, письмо должно быть возвращено отправителю. Письмо доктора Джонса предоставляло почтамту широкий выбор - впрочем, не такой уж широкий. Переслать его следовало в город Хартфорд. Этот Хартфорд должен был находиться неподалеку от Бостона; а также - в штате Нью-Йорк. Письмо отправили в Хартфорд, расположенный дальше от Бостона, чем другие города того же наименования, но зато находившийся в штате Нью-Йорк, - и кончилось все это плачевно.

Другое правило, введенное Кэем, требовало, чтобы после названия города - например, "Нью-Йорк" или "Чикаго", или "Филадельфия", или "Сан-Франциско", или "Бостон" - ставилось название штата, иначе письмо направлялось в отдел недоставленных писем. Кроме того, нельзя было написать просто "Нью-Йорк, штат Нью-Йорк", а требовалось добавить еще слово "город", иначе письмо отправлялось в отдел недоставленных писем.

За первые тридцать дней после введения этого оригинального правила в отдел недоставленных писем из одного только нью-йоркского почтамта поступило примерно сто шестьдесят тысяч тонн писем. В отделе недоставленных писем они не поместились, и их начали складывать на улице. На улицах внутри города места не хватило, так что из злосчастных писем вокруг города был возведен вал. Если бы это проделали во время Гражданской войны, то мы могли бы не опасаться, что армия южан войдет в Вашингтон, и были бы избавлены от многих страхов и тревог. Южане никогда не сумели бы ни перебраться через этот бруствер, ни прорыть в нем туннель, ни взорвать его. Мистера Кэя вскоре удалось образумить.

Затем мне было доставлено письмо, вложенное в новый конверт. Это письмо написал мне деревенский священник, не то из Богемии, не то из Галиции, смело адресовав его:

МАРКУ ТВЕНУ.

ГДЕ-ТО

Письмо пропутешествовало через несколько европейских стран, встречая на своем пути самое теплое гостеприимство и дружескую помощь; с обеих сторон его покрывала кольчуга из штемпелей - всего мы насчитали их девятнадцать. И одним из них был штемпель нью-йоркского почтамта. В Нью-Йорке, на расстоянии трех с половиной часов пути от моего дома, почтовое гостеприимство иссякло. Там письмо вскрыли, узнали адрес священника и

незамедлительно вернули ему его послание, как и в случае с доктором Джоном Брауном.

Среди любопытных адресов в коллекции миссис Клеменс было письмо из Австралии, на конверте которого стояло:

МАРКУ ТВЕНУ.

БОГ ЗНАЕТ ГДЕ.

Этот адрес был замечен многими газетами на пути странствия письма и, без сомнения, подсказал какому-то незнакомцу в далекой стране другой, не менее любопытный, а именно:

МАРКУ ТВЕНУ

КУДА-ТО

(МОЖНО ЧЕРЕЗ САТАНУ)

Доверие моего корреспондента не было обмануто. Сатана любезно переслал письмо по назначению.

Сегодня утром был получен еще один подобный экспонат. Это письмо пришло из Франции - от английской девочки - и адресовано:

МАРКУ ТВЕНУ.

ЧЕРЕЗ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА.

БЕЛЫЙ ДОМ,

ВАШИНГТОН.

АМЕРИКА, США.

Оно нигде не задержалось, и на вашингтонском штемпеле стоит вчерашнее число.

В дневнике, который много лет тому назад некоторое время вела миссис Клеменс, я нахожу частые упоминания о миссис Гарриет Бичер-Стоу{188} нашей соседке по Хартфорду, где наши дома даже не были отделены забором. В хорошую погоду она гуляла по нашему саду и двору, как по своим собственным. Ее рассудок уже сильно ослабел, и она вызывала глубокую жалость. Весь день она бродила по городу под присмотром дюжей ирландки. В хорошую погоду двери всех домов обычно бывали открыты настежь. Миссис Стоу входила куда ей заблагорассудится, и так как она всегда носила мягкие туфли и постоянно пребывала в детски-веселом настроении, то непременно старалась кого-нибудь напугать, что доставляло ей неизъяснимое удовольствие. Она тихонечко подходила сзади к человеку, погруженному в размышления, и испускала боевой клич, от которого ее жертва только что не выпрыгивала из собственной одежды. Но иногда у нее бывало другое настроение. Порой в нашей гостиной раздавалась тихая музыка - миссис Стоу пела за роялем старинные грустные песни, и трогательно это было необычайно.

Ее муж, старый профессор Стоу, был удивительно колоритной фигурой. Он носил шляпу с широкими обвисшими полями. Это был человек крупного сложения, очень строгий и суровый на вид. Его густая седая борода доходила чуть ли не до пояса. Из-за какой-то болезни нос его сильно распух, стал бугристым и очень напоминал кочан цветной капусты. Наша маленькая Сюзи, впервые встретясь с ним на соседней улице, в полном изумлении кинулась к матери и объявила: "Санта-Клаус вырвался на волю!"

26-27 марта 1906 г.

[КАК Я ПОМОГ ХИГБИ ПОЛУЧИТЬ РАБОТУ]

Утром пришло письмо от моего старинного сотоварища по серебряным приискам Кэлвина Х. Хигби. Я не видел его уже сорок четыре года и не получал от него никаких вестей. Я вывел в свое время Хигби в моей повести "Налегке". Там рассказано, как мы с ним открыли богатую жилу в руднике "Вольный Запад" в Авроре, - или Эсмеральде, как мы тогда называли этот поселок, - но вместо того, чтобы закрепить за собою заявку, проработав на ней десять дней, как того требовал старательский кодекс, Хигби пошел бог весть куда искать мифическое месторождение цемента, а я отправился за десять миль по Уокер-Ривер пользоваться капитана Джона Ная от приступа суставного ревматизма, или овечьей вертячки, или чего-то еще в этом роде. Мы вернулись в Эсмеральду как раз в ту минуту, когда наше богатство перешло в руки новых заявщиков.

Вот письмо, которое я получил. Поскольку, когда оно появится в свет, и Хигби и я уже

будем в могиле, я позволю себе привести его здесь со всеми особенностями орфографии и стиля, потому что они составляют для меня неотъемлемую часть облика моего друга. Хигби - честная, открытая душа. Он простосердечен и безыскусствен, как его орфография и стиль. Он не просит извинить его за ошибки в письме; и в таком извинении нет надобности. Его ошибки показывают, что в образовании у него есть пробелы, и еще показывают, что он не скрывает этого.

"Гринвилл, округ Плюмас, Калифорния.

15 марта, 1906. Сэмюелу Л. Клеменсу,

Нью-Йорк-Сити, штат Нью-Йорк.

Многоуважаемый сэр, уже два или три раза ко мне обращаются с просьбой, чтобы я написал о моем знакомстве с вами, в начале шестидесятых годов в Неваде, и я решил это сделать и вот уже несколько лет записываю разные случаи, какие приходят на память. Меня смущает, что я не припомню точно, когда вы появились в Авроре и еще я не помню, когда вы, поели того, как поселились в Неваде, первый раз пришли через Сьерру в Калифорнию и еще не помни ли вы точно, когда это было, что вы пошли ухаживать за больным где то возле Уокер-Ривер и мы потеряли наши заявки. Не подумайте, пожалуйста, что я хочу присвоить часть вашей славы. Я просто хочу напомнить некоторый случаи, которые вы упустили привести в ваших рассказах и книгах, какии мне довелось прочитать. То, что я напишу, я пошлю вам, вы посмотрите, вычеркните то, что вам покажется нежилательным и вставьте, что сами сочтете нужным.

Несколько лет тому назад мой домик сгорел, сгорели и все бумаги. Вот почему я прошу напомнить мне все эти числа. Последний два-три года я хвараю, заработка нет и приходитца туго. Не буду скрывать от вас, что задумал писать с расчетом немножко подзаработать и конечно для меня очинь важно будит ваше искреннее мнение о том, что я напишу, и ваш совет, можно ли будит это пичатать. Я прилагаю копию письма из "Геральда", которое я получил, когда запросил, нужна ли им такая статья. Надеюсь, что вы ответити мне как только выберитса свободное время.

Остаюсь уважающий вас

К.Х.Хигби".

"Кэлвину Хигби, Гринвилл, Калифорния.

Нью-Йорк, 6 марта 1906 г.

Уважаемый сэр, мы будим очинь рады, если вы нам пришлети ваши воспоминания о Марке Твене и если они окажутса интиресными, - а мы полагаем, что они должны быть весьма интиресны - мы готовы щедро заплатити вам за право их напичатать. Точную сумму мне назвать сейчас трудно, пока я не познакомилса с рукописью. Как только вы ее нам представити, равно как и право согласовать ее с мистером Клеменсом, я буду счастлив низамидлительню сообщити вам о решении редакции и размере вашего гонорара. Впрочем, если вы имеети в виду какую нибудь опридиленную сумму в качистве гонорара за вашу статью, прошу вас поставити меня об этом в известность.

С совиршенным почтением редактор воскресного издания "Нью-Йорк геральд"

Дж.Р.Майнер".

Я тут же ответил Хигби и просил его разрешити мне быть его литературным агентом. Лопатой он орудует лучше меня - я сейчас расскажу об этом, - но когда нужно сняти шкуру с издателя, здесь ему со мной не сравнитса.

В приложенной копии редакционного письма Хигби внес поправки в орфографию джентльмена из "Геральда" и приблизил ее к своей собственной. Он сделал это крепко, основательно и без предрассудков. На мой взгляд, письмо только выиграло. Надо сказать, что уже шестьдесят лет, а быть может и больше, письмо без орфографических ошибок вызывает у меня отвращение. Главным образом потому, что единственное что я умел по-настоящему делать, когда был мальчишкой, - это писать грамотно. Преимущество, которое мне это давало, было пустым и ничтожным, и я рано привык относиться к нему равнодушно. Равнодушно же потому, что умение писать без ошибок - божий дар в чистом

виде, - не требует труда и усилий. Когда что-нибудь достается в результате труда и усилий, этим гордишься как своим достижением. Когда же вам дано что-нибудь милостию божьей, то заслуга исключительно принадлежит ангелам, и у них, надо думать, вызывает приличное случаю удовлетворение и гордость, - ну а вы в стороне, ни при чем.

Хигби был первым, кто воспользовался моим гениальным и безошибочным способом поступать на работу. За протекшие с тех пор сорок лет я не раз подвергал этот способ строгой проверке. Насколько мне известно, он выдержал все испытания. Я мало чем так горжусь, как этим изобретением и тем, что, основывая его на свойствах людской природы, я оказался, очевидно, достаточно тонким психологом.

Мы с Хигби жили тогда в хижине у подошвы большой горы. Наша хижина не была излишне просторной; втроем (считая и печку) мы еле в ней помещались. Она не была и уютной - с восьми вечера и до восьми утра ртуть в нашем термометре успевала совершить очень длинное нисхождение. Мы искали серебро на холме, в полумиле от нашего обиталища, в компании с Бобом Хаулендом и Хорэсом Филипсом. Каждое утро, захватив с собой завтрак, мы отправлялись туда и трудились до вечера, подрывая породу, надеясь, отчаиваясь, снова надеясь и медленно, но верно проедавая свои последние деньги.

Наступил день, когда деньги кончились, серебра между тем по-прежнему не было видно, и нам стало ясно, что придется добывать средства к жизни каким-нибудь другим способом.

Мне удалось получить место поблизости, на обогатительной фабрике. Я должен был просеивать песок с помощью лопаты с длинной рукоятью. Должен сказать, что я никогда не питал склонности к подобным лопатам. Я не мог научиться взмахивать этой лопатой как следует; в пяти случаях из десяти, песок вовсе не достигал грохота: он сыпался мне на голову и потом вниз, за шиворот. Это была отвратительная работа, но за нее платили десять долларов в неделю, не считая хозяйских харчей. Последнее я упоминаю не зря, так как дело не ограничивалось ветчиной, бобами, кофе, хлебом и патокой; каждый божий день нам давали компот из сушеных яблок, как если бы на неделе было семь воскресений. Но эта роскошная жизнь, эта вакханалия чувственных наслаждений быстро пришла к концу, и тому были две причины, каждая из которых в отдельности была совершенно достаточной. Я считал, что работа мне не по силам; хозяева со своей стороны считали нецелесообразным платить мне за то, что я сыплю себе за шиворот песок. Я был уволен как раз в тот момент, когда решил просить об отставке.

Если бы на моем месте был Хигби, обе стороны были бы довольны друг другом. Хигби был мускулистый гигант. Лопата с длинной рукоятью была для него все равно, что для императора скипетр. Он махал бы этой лопатой двенадцать часов подряд, не ускоряя дыхания, - вы не обнаружили бы у него учащенного пульса. Пока что Хигби сидел без работы и даже чуть приуныл.

- Ах, если бы мне только получить место на "Пионере"! - твердил он с тоскою в голосе.

Я спросил:

- Кем ты хочешь быть на "Пионере"?

- Да хоть бы черноработчим. Они платят там пять долларов в день.

Я сказал:

- Если это все, что тебе нужно, я готов услужить.

Хигби был поражен.

- Ты хочешь сказать, - вскричал он, - что ты мог бы устроить мне это место, что ты знаешь тамошнего десятника? И все время молчал?!

- Нет, - сказал я, - я не знаю тамошнего десятника.

- Кого же ты знаешь? - спросил он. - Как ты собираешься добыть мне работу?

- Для меня это сущие пустяки, - сказал я. - Если ты сделаешь в точности, как я тебя научу, у тебя сегодня же будет работа.

- Я сделаю в точности, как ты мне скажешь, - сказал Хигби. - что бы там ни было.

- Хорошо, - сказал я. - Ты сейчас пойдешь на "Пионер" и заявишь, что хочешь получить



место чернорабочего. Ты скажешь, что тебе надоело сидеть без работы, что ты с детских лет чувствуешь отвращение к праздности и не можешь жить без труда, - короче, что ты просто хочешь работать и не просишь за это никакого вознаграждения.

- Никакого вознаграждения?! - спросил Хигби.

- Да, - сказал я. - Никакого вознаграждения.

- Работать бесплатно?

- Да, работать бесплатно.

- Даже без хозяйских харчей?

- Даже без хозяйских харчей. Ты будешь работать бесплатно. Доведи это до их тупого сознания - совершенно бесплатно! Когда они поглядят на твои бицепсы, каждый десятник поймет, что ему привалило счастье. Работа тебе обеспечена.

- Нечего сказать, хороша работенка! - сказал Хигби негодующим тоном.

- Только что ты обещал делать, как я тебя научу, - сказал я, - и вот ты уже критикуешь меня. Ты сказал, что будешь выполнять все мои указания, что бы там ни было. Ты всегда держал слово, Хигби. Иди и работай.

Он сказал, что пойдет.

Ожидая, что выйдет из этой затеи, я внутренне волновался. Перед Хигби я делал вид, что уверен в успехе. Я играл перед ним уверенного в себе человека. Но я волновался. Снова и снова я повторял себе, что хорошо изучил человеческую натуру. Кто откажется от дарового рабочего такой гигантской физической силы? Час проходил за часом, Хигби не возвращался. Моя вера в успех росла. На закате он появился, и я с удовлетворением узнал, что расчет мой был безошибочным и увенчался полным успехом.

Хигби сказал, что сперва десятник так удивился, что не знал, с какого конца подойти к его просьбе, но потом овладел собой и сказал, что он рад оказать Хигби небольшую любезность, о которой тот просит.

- Сколько это будет тянуться? - спросил меня Хигби.

Я сказал:

- А вот сколько. Ты будешь работать изо всех сил, как если бы ты получал полную плату. Они не услышат от тебя ни малейшей жалобы. Ты даже словом не намекнешь, что не прочь получать хотя бы харчи. Это будет продолжаться день, два, три, четыре, может быть, пять или шесть - в зависимости от нервной системы десятника. Некоторые сдаются через два-три дня. Другие терпят укоры совести дольше. Найти десятника, который продержался бы две недели - нелегкое дело. Предположим для верности, что мы имеем дело с таким "двухнедельным" десятником. Но даже и в этом случае тебе не придется ждать двух недель. По всем приискам прокатится слух, что самый сильный рабочий в округе так любит трудиться, что с радостью выполняет бесплатно любую работу. Ты станешь местной достопримечательностью. Люди будут приходить отовсюду, чтобы поглядеть на тебя. Ты мог бы разбогатеть, взяв с них плату за погляденье, но ты не сделаешь этого. Держи высоко свое знамя. Когда десятники с других рудников увидят каковы твои бицепсы и поймут, что ты стоишь двоих, они предложат тебе работать у них за половину обычного жалованья. Ты скажешь об этом своему десятнику. Позволь ему проявить благородство и предложить тебе столько же. Если он промолчит, ты примешь их предложение. Помяни мое слово, Хигби, через три недели ты будешь десятником на любом руднике, по выбору, и будешь получать самую высокую плату во всей округе.

Все произошло в точности, как я предсказал, и я зажил припеваючи, даже не помышляя о том, чтобы испытать свое гениальное открытие на себе лично. Пока Хигби работал, я мог отдыхать. Его заработка хватало на нас обоих, и долгое время я вел праздную жизнь рантье, читая газеты и книги и лакомясь ежедневно компотом из сушеных яблок, как если бы на неделе было семь воскресений, - а что еще человеку нужно на этом свете?! Хигби был само благородство. Я не услышал от него ни единого слова упрека. Ему даже в голову не пришло посоветовать мне пойти поработать бесплатно и обеспечить себе местечко на руднике.

Это было, наверно, в 1862 году. Я расстался с Хигби в конце 1862 - или нет, пожалуй, в

начале 1863 года - и отправился в Вирджиния-Сити, чтобы занять в "Территориэл энтерпрайз" место Уильяма Райта и выполнять за него обязанности единственного штатного репортера этой газеты, - сам Райт на три месяца уехал в Айову повидаться с семьей. Впрочем, обо всем этом я уже рассказал в "Налегке".

Так мы расстались с Хигби. Прошло сорок четыре года...

Среда, 28 марта 1906 г.

[ОРИОН КЛЕМЕНС]

Так же блестяще эта система оправдалась на примере моего брата. В своем месте я об этом расскажу. Теперь же, мельком упомянув о нем, я вдруг почувствовал, что мне хочется сосредоточить все свое внимание на его личности, поэтому я пока оставляю другие темы и обрисую эту личность. Мой брат был очень своеобразный человек. За семьдесят лет, что я живу на свете, я не встречал подобного ему.

Орион Клеменс родился в Джеймстауне, округ Фентресс, штат Теннесси, в 1825 году. Он был первенцем в семье, старше меня на десять лет. После него шла сестра Маргарет, которая умерла в 1839 году, девяти лет от роду, в поселке Флорида, штат Миссури, где я родился; потом Памела, мать Сэмюэла Э. Моффета, - она всю жизнь болела и умерла в прошлом году близ Нью-Йорка, в возрасте семидесяти пяти лет. Был еще брат Бенджамин, тот умер десяти лет, в 1842 году.

Детство Ориона протекало в бревенчатой деревушке Джеймстаун, среди круглых холмов восточного Теннесси, населенных немногочисленными аборигенами, которые столь же мало знали и думали о внешнем мире, как и другие дикие животные, обитавшие в окрестных лесах. Когда Ориону исполнилось десять лет, семья перебралась в штат Миссури - сначала во Флориду, потом в Ганнибал. Пятнадцати или шестнадцати лет его послали в Сент-Луис, и там он выучился ремеслу печатника. Самой примечательной чертой его характера была способность увлекаться. Каждое утро он просыпался, увлеченный чем-нибудь новым; весь день это увлечение владело им; к ночи оно умирало, а на следующее утро, еще не успев одеться, он уже весь горел какой-нибудь новой идеей. Так, за каждый год своей жизни он сменял по триста шестьдесят пять самых горячих, с иголки новых увлечений - и умер рано утром, сидя за столом с пером в руке, набрасывая новый пожар на предстоящий день и готовясь наслаждаться его дымом и пламенем, пока ночь его не затушит. Было ему тогда семьдесят два года. Но я забыл упомянуть другую черту его характера, очень резко выраженную: это припадки глубокой мрачности, уныния, отчаяния, для которых находилось время каждый божий день, наряду с увлечениями. Таким образом, его день от зари до полуночи представлял собою непрерывную смену, вернее сказать - путаницу яркого солнца и черных туч. Каждый день он весь бурлил радостью и надеждой, и каждый день он был самым несчастным человеком на свете.

В пору своего ученичества в Сент-Луисе он близко познакомился с Эдвардом Бейтсом{197}, который впоследствии вошел в первый кабинет мистера Линкольна{197}. Бейтс был прекрасный человек, прямой и честный, и к тому же видный юрист. Он терпеливо выслушивал каждый новый проект Ориона, обсуждал его, а затем гасил разумными доводами и неопровержимой логикой. Так было вначале, но через несколько недель он убедился, что зря тратит силы: проекты можно было спокойно оставлять без внимания, - к ночи они угасали сами собой. Ориону захотелось стать юристом. Мистер Бейтс одобрил его план, и он с неделю изучал право, а затем, разумеется, занялся чем-то другим. Потом ему захотелось стать оратором. Мистер Бейтс начал давать ему уроки. Мистер Бейтс расхаживал по комнате, читая вслух английскую книгу и сразу переводя прочитанное на французский. То же он предложил проделывать Ориону. Но поскольку Орион не знал французского языка, он с увлечением поупражнялся таким образом два-три дня, а потом бросил. Живя в Сент-Луисе, он перепробовал множество вероисповеданий и преподавал в воскресных школах, сменяя школу всякий раз, как менял религию. Столь же непостоянен он был в своих политических симпатиях: сегодня виг, через неделю демократ{197}, а еще через неделю опять что-нибудь новое из того, что найдется посвежее на политическом рынке. Замечу

здесь, что на протяжении всей своей долгой жизни он только и делал, что переходил от одной религии к другой и наслаждался такой сменой пейзажа. Замечу также, что никто ни разу не усомнился в его искренности, не усомнился в его правдивости, не поставил под вопрос его честность в деловых и денежных отношениях. Несмотря на все его метания и перебежки, принципы его всегда были высоки и совершенно непоколебимы. Он являл собой самую странную смесь, когда-либо вмещавшуюся в одном человеке. Люди такого склада обычно действуют по первому побуждению, не подумав; таков был и Орион. Все, что он делал, он делал с убеждением и подъемом, безмерно гордясь своим деянием, но не проходило и суток, как содеянное им, будь оно хорошо, плохо или посредственно, вызывало у него горькое раскаяние. Пессимистами не становятся, ими рождаются. Оптимистами не становятся, ими рождаются. Но, кроме него, я, кажется, не встречал человека, которому пессимизм и оптимизм были бы отпущены в совершенно равных долях. Если оставить в стороне его основные принципы, можно сказать, что он был зыбок как вода. Одним-единственным словом его можно было повергнуть в пучину скорби, а следующим снова вознести до небес. Слово осуждения могло разбить его сердце; слово одобрения могло сделать его счастливее ангела. И не следовало искать в этих чудесах хотя бы тени какой-то логики - их способно было вызвать любое ваше замечание.

Была у него еще одна примечательная черта, и она-то порождала те, о которых я только что говорил. Я имею в виду его жажду одобрения. Он до того жаждал одобрения, до того тревожно, словно юная девица, стремился заслужить одобрение всех и каждого без разбора, что готов был мгновенно отречься от своих понятий, взглядов и убеждений, лишь бы его одобрил любой, кто был с ними не согласен. Я прошу не забывать, что все время оставляю в стороне его основные нерушимые принципы. От них он не отказался бы ни ради чьих прекрасных глаз. Он родился и рос среди рабов и рабовладельцев, но с детства и до самой смерти был аболиционистом. Он всегда был правдив; все его слова и поступки были искренни и честны. Но в пустяках, в вопросах мелких и незначительных - как, например, религия и политика - у него не было ни одного мнения, которое устояло бы перед неодобрительным замечанием хотя бы со стороны кошки.

Он вечно мечтал; он родился мечтателем, и время от времени из-за этого получались неприятности. Однажды, когда ему было года двадцать три и он уже работал печатником, его осенила романтическая мысль - нагрянуть к нам в Ганнибал без предупреждения, дабы устроить приятный сюрприз всему семейству. Предупреди он нас заранее, он узнал бы, что мы переехали, а в доме, где мы жили раньше, поселился грубоватый и громогласный моряк доктор Мередит, наш домашний врач, и бывшую комнату Ориона заняли две сестры доктора Мередита - старые девы.

Орион прибыл в Ганнибал пароходом, глубокой ночью, и со свойственным ему воодушевлением пустился в путь, весь горя своей романтической затеей и предвкушая наше изумление. Он всегда что-нибудь предвкушал, так уж он был создан. Никогда не мог дожидаться самого события, а непременно строил его в мечтах и радовался авансом, так что, когда событие происходило, он порой убеждался, что оно сильно уступает тому, которое он выдумал; и выходило, что лучше было бы ему сохранить воображаемое событие, а от действительного отказаться.

Дойдя до нашего прежнего дома, он обогнул его, у черного хода снял сапоги и, никого не разбудив, пробрался наверх, в спальню старых дев. Он разделся в темноте, лег в постель и при этом кого-то потеснил. Это удивило его, но не очень, - он решил, что это наш братишка Бен. Дело было зимой, кровать удобная, теплая, предполагаемый Бен еще добавлял тепла, и Орион стал засыпать, вполне довольный тем, как пока что идет дело, и предвкушая, как все произойдет наутро. Однако некоторым событиям суждено было произойти еще до утра. Старая дева, которую он потеснил, стала вертеться, потягиваться, потом наполовину проснулась и вслух высказала свое недовольство. При звуке ее голоса Орион оцепенел. Он не мог пальцем пошевелить, не мог перевести дух, а тем временем теснимая стала шарить в темноте, нащупала новенькие Орионовы бакенбарды и взвизгнула: "Ой, мужчина!" Тут

оцепенение как рукой сняло, в мгновение ока Орион выскочил из постели и стал судорожно искать в темноте свою одежду. Теперь визжали обе девы, и Орион, махнув рукой на некоторые детали своего туалета, пустился наутек с тем, что успел схватить. Он пулей вылетел на площадку лестницы, стал спускаться - и снова оцепенел: снизу поднимался бледно-желтый огонек свечи, и Орион понял, что следом подымается хозяин дома. Так оно и оказалось. Одет доктор был весьма приблизительно, но вооружен для такого случая вполне достаточно - в руке он держал большой кухонный нож. Орион что-то крикнул ему и этим спас свою жизнь, - доктор узнал его" голос. И тут своим глухим, как из бочки, басом, так восхищавшим меня в раннем детстве, он объяснил Ориону перемену декораций, рассказал, где найти семейство Клеменсов, и в заключение посоветовал в другой раз, прежде чем пускаться в такую авантюру, хорошенько разведать почву. Совет этот, надо полагать, был излишним и не пригодился Ориону до конца его дней.

В 1847 году умер мой отец, и эта беда, как обычно бывает, случилась как раз тогда, когда счастье нам улыбнулось и мы надеялись снова пожить в довольстве после нескольких лет жестокой нужды и лишений, на которые нас обрек нечестный поступок некоего Айры Стаута, взявшего у моего отца в долг несколько тысяч долларов - по тем временам и в тех краях целое состояние. Отец только что был избран секретарем гражданского суда округа. Мало того, что скромного достатка, связанного с этой работой, с избытком хватило бы для нашей непритязательной семьи, - отца так уважали, он пользовался во всем округе таким авторитетом, что, раз получив эту высокую должность, мог, по всеобщему мнению, сохранить ее за собой на всю жизнь. В конце февраля он поехал в центр округа, Пальмиру, чтобы принести присягу. На обратном пути двенадцать миль верхом - его настиг ливень со снегом, и домой он добрался еле живой от холода. Он заболел плевритом и 24 марта скончался.

Так все наши надежды пошли прахом, бедность опять подстерегала нас. Именно так подобные вещи обычно и случаются.

Семейство Клеменс снова очутилось на мели. На выручку поспешил Орион.

Четверг, 29 марта 1906 г.

Впрочем, я ошибся. Орион приехал в Ганнибал только через два или три года после смерти отца. Сперва он остался в Сент-Луисе. Он был наборщиком и зарабатывал деньги. На свое жалованье он поддерживал мать и брата Генри, который был двумя годами моложе меня. Сестра Памела тоже помогала по мере сил, обучая игре на фортепьяно. Так мы и жили, но жизнь эта была нелегкая. Я не обременял собою семью, - после смерти отца меня сразу взяли из школы и отдали в обучение к мистеру Аменту, редактору и владельцу ганнибальской газеты "Курьер", который и положил мне обычное для типографского ученика вознаграждение - стол, одежду, но ни гроша деньгами. Одежды полагалось два комплекта в год, но второй комплект так ни разу и не состоялся, а первого не покупали, пока у мистера Амента хватало старого платья. Он был примерно вдвое выше меня ростом, так что, надевая его рубаху, я чувствовал себя очень неудобно - точно живу в цирковом шатре, а штаны приходилось подворачивать до самых ушей.

Кроме меня, у мистера Амента было еще два ученика. Один из них - Уэйлс Мак-Кормик - был верзила лет восемнадцати. На нем одежда Амента сидела, как стеарин на фитиле, поэтому он всегда, а особенно в летнюю пору, пребывал в полузадушенном состоянии. Это был чудесный малый - общительный, бесшабашный, смешливый и без малейших нравственных правил. Поначалу мы, трое учеников, кормились на кухне вместе со старой кухаркой-рабыней и ее очень красивой, умненькой и благонравной дочкой-мулаткой. Для собственного развлечения - развлекать других он не давал себе труда - Уэйлс постоянно, упорно, громогласно и вызывающе ухаживал за девушкой, чем доводил ее до слез и насмерть пугал ее старуху мать. "Масса Уэйлс, масса Уэйлс, разве можно вести себя так неприлично", - приговаривала она, бывало, а Уэйлс, подстегиваемый такими поощрениями, старался, разумеется, пуще прежнего. Ральф и я, глядя на них, покатывались со смеху. Да по правде сказать, и старуха расстраивалась больше для виду. Она отлично понимала, что, по

обычаю рабовладельческих общин, Уэйлс вправе ухаживать за девушкой сколько ему вздумается. Однако сама девушка горевала вполне искренне. Это была утонченная натура, и дурацкие выходы Уэйлса она принимала всерьез.

Кормили нас за кухонным столом очень однообразно, а главное - скудно. Поэтому мы изобрели собственное средство, чтобы не умереть с голоду: почти каждый вечер мы забирались в погреб через тайный ход, который сами же обнаружили, таскали оттуда картошку, лук и прочее и, забрав с собою в типографию (где мы спали на полу, подстелив одеяло), готовили в печке и устраивали пиршества. Уэйлс готовил картошку необыкновенно вкусно, одному ему известным способом. С тех пор я только раз видел точно так же приготовленный картофель. Это было в конце 1891 года, когда Вильгельм Второй, германский император, повелел, чтобы я явился к нему на небольшой неофициальный обед. Когда на столе появился этот самый картофель, я от изумления позабыл об этикете и совершил непростительный грех приветствовал картошку радостным возгласом, обращаясь к императору, сидевшему рядом со мной, и не дождавшись, пока он сам начнет разговор. По-моему, он честно постарался сделать вид, будто ничего не заметил, но было ясно, что он шокирован и оскорблен, - так же как и десяток вельмож, присутствовавших на обеде. Все они точно окаменели, у всех язык прилип к гортани. Зловещее молчание длилось не меньше полминуты и длилось бы, конечно, по сей день, если бы император не нарушил его, - никто другой на это бы не решился. Произошел конфуз в половине седьмого, но лед окончательно растаял лишь около полуночи, когда его наконец растопило или, вернее, смыло щедрыми потоками пива.

Как я уже упоминал, мистер Амент был бережливый хозяин. Когда нас, учеников, перевели из подвала на первый этаж, разрешив нам, как и Пету Мак-Марри - единственному наборщику, закончившему обучение, - кормиться за семейным столом, он и там продолжал наводить экономию. Миссис Амент была, можно сказать, новобрачная. Она удостоилась этого высокого звания совсем недавно, прождав его большую часть своей жизни, и, по аментовской теории, с честью справлялась со своими обязанностями, ибо сахарницу нам не доверяла, а клала нам в кофе сахар собственноручно. Вернее сказать, она сама колдовала над сахарницей, но кофе от этого не становится слаще. Казалось, что она сыплет в каждую чашку полной горой чайную ложку сахарного песка, но это, по утверждению Уэйлса, был обман зрения. Он уверял, что она сперва окунет ложку в кофе, чтобы сахар к ней прилипал, а потом набирает сахар, держа ложку выемкой книзу, так что на ней остается только тоненький слой сахара, а кажется, будто ложка полная. Я принимал это за чистую монету, но теперь думаю, что, поскольку такая процедура представляла немалые трудности, все это было не более как очередная выдумка Уэйлса.

Я сказал, что он был бесшабашный малый, и это правда. То была бесшабашность, рожденная бьющей через край неукротимой и радостной энергией молодости. Этот долговязый детина не останавливался ни перед чем, что сулило ему развлечение хотя бы на пять минут. Невозможно было угадать, что еще он выкинет. Одной из ярчайших черт его характера было безграничное и восхитительное отсутствие уважения к чему бы то ни было. Казалось, для него нет в жизни ничего серьезного и ничего святого.

Однажды в наш городок прибыл из Кентукки знаменитый основатель новой и модной в то время секты "кемблистов". Приезд его вызвал необычайное волнение. Фермеры с семьями, пешком и на лошадях, стекались к нам за много миль, чтобы поглядеть на прославленного Александра Кембла и послушать его проповедь. Когда он проповедовал в церкви, многие оставались ни с чем: ни одна из наших церквей не могла вместить и половины всех желающих. Тогда, ради удобства публики, он стал проповедовать на площади, под открытым небом, и тут-то я впервые осознал, какое множество людей населяет нашу планету, если согнать их всех в одно место.

Одна из проповедей, которые он у нас прочитал, была специально приурочена к этому его приезду. Все кемблисты пожелали иметь ее в печатном виде, чтобы можно было перечитывать ее сколько захочется и выучить наизусть. И вот они собрали шестнадцать

долларов, что тогда составляло большие деньги, и за эти большие деньги мистер Амент подрядился напечатать пятьсот экземпляров проповеди и выпустить их в желтой бумажной обложке. Получилась брошюрка в шестнадцать страниц в одну двенадцатую листа, - для нашей типографии это было событие. По нашим понятиям, мы выпускали книгу, а значит, считали себя возведенными в ранг книгопечатников. Более того, в типографии еще никогда не видели такой суммы, как шестнадцать долларов наличными. Подписку на газету и объявления у нас не принято было оплачивать деньгами: платили мануфактурой, сахаром, кофе, дубовыми дровами, ореховыми дровами, репой, луком, тыквами, арбузами, а если в кои веки человек приносил деньги, мы смотрели на него как на чудака.

Мы набрали свою первую книгу по страницам - восемь страниц на форму и, сверяясь с руководством по типографскому делу, не без труда расположили страницы на верстальном реале в правильном порядке, который непосвященному представляется верхом несурзадности. Эту форму мы отпечатали в четверг. Потом набрали вторые восемь страниц, закрепили в форме и сделали оттиск. Уэйлс стал читать оттиск и пришел в ужас - он допустил ошибку. Время он для этого выбрал самое неподходящее: была суббота, приближался полдень, - а по субботам мы с полудня бывали свободны и как раз собирались на рыбную ловлю. И в такое-то время Уэйлс допустил ошибку и показал нам, что он натворил. Он пропустил два слова на совершенно слепой странице и, дальше на двух или трех страницах не предвиделось ни одной красной строки. Что было делать? Заново набирать все сначала, чтобы втиснуть эти несчастные два слова? Казалось, другого выхода нет. На это уйдет добрый час. Потом корректуру надо будет послать великому человеку на прочтение и ждать, пока он ее прочтет. Если он обнаружит опечатки, придется их исправлять. Выходило, что мы освободимся не раньше трех часов. И тут у Уэйлса родилась вдохновенная мысль. В той строке, где он пропустил два слова, встречалось имя Иисус Христос. Уэйлс сократил его на французский лад, оставив только И.Х. Так освободилось место для пропущенных слов, но зато сугубо торжественная фраза потеряла 99% своей торжественности. Мы послали корректуру автору и стали ждать. Долго ждать не входило в наши планы. Учитывая обстоятельства, мы собирались смыться и убежать на реку еще до того, как корректура вернется, но оказались недостаточно прыткими. Очень скоро в дальнем конце узкого, в шестьдесят футов длиной помещения показался великий Александер Кембл, и выражение лица у него было такое, что кругом сразу потемнело. Большими шагами он подошел к нам и произнес короткое, но суровое и вполне уместное слово. Потом он прочитал Уэйлсу нотацию. Он сказал: "Смотри, чтобы ты больше никогда, пока жив, не сокращал имя Спасителя. Печатай его целиком, сколько есть букв". Для вящей убедительности он повторил это наставление несколько раз, после чего удалился.

В те времена богохульники в наших краях, употребляя имя Спасителя для божбы, по-своему его приукрашали, и теперь неисправимый Уэйлс вспомнил об этом. Он усмотрел возможность поразвлечься, которая перевесила в его глазах и купанье и рыбную ловлю. И вот он обрек себя на долгую и нудную работу заново набрать злосчастные три страницы так, чтобы исправить свою оплошность, а заодно с лихвою выполнить наставление великого проповедника. Теперь вместо предосудительного "И.Х." в тексте красовалось "Иисус Ч. Христос". Уэйлс знал, что его ждут крупные неприятности, и не ошибся. Но разве он мог устоять? Он был покорным рабом своего темперамента. Не помню уже, какое последовало наказание, но не такой он был человек, чтобы этим смущаться, - свой барыш он успел получить.

В первый год моего ученичества в "Курьере" я совершил поступок, о котором вот уже пятьдесят четыре года как стараюсь пожалеть. Случилось это летом, на исходе дня, погода была как на заказ - самая подходящая для прогулок по реке и прочих мальчишеских радостей, но я томился в заточении. Мои товарищи пользовались заслуженной свободой, я же сидел один и тосковал. В тот день я чем-то провинился и теперь был наказан. Меня лишили прогулки и к тому же обрекли на одиночество. Кроме меня, в нашей типографии на третьем этаже не было ни души. Одно утешение у меня все же оставалось, и пока оно не

кончилось, я утешался вовсю. То была половина огромного арбуза спелого, красного, сочного. Я выковыривал мякоть ножом и ухитрился проглотить все без остатка, хотя набил свою особу до того, что арбузный сок стал капать у меня из ушей. И вот от арбуза осталась одна корка, такая большая, что впору было уложить в нее младенца, как в люльку. Мне стало обидно, что такая прелесть пропадает зря, а как использовать ее поинтереснее, я не мог придумать. Я сидел у раскрытого окна, выходящего на главную улицу, и вдруг мне пришло на ум сбросить выеденный арбуз с третьего этажа кому-нибудь на голову. Возникли и кое-какие сомнения - благоразумно ли это будет, и, пожалуй, многовато удовольствия достанется на мою долю и маловато - на долю другой стороны, но я все же решил рискнуть. Я стал высматривать подходящий объект - достаточно верный, - но он все не появлялся. Каждый новый кандидат - или кандидатка - таил в себе опасность, надо было ждать и ждать. Но наконец я завидел нужного человека. Это был мой брат Генри. То был самый хороший мальчик во всей округе. Он никогда никому не делал зла, никогда никого не обижал. Сил нет, до чего он был хороший, но на сей раз это его не спасло. Я, замерев, следил за его приближением. Он шел не спеша, погруженный в приятные летние грезы и не сомневаясь в том, что всемогущее провидение надежно его охраняет. Знай он, где я нахожусь, он не так твердо полагался бы на этого призрачного заступника. Чем ближе он подходил, тем больше укорачивалась его фигура. Когда он оказался уже совсем близко, мне с моей вышки только и было видно, что кончик его носа да две ноги - то одна, то другая. Тогда я примерился, рассчитал дистанцию и выпустил арбуз из рук, внутренней стороной вниз. Меткость оказалась рекордной. Когда ядро вырвалось из жерла, Генри оставалось сделать еще примерно шесть шагов, и очень радостно было смотреть, как эти два тела устремляются друг к другу. Если бы ему оставалось сделать семь шагов или пять, снаряд не попал бы в цель. Но расчет оказался правильным, арбуз стукнул Генри прямо по макушке и вогнал его в землю до подбородка, а куски расколовшейся корки брызгами разлетелись во все стороны. Мне очень хотелось спуститься на улицу и посочувствовать Генри, но это было опасно - он мигом заподозрил бы меня. Я и так боялся, что он меня заподозрит; но дня два или три, - а я все это время был начеку, - он ни слова не говорил о своем приключении, и я уже решил, что на этот раз опасность миновала. Я ошибся он только ждал верного случая. А дождавшись, запустил мне в висок камнем, и у меня вскочила такая шишка, что шляпа сделалась мне мала, пришлось надевать сразу две. Я сообщил об этом преступлении матери, - мне всегда хотелось подвести Генри под разнос, но это было не так-то просто. Теперь-то дело верное, думалось мне, - стоит ей только увидеть мою страшную шишку. Я показал ей шишку, но она сказала, что это пустяки. Расспрашивать меня она не стала, видно была убеждена, что шишку я заслужил и что урок пойдет мне на пользу.

В 1849 не то в 1850 году Орион расстался с типографией в Сент-Луисе, приехал в Ганнибал и купил еженедельную газету под названием "Джорнел" вместе с ее типографией и правами за пятьсот долларов наличными. Наличные он занял под десять процентов у старого фермера по фамилии Джонсон, проживавшего в пяти милях от Ганнибала. Затем он снизил цену на подписку с двух долларов до одного. Плату за объявления он тоже снизил и таким образом бесспорно установил хотя бы одну непреложную истину, а именно: что дело никогда не принесет ему ни цента прибыли. Он забрал меня из "Курьера" и определил на работу в свою типографию, положив мне три с половиной доллара в неделю, - плата непомерно высокая, но Орион всегда был щедр и великодушен со всеми, кроме самого себя. В данном случае это ему ничего не стоило: за все время, что я у него прослужил, он не смог заплатить мне ни гроша. К концу первого года он решил, что следует навести кое-какую экономию. За аренду помещения он платил мало, но недостаточно мало. Какая бы то ни было арендная плата была ему не по карману, и он перевез всю газету в дом, где мы жили, так что там стало негде повернуться. Газета его просуществовала четыре года, но я до сих пор не понимаю, как он этого добился. К концу каждого года ему приходилось где-то наскребать пятьдесят долларов на уплату процентов мистеру Джонсону, и, кроме этих пятидесяти долларов, он, по-моему, за все время, что был владельцем газеты, ни разу ничего

не получал и не платил наличными - разве что за бумагу и типографскую краску. Газета вылетела в трубу. Иного нельзя было и ожидать. В конце концов Орион передал ее мистеру Джонсону и уехал в Маскатин, штат Айова, где приобрел небольшую долю в еженедельной газете. Не с таким богатством было думать о женитьбе, но Орион не унывал. Он познакомился с хорошенькой и милой девушкой из Куинси, штат Иллинойс, в нескольких милях от Кеокука, и обручился с нею. Влюблялся он много раз и прежде, но до помолвки не доходило еще ни разу, - мешало то одно, то другое. И помолвка не принесла ему радости: он тут же влюбился в другую девушку, из Кеокука, во всяком случае - вообразил, что влюблен; я-то думаю, что воображение работало больше у нее. Не успел он и ахнуть, как обручился с нею и оказался в довольно затруднительном положении. Он не знал, на ком жениться - на той ли, что из Куинси, или на той, что из Кеокука, или, может быть, на обеих, чтобы никому не было обидно. Но девушка из Кеокука разрешила его сомнения. Это была особа с характером. Она велела Ориону написать девушке из Куинси, что помолвка отменяется, и он повиновался. А затем они с девушкой из Кеокука поженились, и началась борьба за жизнь - тяжелая борьба, не сулящая успеха.

Жить в Маскатине было не на что, и молодые переселились в Кеокук, поближе к родственникам жены. Орион купил (разумеется, в кредит) крошечную типографию, печатавшую карточки, афиши и прочее. Первым делом он так снизил цены, что даже учеников не мог прокормить. Так дело шло и дальше.

Я не перебрался в Маскатин вместе с Орионом. Перед самым его отъездом (кажется, в 1853 году) я однажды ночью удрал в Сент-Луис. Там я немного поработал наборщиком в "Ивнинг ньюс", а потом пустился в странствия поглядеть на белый свет. Белый свет - это был Нью-Йорк, там тогда только что открылась небольшая Международная выставка. Помещалась она в том месте, где позже было водохранилище, а сейчас строится великолепная публичная библиотека, - на углу Пятой авеню и Сорок Второй улицы. Я прибыл в Нью-Йорк с двумя долларами в кармане и банкнотой в десять долларов, зашитой в подкладку пиджака. Получил работу за гнусную плату в типографии Джона А. Грэя и Грина, на Клиф-стрит, а жил и столовался в достаточно гнусном общежитии для рабочих на Дьюэйн-стрит. Фирма платила мне обесцененными деньгами, и недельной платы едва хватало на стол и на койку. Потом я поехал в Филадельфию и там несколько месяцев работал подменным наборщиком в газетах "Инкуайрер" и "Паблик леджер". Наконец я заглянул в Вашингтон, осмотрел тамошние достопримечательности и в 1854 году возвратился в долину Миссисипи, просидев два дня и три ночи на стуле в курительном вагоне. До Сент-Луиса я добрался в полном изнеможении, сел на пароход, направлявшийся в Маскатин, завалился спать и проспал, не раздеваясь, тридцать шесть часов.

В крошечной типографии Ориона в Кеокуке я проработал бесплатно года два. Денег я не получал, но мы с Диком Хайемом отлично проводили время. Чем Орион платил Дику - не знаю; вероятно, посулами, которыми сыт не будешь.

Однажды зимним утром - кажется, в 1856 году - я шел по главной улице Кеокука. Погода стояла холодная, на улице было безлюдно. Ветер мел легкий, сухой снег, он ложился на землю, образуя красивые узоры, но даже смотреть на него было холодно. Подгоняемый ветром, мимо меня пронесся какой-то клочок бумаги, и его прибило к стене дома. Чем-то он привлек мое внимание, я подобрал его. Это был билет в пятьдесят долларов! Впервые я видел такое чудо, впервые вообще видел столько денег, собранных воедино. Я дал в газеты объявление и за следующие дни исстрадался на тысячу долларов, не меньше, дрожа, как бы владелец не прочел мое объявление и не отнял у меня мое богатство. Прошло четыре дня, за деньгами никто не являлся, и я почувствовал, что дольше этой муки не выдержу. Ведь не может быть, чтобы еще четыре дня прошли так же безмятежно. Необходимо уберечь эти деньги от опасности. И вот я купил билет до Цинциннати и поехал туда. Там я несколько месяцев работал в типографии Райтсон и К°. Незадолго до того я прочел книгу лейтенанта Герндона о его исследовании Амазонки, и меня страшно заинтересовало то, что он пишет про коку. Я решил отправиться в верховья Амазонки - собирать коку, торговать ею и нажить



состояние. Увлеченный этой замечательной идеей, я поплыл в Новый Орлеан пароходом "Поль Джонс". Одним из лоцманов там был Хорэс Биксби. Понемножку я с ним познакомился и скоро начал сменять его у штурвала во время дневных вахт. Прибыв в Новый Орлеан, я стал наводить справки насчет пароходов к устью Амазонки и узнал, что таковых нет и, вероятно, не будет в ближайшее столетие. Выяснить эти мелочи до отъезда из Цинциннати мне не пришло в голову, и вот вам, пожалуйста: никакой возможности попасть на Амазонку. Знакомых в Новом Орлеане у меня не было, деньги кончались. Я пошел к Хорэсу Биксби и упросил его сделать из меня лоцмана. Он согласился - за плату в пятьсот долларов, сотню наличными вперед. Я помог ему вести пароход вверх, до Сент-Луиса, а там занял эту сотню у своего зятя, и сделка состоялась. Зять этого я приобрел за несколько лет до того. Это был мистер Уильям А. Моффет, купец, уроженец Виргинии и прекрасный человек. Он женился на моей сестре Памеле, а Сэмюел Э. Моффет, о котором я рассказывал, был его сыном. Через полтора года я получил права лоцмана и водил пароходы до тех пор, пока движение по Миссисипи не сошло на нет с началом Гражданской войны.

А Орион тем временем корпел в своей крошечной типографии в Кеокуке. Жили они с женой у ее родителей и считались пансионерами, но едва ли Орион мог что-нибудь платить за пансион. Он не желал брать с заказчиков плату, поэтому заказы почти прекратились. Так и не дошло до его сознания, что там, где дело ведется без прибыли, качество работы неизбежно снижается и что клиенты вынуждены обращаться в другое место, где заказ будет выполнен лучше, хоть за него и придется заплатить подороже. Свободного времени у Ориона хватало, и он снова взялся за юриспруденцию. Он даже прибил у дверей вывеску, предлагая публике свои услуги в качестве адвоката. Ни одного дела ему вести не пришлось, к нему даже никто не обратился, хотя он готов был обходиться без гонорара и даже сам покупать гербовую бумагу. В таких делах он никогда не скупился.

Со временем он перебрался в деревушку Александрия, мили на две ниже по течению, и прибил свою вывеску там. Опять никто на нее не клюнул. Теперь положение его было прямо-таки бедственным. Но к тому времени я стал зарабатывать своей лоцманской работой по двести пятьдесят долларов в месяц и поддерживал его вплоть до 1861 года, а тут его старый знакомый Эдвард Бейтс, войдя в первый кабинет мистера Линкольна, устроил ему место Секретаря новой территории - Невады, и мы с Орионом умчались в те края на почтовых, причем дорогу оплачивал я, а стоило это недешево, и я же захватил с собой все деньги, какие мне удалось скопить, - что-то около восьмидесяти долларов, все серебряной монетой, - просто проклятие, до чего они были тяжелые. Было у нас и еще одно проклятие - Полный толковый словарь. Он весил примерно тысячу фунтов и чуть не разорил нас, поскольку компания взимала плату за дополнительный багаж с каждой унции. На те деньги, что мы истратили на провоз этого словаря, можно было бы месяц содержать семью; и словарь-то был никудышный: в нем не было современных слов, а сплошь устарелые, какие употреблялись еще в те времена, когда Ной Уэбстер {211} был ребенком.

Пятница, 30 марта 1906 г.

[ЧАЙКОВСКИЙ {211}. - ЭЛЛЕН КЕЛЛЕР]

Я пока оставлю Ориона, с тем чтобы вернуться к нему впоследствии. Сейчас меня больше интересуют дела наших дней, а не мои с ним приключения сорокапятилетней давности.

Три дня назад кто-то из соседей привел к нам знаменитого русского революционера Чайковского. Это седой человек и уже старик по виду, но в нем таится настоящий Везувий, очень активно действующий. Он полон такой веры в неизбежное и очень скорое торжество революции и уничтожение сатанинского самодержавия, что почти заразил меня своей надеждой и верой. Он приехал в Америку, предполагая зажечь огонь благородного сочувствия в сердцах нашей восьмидесятимиллионной нации счастливых поклонников свободы. Но честность заставила меня плеснуть в его кратер холодной воды. Я сказал ему то, что считаю истиной: что наше христианство, которым мы издавна гордимся - если не сказать кичимся, - давно уже превратилось в мертвую оболочку, в притворство, в лицемерие; что мы

утратили прежнее сочувствие к угнетенным народам, борющимся за свою жизнь и свободу; что мы либо холодно-равнодушны к подобным вещам, либо презрительно над ними смеемся, и что этот смех единственный отклик, который они вызывают у нашей прессы и всей нации; что на созываемые им митинги не придут люди, имеющие право называть себя представителями американцев или даже просто американцами; что его аудитория будет состоять из иностранцев, которые сами страдали еще так недавно, что не успели американизироваться и сердца их еще не превратились в камень; что все это будут бедняки, а не богачи; что они щедро уделят ему сколько смогут, но уделят от бедности, а не от излишка, и сумма, которую он соберет, будет очень невелика. Я сказал, что, когда год назад наш громогласный и бурный президент решил выступить перед нациями земного шара в качестве новоявленного ангела мира {212} и, взяв на себя задачу восстановить мир между Россией и Японией, имел несчастье добиться своей зловредной цели, - никто во всей стране, кроме доктора Симена и меня, не рискнул публично протестовать против этого неслыханного безумия. Я сказал, что, по моему твердому убеждению, этот роковой мирный договор задержал неминуемое, казалось бы, освобождение России от ее вековых цепей на неопределенно долгий срок, - возможно, на несколько столетий; что тогда я не сомневался в том, что Рузвельт нанес русской революции смертельный удар, как не сомневаюсь в этом и теперь.

Замечу здесь в скобках, что вчера вечером я впервые встретился с доктором Сименом лично и узнал, что и его взгляды остались теми же, какие он высказал во время заключения этого бесславного мира.

Чайковский сказал, что мои слова глубоко огорчили его, и он надеется, что я ошибаюсь.

Я сказал, что тоже надеюсь на это.

Он сказал:

- Как же так? Всего два-три месяца назад ваша страна собрала для нас весьма внушительную сумму, чему мы все в России очень обрадовались. В мгновение ока вы собрали два миллиона долларов и принесли их в дар великодушный и щедрый дар - страдающей России. Неужели это не изменит вашего мнения?

- Нет, - ответил я, - не изменит. Эти деньги собрали не американцы, их собрали евреи; значительную долю этой суммы внесли богатые евреи, но все остальные деньги дали русские и польские евреи Ист-Сайда, то есть горькие бедняки. Евреи всегда отличались благожелательностью. Чужое страдание всегда глубоко трогает еврея, и, чтобы облегчить его, он способен опустошить свои карманы. Они придут на ваш митинг, но, если там появится хоть один американец, посадите его под стекло и показывайте за деньги. Можно будет брать по пятьдесят центов с головы за право взглянуть на подобное диво и попытаться в него поверить.

Он попросил меня выступить на этом митинге (который состоялся вчера), но я был занят. Тогда он попросил меня написать одну-две строчки, которые можно было бы прочесть на митинге, что я с радостью и исполнил.

ИЗ "НЬЮ ЙОРК ТАЙМС"

"ОРУЖИЕ, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ РОССИЮ.

ПРИЗЫВ ЧАЙКОВСКОГО"

РЕВОЛЮЦИОНЕР ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД АПЛОДИРУЮЩЕЙ

АУДИТОРИЕЙ В ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

ОН ГОВОРИТ, ЧТО ЧАС РЕШАЮЩЕЙ БИТВЫ БЛИЗОК.

МАРК ТВЕН ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, ЧТО ЦАРИ

И ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ СКОРО СТАНУТ РЕДКОСТЬЮ

"Товарищи!"

Когда Николай Чайковский, которого его соотечественники здесь называют отцом русского революционного движения, вчера вечером произнес это слово по-русски в Гранд-Сентрал-палас, три тысячи человек встали и, размахивая шляпами, аплодировали ему;

овация длилась три минуты. Слово "товарищ" - это пароль революционеров. На митинге, созванном, чтобы приветствовать русского революционера, приехавшего в Нью-Йорк, властвовал дух революции.

Он призывает к бою, и для этого ему нужно оружие. Вот что он сказал вчера своим слушателям; и, судя по овации, которую они ему устроили, они внесут свою лепту, чтобы снабдить его этими мышцами войны.

Марк Твен не мог присутствовать на митинге, так как уже обещал выступить на другом собрании, но он прислал следующее письмо:

"Уважаемый господин Чайковский!

Благодарю вас за честь, но я вынужден отказаться, так как в четверг вечером буду председательствовать на собрании, цель которого - подыскать посильную работу для тех наших слепых сограждан, которые с радостью сами содержали бы себя, если бы им была предоставлена такая возможность.

Мои симпатии безусловно на стороне русской революции. Это само собой разумеется. Я надеюсь, что она увенчается успехом, а после нашего с вами разговора начинаю твердо верить, что это так и будет. Россия уже слишком долго терпела управление, строящееся на лживых обещаниях, обманах, предательстве и топоре мясника, - и все во имя возвеличения одного-единственного семейства бесполезных трутней и его ленивых и порочных родичей. И надо надеяться, что пробудившийся народ, подымающийся во всей своей силе, вскоре положит конец этому режиму и установит вместо него республику. Быть может, многие из нас - даже и старики - еще доживут до того благословенного дня, когда цари и великие князья станут на земле такой же редкостью, какой, я полагаю, они всегда были на небесах.

Искренне ваш

Марк Твен".

Господин Чайковский произнес страстную речь, призывая помочь грядущей революции, которая уничтожит царя и его приспешников".

Я не мог исполнить просьбу Чайковского, потому что еще раньше обещал председательствовать на первом заседании общества помощи взрослым слепым, которое пять месяцев тому назад учредил Джозеф Чоут{214}; это было чрезвычайно интересно, и я ушел отсюда с убеждением, что его превосходнейшее начинание не заглохнет и принесет обильные плоды. В штате Нью-Йорк проживают шесть тысяч зарегистрированных слепых и еще около тысячи по той или иной причине не зарегистрированных; и еще триста - четыреста слепых детей. Штат заботится только об этих последних. Он дает им книжное образование. Он обучает их чтению и письму. Он обеспечивает им пищу и кров. И, разумеется, обрекает их при этом на нищету, потому что не обеспечивает им возможность содержать самих себя. Отношение же штата к взрослым слепым, - а ему подражают законодательные органы большинства других штатов, просто позорно. Взрослому слепому, не живущему в специальном приюте, приходится плохо. Если у него нет родственников, которые кормили бы его, он вынужден жить милостыней; и время от времени штат великодушно простирает к нему свою сострадательную руку - переносит его на остров Блекуэлл и оставляет там среди воров и проституток{215}.

Однако в Массачусетсе, Пенсильвании и двух-трех других штатах уже несколько лет существуют общества, вроде того, которое образовали мы. Они финансируются исключительно частными пожертвованиями, а их успехи и помощь, которую они оказывают, так прекрасны и замечательны, что их отчеты читаются как сказка. Уже почти доказано, что многое из того, чем занимаются зрячие, после соответствующей подготовки может стать доступным и для слепых, причем выполнять эту работу они будут ничуть не хуже тех, кто одарен зрением.

На вчерашнем собрании должна была присутствовать Эллен Келлер, но она больна: она слегла несколько недель тому назад, так как слишком переутомилась, напряженно работая на благо слепых, глухих и немых. Мне незачем входить в подробности, говоря об Эллен Келлер. Она равна Цезарю, Александру Македонскому, Наполеону, Гомеру, Шекспиру и всем

остальным бессмертным. Через тысячу лет она будет столь же знаменита, как и сейчас.

Я хорошо помню тот первый раз, когда, к своей большой радости, познакомился с ней. Ей тогда было четырнадцать лет. Лоуренс Хаттон{215} пригласил ее к себе в воскресенье днем, чтобы познакомить с ней своих друзей; их было человек пятнадцать, мужчин и женщин. Я отправился туда с Генри Роджерсом{215}. Все уже собрались, и некоторое время спустя в комнату вошла эта удивительная девочка в сопровождении своей не менее удивительной учительницы, мисс Сэлливан. Девочка что-то весело щебетала, хотя речь ее была несколько скованной и отрывистой. Ни к чему не прикасаясь, ничего, разумеется, не видя и не слыша, она, казалось, превосходно ощущала характер окружающей ее обстановки. Она сказала: "Ах, книги, книги! Так много-много книг! Как хорошо!"

Гостей по очереди подводили к ней и знакомили. Пожав руку каждому, она тотчас легко прикасалась пальцами к губам мисс Сэлливан, и та произносила вслух имя этого лица. Если имя было трудным, мисс Сэлливан не только произносила его вслух, но и писала пальцем на ладони Эллен - по-видимому, стенографически, ибо происходило это молниеносно.

Мистер Гоуэлс сел на диван рядом с Эллен, она приложила пальцы к его губам, и он принялся рассказывать ей довольно длинную историю, причем можно было наблюдать, как каждая подробность доходит до ее сознания и вызывает в нем вспышку, отблеск которой освещает ее лицо. Затем я сам рассказал ей длинную историю, которую она то и дело всегда в нужных местах сопровождала улыбками, смешками, а иногда и взрывами веселого хохота. Затем мисс Сэлливан поднесла руку Эллен к своим губам и задала вопрос:

- Чем известен мистер Клеменс?

Эллен ответила - как всегда, немного отрывисто.

- Своим юмором.

Я скромно добавил:

- И умом.

А Эллен почти одновременно со мной произнесла те же слова:

- И умом.

Вероятно, это было чтение мыслей, поскольку она никак не могла знать, что именно я сказал.

Так мы очень приятно провели часа два; а потом кто-то спросил, помнит ли еще Эллен руки присутствующих, и может ли она по руке назвать имя гостя. Мисс Сэлливан сказала:

- О, ей это очень легко!

Тогда мы снова продефилировали мимо Эллен, снова пожимая ей руку, и она после каждого рукопожатия говорила что-нибудь любезное и без колебания называла имя владельца руки, - пока дело не дошло до мистера Роджерса, замыкавшего процессию. Эллен пожала его руку, и на ее лице появилось недоумение. Затем она сказала:

- Рада познакомиться с вами теперь. Нас ведь раньше не познакомили.

Мисс Сэлливан сказала ей, что она ошибается, что ее познакомили с этим господином, когда она только вошла в комнату. Но Эллен настаивала на своем: нет, с этим господином она раньше не была знакома. Тогда мистер Роджерс высказал предположение, что путаница произошла из-за того, что он не снял перчатку, когда его познакомили с Эллен. Разумеется, все объяснялось именно этим.

Я ошибся, когда написал, что дело происходило днем, - было утро, и вскоре нас пригласили в столовую к завтраку. Мне пришлось уйти еще до его окончания; проходя мимо Эллен, я легонько погладил ее по голове и направился к двери. Но тут меня окликнула мисс Сэлливан:

- Погодите, мистер Клеменс. Эллен очень огорчилась, потому что она не узнала, чья это рука. Погладьте ее еще раз по голове, пожалуйста.

Я так и сделал, и Эллен сразу сказала:

- А, это мистер Клеменс.

Быть может, кто-нибудь и способен объяснить подобное чудо, но мне это не по силам.

Неужели она могла сквозь волосы почувствовать складочки на моей ладони? На этот вопрос должен ответить кто-то другой. Я недостаточно компетентен.

Как я уже сказал, Эллиен была больна и не могла присутствовать на нашем учредительном собрании, но дня два-три назад она написала письмо с просьбой прочитать его там. Мисс Холт, секретарша, отправила его мне с посыльным вчера днем. Счастье для меня, что она не прислала его мне прямо на собрание, - в этом случае я не сумел бы дочитать его до конца. Я читал его ровным голосом, в котором, мне кажется, нельзя было заметить ни малейшей дрожи. Но это мне удалось только потому, что днем я прочел его вслух мисс Лайон, и теперь, зная все опасные места, был к ним подготовлен.

В самом начале я объявил собравшимся, что получил это письмо и прочту его в конце нашего заседания. И вот, после того как мистер Чоут произнес свою речь, я приступил к чтению письма, предварив его небольшим вступлением. Я сказал, что, если я хоть что-нибудь понимаю в литературе, это письмо - великолепнейший, замечательнейший, благороднейший ее образец; что это письмо написано просто, от души, без малейшей искусственности, аффектации, жеманства и что оно трогательно, прекрасно, красноречиво; я сказал, что ничего подобного не видел свет с тех самых пор, как пять столетий назад Жанна д'Арк - этот бессмертный семнадцатилетний ребенок всеми покинутая, предстала в цепях перед своими судьями, цветом французского ума и учености, и неделю за неделей, день за днем разрушала их хитрые ловушки, отвечая им так, как подсказывали ей ее великое сердце и необразованный, но чудесный ум; и каждый раз поле битвы оставалось за ней, и каждый вечер она встречала победительницей. Я сказал, что, по моему мнению, это письмо, написанное молодой женщиной, которая ослепла, оглохла и онемела на втором году жизни и которая стала одной из самых широко и глубоко образованных женщин мира, навсегда войдет в нашу литературу как классическое произведение. Я привожу это письмо здесь.

Рентем, Массачусетс, 27 марта 1906 г.

Милый доктор Клеменс!

Мне очень грустно, что я не могу быть с Вами и с другими друзьями, которые объединили свои силы, чтобы помочь слепым. Собрание в Нью-Йорке это крупнейшее событие в том движении, которому давно отдано мое сердце, и я глубоко сожалею, что меня там не будет и я не смогу почувствовать той воодушевляющей радости, которую дарит непосредственное соприкосновение с подобным средоточием ума, мудрости и человеколюбия. Я была бы счастлива, если бы мне писали на руке Ваши слова в то мгновение, когда они произносились, если бы я могла следить за живой речью нашего нового посланника в страну слепых. У нас еще никогда не было подобных заступников. Меня утешает только мысль, что там будут произнесены такие верные и горячие слова, каких еще не слышало ни одно собрание. После Вашей речи и речи мистера Чоута любое другое выступление должно показаться лишним; однако я женщина, я не могу молчать и прошу Вас прочесть там это письмо, зная, что Ваш добрый голос сделает его красноречивым.

Чтобы понять нужды слепых, вы, обладающие зрением, должны ясно представить себе, что это значит - не видеть; и вашему воображению может помочь мысль, что и вы тоже еще до конца своего земного пути можете погрузиться во мрак. Попробуйте же понять, что значит слепота для тех, чьи силы и энергия обречены на бездействие.

Это значит - коротать долгие, долгие дни; а вся жизнь слагается из дней. Это значит - жить бездеятельным, слабым, обездоленным и ощущать, что от всего божьего мира тебя отделяет глухая стена. Это значит - сидеть, беспомощно сложив руки, и чувствовать, как твой дух бьется в своих оковах, как ноют твои плечи, лишённые своего законного бремени - бремени полезного и нужного труда.

Зрячий уверенно занимается своим делом, потому что может сам себя прокормить. Он выполняет свою долю работы в рудниках, в каменоломнях, на заводе, в конторе, и ему не нужны никакие благодеяния, кроме возможности трудиться и получать плату за свой труд. И вдруг несчастный случай лишает его зрения. Свет дня меркнет для него. Зримый мир окутывается тьмой. Ноги, которые прежде уверенно несли его к цели, теперь спотыкаются,

медлят, боятся сделать шаг. Он обречен на вечную праздность, которая, как язва, разъедает его ум и способности. Память мучит его картинами прошлого, озаренного светом. Среди развалин былых надежд и стремлений бредет он ощупью по своему тяжкому пути. Вы встречали его на своих шумных улицах спотыкающегося, шарящего перед собой руками. Погруженный в вечный мрак, он протягивает вам свой жалкий товар или шапку, чтобы вы бросили в нее медяк. А ведь это был человек, наделенный способностями и высокими стремлениями.

Но мы знаем, что он может осуществить свою цель, может найти применение своим способностям, - поэтому мы и хотим улучшить условия жизни взрослых слепых. Вы не можете вернуть свет потухшим глазам, но вы можете протянуть руку помощи незрячим на их темной дороге. Вы можете вернуть им возможность трудиться. Работу, которую они некогда выполняли с помощью глаз, вы можете заменить работой, которую они сумеют выполнять с помощью рук. Они просят только дать им возможность найти применение своим силам; и эта возможность - светоч во тьме. Они не ищут ни милостыни, ни вспомоществования, им нужно удовлетворение, которое дает людям труд. А это - право каждого человека.

На вашем собрании в защиту слепых скажет свое слово Нью-Йорк, а когда говорит Нью-Йорк, слушает весь мир. И истинный голос Нью-Йорка - это не стук биржевого телеграфа, а могучая речь таких собраний, как ваше. Последнее время наша пресса переполнена удручающими разоблачениями великих социальных зол. Ворчливые критики не пропустили ни одного изъяна в здании нашего общества. Довольно слушать пессимистов. Однажды, мистер Клеменс, вы сказали мне, что Вы - пессимист, но великие люди обычно плохо знают самих себя. Вы - оптимист. Иначе Вы не были бы председателем этого собрания. Ибо оно - отповедь пессимистам. В нем залог того, что сердце и мудрость этого большого города стремятся служить человечеству, что в самом занятом из всех городов мира каждый вопль горя встречает сострадательный и великодушный отклик. Радуйтесь, что о помощи слепым заговорил Нью-Йорк, - значит, завтра о ней заговорит весь мир.

Искренне Ваша Эллен Келлер.

Понедельник, 2 апреля 1906 г.

[ОРИОН КЛЕМЕНС]

Итак, вернемся к Ориону.

Правительство новой территории Невада представляло собой любопытный зверинец. Губернатор Най был старый, закаленный в боях политик из Нью-Йорка - политик, а не государственный деятель. Это был крепкий старик с белоснежной шевелюрой. Лицо у него было подкупающе приветливое, а блестящие карие глаза умели выразить любое чувство, любую страсть, любое настроение. Глаза у него были красноречивее, чем язык, а это что-нибудь да значит, потому что говорил он замечательно - как в частной беседе, так и с трибуны. И он был не дурак. Не давая сбить себя с толку одной видимостью, он много чего примечал, когда со стороны казалось, что мысли его заняты совсем другим.

У взрослых людей, которые увлекаются озорными проделками, такое свойство вызывает особенный задор. Они прожили жизнь в безвестности и невежестве и, став мужчинами, хранят и лелеют устаревшие идеалы и нормы поведения, которые отбросили бы, выйдя из детского возраста, если бы им довелось в дальнейшей жизни повидать свет и расширить свой кругозор. В новой территории было много взрослых озорников. Мне не так уж приятно это сообщать, потому что я хорошо к ним относился, однако это правда. Я охотно рассказал бы о них что-нибудь более приятное. Если б я мог сказать, что они были, к примеру, взломщики или мелкие воры, это все-таки было бы лестно. Я бы рад, но не могу: это было бы ложью. Люди эти были озорники, и я не буду пытаться это скрыть. В других отношениях они были превосходные люди честные, надежные, симпатичные. Они с успехом разыгрывали друг друга, чем вызывали восхищение, похвалы и даже зависть сограждан. Понятно, что им хотелось попробовать свои силы на крупной дичи - в первую очередь на губернаторе. Но тут у них раз за разом получалась осечка. Несколько раз губернатор легко

сводил на нет их попытки и продолжал улыбаться все так же приветливо, как будто ничего не случилось. В конце концов главари озорников из Карсон-Сити и Вирджиния-Сити вошли в сговор и решили добиться победы объединенными усилиями, а то очень уж жалкий вид являло собою их племя. Не намеченная жертва, а они сами стали предметом насмешек. И вот они, десять человек, сообща пригласили губернатора на редкостное по тем временам угощение - тушеные устрицы и шампанское. Эти деликатесы видели в наших краях не часто, да и то больше в мечтах, чем наяву.

Губернатор взял меня с собой. Он сказал, пожав плечами:

- Выдумка никудышная. Этак никого не обманешь. Они затеяли напоить меня; им кажется, что, если я свалюсь под стол, это будет очень смешно. Но они меня не знают. А шампанское мне пить не впервой, и я вполне его приемлю.

Чем кончилась шутка, стало ясно только в два часа ночи. К этому времени губернатор был как никогда обходителен, безмятежен, весел, доволен и трезв, хотя выпил столько, что, чуть начинал смеяться, из глаз у него капали не слезы, а шампанское. И к этому же времени последний из озорников догнал своих дружков под столом, пьяный вдребезги. Губернатор сказал:

- Что-то у меня в горле пересохло, Сэм. Пойдем домой, выпьем чего-нибудь - и спать.

Административный зверинец губернатор подобрал себе из числа самых смиренных своих избирателей - безобидных субъектов, помогавших ему в предвыборных кампаниях в Нью-Йорке, которым он теперь платил более чем скромное жалованье, к тому же бумажными долларами, не имевшими почти никакой цены. Они едва сводили концы с концами. Ориону причиталось тысяча восемьсот долларов в год, на эти деньги он не мог прокормить даже свой Толковый словарь. Но ирландка, прибывшая в Неваду в свите губернатора, предоставляла зверинцу квартиру и стол всего за десять долларов в неделю с человека. Мы с Орионом тоже были в числе ее постояльцев, и при такой дешевой жизни того серебра, что я привез с собой, хватило надолго.

Сначала я бродил по окрестностям в поисках серебра, но в конце 1862 или в начале 1863 года вернулся из Авроры и стал работать репортером "Энтерпрайз" в Вирджиния-Сити. Вскоре газета послала меня в Карсон-Сити на сессию законодательного собрания. Орион быстро завоевал расположение законодателей; как правило, они не доверяли ни друг другу, ни вообще кому бы то ни было, но ему, оказывается, они могли доверять вполне. В смысле честности никто во всем крае не мог с ним тягаться, но материальной пользы это ему не принесло: он не умел ни убедить законодателей, ни припугнуть их. Другое дело я. Я ежедневно появлялся в собрании, чтобы справедливо и беспристрастно распределять похвалы и упреки, а к следующему утру разгонять их на полполосы в "Энтерпрайз". Таким образом, я был особой влиятельной. Я заставил собрание провести закон, обязывающий все корпорации нашей территории регистрировать свой устав от слова до слова в особой книге, вести которую был уполномочен Секретарь территории - мой брат. Все эти документы были составлены в точности одинаково. За регистрацию уставов Ориону полагалось взимать сорок центов с каждой сотни слов, да еще пять долларов за выдачу справки о регистрации. У всех имелись лицензии на постройку дорог с правом взимать дорожные сборы. Самих дорог не было и в помине, но лицензию нужно было регистрировать и оплачивать. Каждый являл в своем лице горнорудное предприятие и в качестве такового должен был регистрироваться и платить. В общем, мы процветали. Служба регистрации давала нам в среднем тысячу долларов в месяц - золотом.

Губернатор Най часто отлучался из Невады. Он любил время от времени наведываться в Сан-Франциско, чтобы отдохнуть от территориальной цивилизации. Никто на это не сетовал - популярность его была безмерна. В молодости он работал кучером почтовой кареты в Нью-Йорке или где-то в Новой Англии, и у него выработалась редкостная память на имена и лица и привычка ублажать пассажиров. Свойства эти оченьгодились ему на политическом поприще, и он поддерживал их в себе постоянным упражнением. Пробыв на посту губернатора год, он успел пожать руку всем жителям Невады без исключения и потом

уже узнавал каждого из них мгновенно и мог тут же припомнить его имя. Все двадцать тысяч невадцев были его личными друзьями, и, что бы он ни сделал, он мог рассчитывать на их одобрение. Когда его не было на месте то есть почти все время, - Орион заменял его как "исполняющий обязанности губернатора" - чин, который с легкостью сокращался просто в "губернатора". Супруге губернатора Клеменса нравилось быть губернаторшей. Едва ли кому-нибудь на земле высокое звание доставляло больше удовольствия. Она так откровенно упивалась своей ролью царицы общества, что обезоруживала и критиков и завистников. Как губернаторше и первой даме города ей понадобился приличный дом, в котором она могла бы жить, не роняя своего достоинства. И она с легкостью уговорила Ориона построить такой дом. Ориона всегда можно было уговорить. Он построил и обставил дом за двенадцать тысяч долларов, и во всей столице не было другого и вполнину такого шикарного и дорогостоящего особняка.

Когда четырехлетний срок службы губернатора Ная подходил к концу, раскрылась тайна, почему он согласился покинуть великий штат Нью-Йорк и переселиться в эту необитаемую полынную глушь. Ему это было нужно, чтобы стать сенатором Соединенных Штатов. Теперь оставалось только превратить территорию в штат. Это он проделал без труда. Ни песчаная пустыня, ни редкое ее население не были приспособлены к тому, чтобы содержать правительство штата, но люди не возражали против перемены, и дело губернатора выгорело.

Казалось, дело Ориона тоже выгорело, потому что он был не менее популярен благодаря своей честности, чем сам губернатор - по более веским причинам. Но в последнюю минуту внезапно проявилось его врожденное своенравие, и это привело к катастрофе.

3 апреля, 1906 г.

[АМЕРИКАНСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН]

Я не шучу, напротив, я серьезен, как никогда, и я заявляю, что наш президент - образцовый американский джентльмен нашего времени. Я считаю, что в нем так же полно и точно выражен тип американского джентльмена нашего времени, как в Вашингтоне был выражен тип американского джентльмена тех, прошлых времен. Личность Рузвельта дает достаточный материал для обсуждения этой проблемы. В ней представлены ясно, исчерпывающе все черты, которых не должно быть в американском джентльмене и которые тем не менее его характеризуют. Из всех наций, как цивилизованных, так и диких, обитающих на нашей планете, мы, конечно, самая грубая нация, а наш президент высится среди нас как монумент, обозримый со всех сторон. В тех случаях, когда джентльмен сострадателен и отзывчив, - он безобразно груб и жесток. Совсем недавно, когда его креатура - неудачливый врач, губернатор Кубы, этот шулер в чине генерал-майора, - Леонард Вуд, загнал в западню шестьсот беззащитных туземцев и устроил кровавую баню, в которой не пощадил ни младенцев, ни женщин, - президент Теодор Рузвельт, образцовый американский джентльмен, первый американский джентльмен, вложил всю душу нашей нации джентльменов в ликующий вопль, который он направил Вуду по телеграфу, поздравляя его с "блестящей военной операцией" и восхваляя его за то, что он "поддержал честь американского флага".

Без сомнения, Рузвельт самый худший президент из всех, кого мы имели, и он также самый любимый из президентов и наиболее отвечающий нашим запросам. Американцы гордятся и восхищаются Рузвельтом, он вызывает у них благоговейное чувство. С таким жаром и в подобных размерах Америка не расточала своих восторгов ни одному из президентов до Рузвельта, даже включая Мак-Кинли, Джексона, Гранта...

3 апреля, 1906 г.

[СООБЩЕНИЕ О МОЕЙ СМЕРТИ]

Девять лет тому назад, когда мы жили в Лондоне на Тедворт-сквер, американские газеты получили сообщение, что я умираю. Умирал не я. Умирал другой Клеменс, наш родственник, но он тоже не умер, а каким-то мошенническим образом вывернулся. Узнаю



представителя нашей семьи!

Лондонские корреспонденты американских газет стали стекаться ко мне, каждый с депешей в руках, чтобы узнать о моем здоровье. Я был совершенно здоров, и они должны были, к своему изумлению (и неудовольствию), убедиться, что я сижу у себя в кабинете, читаю, курю и как сюжет для корреспонденции за океан не стою ни гроша. Один из них, тихий, мрачноватый ирландец, пересилив досаду и даже с подобием улыбки сказал мне, что "Ивнинг сан", его газета в Нью-Йорке, дала ему знать, что имеет сообщение о смерти Твена. Что отвечать?

Я сказал:

- Отвечайте, что сообщение о моей смерти преувеличено.

Он торжественно удалился и телеграфировал точно, как я сказал. Ответ мой приобрел популярность, и его по сей день вспоминают в газетных редакциях, когда приходится опровергать какое-нибудь неосновательное сообщение.

Следующий журналист был тоже ирландец. В руке у него была телеграмма из "Нью-Йорк уорлд", и он так старался различными хитроумными способами скрыть ее содержание, что мне захотелось взглянуть на нее. Улучив подходящий момент, я взял ее у него прямо из рук. Телеграмма гласила:

"Если Марк Твен умирает, шлите пятьсот слов. Если умер - тысячу".

Четверг, 5 апреля 1906 г.

[ЭЛЛЕН ТЕРРИ. - СНОВА ОРИОН КЛЕМЕНС]

На днях я, по просьбе одного человека, придумал афоризм:

- Какое самое благородное творение божие? - Человек.

- Кто до этого додумался? - Человек.

По-моему, это очень остроумно и удачно, но мой собеседник со мною не согласился.

Эллен Терри царила на английской сцене пятьдесят лет, и 28-го этого месяца, в свой пятидесятилетний юбилей, расстается с театром. По этому случаю в Лондоне состоится торжественный банкет и подобающие телеграммы полетят к юбилярше от ее старых друзей из Америки и из других, некогда дальних стран, - теперь на свете дальних стран не осталось. Телеграммы из Америки собирает специальный комитет в Нью-Йорке. По их просьбе я тоже отправил им свое послание. Передавать такие приветы по телеграфу, по двадцать пять центов за слово, - вполне современно, иначе не полагается. Можно бы, конечно, послать их почтой почти даром, но это неприлично. (По секрету скажу, что они именно почтой и идут, а датируются смотря по надобности.)

Телеграмма

на имя Эллен Терри {226}, Лондон.

"Ее разнообразью нет конца" {226} - как нет конца восхищению и симпатии, которые я к вам питаю уже много, много лет. Почтительно кладу их к вашим ногам - такими же горячими и свежими, как в молодости.

Марк Твен.

Она - прелесть, не менее обаятелен был и сэр Генри Ирвинг {227}, недавно ушедший в лучший мир. Я познакомился с ними в Лондоне, тридцать четыре года назад, и с тех пор всегда относился к ним с глубоким уважением и симпатией.

СНОВА ОРИОН КЛЕМЕНС

На все посты, какие имел в своем распоряжении штат Невада, было по несколько кандидатов, - на все, кроме двух: сенатора Соединенных Штатов (губернатор Най) и Секретаря штата (Орион Клеменс). Кресло сенатора было Наю обеспечено, а что касается Ориона - все были так уверены, что он будет Секретарем, что других кандидатур даже не называли. Но в тот самый день, когда республиканская партия на своем съезде должна была выдвинуть кандидатов, его хватил очередной приступ праведности. Орион не пожелал и близко подойти к съезду. Никакие уговоры не помогли. Он заявил, что его присутствие может оказать давление на выборщиков, а это-де несправедливо и нехорошо; и что если его проведут - пусть это будет дар добровольный и незапятнанный. Такая позиция уже сама по

себе сулила провал, но в тот же день у него случился еще один приступ праведности, - и тут уж провал был ему гарантирован. В течение долгих лет у него было в обычае менять религию так же часто, как рубашку, а заодно менялись и его взгляды на спиртное. То он был убежденным и воинствующим трезвенником, то наоборот. В тот роковой день он внезапно перекинулся от весьма дружеского отношения к виски отношения, преобладавшего в наших краях, - к безоговорочному воздержанию. Он заявил, что капли в рот не возьмет. Друзья молили его, заклинали - все напрасно. Убедить его переступить порог кабака так и не удалось. На следующее утро в газете появился список кандидатов. Ориона в их числе не было: никто за него не голосовал.

Когда правительство штата пришло к власти, доходы Ориона прекратились. Никаких побочных занятий у него не было. Надо было что-то предпринимать. Он прибил у дверей вывеску с предложением адвокатских услуг, но клиенты не шли. Это было странно, необъяснимо. Я и сам не берусь это объяснить, могу только высказать предположение. Вероятно, Орион по свойству своей природы стал бы освещать всякое судебное дело так прилежно, добросовестно и беспристрастно, что после его речи ни сам он, ни присяжные не понимали бы, чью сторону он держит. И, вероятно, всякий клиент, впервые излагая ему свое дело, догадывался о таком свойстве его природы и вовремя исчезал, чтобы спасти себя от неминуемой беды.

Примерно за год до описанных здесь событий я поселился в Сан-Франциско. Однажды некий мистер Камп - отчаянный человек, то и дело наживавший целые состояния ловкими спекуляциями и через полгода, путем еще более ловких спекуляций, снова разорявшийся, - однажды этот мистер Камп посоветовал мне купить акции компании Хейл и Норкросс. Я купил пятьдесят акций по триста долларов. Купил на разницу, заплатив двадцать процентов все деньги, какие у меня нашлись. Я написал Ориону, что предлагаю ему половину акций и прошу выслать его долю денег. Потом стал ждать. Пришел ответ: Орион сообщал, что деньги вышлет. Акции быстро шли вверх, все выше и выше. Они достигли тысячи долларов. Долезли до двух тысяч, потом до трех, потом до шести. Деньги от Ориона не поступали, но я этим не смущался. Внезапно акции круто повернули и поскакали под гору. Тогда я забил тревогу. Орион в ответном письме сообщил, что уже давно выслал мне деньги - выслал на гостиницу "Оксиденталь". Я справился в гостинице, там денег не получали. Короче говоря, акции все падали, скатились ниже той цены, которую я за них платил, потом съели мой задаток, и вышел я из этой истории порядком обшипанный.

А когда было уже поздно, я узнал, что случилось с Орионовыми деньгами. Всякий нормальный человек выслал бы мне чек, а он выслал золото. Портье убрал его в сейф и позабыл о нем, и там оно все время и пролежало, злорадно ухмыляясь. Другой бы догадался мне сообщить, что деньги пошли не письмом, а посылкой, но Ориону это и в голову не пришло.

Позже мистер Камп еще раз хотел дать мне возможность разбогатеть. Он предложил купить нашу землю в Теннесси за двести тысяч долларов, часть заплатить наличными, а на остальное выдать долгосрочные векселя. Он предполагал выписать людей из винодельческих районов Европы, поселить их на этой земле и превратить ее в виноградники. Он знал мнение мистера Лонгворта о теннессийском винограде, оно вполне его устраивало. Я послал контракт и прочие бумаги Ориону на подпись - он был одним из трех наследников. Но бумаги пришли в неподходящий момент, неподходящий вдвойне: во-первых, Орион был временно обуян демоном трезвости, и он написал мне, что не желает содействовать распространению такого страшного порока, как пьянство, а во-вторых, как, мол ему знать, вполне ли справедливо и честно мистер Камп обойдется с этими бедными европейцами. Так, даже не дождавшись развития событий, он задушил сделку в зародыше, она погибла и с тех пор не воскресала. Земля, которая внезапно подскочила в цене до двухсот тысяч долларов, так же внезапно обрела свою прежнюю стоимость, равную нулю... плюс налоги. Налоги и другие издержки я платил уже несколько лет, но тут я махнул рукой на нашу землю в Теннесси и до вчерашнего дня больше не интересовался ею ни с финансовой, ни с какой

другой точки зрения.

До вчерашнего дня я предполагал, что Орион пустил ее по ветру всю до последнего акра, и такое же впечатление сложилось у него самого. Но вчера из Теннесси прибыл некий джентльмен и привез с собой карту, из которой явствует, что в прежних съемках была допущена ошибка и что из ста тысяч акров, оставшихся нам в 1847 году после смерти отца, тысяча акров в угольном районе все еще составляет нашу собственность. Джентльмен явился с предложением, а также привел с собой почтенного и богатого обитателя Нью-Йорка. Предложение сводилось к тому, что джентльмен из Теннесси продаст землю; что джентльмен из Нью-Йорка оплатит издержки и проведет судебные тяжбы, буде таковые возникнут; а вся прибыль, какая из этой сделки воспоследует, будет разделена поровну на три доли, из которых одна достанется джентльмену из Теннесси, вторая - джентльмену из Нью-Йорка, а третья - единственным оставшимся наследникам: Сэму Моффету, его сестре (миссис Чарльз Л. Уэбстер) и мне.

Теперь уж мы, надо надеяться, окончательно разделаемся с этой землей в Теннесси и больше никогда о ней не услышим. Она и возникла-то по недоразумению: отец мой взвалил ее на себя по недоразумению, потом по недоразумению свалил ее на нас, - и мне очень хочется как можно скорее одним махом разделаться со всеми этими недоразумениями и с остатками самого участка.

Я возвратился на Восток в январе 1867 года. Орион еще с год жил в Карсон-Сити. Потом он продал свой дом, который стал ему в двенадцать тысяч долларов, - продал вместе с обстановкой за три с половиной тысячи бумажными деньгами, то есть процентов на тридцать ниже номинала, - и они с женой отправились в Нью-Йорк пароходом в первом классе. В Нью-Йорке остановились в дорогом отеле; не жалея денег, обследовали город, а потом сбежали в Кеокук, куда и прибыли в таком же примерно полунищем состоянии, в каком пустились на Запад в июле 1861 года. В начале 70-х годов они явились в Нью-Йорк, - куда-то нужно было податься. После возвращения с Тихоокеанского побережья Орион все время старался зарабатывать адвокатурой, но к нему обратились только два клиента. Он должен был вести их дела бесплатно. Однако возможного исхода этих тяжб никто никогда не узнает, потому что оба раза стороны договорились между собой без его помощи, не доводя дела до суда.

Я купил матери дом в Кеокуке. Каждый месяц я давал ей определенную сумму денег и Ориону тоже. Жили они там все вместе.

Но потом, как я уже сказал, Орион перебрался с женой в Нью-Йорк и получил работу корректора в "Ивнинг пост" на десять долларов в неделю. Они сняли небольшую комнату, служившую и кухней, и жили в ней на его жалованье. Со временем Орион приехал в Хартфорд и просил меня пристроить его на работу в какую-нибудь газету. Так мне представился еще один случай испробовать мою систему. Я велел Ориону пойти в "Ивнинг пост" без всякого рекомендательного письма и предложить задаром мыть полы и убирать помещение, потому-де, что деньги ему не нужны, а нужна работа и что именно о такой работе он мечтает. Через шесть недель он уже работал редактором, получал двадцать долларов в неделю - и получал не зря. Вскоре его пригласила другая газета, на более высокую плату, но я велел ему пойти к своему начальству и рассказать об этом. Ему дали прибавку, и он остался в "Ивнинг пост". За всю жизнь он еще не знал такой приятной должности. Работа была нетрудная, достаток обеспеченный, но потом счастье ему изменило. Как и следовало ожидать.

В Ратленде, штат Вермонт, несколько богатых дельцов из республиканской партии затеяли издавать на паях газету и предложили Ориону место главного редактора с окладом три тысячи в год. Он сразу загорелся. Так же - нет, вдвое, втрое жарче - загорелась его жена. Я отговаривал его, умолял - все напрасно. Тогда я сказал:

- Ты просто тряпка. Они там живо в этом убедятся. Они поймут, что из тебя можно веревки вить, что с тобой можно обращаться, как с рабом. Ты выдержишь от силы полгода. После этого они не станут увольнять тебя, как джентльмена, они просто вышвырнут тебя на

улицу, как назойливого попрошайку.

Именно так и случилось. И Орион с женой снова отбыли в многострадальный, ни в чем не повинный Кеокук. Оттуда Орион написал, что к адвокатской практике не вернется, что ему для здоровья нужна деревенская жизнь и какое-нибудь занятие на свежем воздухе; что у его старика тестя имеется полоска земли на берегу реки, в миле от города, и на ней что-то вроде дома, и что он решил купить эту землю, разводить там кур и снабжать Кеокук курами, яйцами и, кажется, маслом - впрочем, я не уверен, разводят ли масло на куриной ферме. Он писал, что землю отдают за три тысячи долларов наличными, и я выслал ему эти деньги. Орион стал разводить кур и каждый месяц представлял мне подробный отчет, из которого явствовало, что ему удается сбывать своих кур жителям Кеокука по доллару с четвертью за пару. Однако из того же отчета явствовало, что вырастить эту пару стоит один доллар и шестьдесят центов. Ориона это, видимо, не смущало, так что и я не возражал. А он тем временем регулярно, из месяца в месяц, брал у меня займы по сто долларов. И вот как строг и неподкупен он был в делах, - а Орион не на шутку гордился своими деловыми способностями: едва получив в начале месяца аванс под эти сто долларов, он тут же присылал мне расписку и вместе с ней взятые из этих же денег проценты за три месяца (из расчета 6% годовых) со ста долларов, поскольку срок в расписках всегда указывался трехмесячный. Я их, конечно, не сохранял. Они ни для кого не имели ни малейшей ценности.

Так вот, он всегда присылал мне подробный отчет о прибылях и убытках от своих кур за истекший месяц - во всяком случае, об убытках - и еще включал в этот отчет все статьи расходов: корм для кур, шляпа для жены, башмаки для себя и так далее, вплоть до платы за проезд в поезде и еженедельных пожертвований, в сумме десяти центов, в пользу миссионеров, пытающихся обречь китайцев на вечный огонь по плану, которого они не одобряют. Но когда среди этих мелочей я обнаружил двадцать пять долларов за постоянную скамью в церкви, терпение мое лопнуло. Я велел ему переменить религию, а церковную скамью продать.

Пятница, 6 апреля 1906 г.

Этот наш дом - № 21 по Пятой авеню - стоит на углу Девятой улицы, в двухстах шагах от Вашингтон-сквер. Ему уже лет пятьдесят-шестьдесят. Строил его Ренвик, - тот, что построил католический собор. Дом большой, комнаты во всех этажах хорошие, просторные, но в них мало солнца.

Вчера я дошел до Вашингтон-сквер, свернул налево - посмотреть на дом, который стоит на углу Университетской площади. Я перешел на другую сторону, чтобы охватить взглядом весь фасад этого дома. Переходя улицу, я встретил какую-то женщину, и она, видимо, меня узнала, да и мне что-то в ее лице показалось знакомым. Я почувствовал, что она сейчас повернет обратно, подойдет и заговорит со мной, - и так оно и случилось. Эта женщина была небольшого роста, полная, с добрым и мягким лицом, но немолодая и некрасивая. Волосы у нее были совсем белые, одета она была опрятно, но бедно. Она сказала:

- Простите, вы не мистер Клеменс?

- Он самый, - отвечал я.

Она сказала:

- А где ваш брат Орион?

- Умер.

- А его жена?

- Умерла, - ответил я и добавил: - Я вас, по-моему, знаю, но никак не припомню, кто вы.

Она сказала:

- А помните Эту Бут?

Я знал в своей жизни только одну Эту Бут, и она мгновенно возникла передо мной, как живая. Словно она подошла и стала рядом с этой толстенькой старушкой - во всей красе и наивной прелести своих тринадцати лет, с тугими косами, в огненно-красном платье до

колен. Да, Этту я помнил отлично. И тут же передо мною возникло другое видение, и в центре его, на серо-черном фоне, как факел, горело платье этой девочки. Но видение не пребывало в неподвижности, в покое. Место действия - большая зала для танцев в каком-то на скорую руку сколоченном строении, не то в Голд-Хилле, не то в Вирджиния-Сити, Невада. Две-три сотни дюжих мужчин отплясывают с завидным усердием. И в этом вихре кружится и сверкает алое платье Этты; она единственная танцорка в этой мужской толпе. Ее мать - дородная, улыбающаяся - сидит одна у стены, как на троне, и с безмятежно-довольным видом взирает на всеобщее веселье. Она и Этта - единственные здесь представительницы своего пола. Часть мужчин изображает дам; левая рука у них повязана носовым платком - это их отличительный признак. Я с Эттой не танцевал, я тоже изображал даму. За поясом у меня торчал револьвер, как и у остальных дам, а также у кавалеров. Зала наша была всего лишь унылый сарай, освещенный сальными свечами в люстрах из боюночных обручей, подвешенных к потолку; и сало капало нам на головы. Было это в начале зимы 1862 года. И только через сорок четыре года наши с Эттой пути опять скрестились.

Я спросил про ее отца.

- Умер, - отвечала она.

Я спросил про ее мать.

- Умерла.

Еще вопрос - и я узнал, что она давно замужем, но детей у нее нет. Мы пожали друг другу руки и расстались. Она отошла шага на четыре, потом вернулась, глаза ее были полны слез, и она сказала:

- Я здесь чужая, далеко от всех друзей, да и друзей-то у меня осталось - по пальцам перечесть. Почти все умерли. Уж я вам расскажу свое горе. Кому-то я должна рассказать. Нет сил одной его нести, пока не притерпелась! Доктор мне только что сказал, что муж мой не сегодня-завтра умрет, а я и понятия не имела, что он так плох.

#### СНОВА ПРО ОРИОНА

Эксперимент с курами занял, сколько помнится, всего год, самое большое - два. Он обошелся мне в шесть тысяч долларов. Я думаю, что Орион был просто не б силах расстаться со своей фермой и что его тесть взял ее обратно из чистого самопожертвования.

Орион вернулся к адвокатской деятельности и, очевидно, тянул эту лямку с перерывами в течение следующей четверти века, но, насколько мне известно, адвокатом он только числился, клиентов же не имел.

Моя мать скончалась на восемьдесят восьмом году, летом 1890 года. Она скопила немного денег и завещала их мне, потому что от меня же их и получила. Я отдал их Ориону, он поблагодарил и добавил, что я достаточно долго его поддерживал, а теперь он снимет с меня это бремя и, более того, надеется выплатить мне ссуду частично, а может быть, и полностью. И вот он употребил материнские деньги на большую пристройку к дому с расчетом пускать жильцов и разбогатеть. Не будем останавливаться на этой его затее она тоже кончилась ничем. Жена Ориона очень старалась об успехе этого их предприятия, а уж если кто-нибудь мог тут добиться успеха, так это она. Она была хорошая женщина и вызывала всеобщую симпатию. Правда, непомерное тщеславие порядком ей вредило, но при своей практичности она непременно стала бы получать с пансиона солидный доход, не будь обстоятельства против нее.

У Ориона возникали и другие планы, как расплатиться со мной, но, поскольку они всегда требовали капитала, я их не поддерживал, и они не осуществлялись. Как-то он задумал издавать газету. Это была бредовая затея, и я, рискуя показаться грубым, пресек ее в корне. Потом он изобрел механическую пилу, сам кое-как ее соорудил и даже пилил ею дрова. Это была остроумная, толковая машина, она принесла бы ему немалые деньги, но в самый неподходящий момент провидение опять вмешалось и все испортило. Решив взять патент на свое изобретение, Орион обнаружил, что точно такая же машина уже запатентована, изготавливается и процветает.

Однажды штат Нью-Йорк назначил премию в 50000 долларов за проект парового катера для канала Эри. Орион работал над проектом два или три года, закончил его и снова был готов протянуть руку и схватить, казалось бы, верное богатство, но тут кто-то обнаружил в его проекте изъян: катер не годился для зимней навигации, а в летнее время его колеса поднимали бы такую волну, что смыли бы к черту штат Нью-Йорк по обоим берегам канала.

Не счесть всех планов, какие вынашивал Орион, изыскивая средства для уплаты мне долга. Планы эти возникали на протяжении тридцати лет и один за другим отпадали. И все эти тридцать лет Орион, известный своей неподкупной честностью, занимал почетные должности, связанные с сохранением чужих денег, но неоплачиваемые. Он был казначеем всех благотворительных обществ; ведал деньгами и прочим имуществом вдов и сирот; сберег чужие деньги до последнего цента и ни цента не нажил для себя. Всякий раз как он менял веру, новая церковь с радостью его принимала; его тут же ставили казначеем, и он тут же пресекал взяточничество и утечки. Свою политическую окраску он менял с такой легкостью, что все только диву давались. Вот какой курьез произошел однажды - он сам мне об этом написал.

В одно прекрасное утро он был республиканцем. В связи с предвыборной кампанией его попросили вечером произнести на митинге речь, и он согласился. Он приготовил свою речь. А после второго завтрака он стал демократом и согласился написать десяток зажигательных лозунгов для транспарантов, которые демократы должны были вечером нести во время факельного шествия. Над сочинением этих громких демократических лозунгов он просидел всю вторую половину дня, так что новая возможность переменить ориентацию представилась ему только вечером. И вот он произнес на митинге республиканцев пламенную речь, а в это самое время мимо несли его демократические транспаранты - к великой радости всех, кто при сем присутствовал.

Да, Орион был большой чудак, и, однако, несмотря на все его странности, его искренне любили повсюду, где бы он ни жил. И не только любили, но и уважали, потому что в самом деле это был благороднейший человек.

Лет двадцать пять тому назад, в одном из своих писем к Ориону, я подал ему мысль написать автобиографию. Я предлагал ему - пусть попробует рассказать в ней всю правду, не выставляя себя в одних только выигрышных положениях, а честно изложить все случаи своей жизни, какие он считает значительными, включая те, которые потому запечатлелись в его памяти, что он их стыдится. Я писал, что никто еще этого не делал и такая автобиография явилась бы весьма ценным литературным произведением. Я добавил, что предлагаю ему дело, на какое сам не способен, но буду лелеять надежду, что он с этим делом справится. Теперь мне ясно, что я пытался навязать ему невыполнимую задачу. Эту свою автобиографию я диктую ежедневно вот уже три месяца; за это время я вспомнил полторы, если не две тысячи случаев из своей жизни, которых стыжусь, и ни один из них пока не согласился быть перенесенным на бумагу. Вероятно, и к тому времени, когда я закончу автобиографию, - если такое время наступит, - этот запас останется непечатным. А если бы я и рассказал эти случаи, я, наверно, все равно бы их вычеркнул, когда стал бы просматривать книгу.

В 1898 году, когда мы жили в Вене, пришла телеграмма из Кеокука с извещением, что Орион умер. Ему было семьдесят два года. Холодным декабрьским утром он спустился в кухню, развел огонь и подсел к столу, чтобы записать что-то. Так он и умер - с карандашом в руке, застывшим на бумаге посередине недописанного слова, - значит, избавление от плена долгой, беспокойной, жалкой и никчемной жизни наступило быстро и безболезненно.

Понедельник, 9 апреля 1906 г.

[ПЕРЕПИСКА О ГЕКЕ ФИННЕ]

Нынче утром я получил письмо из Франции, от одной моей французской приятельницы. В письмо вложена газетная вырезка - телеграмма из Нью-Йорка:

Mark Twain Interdit

New-York. 27 mars. (Par depeche de notre correspondant particulier). Les directeurs de la bibliotheque de Brouklyn ont mis les deux derniers livres de Mark Twain a l'index pour les enfants au-dessous de quinze ans, les considerant comme malsains.

Le celebre humoriste a ecrit a des fonctionnaires une lettre pleine d'esprit et de sarcasme. Ces messieurs se refusent a la publier, sous le pretexte qu'ils n'ont pas l'autorisation de l'auteur de le fair\*.

---

\* Марк Твен под запретом.

Нью-Йорк, 27 марта. (По телеграфу от нашего специального корреспондента.) Правление Бруклинской библиотеки запретило выдавать детям моложе 15 лет две последние книги Марка Твена, поскольку считает их безнравственными.

Знаменитый юморист написал этим господам остроумное, полное сарказма письмо, которое они, однако, отказываются опубликовать, под тем предлогом, что не имеют на то разрешения автора (франц.).

Письмо мне пишет одна молодая девушка, которая живет в Сент-Дье, на родине Жанны д'Арк. Я никогда не видел эту девушку, но лет пять тому назад она мне написала, и с тех пор мы раза три-четыре в год обмениваемся дружескими письмами. Это свое письмо она заканчивает так:

"Меня очень удивила одна заметка в сегодняшней газете. Я ее вырезала, потому что сведения такого рода часто оказываются выдуманными; и если это один из таких случаев, пусть газетная вырезка послужит мне оправданием. Мой дорогой, никогда не виданный друг, позвольте мне улыбнуться! Я, конечно, не допускаю и мысли, чтобы эта заметка могла Вас огорчить. Во Франции в ответ на подобную меру все тотчас бросились бы покупать эти книги; я и сама решила купить их, в первый же раз как буду проездом в Париже, и не сомневаюсь, что они окажутся такими же нравственными, как и все, что Вы пишете. Я хорошо знаю Ваше перо. Я знаю, что Вы макаете его только в чистые, незамутненные чернила".

Теперь я хочу вернуться к этой газетной заметке. Содержащиеся в ней сведения не совсем точны, но в общем близки к истине. "Гек Финн" и "Том Соьер" - не последние мои книги. "Тому" перевалило за тридцать, "Гек" существует уже двадцать один год. Двадцать один год тому назад, когда Гек вышел в свет, публичная библиотека в Конкорде, штат Массачусетс, в праведном гневe выкинула его со своих полок - во-первых, за то, что он врал, а во-вторых, за то, что, после долгих раздумий и тщательно взвесив все за и против, он принял решение по трудному вопросу и заявил, что, если нужно либо предать Джима, либо отправиться в ад, он лучше отправится в ад, - такого кощунства конкордские пуристы стерпеть не могли.

После этой катастрофы Гека оставили в покое на шестнадцать или семнадцать лет. Потом его выкинула публичная библиотека в Денвере. После этого подобная беда стряслась с ним лишь четыре или пять месяцев назад, то есть в ноябре прошлого года. Вот какое я тогда получил письмо:

Бруклинская публичная библиотека,  
отделение Шипсхед-Бей.  
Шор-Роуд, 1657.  
Бруклин, Нью-Йорк, 19 ноября 1905 г.  
Уважаемый сэр!

На днях мне довелось присутствовать на собрании библиотекарей из детских залов Бруклинской публичной библиотеки. В ходе собрания выяснилось, что в некоторых из этих залов имеются экземпляры "Тома Соьера" и "Гекльберри Финна". Услышав это, заведующая детским отделом - очень добросовестная и преданная своему делу молодая женщина - была крайне шокирована и тотчас распорядилась, чтобы эти книги были переданы в отдел для взрослых. Тут я смиренно покаялся, что читал "Гекльберри Финна" вслух моим беззащитным слепым, безотносительно к их возрасту, цвету кожи и прежнему рабскому состоянию. Я

также напомнил собранию, какой отзыв дал об этой книге Брандер Мэтьюз, и добавил, что самому мне ни одна из когда-либо прочитанных мною книг не доставляла столько радости, а чтение - величайшая радость моей жизни. Такая горячая защита с моей стороны вызвала много споров и критики, из которой явствовало, что, по мнению большинства присутствующих, Гек - не правдивый мальчик и говорит "взопрел", когда следовало бы сказать "покрылся испариной". В конце концов было решено снова обсудить эти книги в начале января, и я был особо приглашен присутствовать на этом собрании. Когда я на днях увидел Вас на спектакле "Питер Пэн" {239}, мне подумалось, что, может быть, Вы, поскольку Вы знакомы с Гekom не хуже моего (лучше знать его и больше любить, чем я, невозможно), согласитесь подсказать мне несколько слов в оправдание его нравственного облика, хоть он и "не породистой дворняжки".

Я очень прошу Вас считать это мое письмо конфиденциальным, независимо от того, найдется ли у Вас время на него ответить: по вполне понятным причинам мне не хотелось бы навлечь насмешки, презрение и упреки на учреждение, которое платит мне жалованье.

С совершенным почтением

Аза Дон Дикинсон

(Зав. отделом для слепых

и отделением Шипсхед-Бей

Бруклинской публичной библиотеки).

Это было сугубо секретное письмо. Автора его я не знал, но, судя по письму, решил, что это человек верный и что я могу ответить ему столь же секретным письмом, не опасаясь, что преступное содержание его станет известно и попадет в газеты. 21 ноября я ему написал:

Пятая авеню, 21

21 ноября 1905 г.

Дорогой сэръ!

Ваши слова повергли меня в великое смущение. Я писал "Тома Соьера" и "Гека Финна" исключительно для взрослых, и меня всегда до крайности огорчает, когда я узнаю, что они попали в руки мальчикам и девочкам. Душу, загрязненную в юности, уже никогда не отмыть добела; я знаю это по собственному опыту, и до сего дня у меня осталось чувство горечи по отношению к тем, кто призван был охранять мои юные годы, а вместо этого не только разрешил мне, но заставил меня прочесть от первой до последней страницы полный текст библии еще до того, как мне исполнилось пятнадцать лет. После такого ни один человек до конца своих дней не может очиститься от греховных мыслей. Спросите свою заведующую - она Вам скажет то же самое.

Мне от души хотелось бы выступить в защиту нравственного облика Гека, поскольку Вы об этом просите, но, уверяю Вас, на мой взгляд, он ничем не лучше Соломона, Давида, Сатаны и прочей священной братии.

Если у Вас в детском отделе имеется полный текст библии, пожалуйста, помогите этой молодой особе убрать Тома и Гека из столь сомнительной компании.

Искренне Ваш С.Л.Клеменс

Ваше письмо я никому не покажу - можете на меня положиться.

Несколько дней спустя я получил следующее послание, очень меня порадовавшее:

Бруклинская публичная библиотека,

отделение Шипсхед-Бей.

Шор-Роуд, 1657.

Бруклин, Нью-Йорк, 23 ноября 1905 г.

Уважаемый сэръ!

Ваше письмо получил. Меня удивило, что, по Вашему мнению, Том и Гек могут оказать вредное влияние на мальчиков и девочек. Но меня порадовало, что Вы все же не ставите их на одну доску с библейскими распутниками. Я знаю одного мальчика, который познакомился с Гekom в 1884 году, в возрасте восьми лет, и с тех пор поддерживает с ним самые близкие отношения, и уверяю Вас, эта двадцатилетняя дружба ни капли ему не



повредила. Напротив, он всегда будет благодарен отцу Гека - я не имею в виду "папашу" - за долгие часы, проведенные с ним и с Джимом, - часы, когда забывались и болезнь и горе.

"Гекльберри Финн" - первая книга, которую я выбрал, чтобы прочесть моим слепым (боюсь, не из эгоистических ли побуждений), и ни одна другая книга из тех, что я читал им впоследствии, не доставила им столько невинной радости.

Благодарю Вас за ответ - я почти не надеялся на такую любезность с Вашей стороны - и остаюсь

С искренним уважением

Аза Дон Дикинсон.

Четыре месяца прошли спокойно. А потом - взрыв! В один прекрасный день ко мне потоком хлынули репортеры. Они с утра до ночи осаждали мою секретаршу. Разумеется, им было сказано, что я лежу в постели. Я всегда лежу в постели. Секретарша забаррикадировала лестницу. Они рвались увидеть меня хотя бы на минутку, но она не пропустила ни одного. По их словам, стало известно, что я написал письмо Бруклинской публичной библиотеке; что письмо это злое и очень для них ценное, что им необходима копия. А в правлении Бруклинской библиотеки им, видите ли, сказали, что там в глаза не видели такого письма и услышали-то о нем только теперь, когда репортеры стали его требовать. Из этого я заключил, что мой корреспондент - он работал не в основной библиотеке, а в одном из отделений - честно хранит тайну, и предположил, что он будет хранить ее и впредь, как ради меня, так и ради себя. Ведь это письмо, если бы предать его огласке, грозило мне страшным скандалом, но и ему бы досталось по первое число. Потому я и был почти уверен, что он меня не выдаст, - себе дороже!

Для моей секретарши это был нелегкий день, я же от души наслаждался. Она ни словом, ни намеком не проговорила о том, что это было за письмо; она утихомирила этих молодчиков, и они ушли не солоно хлебавши.

На следующий день шторм возобновился, но я сказал ей - пусть не унывает: человеческая природа возьмет свое, и мы победим. Где-нибудь произойдет землетрясение, или у нас здесь затеют муниципальную свару, или в Европе возникнет угроза войны - какая-нибудь сенсация наверняка отвлечет репортеров от дома 21 по Пятой авеню хотя бы на сутки, а больше нам ничего и не требуется: они успеют забыть об этом письме, и мы вздохнем спокойно.

Я не сомневался, что очень скоро газетчики нападут на верный след, и написал мистеру Дикинсону, чтобы он в случае чего молчал как устрица. Я велел ему держаться осмотрительно и разумно. Вот его ответ от 28 марта:

Бруклинская публичная библиотека,  
отделение Бей-Ридж,  
уг. Семьдесят третьей улицы и Второй авеню.

Бруклин, Нью-Йорк, 28 марта 1906 г.

Дорогой мистер Клеменс!

Только что получил Ваше письмо от 26-го сего месяца. Как видите, меня перевели в другое отделение, поэтому письмо попало ко мне с запозданием.

Я пытаюсь держаться осмотрительно и разумно и очень благодарен Вам за то, что Вы молчите. Наша бедная старая Б.П.Б. так прославилась, что сама не рада. Третьего дня вечером, услышав по телефону голос моего шефа, я уж подумал, что мне не сносить головы. Но вчера, мне кажется, эта буря в стакане воды уже стала его забавлять.

Я вчера возвратился домой в 11.30 вечера. На крыльце, прислонившись головой к косяку, сидел корреспондент "Геральда". Он ждал меня с половины восьмого и сказал, что охотно просидит здесь до утра, если утром я хоть приблизительно изложу ему Ваше письмо. Но я держался разумно и осмотрительно.

На январском собрании было постановлено - не держать Тома и Гека в детских отделах, рядом с "Серебряным прииском маленькой Нелли" и "Домиком Дотти Димпла". Но книги эти никоим образом не "изъяты". Они будут стоять на открытых полках, среди

беллетристики для взрослых, а читать таковую детям разрешается.

С нетерпением жду завтрашнего вечера, когда увижу и услышу Вас в "Уолдорфе". Поскольку я ношусь с сумасшедшим планом - создать общенациональную библиотеку для слепых, - они там снизили до того, что предоставили в мое распоряжение несколько лож. Я надеюсь, что придет и упомянутая Вами "молодая особа" - заведующая детским отделом, и еще кое-кто из сотрудников Б.П.Б.

Мне очень жаль, что из-за меня Вам причинили столько беспокойства репортеры, но не тревожьтесь - я не сказал и не скажу им ни слова о содержании Вашего письма. А Вы уж не ябедничайте на меня, хорошо?

С совершенным почтением  
Аза Дон Дикинсон.

На следующий день я познакомился с ним в "Уолдорфе", где мы с Чоутом огласили наше воззвание о помощи слепым, и он оказался очень надежным и во всех отношениях приятным человеком.

Теперь, с получением весточки из Франции, инцидент, надо полагать, исчерпан; в Англии на эту тему пошумели две-три недели тому назад, и в Германии тоже. Когда Гека Финна не трогают, он мирно бредет своей дорогой, время от времени то тут, то там калеча душу какому-нибудь ребенку; но это не страшно - в раю детей и без того будет предостаточно. Настоящий вред он приносит только тогда, когда благонамеренные люди принимают его разоблачать. В такие периоды он сеет в детских душах ужас и смятение и уж тут не упускает случая - вредит сколько может. Будем надеяться, что со временем люди, действительно пекущиеся о подрастающем поколении, наберутся ума и оставят Гека в покое.

21 мая 1906 г.

[СКАЧУЩАЯ ЛЯГУШКА]

Моя литературная карьера началась в январе 1867 года. Я приехал из Сан-Франциско в Нью-Йорк в январе, и вскоре Чарльз Уэбб{244}, которого я знал в Сан-Франциско репортером "Бюллетеня", а потом издателем "Калифорниен", предложил мне издать сборник рассказов. Я еще не пользовался такой известностью, чтобы стоило издавать сборник, однако пришел в восторг и настолько пленился этим предложением, что дал свое согласие, если какой-нибудь энергичный человек избавит меня от труда собирать рассказы. У меня не было никакого желания делать это самому: с первых дней моего существования я ощущал пустоту на том месте, где полагается быть трудолюбию.

Уэбб сказал, что я пользуюсь некоторой известностью на Атлантическом побережье, но я очень хорошо знал, что эта известность не так уж велика. Да и вся-то она основывалась на рассказе "Скачущая лягушка". Когда Артимес Уорд{244} проезжал по Калифорнии в 1865 или 1866 году и остановился в Сан-Франциско, где он должен был прочитать несколько лекций, я рассказал ему анекдот о скачущей лягушке, и он попросил меня записать его и послать в Нью-Йорк издателю Карлтону для пополнения маленькой книжки, которую Уорд подготовил к печати и которая была несколько маловата для назначенной за нее цены.

Издатель получил рассказ вовремя, но не одобрил его и не пожелал тратиться на набор. Однако он не бросил рассказ в корзинку, а подарил его Генру Клаппу, а Клапп решил подать его на похоронах своей газеты "Сэтердей пресс", находившейся при последнем издыхании. "Скачущая лягушка" появилась в последнем номере этой газеты и была перепечатана газетами Америки и Англии. Она, конечно, стала широко известна и пользовалась еще известностью в то время, о котором я пишу, но я отлично сознавал, что знаменита только лягушка, но не я. Я был все еще неизвестен.

Уэбб взялся составить сборник моих рассказов. Проделав эту работу, он передал сборник мне, и я понес его Карлтону. Я подошел к одному из продавцов, и тот с живостью перегнулся через прилавок, осведомляясь, что мне угодно, но, узнав, что я желаю продать, а не купить книгу, он сразу охладел на шестьдесят градусов, и я чуть не замерз около него. Я робко спросил, нельзя ли мне переговорить с мистером Карлтоном, и мне холодно ответили, что он у себя в кабинете. Тут оказалось много всяких затруднений и препятствий, но я все же

перешагнул через этот барьер и попал во святая святых. Ах да, теперь припоминаю, как мне это удалось! Свидание с Карлтоном устроил мне Уэбб, иначе я никогда не перебрался бы через барьер. Карлтон встал и сказал резко и недружелюбно: "Ну-с, чем могу быть полезен?"

Я напомнил ему, что меня пригласили для переговоров об издании моей книги. Он начал надуться на моих глазах, все надувался и надувался - до тех пор, пока не приобрел размеров божества второй или третьей величины. Потом забили фонтаны красноречия, и две-три минуты я не видел его за водяной завесой. Это были слова, только слова, но они лились таким потоком, что затмили дневной свет. Наконец он сделал внушительный жест правой рукой, обведя ею всю комнату, и сказал: "Взгляните на эти полки. Все они полны книг, которые ждут издания. Вы думаете, мне нужны еще книги? Простите, мне они не нужны. Будьте здоровы".

Прошел двадцать один год, прежде чем я снова увидел Карлтона. Тогда я жил с семьей в отеле Швейцергоф, в Люцерне. Он явился ко мне, дружески пожал мне руку и сказал без всяких предисловий: "Я, конечно, человек ничем не замечательный, но за мной числится такой поразительный поступок, что я, несомненно, заслуживаю бессмертия: я отказался напечатать вашу книгу и этим поставил себя вне конкуренции, как один из первых ослов девятнадцатого столетия".

Лучше нельзя было извиниться, и я ему это сказал; а еще сказал, что я долго ждал случая отомстить ему, но что такая месть для меня слаще всякой другой и что в течение двадцати одного года я убивал его по нескольку раз в год, и каждый раз по-новому, и с каждым разом все мучительнее, но что теперь я умиротворен, счастлив и доволен, даже ликую, и что с этих пор я буду считать его истинным и верным другом и больше не стану его убивать.

Я рассказал о своей неудаче Уэббу, и он мужественно ответил, что все Карлтоны в мире не помешают напечатать книгу, что он издаст ее сам и возьмет с меня только десять процентов прибыли. Так он и сделал. Он выпустил очень хорошенькую книжечку, синюю с золотом. Кажется, она у него называлась "Знаменитая скачущая лягушка округа Калаверас" и другие рассказы", цена 1 доллар 25 центов. Он заказал клише, набор и переплеты в типографии и продал ее "Америкен ньюс компани".

В июне я отплыл в путешествие на пароходе "Квакер-Сити" {246}. Вернулся я в ноябре и нашел в Вашингтоне письмо от Блисса {246} из "Америкен паблишинг компани" в Хартфорде, в котором он мне предлагал пять процентов с книги, описывающей наши приключения, или десять тысяч долларов наличными по представлении рукописи. Я посоветовался с А.Д.Ричардсоном {246}, и он сказал: "Берите проценты". Я послушался и заключил договор с Блиссом. По договору я обязан был представить рукопись в июле 1868 года. Я написал книгу в Сан-Франциско и представил рукопись в срок. Блисс приготовил множество иллюстраций к книге и на этом успокоился. Срок издания книги по договору давно истек, но я не получал по этому поводу никаких объяснений. Время шло, а объяснений все не было. Я уехал в лекционное турне по Америке и в среднем по тридцати раз в день должен был отвечать на вопрос: "Когда же выйдет ваша книга?" Мне надоело изобретать все новые ответы на этот вопрос, а в конце концов ужасно надоел и самый вопрос. Тот, кто его задавал, сразу становился моим смертельным врагом, и я обычно несколько этого не скрывал.

Освободившись от лекций, я сейчас же поспешил в Хартфорд, узнать, в чем дело. Блисс сказал, что он тут ни при чем. Он хотел бы напечатать книгу, но директоры компании - упрямые старые чудачки; они опасаются. Они просматривали книгу, и большинство из них того мнения, что в книге имеются пассажи юмористического характера. Блисс сообщил мне, что их фирма никогда не издавала книг, внушающих подобного рода опасения, что директоры опасаются, как бы такая попытка не повредила репутации издательства, и что он связан по рукам и по ногам и не сможет выполнить нашего договора.

Один из директоров, мистер Дрейк, или остатки того, что было когда-то мистером Дрейком, пригласил меня покататься с ним в кабриолете, и я поехал. Это была трогательная

старая развалина, и то, что он говорил, было тоже трогательно. Дело было весьма щекотливое, и он довольно долго собирался с духом, прежде чем приступить к разговору, но наконец все-таки собрался. Он объяснил, в каком затруднении и отчаянии находится фирма, о чем я уже слышал от Блисса. Потом он уже без всяких околичностей попросил меня пожалеть его и фирму: взять обратно "Простаков за границей" и освободить издательство от договора. Я сказал, что на это не согласен, - тем и кончились разговор и катанье в кабриолете.

Затем я предупредил Блисса, чтобы он брался за дело, иначе я подниму шум. Он внял предупреждению и пустил книгу в набор, а я прочел гранки. Потом опять долгое ожидание - и никаких объяснений. К концу июня (кажется, 1869 года) я потерял всякое терпение и телеграфировал Блиссу, что если книга не появится в продаже через двадцать четыре часа, то я взыщу с него судом за убытки. Куда девались все помехи! Около десятка экземпляров были переплетены и появились в продаже в указанный мною срок. Потом книгу начали расхватывать, спрос на нее все повышался и повышался. Через десять месяцев книга оплатила все долги фирмы, тираж ее был увеличен с двадцати пяти до двухсот тысяч, и она дала семьдесят тысяч долларов чистой прибыли. Так сказал мне Блисс, и если это была правда, то за свои шестьдесят пять лет он в первый раз сказал правду. Он родился в 1804 году.

23 мая 1906 г.

[АМЕРИКЕН ПАБЛИШИНГ КОМПАНИ]

Но вернемся к Уэббу. Когда я в ноябре 1867 года вернулся из путешествия на "Квакер-Сити", Уэбб сообщил мне, что "Скачущая лягушка" принята прессой очень благосклонно и, по его мнению, раскупается довольно бойко, но что он никак не может получить отчетную ведомость от "Америкен ньюс компани". Он сказал, что эта книга для него прямо горе, так как он печатал ее на свои личные средства, а теперь не может вернуть своих денег из-за того, что "Ньюс компани" уваливает и вообще ведет себя нечестно.

Я искренне огорчился за Уэбба, огорчился тем, что он потерял свои деньги, оказав мне дружескую услугу, а до некоторой степени и тем, что он не может выплатить мне мою долю.

Я заключил договор на "Простаков за границей" с "Америкен паблишинг компани". Потом, два-три месяца спустя, мне пришло в голову, что я нарушаю контракт: в нем был один пункт, по которому мне не разрешалось в течение года печатать мои книги в других издательствах. Разумеется, это не касалось тех книг, которые вышли из печати до заключения договора. Это известно всякому. А вот Мее не было известно, ибо я не имел обыкновения знать то, что следует знать, а также не имел обыкновения спрашивать других о том, чего не знаю.

По своему невежеству, я решил, что нарушаю договор с Блиссом и что, как порядочный человек, я обязан навсегда изъять "Скачущую лягушку" из печати. С этой просьбой я и обратился к Уэббу. Он был согласен сделать по-моему на следующих условиях: 1) если я уступлю ему ту долю прибыли, которая причиталась мне; 2) если я уступлю ему безвозмездно все экземпляры "Скачущей лягушки", какие остаются на руках у "Ньюс компани", переплетенные и непереpletенные; 3) если я вручу ему восемьсот долларов наличными; а кроме того, он сам присмотрит за тем, чтобы матрицы были разбиты, и за эту услугу получит их стоимость, как за типографский лом. Металлический лом стоил десять центов фунт, а всего там набралось около сорока фунтов. Судя по этим деталям, Уэбб был не лишен коммерческих способностей.

После этого Уэбб надолго ускользнул из поля моего зрения. Тем временем случай столкнул меня с директором "Америкен ньюс компани", и я спросил его, чем кончились нелады Уэбба с издательством. Он ответил, что в первый раз слышит о каких-то неладах. Тогда я объяснил ему, что Уэбб ни разу не мог ничего получить с издательства. Он сказал, что компания в положенное время аккуратно посылала Уэббу отчеты с приложением соответствующего чека. Он пригласил меня в контору, и из книги ведомостей я убедился, что он говорил правду. Уэбб с самого начала регулярно получал свою и мою долю и клал

деньги в карман. К тому времени, когда мы с Уэббом произвели расчет, он был мне должен шестьсот долларов. Переплетенные и непереплетенные экземпляры "Скачущей лягушки", которые тогда перешли к нему от меня в наследство, были впоследствии проданы, и деньги эти он тоже положил себе в карман. В эту сумму входили и остальные шестьсот долларов, которые причитались мне по условию.

Короче говоря, теперь я был писатель, и писатель не совсем безвестный, писатель, который выпустил в свет книгу, и - не разбогател от этого. Я был писатель, которому первая книга стоила тысячу двести долларов непополненных процентов, восемьсот долларов кровных денег и три доллара шестьдесят центов за разбитые матрицы, проданные на вес. С этой минуты я решил, что Уэбб больше издавать моих книг не будет, разве только если мне удастся выпросить денег взаймы на такую дорогую прихоть.

После напечатания "Простаков за границей" я приобрел, хотя и не сразу, некоторую известность, и Уэбб имел возможность уведомить публику сначала, что это он меня открыл, а потом - что это он меня создал. Было единогласно решено, что я представляю собой весьма ценное приобретение для американского народа и литературы и что за это приобретение народ и литература должны питать к Уэббу глубочайшую признательность.

Мало-помалу Уэбб и его высокие заслуги были забыты. Тогда на сцену выступил Блисс и "Америкен паблшинг компани" и установили непреложный факт, что это они меня открыли, потом - что это они меня создали, - и, следовательно, опять нужно было выражать благодарность. С течением времени нашлись и еще претенденты на эту важную заслугу. Они появлялись то в Калифорнии, то в Неваде, то в других местах, так что я наконец должен был убедиться, что меня открывали и создавали такое множество раз, как ни одно другое творение рук божиих.

Уэбб верил в то, что он литератор. Быть может, ему удалось бы заразить этим суеверием весь мир, если бы он сам не испортил дела тем, что напечатал свои произведения. Они его выдали с головой. Проза была у него умилительно младенческая, стихи - немногим лучше; однако он продолжал жевать эту жвачку, пока не умер от умственного переутомления два года тому назад. Человек он был пустой, а по натуре и воспитанию - мошенник. Как лжец он был еще туда-сюда и врал не без успеха, но и тут не выдвинулся, потому что был современником Элиша Блисса, а когда дело доходило до вранья, Блисс мог затмить и стереть с лица земли целый континент Уэббов.

Около 1872 года я написал еще одну книгу - "Налегке". С "Простаков" я получал пять процентов прибыли, что равнялось двадцати двум центам за каждый экземпляр. Теперь я получил несколько предложений от солидных фирм. Одна предлагала пятнадцать процентов, другая отдавала мне всю прибыль и довольствовалась популярностью, которую ей должна была принести моя книжка. Я послал за Блиссом, и он приехал в Элмайру. Если б тогда я смыслил в издательском деле столько, сколько смыслю теперь, я потребовал бы с него семьдесят пять или даже восемьдесят процентов чистой прибыли, и это было бы только справедливо. Но я решительно ничего не понимал в этом деле, а спросить у кого-нибудь поленился. Я сказал Блиссу, что не желаю расставаться с его фирмой и что каких-нибудь особенных условий мне не нужно. Я сказал, что, по-моему, мне следовало бы получать половину чистой прибыли, и Блисс с энтузиазмом ответил, что я совершенно прав, совершенно прав.

Он вернулся к себе в гостиницу, составил там договор и на другой день привез его ко мне на дом. В нем я наткнулся на сюрприз. Там было сказано не "половина прибыли", а "семь с половиной процентов с цены каждого проданного экземпляра". Я попросил его объяснить, в чем дело. Я сказал, что мы договаривались не так. Он ответил: "Да, не так", но он изменил редакцию и поставил семь с половиной процентов, чтобы упростить дело: семь с половиной процентов с экземпляра и составят ровно половину прибыли; впрочем, если будет продано больше ста тысяч экземпляров, то доля издательства будет чуть-чуть больше моей.

У меня оставались некоторые сомнения и подозрения, и я спросил: может ли он в этом поклясться? Он моментально поднял руку и поклялся, повторив слово в слово все то, что он

только что сказал.

Только через девять или десять лет я догадался, что клятва эта была ложная и что семь с половиной процентов не составляли и четверти всей прибыли. За это время Блисс издал несколько моих книг и, разумеется, на каждой из них меня щедро обсчитывал.

В 1879 году я вернулся из Европы с готовой для печати книгой "Пешком по Европе". Я пригласил Блисса, и он явился ко мне на дом для переговоров об этой книге. Я сказал, что не доволен условиями, что не могу поверить, будто бы семь с половиной процентов с экземпляра составят половину прибыли, и что на этот раз он должен написать в договоре: "половина прибыли", не упоминая ни о каких процентах с экземпляра, иначе я отнесу книгу в другое издательство. Он сказал, что совершенно со мной согласен, что так и следует, что это только справедливо и что, если его директора не согласятся и будут против, он сам уйдет из издательства и напечатает книгу на свои средства; все это было очень мило, но я знал, что он - хозяин в издательстве и что там примут всякий договор, на котором стоит его подпись. Договор лежал на бильярде, скрепленный его подписью. С тех пор как были изданы "Простаки за границей", он на своих директорах просто верхом ездил и не раз говорил мне, что заставляет их делать так, как он хочет, угрожая им, что уйдет из издательства и я уйду вместе с ним.

Не понимаю, как это взрослый человек может быть таким простодушным и наивным, как я в то время. Должно же было мне прийти в голову, что если человек говорит подобные вещи, то или он сам дурак, или меня считает за дурака. Да я и был дураком. И потому даже самые простые, элементарные истины были мне недоступны.

Я заметил ему, что едва ли компания будет возражать против договора, который уже подписан им. Тогда он, улыбнувшись своей беззубой улыбкой, указал мне на одну подробность, которую я упустил из виду: что это договор с мистером Блиссом, частным лицом, и "Америкен пубблишинг компани" в нем не упоминается.

Впоследствии он говорил мне, что показал договор директорам и заявил, что передаст его компании за четверть прибыли с книги, при условии, что ему и его сыну Фрэнку повысят жалованье; но если эти условия неприемлемы, он уйдет из компании и напечатает книгу сам; тогда директора согласились на его требования и утвердили договор. Все это я слышал от самого Блисса, чем неопровержимо доказывается, что все это враки. За полтора месяца до выхода книги из печати Блисс в первый раз в жизни сказал правду, чтобы посмотреть, что из этого получится, но не вынес этого и умер.

Через три месяца после того, как книга вышла в свет, состоялось общее собрание акционеров компании, на котором присутствовал и я как участник в прибылях. Собирались в доме моего соседа Ньютона Кейза, который был директором компании с самого ее основания. Прочитали отчет о деятельности компании, и для меня он явился откровением. Было продано шестьдесят четыре тысячи экземпляров книги, и моя половина прибыли составляла тридцать две тысячи долларов. В 1872 году Блисс высчитал, что семь с половиной процентов с экземпляра, то есть около двадцати двух центов, составляют именно половину прибыли, тогда как в то время это была не половина, а что-то около одной шестой. Теперь времена были далеко не так хороши, но и то половина прибыли составляла пятьдесят центов с экземпляра.

Итак, Блисс умер, и я не мог разделаться с ним за десятилетний обман. Теперь вот уже двадцать пять лет, как он умер. Моя злоба поблекла и испарилась. Я чувствую к нему только сострадание и, если бы можно было, послал бы ему в подарок веер.

Когда баланс разоблачил передо мной все подлости, которые я терпел от "Америкен пубблишинг компани", я встал и сделал внушение Ньютону Кейзу и остальным заговорщикам - то бишь остальным директорам.

24 мая 1906 г.

[ДЖЕЙМС Р. ОСГУД{252}]

Теперь-то мне и представился удобный случай восстановить свои права и посчитаться с издательством, но я, разумеется, упустил его. Я вообще замечал удобный случай только

тогда, когда он уже был упущен. Теперь я знал об издательстве все, что надо было знать, и мне следовало сохранить с ним отношения. Мне следовало взимать с прибылей налог в свою пользу до тех пор, пока разница между половиной прибыли и семью с половиной процентами не очутилась бы у меня в кармане и грабеж, учиненный фирмой, не свелся бы таким образом к нулю. Но мне, конечно, и в голову не приходила такая разумная мысль, и я этого не сделал. Я только о том и думал, как бы спасти мою репутацию, не запятнать ее об этих грязных дельцов. Я решил взять все мои книги из издательства и передать их кому-нибудь другому. Через некоторое время я отправился к Ньютону Кейзу, - опять к нему на дом, - и потребовал, чтобы компания расторгла со мной договор и вернула мне все мои книги без всякого выкупа, оставив себе в качестве вознаграждения только те деньги, которые она нажила с "Налегке", "Позолоченного века", "Новых и старых рассказов" и "Тома Сойера".

Мистер Кейз протестовал против моей манеры выражаться, но я сказал, что мягче выражаться я не в состоянии, что я совершенно уверен в том, что и остальные ученики воскресной школы знали о том, как надул меня Блисс, знали с самого начала, еще в 1872 году, и молчали в знак согласия. Ему не понравилось, что я назвал совет директоров воскресной школой. А я сказал, что в таком случае пусть не открывает каждое заседание молитвой, особенно когда собирается обставить какого-нибудь автора. Я ожидал, что мистер Кейз отвергнет обвинение в попустительстве и преступном молчании, что он будет возмущен, но этого не случилось. Тогда я убедился, что обвиняю его не напрасно, повторил свои слова и наговорил немало комплиментов его духовной семинарии. Я сказал: "Вы вложили семьдесят пять тысяч долларов в эту лавочку, и за это вас постоянно хвалят, а мою долю в этом благом деле обходят молчанием, а ведь тут есть и моя доля, потому что из каждого доллара, который вы кладете себе в карман, несколько центов украдено у меня". Он даже не поблагодарил меня за комплимент. В этом человеке не было ни капли чуткости и отзывчивости.

В конце концов я предложил выкупить свои договора, но он сказал, что мое предложение совет безусловно не утвердит, потому что компания на девять десятых живет моими книгами и если их изъять, то оборот компании будет самый ничтожный. Впоследствии судья Имярек (фамилии не помню), один из директоров, говорил мне, что я не ошибся, что совет был с самого начала отлично осведомлен о всех мошеннических проделках Блисса, о том, как он меня обсчитывает.

Я уже говорил, что мне надо было не порывать с компанией, а просто урегулировать наши счета. Но я этого не сделал. Я поторопился уйти и унести мою нравственную чистоту из этой порочной атмосферы. Следующую свою книгу я отдал издательству Джеймса Р. Осгуда в Бостоне, бывшему "Филд, Осгуд и К°". Книга эта была "Жизнь на Миссисипи". Осгуд должен был напечатать книгу, выпустить ее в свет по подписке и взять известный процент с каждого экземпляра за услуги.

Осгуд был самое милое и доброе существо, какое только можно найти на нашей планете, но он ровно ничего не смыслил в издании книг по подписке и погубил все дело. Он был чрезвычайно общителен, и мы часто играли с ним на бильярде и веселились дни и ночи напролет. А тем временем его служащие работали за нас, и, кажется, ни он, ни я даже не поинтересовались, как и что они там делали. Книга готовилась очень долго, и только когда из моего кошелька был извлечен последний взнос, я сообразил, что на издание этой книги я потратил пятьдесят шесть тысяч долларов. Блисс составил бы на эти деньги целую библиотеку. Прошел год, пока пятьдесят шесть тысяч вернулись в мой карман, а после этого я вряд ли получил несколько долларов. Так эта первая попытка вести дела на свой страх и риск сказалась неудачной.

Осгуд сделал еще одну попытку. Он издал "Принца и нищего". Книга вышла прекрасная, но я получил с нее всего семнадцать тысяч долларов прибыли.

После этого Осгуд решил, что будет иметь успех, если пустит книгу в розничную продажу. Это дело он знал с детства. Его очень огорчила неудача с подписным изданием, и

ему хотелось попробовать еще раз. Я дал ему сборник "Похищение белого слона", куда вошли главным образом ничего не стоящие рассказы. Я предложил пари, что за полгода ему не продать и десяти тысяч экземпляров, и он согласился на это пари: ставка была пять долларов. Он ее выиграл, но с трудом, едва-едва. А все-таки я, кажется, напрасно считаю, что это была у него третья книга. Я думаю, что это, в сущности, была первая попытка Осгуда, а не третья. Мне бы надо было не бросать Осгуда после неудачи с "Принцем и нищим", потому что он мне очень нравился, но дело у него не ладилось, и мне пришлось обратиться к другому издателю.

Тут со мной произошло следующее приключение. Один старый и очень близкий мой приятель свалился мне на голову с патентом на изобретение стоимостью в полторы тысячи долларов. Фактически этот патент ничего не стоил, и мой приятель уже второй год попусту всаживал в него деньги, но я этих подробностей не знал, потому что он забыл о них упомянуть. Он сказал только, что если я куплю патент, то он наладит мне издание и продажу. И я купил. Каждый месяц вылетало по пятисот долларов. Этот ворон вылетал из ковчега каждые тридцать дней, но возвращался ни с чем, да и голубь тоже что-то не являлся с докладом. Прошло столько-то времени, и еще полстолько, и еще столько же, и я избавил своего приятеля от трудов и передал патент Чарльзу Л. Уэбстеру<sup>{255}</sup>, который женился на моей племяннице и был, по-видимому, очень способным и энергичным юношей. За полторы тысячи жалованья в год он каждый месяц продолжал выпускать ворона с тем же самым результатом.

Наконец, потеряв на этом патенте сорок две тысячи долларов, я отдал его одному человеку, которого я давно ненавидел и чье семейство желал погубить. А потом стал искать других приключений. Тут опять подвернулся тот же приятель с новым патентом. В восемь месяцев я ухлопал на него десять тысяч. Потом опять попытался сбить и этот патент тому человеку, чье семейство я преследовал. Он был мне очень благодарен, но тоже поумнел за это время и относился к благодетелям подозрительно. Он не захотел его взять, и патент пропал даром.

Тем временем приехал еще один старый приятель с изумительным изобретением. Это была какая-то машина или котел, что-то в этом роде; она давала девяносто девять процентов того количества пара, какое можно добыть из фунта угля. Я отправился на завод Кольта к мистеру Ричардсу и рассказал ему об этой машине. Он был специалист и знал решительно все, что касается угля и пара. Машина показалась ему сомнительной; я спросил: почему? Он сказал: потому что количество пара, содержащееся в фунте угля, известно до мельчайших дробей и мой изобретатель, очевидно, ошибся насчет своих девяноста девяти процентов. Он показал мне толстую книжку с убористыми столбцами цифр, и от этих цифр у меня голова пошла кругом, как у пьяного. Он доказал мне, что машина моего приятеля не сделает и девяноста процентов того, что ей полагается. Я ушел от него немножко обескураженный. Но я подумал, что, может быть, книжка ошиблась, и нанял изобретателя соорудить эту машину за тридцать пять долларов в неделю, - все расходы за мой счет. На сооружение машины у него ушло очень много недель. Он являлся ко мне каждые три дня докладывать о ходе дела, и я довольно скоро заметил, по запаху и походке, что на виски у него уходит тридцать шесть долларов в неделю, но так и не мог добиться, откуда он берет этот лишний доллар.

Наконец, когда я истратил на эту затею пять тысяч долларов, машина была готова, но не действовала. Она могла сэкономить один процент пара на фунт угля, но это было все равно что ничего. Столько мог бы сэкономить и чайник. Я предложил машину тому человеку, чье семейство мне хотелось разорить, но он отказался. Тогда я вышвырнул ее к черту и стал искать чего-нибудь новенького. Теперь я увлекался паром и потому купил акции Хартфордской компании, которая собиралась произвести целый переворот, пустив в производство, а потом и в продажу новый тип парового ворота. Этот паровой ворот выворотил из моего кармана за шестнадцать месяцев тридцать две тысячи долларов, а потом все предприятие пошло прахом, и я опять остался ни при чем, не зная, чем заняться. Однако я нашел себе занятие. Я изобрел альбом для вырезок, и - хотя я говорю это сам - такого



рационального альбома больше нигде не было. Я взял на него патент и передал его тому старому другу, который когда-то впервые заинтересовал меня изобретениями, и тот нажил на нем порядочные деньги. Но через некоторое время, как раз тогда, когда я должен был в первый раз получить мою долю прибыли, его фирма обанкротилась. Я не знал, что ему грозит банкротство, он мне ни слова об этом не сказал. Как-то он попросил у меня для фирмы пять тысяч долларов, пообещав платить семь процентов. В обеспечение он предложил долговую расписку фирмы. Я попросил, чтобы он представил поручителя. Он очень удивился и сказал, что если бы поручителя было так легко найти, он бы не пришел за деньгами ко мне, а достал бы их где угодно. Я удовлетворился этим объяснением и дал ему пять тысяч долларов. Через три дня фирма обанкротилась, и по прошествии двух или трех лет я получил обратно две тысячи из этих денег.

У этих пяти тысяч долларов была своя история. В начале 1872 года Джо Гудмен написал мне из Калифорнии, что наш с ним общий друг, сенатор Джон П. Джонс, собирается основать в Хартфорде страховую компанию, конкурирующую с "Обществом страхования путешественников", и что Джонс хочет передать Гудмену на двенадцать тысяч акций, обещая позаботиться, чтобы Джо не потерял этих денег. Джо предлагал мне воспользоваться этой возможностью, говоря, что если я на это решусь, то Джонс постарается, чтобы мои деньги не пропали. Я взял эти акции и стал одним из директоров. Зять Джонса, Лестер, долгое время был актуарием в "Обществе страхования путешественников". Он перешел в наше страховое общество, и мы начали дело. Директоров было пять. Трое из нас в течение полутора лет присутствовали на каждом заседании общества.

По прошествии этого времени общество распалось, и у меня вылетело из кармана двадцать три тысячи долларов; Джонс жил в Нью-Йорке, он купил там "Отель Сент-Джеймс", и я послал к нему Лестера, чтобы получить свои двадцать три тысячи долларов. Но по возвращении тот сообщил, что Джонс вложил деньги в разные предприятия, очень стеснен в средствах и будет мне благодарен, если я соглашусь подождать. Я не подозревал, что Лестер сочиняет, но это было именно так: он не говорил Джонсу ни слова на этот счет. Однако его рассказ показался мне правдоподобным, так как мне было известно, что Джонс построил ряд фабрик искусственного льда, тянувшийся через все южные штаты, - ничего подобного не было видно по эту сторону Великой Китайской стены. Я знал, что эти фабрики обошлись ему чуть ли не в миллион долларов и что южане отнюдь не в восторге от искусственного льда, он им не нужен и покупать его они не станут, - и потому эта Китайская стена не сулит ничего, кроме убытков.

Я знал также, что "Отель Сент-Джеймс", купленный Джонсом, перестал давать прибыль, потому что Джонс, человек щедрый, на девяносто девять процентов состоявший из великодушия, каким остался и до сего дня, населил свой отель от чердака до подвала бедными родственниками, собранными со всех концов земли, - водопроводчиками, каменщиками, незадачливыми пасторами и всякого рода людьми, которые ничего не смыслили в гостиничном деле. Мне было известно также, что для посторонней публики в отеле нет места, потому что все остальные номера в нем заняты множеством других бедных родственников, которые съехались со всех концов земли по приглашению Джонса и ждут, пока он подыщет им доходные места. Мне было также известно, что Джонс купил порядочный кусок штата Калифорния с обширным участком для постройки города, местом для железных дорог и очень красивой, большой и удобной гаванью, расположенной перед будущим городом, и что он до сих пор в долгу за это приобретение. И потому я согласился подождать некоторое время.

Проходил месяц за месяцем, и время от времени Лестер сам вызывался съездить к Джонсу. Его поездки цели не достигали. Дело в том, что Лестер боялся Джонса и никак не решался беспокоить его моими делами, когда тот и без того был обременен своими. Он предпочитал врать мне, будто видел Джонса и говорил с ним о моем деле, а в действительности он ни разу о нем не заикнулся. Года через два или три мистер Сли из нашей угольной фирмы в Элмайре предложил переговорить по этому поводу с Джонсом, и я

согласился. Он поехал к Джонсу и приступил к делу со свойственным ему тактом, но не успел он начать, как Джонс поднял глаза и спросил: "Неужели вы хотите сказать, что эти деньги так и не были отданы Клеменсу?" Он тут же выдал чек на двадцать три тысячи, сказав, что они были бы уплачены вовремя, если б он только знал.

Это было весной 1877 года. С этим чеком в кармане я опять был готов искать путей к быстрому обогащению. Читатель, введенный в заблуждение тем, что я рассказал о своих похождениях, подумает, что я сразу кинулся на поиски такого случая. Ничего подобного. Я уже обжегся и не желал даже слышать о спекуляциях. Генерал Холи пригласил меня однажды в редакцию газеты "Карент". Я отправился туда с чеком в кармане. Там сидел какой-то молодой человек, который сказал, что раньше он был репортером одной газеты в Провиденсе, а теперь занялся другим делом. Он работает у Грэхема Белла{259} агентом по распространению нового изобретения, которое называется телефон. Он верил, что у этого изобретения большое будущее, и предложил мне приобрести несколько акций. Я отклонил это предложение. Я сказал, что не желаю больше иметь дело с ненадежными спекуляциями. Тогда он предложил мне акции со скидкой. Я сказал, что и со скидкой не желаю. Он пристал ко мне как смола: настаивал, чтобы я взял хотя бы на пятьсот долларов. Он сказал, что на пятьсот долларов даст мне сколько угодно акций - сколько можно захватить руками и насыпать в шляпу; сказал, что за пятьсот долларов я могу насыпать полную шляпу. Но я уже обжегся и устоял против всех этих соблазнов, устоял без всякого труда, унес свой чек в целостности и сохранности, а на другой день отдал его в займы, без расписки, одному приятелю, который обанкротился через три дня.

В конце этого года (а может быть, и в начале 1878 года) я поставил телефон у себя в доме и соединил его проводом с редакцией "Карента". Это был первый телефонный провод во всем городе и первый частный телефон во всем мире.

Мне молодой человек не смог продать ни одной акции, зато он продал несколько полных шляп старому продавцу мануфактурной лавки в Хартфорде, на пять тысяч долларов. Это был весь капитал старика. Он копил их полжизни. Удивительно, до чего неблагоразумны люди и как они не боятся рисковать своим состоянием, стремясь поскорее разбогатеть! Я даже огорчился за старика, когда мне это рассказали. Я подумал, что мог бы спасти его, если бы мне представился случай поделиться с ним моим опытом.

Мы отплыли в Европу 10 апреля 1878 года. Мы пробыли в отъезде четырнадцать месяцев, а когда вернулись, то чуть ли не первым увидели этого продавца - в роскошной коляске, с ливрейными лакеями на запяточках: его телефонные акции подваливали ему доллары с такой быстротой, что он едва успевал загребать их лопатой. Удивительно, что людям неопытным и малознающим так часто незаслуженно везет там, где опытные и знающие терпят неудачу.

26 мая 1906 г.

[Я СТАНОВЛЮСЬ ИЗДАТЕЛЕМ]

Я уже упоминал о том, что выписал моего родственника Уэбстера из городка Дюнкерк (штат Нью-Йорк) для того, чтобы он вел мои дела с первым патентом, за полторы тысячи долларов в год. Это предприятие дало мне сорок две тысячи убытка, и я решил, что теперь настало самое удобное время прикрыть его. Я задумал стать своим собственным издателем и поручить эту работу молодому Уэбстеру. Он полагал, что, пока он учится делу, ему следует получать две с половиной тысячи в год. Я попросил два дня на размышление, чтобы обсудить этот вопрос как следует. Для меня это была полнейшая новость. Я припомнил, что типографские ученики не получают ровным счетом ничего. Расспросив людей, я узнал, что точно так же обстоит дело с каменщиками, штукатурами, жестянщиками и со всеми прочими. Я узнал, что даже адвокаты и будущие врачи не получают жалованья за то, что учатся своему делу. Я припомнил, что на Миссисипи ученик лодчмана не только не получал никакого жалованья, а еще сам должен был уплачивать лодчману некоторую сумму наличными, которых у него не было, - и сумму немалую. Я сам так сделал. Я уплатил Биксби сто долларов, и деньги эти были мной взяты в займы. От одного человека, который готовился

в проповедники, я слышал, что даже Ной не получал жалованья целые полгода - отчасти из-за погоды, отчасти из-за того, что он только учился навигации.

В результате этих моих размышлений и наведенных справок я пришел к убеждению, что в лице Уэбстера я обрел нечто совершенно невиданное в истории. А кроме того, я решил, что юношу из глухой провинции, который явился в Нью-Йорк начинать жизнь с пустыми руками, который еще ничем себя не проявил и еще неизвестно, как проявит в будущем, и, однако, не моргнув глазом, собирается учиться делу на чужой счет и берет за это благодеяние больше, чем президент Соединенных Штатов был в состоянии когда-нибудь отложить из своего жалованья, которое ему платят за управление самой трудной страной в мире, если не считать Ирландии, - что такого юношу стоит принять на службу и притом немедленно, чтобы не упустить. Я подумал, что если его преувеличенный интерес к собственной персоне удастся хотя бы частично переключить на защиту интересов ближнего, то я от этого только выиграю.

Я возвел Уэбстера в ранг фирмы - она называлась "Издательство Уэбстер и компания" - и водворил его в довольно скромном конторском помещении из двух комнат на втором этаже, где-то поблизости от Юнион-сквер, не помню, где именно. В помощники я дал ему конторскую девицу и даже клерка - мужчину средних размеров, достоинством в восемьсот долларов. Первое время у него был еще один помощник. Этот человек долго занимался изданием книг по подписке, изучил это дело до тонкости и мог обучить ему Уэбстера, - что он и сделал, причем за обучение уплатил я. Это было в начале 1884 года. Я вручил Уэбстеру довольно солидный капитал и рукопись "Гекльберри Финна" в придачу. Уэбстер стал моим главным агентом. Его дело было рассылать агентов по всей стране. Таких агентов по подписке у час в то время было шестнадцать. У каждого агента были сборщики, которые собирали подписку. В Нью-Йорке Уэбстер сам был сборщиком.

Но прежде чем наладить таким образом дело, предусмотрительный Уэбстер предложил мне сначала составить и скрепить подписями и печатями договор, а потом уже приниматься за работу. Эта мысль показалась мне здравой, хотя мне самому она не приходила в голову: я хочу сказать, что потому она и показалась мне здравой, что пришла в голову не мне. Для составления договора Уэбстер привел своего юриста. Я уже начинал приходить в восторг от Уэбстера и в порыве великодушия, не успев даже подумать, предложил ему десятую долю прибылей сверх жалованья, без участия в расходах. Уэбстер немедленно отклонил мое предложение с обычной в таких случаях благодарностью. Это еще повысило его в моих глазах. Я-то хорошо знал, что предлагал ему участие в деле, которое даст ему по меньшей мере вдвое больше денег, чем жалованье, но он этого не знал. Он холодно и умно учитывал все мои пророчества о высокой коммерческой цене "Гекльберри Финна". И это явилось лишним доказательством того, что в лице Уэбстера я обрел сокровище; человека, который не теряет головы и всегда спокоен, человека осторожного, - такого человека, который никогда не пойдет на риск в неизвестном ему деле. Разве только на чужой счет.

Договор был составлен, как я уже говорил, молодым юристом из городка Дюнкерка (штат Нью-Йорк), который произвел на свет и его и Уэбстера и еще не пришел в себя после такого подвига. Уитфорд имел право подписываться: "представитель фирмы "Александр и Грин". Александр и Грин имели очень большое доходное дело и недостаточно совести, чтобы причинить этому делу убыток, что довольно явно сказалось в прошлом году, когда землетрясение вытрясло все потроха из трех других крупных страховых обществ. Они держали на жалованье артель из двадцати пяти адвокатов, и Уитфорд был одним из них. Это был очень добродушный, любезный и абсолютно невежественный человек, а глупости в нем было приблизительно столько, что ее можно было обмотать вокруг земного шара четыре раза и завязать узелком.

Этот первый договор оказался в полном порядке. К нему нельзя было придраться. Он возлагал все обязанности, всю ответственность, все расходы на меня, как и следовало.

Уэбстер и его юрист являли собой счастливое сочетание. Количество вещей, о которых оба они ровно ничего не знали, было столь непомерно велико, что я приходил в ужас и

цепенел: мне легче было бы видеть крушение всего Млечного Пути, рассыпавшегося на мелкие осколки по всему небесному своду. Что касается мужества, морального и физического, то у них оно вовсе отсутствовало. В делах Уэбстер не решался ступить и шагу, не получив уверений от юриста, что за это не посадят в тюрьму. С юристом советовались беспрестанно, так что он стал почти штатным сотрудником наравне с девицей и агентом по подписке. Но поскольку ни он, ни Уэбстер не имели личного опыта в обращении с деньгами, услуги юриста обходились вовсе не так дорого, как он воображал.

В начале осени я уехал на четыре месяца с Джорджем В. Кейблом на восток и на запад читать свои произведения с эстрады: тогда мне думалось, что это последние мои чтения в Америке. Я решил, что никогда больше не стану грабить публику с эстрады, если только меня к этому не принудят денежные затруднения. Через одиннадцать лет денежные затруднения возникли вновь, и я опять стал читать лекции, разъезжая по всему земному шару.

С тех пор прошло десять лет, и за все это время я читал только с благотворительной целью, бесплатно. 19-го числа прошлого месяца я официально распростился с публикой и с эстрадой, чего раньше никогда не делал, на лекции о Роберте Фултоне{263}, сбор с которой поступил в фонд для сооружения ему памятника.

Я, кажется, довольно далеко отошел от Уэбстера и Уитфорда, но это не важно. Это один из тех случаев, когда расстояние скрашивает перспективу. Уэбстеру повезло с "Гекльберри Финном", и через год он вручил мне издательский чек на пятьдесят четыре тысячи пятьсот долларов, куда входил и капитал в пятнадцать тысяч долларов, который я ему передал.

Еще один раз я точно родился заново. Думаю, что я рождался чаще, чем кто бы то ни было, за исключением Кришны{263}.

2 июня 1906 г.

[БАНКРОТСТВО ИЗДАТЕЛЯ]

В те давние дни, когда подбирались генеральные агенты, Уэбстер поручил одно из лучших западных агентств бывшему проповеднику и профессиональному поборнику обновления веры, которого господь наслал на Айову за какие-то неблагочиния, сотворенные этим штатом. Все остальные кандидаты в агенты предупреждали Уэбстера, чтобы он держался подальше от лап этого человека, заверяя его, что никакие мудрые меры Уитфорда или кого-нибудь еще не смогут пресечь прирожденную склонность этого поборника обновления религии к воровству. Их уговоры ни к чему не привели. Уэбстер отдал это агентство бывшему проповеднику. Мы снабдили его книгами. Дело шло превосходно. Он получил внушительную прибыль - 36000 долларов, из которых Уэбстеру не досталось ни цента.

Меня удивляет не то, что миссис Грант получила за книгу своего мужа около полумиллиона долларов{263}. Чудо в том, что она не запуталась из-за нее в долгах. К счастью для миссис Грант, у нас был только один Уэбстер. То, что я не выискал второго, объясняется какой-то противоестественной рассеянностью с моей стороны.

Позвольте мне рассказать об этом неприятном деле как можно короче. Дни и ночи Уэбстера больше всего были отравлены тем жгучим обстоятельством, что, хотя он, Чарльз Л. Уэбстер, был издателем - величайшим из всех издателей, - а мое имя даже не значилось среди членов фирмы, общественное мнение упорно считало меня истинным главой издательства, а Уэбстера только тенью. Все желавшие издать книгу обращались ко мне, а не к Уэбстеру. Я принял к изданию несколько прекрасных книг, но Уэбстер отклонил их все до единой, - а хозяином был он. Когда же кто-нибудь предлагал книгу ему, это лестное признание приводило его в такой восторг, что он брался издавать ее, даже не ознакомившись с ней. Однако ему ни разу не удалось получить книгу, которая отработала хотя бы затраты на ее выпуск.

Джо Джефферсон{264} написал мне, что он закончил свою автобиографию и хотел бы, чтобы его издателем был я. Конечно, я ухватился за это предложение обеими руками. Я

переслал письмо Уэбстеру и попросил его заняться этой книгой. Уэбстер не стал от нее отказываться. Он попросту не заметил ее и постарался поскорей о ней забыть. Вместо нее он принял и опубликовал две-три книги о войне, которые не принесли никакой прибыли. Он принял еще одну книгу, заключил на нее договор с агентствами, назначил цену (три с половиной доллара в коленкоровом переплете) и, кроме того, обязался выпустить ее к определенному сроку - месяца через два или три. Как-то, приехав в Нью-Йорк, я зашел в контору и попросил показать мне эту книгу. Я спросил Уэбстера, сколько в ней тысяч слов. Он сказал, что не знает. Я попросил его подсчитать слова хотя бы примерно. Он подсчитал. Я сказал: "В ней слов хватит только на одну пятую цены и объема. Вам придется подбить ее кирпичом. Нам следует завести кирпичную фабрику - и притом немедленно, потому что гораздо дешевле изготавливать кирпичи самим, чем покупать их на стороне".

Это привело его в ярость. Он всегда приходил в ярость от любой подобной мелочи. Должен сказать, что мне не случалось видеть существа более чувствительного, - если учитывать материал, из которого он был сделан.

В то время у него на руках было несколько книг - никчемных книг, которые он принял, потому что их предложили ему, а не мне, - и я обнаружил, что он не потрудился подсчитать слова ни в одной из них. Он принял их к изданию, не ознакомившись с ними. Уэбстер был хорошим агентом, но он совсем не разбирался в издательском деле и не был способен хоть чему-нибудь в нем научиться. Затем я узнал, что он согласился воскресить "Жизнь Христа" Генри Уорда Бичера. Я заметил, что ему следовало бы взяться за Лазаря {265}, потому что за него один раз уже брались, и мы знаем, что это вполне осуществимо. Он снова вышел из себя. Несомненно, он был чувствительнейшим из всех существ его покроя. Кроме того, он выплатил мистеру Бичеру, который находился тогда в стесненных обстоятельствах, пять тысяч долларов в счет будущего гонорара. Мистер Бичер обязался переработать книгу - или, вернее, закончить ее. Если не ошибаюсь, он как раз выпустил первый из двух предполагавшихся томов, когда разразился пресловутый скандал, положивший конец всей затее. Кажется, второй том вообще не был написан, и теперь мистер Бичер обязался его написать. В случае невыполнения своего обязательства в указанный срок он должен был вернуть деньги. Выполнить это обязательство ему не удалось, и в конце концов деньги были возвращены.

Уэбстер всячески затягивал выпуск моей книги "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура", а потом издал ее настолько втихомолку, что ее существование было обнаружено только через два-три года. Он так долго тянул со сборником "Библиотека юмора", составленным Гоуэлсом и мной, и в конце концов выпустил его столь секретным образом, что вряд ли хоть кто-нибудь в Америке когда-либо узнал о его существовании.

Уильям Лаффен {265} сообщил мне, что мистер Уолтере из Балтимора готовит замечательную книгу - подробнейшее описание своей царственной коллекции произведений искусства; что он намерен выписать лучших художников из Парижа, чтобы проиллюстрировать ее; что он намерен лично следить за изданием этой книги, чтобы она была сделана по его вкусу; что он намерен истратить на нее четверть миллиона долларов; что он хочет, чтобы она продавалась по высокой цене, соответствующей ее великолепию, и что он отказывается от всякого гонорара. Издателю нужно будет только распространить эту книгу и получить всю прибыль.

Лаффен сказал: "Так что, Марк, вы можете с ее помощью разбогатеть без всяких хлопот, без всякого риска или расходов".

Я сказал, что немедленно пошлю Уэбстера в Балтимор. Я и пытался его послать, но тщетно. Уэбстер не пожелал иметь к этому делу никакого отношения. Если бы мистер Уолтере хотел издать подержанную собаку, ему нужно было бы только обратиться к Уэбстеру. Уэбстер сломал бы себе шею, лишь бы добраться до Балтимора и завладеть этой собакой. Но мистер Уолтере обратился не к тому человеку. Гордость Уэбстера была задета, и он не снизошел бы даже до того, чтобы бросить взгляд на книгу мистера Уолтерса. У Уэбстера была огромная гордость, но другими талантами он не отличался.

Уэбстер страдал мучительными мигренями. Эти боли облегчало новое немецкое лекарство - фенацетин. Врачи запрещали ему злоупотреблять этим лекарством, но он нашел способ доставать его в неограниченном количестве: наши свободные институты позволяют каждому человеку отравлять себя сколько душе угодно, при условии, что он заплатит нужную цену. Уэбстер принимал фенацетин все чаще и все увеличивая дозы. Лекарство действовало на него одуряюще, и он жил словно во сне. В контору он приходил теперь лишь изредка, а появляясь там, использовал свою власть всегда во вред делу. Он был в таком состоянии, что не мог отвечать за свои поступки.

Надо было принимать какие-то меры. Уитфорд объяснил, что избавиться от этого опасного элемента можно было, только выкупив долю Уэбстера. Но что было выкупать? Уэбстер всегда без промедления забирал все деньги, которые ему причитались. Он давно уже пустил по ветру мою долю доходов от книги генерала Гранта - сто тысяч долларов. Дело находилось при последнем издыхании. Все оно не стоило и полутора долларов. Так какова же была справедливая цена, которую мне следовало заплатить за десятую долю в нем? После долгих переговоров и долгой переписки выяснилось, что Уэбстер готов удовлетвориться двенадцатью тысячами долларов и выйти из дела. Я послал ему чек.

Преемником Уэбстера стал молодой человек по имени Фредерик Дж. Холл еще один подарок Дюнкерка. Все наши таланты мы получили с вышеупомянутого конного завода в Дюнкерке. Бедняга Холл старался изо всех сил, но он совершенно не годился для своей должности. Некоторое время он с героическим оптимизмом юности еще барахтался, но на его пути стояло препятствие, которое рано или поздно должно было стать роковым. А именно:

Поэт Стедмен<sup>{267}</sup> за несколько лет до этого подготовил сборник "Библиотека американской литературы" в девяти или десяти томах, в восьмую долю листа. Некий цинциннатский издатель рискнул взяться за эту книгу. Она проглотила его целиком вместе с семьей. Предложи Стедмен свой труд мне, я сказал бы: "Если эта книга будет продаваться по подписке и в рассрочку, то при гонораре свыше четырех процентов она не принесет нам никакого дохода; а впрочем, она разорит нас при любом гонораре, потому что издание подобной книги требует наличного капитала в несколько сот тысяч долларов, а у нас не наберется и ста тысяч".

Но Стедмен не принес свою книгу мне. Он принес ее Уэбстеру. Уэбстер был страшно обрадован и польщен. Он взял ее, обязавшись выплатить гонорар в восемь процентов, и тем самым обеспечил медленное самоубийство "Чарльза Л. Уэбстера и К°". Два или три года мы еще кое-как брели, задыхаясь под тяжестью этого смертоносного бремени. Бедняжка Холл продолжал влачить его после Уэбстера и начал занимать деньги в банке, одним из членов правления и директором которого был Уитфорд, - занимать их под векселя с моим поручительством, время от времени их переписывая. В этих случаях они присылались ко мне в Италию, я ставил на них свое поручительство, не прочитывая, и отсылал их обратно. В конце концов я обнаружил, что сумма займов увеличивалась - без моего ведома и без моего согласия. Я встревожился. Я написал об этом мистеру Холлу и прибавил, что мне хотелось бы получить подробный отчет о состоянии дела. С обратной почтой пришел этот подробный отчет, из которого явствовало, что активы издательства превосходят его пассивы на девяносто две тысячи долларов. Тогда я почувствовал некоторое облегчение. И совершенно напрасно, потому что отчет следовало понимать как раз наоборот. Бедняга Холл вскоре написал, что нам нужны деньги, нужны немедленно, или издательству грозит банкротство.

Я отправился в Нью-Йорк. Я высыпал в кассу издательства двадцать четыре тысячи долларов, которые заработал своим пером. Я стал искать, где бы мы могли занять денег. Занять было негде. Как раз был разгар страшного кризиса 1893 года. Я поехал в Хартфорд, надеясь занять деньги там, - мне не удалось занять ни гроша. Я предложил заложить наш дом, земельный участок и мебель за любой небольшой заем. В свое время они обошлись мне в сто шестьдесят семь тысяч долларов и казались неплохим залогом. Генри Робинсон сказал: "Клеменс, даю вам слово, что под вашу собственность вам не удастся занять и трех тысяч

долларов". Отлично. Я понял, что в таком случае мне не удалось бы занять ни гроша и за целую корзину государственных ценных бумаг.

Фирма "Уэбстер и К°" обанкротилась и осталась должна мне около шестидесяти тысяч долларов, занятых у меня. Она осталась должна миссис Клеменс шестьдесят пять тысяч долларов, занятых у нее. Кроме того, она была должна девяноста шести кредиторам, в среднем по тысяче долларов каждому. Из-за кризиса миссис Клеменс лишилась своего дохода. Из-за кризиса я лишился дохода от моих книг. В банке у нас лежало всего девять тысяч долларов. У нас не было денег, чтобы расплатиться с кредиторами "Уэбстера и К°". Генри Робинсон сказал: "Передайте все, что принадлежит "Уэбстеру и К°", кредиторам и скажите, что это все, что вы можете дать им в покрытие долгов. Они согласятся. Вот увидите, они согласятся. Им известно, что вы лично не ответственны за эти долги, что вся ответственность лежит на фирме как таковой".

Мне не очень понравился этот выход из наших затруднений, а когда я сообщил о нем мисс Клеменс, она решительно воспротивилась. Она сказала: "Это мой дом. Пусть его забирают кредиторы. Твои книги - это твоя собственность. Передай их кредиторам. Постарайся уменьшить сумму долга всеми возможными способами, - а потом, пока хватит сил, берись за работу, чтобы расплатиться окончательно. И не бойся. Мы еще выплатим по сто центов за доллар".

Это пророчество сбылось. Примерно в то время за дело взялся мистер Роджерс и дал отповедь кредиторам. Он сказал, что они не имеют права на дом миссис Клеменс: она привилегированный кредитор и предъявит векселя "Уэбстера и К°" на взятые у нее шестьдесят пять тысяч долларов. Он сказал, что они не имеют права на мои книги, так как это - не имущество "Уэбстера и К°", но что кредиторы имеют право на все, что принадлежало "Уэбстеру и К°"; что я отказываюсь от шестидесяти тысяч долларов, которые я одолжил издательству, и что я постараюсь заработать достаточную сумму, чтобы выплатить все остальные долги "Уэбстера и К°" по сто центов за доллар, - но что это не следует считать обещанием.

В разговоре, который произошел у меня в те дни с мистером Роджерсом и несколькими юристами, один из них сказал: "Из тех, кто становится банкротом в пятьдесят восемь лет, только пяти процентам удастся потом привести свои финансовые дела в порядок". Другой с воодушевлением подхватил: "Пяти процентам! Это не удастся никому из них". От его слов мне стало очень тошно.

Кажется, это случилось в 1894 году, а возможно, в начале 1895 года. Но, как бы то ни было, 15 июля 1895 года миссис Клеменс, Клара и я отправились вокруг света в наш лекционный набег. Мы читали лекции, разбойничали и грабили в течение тринадцати месяцев. Я написал книгу и издал ее. Я отсылал деньги, получаемые за книгу и лекции, мистеру Роджерсу, как только нам удавалось наложить на них лапу. Он клал их в банк и копил для кредиторов. Мы умоляли его немедленно расплатиться с мелкими кредиторами, потому что они нуждались в деньгах, но он не соглашался. Он говорил, что, когда я выдою мир до последней капли, мы распределим надоенное среди кредиторов "Уэбстера и К°" пропорционально.

Не то в конце 1898 года, не то в начале 1899 мистер Роджерс телеграфировал мне в Вену: "Всем кредиторам заплачено по сто центов за доллар. Осталось восемнадцать тысяч пятьсот долларов. Что мне с ними делать?"

Я ответил: "Вложите их в "Федеральную" сталь", что он и сделал (за вычетом тысячи долларов). А через два месяца он продал эти акции с прибылью в сто двадцать пять процентов.

Ну, благодарение богу! Сто раз, если не больше, я пытался записать эту отвратительную историю, но никак не мог. Меня всегда начинало тошнить прежде, чем я успевал пройти полпути до середины. Но на этот раз я стиснул зубы, пошел напролом и очистил от нее мой организм, - чтобы никогда больше к ней не возвращаться.

13-14 июня 1906 г.

[БРЕТ ГАРТ]

До чего неисповедимы пути провидения! Но об этом я поговорю после.

Лет около сорока тому назад я был репортером газеты "Морнинг колл" в Сан-Франциско. Больше того, я был единственным ее репортером. Другого не было. Для одного человека работы было достаточно, даже с избытком, но мало для двоих; так думал мистер Барнс, а он был владельцем газеты и потому мог судить об этом лучше всякого другого.

К девяти утра я должен был приходить в полицейский суд и сидеть там около часа, внося в блокнот краткую историю вчерашних ссор. Обычно ссорились ирландцы с ирландцами или китайцы с китайцами, иногда, разнообразия ради, бывали ссоры и у ирландцев с китайцами. Свидетели изо дня в день повторяли одно и то же, без конца дублируя друг друга, а потому ежедневная процедура была убийственно монотонна и скучна. Насколько мне известно, только один человек из всех участвовавших в этой процедуре находил в ней хоть что-нибудь интересное для себя: переводчик при суде. Это был англичанин, свободно изъяснявшийся на пятидесяти шести китайских диалектах. Каждые десять минут он должен был переходить с одного диалекта на другой; это упражнение действовало на него в высшей степени живительно, и в суде он никогда не клевал носом, что нередко случалось с репортерами. Оттуда мы отправлялись в высшие судебные инстанции, чтобы узнать, какие приговоры были вынесены накануне. Судебные заметки шли под заголовком "Хроника". Для репортеров это был неоскудевающий источник информации. В остальное время дня мы рыскали по городу с одного конца в другой, собирая материал, какой подвертывался под руку, лишь бы заполнить столбец, и если готовых пожаров не было, мы поджигали сами.

По вечерам мы обходили все шесть театров, один за другим: семь вечеров в неделю, триста шестьдесят пять в год. В каждом из них мы оставались минут по пяти, не больше, и, бросив самый беглый взгляд на пьесу или оперу, "обозревали", как говорится, эти самые пьесы и оперы, проводя все вечера с начала и до конца года в мучительных усилиях сказать о спектакле что-нибудь такое, чего не было бы уже сказано двести раз нами же самими. С тех пор прошло сорок лет, но я и теперь не могу видеть театральное здание: у меня начинаются "резь и колики", по выражению дядюшки Римуса, а что там делается в театральном деле, я не имею почти никакого понятия - так редко я туда заглядываю; если же и появляется желание заглянуть, то не настолько сильное, чтобы меня нельзя было отговорить.

Потрудившись с девяти утра до одиннадцати вечера над собиранием материала, я брал перо и размазывал собранную грязь по бумаге, стараясь, чтобы слова и фразы заняли как можно больше места. Это была черная работа, черная и бессмысленная, лишенная почти всякого интереса. Для лентяя это была суцая каторга, а я родился лентяем. Теперь я не стал ленивее, чем был сорок лет тому назад, но это потому, что уже сорок лет тому назад я дошел до предела. Никто не в силах совершить невозможное.

Наконец произошло одно событие. В воскресенье днем я увидел, как несколько хулиганов избивали камнями китайца, который нес тяжелую корзину с бельем своих клиентов-христиан, а полисмен с интересом глядел на эту картину - и только. Он и не подумал вмешаться. Я описал это происшествие с большой страстностью и с негодованием. Обычно я не перечитывал утром того, что писал вечером: все это было вымучено, мертво. А эта заметка вылилась из сердца. Она была написана горячо и, как мне казалось, не без литературных достоинств, и потому наутро я с нетерпением принялся искать ее в газете. Заметки не было. Не появилась она ни на второй день, ни на третий. Я пошел в наборную и, разыскав ее среди забракованного материала, спросил, в чем дело. Метранпаж сказал мне, что мистер Барнс прочел ее в корректуре и велел снять. И даже объяснил, какие у него были для этого причины, - мне или метранпажу, теперь уж не помню, которому из нас, - но с точки зрения коммерческой это были веские доводы. Он сказал, что "Морнинг колл", так же как и "Нью-Йорк сан" того времени, - это газета прачек, то есть газета бедняков, единственная дешевая газета. Она получает средства к существованию от бедняков и должна уважать их



предрассудки, иначе погибнет. Ирландцы были бедны, они составляли опору газеты, без них "Морнинг колл" не протянула бы и месяца, а они ненавидели китайцев. Моя заметка расшевелила бы весь ирландский муравейник и серьезно повредила бы газете. "Морнинг колл" не могла себе позволить роскошь печатать такие статьи, в которых хулиганов осуждают за избиение китайцев.

В те времена я держался возвышенного образа мыслей. Теперь за мной этого не водится. Я был тогда неблагодарен. Теперь я не отстаю от времени. Третьего дня "Нью-Йорк сан" поместила сообщение своего лондонского корреспондента, которое помогает мне познать самого себя. Корреспондент упоминает о некоторых происшествиях у нас в Америке за последний год, как например: полное разложение в наших крупных страховых обществах, где хищения открыто совершались самыми видными деятелями нашей коммерции; о разоблачениях бессовестного взяточничества, колоссального взяточничества в муниципалитетах таких больших городов, как Филадельфия, Сент-Луис и других; о последнем разоблачении миллионных взяток в управлении железных дорог и о раскрытии менее крупных мошенничеств по всем Соединенным Штатам, с одного конца до другого; и, наконец, сенсационное разоблачение Эптоном Синклером самого титанического и самого убийственного из всех - мошенничества Мясного треста{272}, разоблачение, заставившее президента потребовать от упиравшегося конгресса проведения такого закона, который мог бы избавить Америку и Европу от излишних услуг доктора и гробовщика.

По словам этого корреспондента, Европа начинает уже сомневаться: да остался ли во всей Америке хоть один честный человек?! Год тому назад я был убежден, что, кроме меня самого, на всей американской земле нет такого человека. Теперь я разубедился в этом и твердо верю, что во всей Америке нет ни одного честного мужчины. Я держался все время, до января месяца. А после этого я пошел ко дну вместе с Рокфеллером, Карнеги, Гулдами, Вендербильтами и другими явными мошенниками и дал зарок не платить налогов наравне с самыми бессовестными из всей этой компании. В моем лице Америка понесла большую потерю, ибо я незаменим. Потребуется не меньше пятидесяти лет, чтобы мне нашелся преемник, - таково мое убеждение. Я думаю, что все население Соединенных Штатов - кроме женщин - ненадежно, когда дело касается доллара. Поймите, я говорю все это как покойник. Я счел бы нескромным со стороны живого человека предавать такие мысли гласности.

Но, как я уже говорил, сорок лет тому назад я мыслил более возвышенно и живо чувствовал весь позор моего положения - быть рабом такой газеты, как "Морнинг колл". Если б я мыслил еще более возвышенно, я бросил бы место и ушел бы - и голодал бы, как всякий другой герой. Но у меня не было никакого опыта, - я, как и многие, только мечтал о героизме, но на практике не знал даже, с чего начать. Начинать с голодовки мне не хотелось. Раз или два в жизни у меня доходило до этого, и вспоминать о том времени было не слишком приятно. Я знал, что если я брошу работу, то другого места мне не найти. Я очень хорошо это знал. А потому я проглотил обиду и остался работать в газете. Но если я и раньше проявлял очень мало интереса к моим занятиям, то теперь не проявлял ровно никакого. Я не бросил работы, но совершенно охладел к ней, и результаты были такие, каких и следовало ожидать. Я запустил дела. Как я уже говорил, работы было слишком много для одного человека. При моем теперешнем способе ведения дел было совершенно очевидно, что тут нужны двое или трое. Даже Барнс это заметил и велел мне взять помощника на половинное жалованье.

Внизу, в бухгалтерии, служил длинный и нескладный малый, добродушный, уступчивый, недалекий, а получал он что-то очень мало, почти ничего, без стола и квартиры. Один бесстыжий мальчишка из той же бухгалтерии вечно поднимал его на смех и дал ему прозвище, которое почему-то ему шло и казалось очень метким, а почему, я и сам не знаю. Он его звал Смигги Макглюрол. Место помощника я предложил Смигги; он очень обрадовался и принял его с благодарностью. Он взялся за работу с удесытеренной энергией против той, которая осталась во мне. Он был неумен, но умственных способностей и не

требовалось от репортера "Морнинг колл", и он прекрасно справлялся со своими обязанностями. Я этим пользовался, и на его долю приходилось все больше и больше работы. Я становился все ленивее и ленивее, и через месяц он один делал почти все. Было ясно, что он может справиться с работой один, без всякой помощи, и потому не нуждается во мне.

Именно в этот критический момент произошло то событие, о котором я упомянул выше: мистер Барнс меня уволил. Первый и единственный раз в жизни меня уволили, и мне до сих пор это больно, хотя я лежу в могиле. Он не выгнал меня. Это было не в его характере. Мистер Барнс был крупный, красивый мужчина с добродушным лицом и вежливыми манерами, и одевался он отлично. Он никому не мог бы сказать грубого, обидного слова. Он деликатно отвел меня в уголок и посоветовал уйти. Слушая его, можно было подумать, что это отец советует сыну, желая ему только добра, - и я покорился.

И вот я очутился на улице, а идти мне было некуда. Я был воспитан в строгих пресвитерианских правилах и потому знал, что газета сама навлекла на себя беду. Пути провидения были мне известны, и я знал, что за эту вину ей придется ответить. Я не мог предвидеть, когда ее постигнет кара и какую она примет форму, но в том, что эта кара неизбежна, я был уверен так же твердо, как в том, что существую на свете. Я не мог сразу сказать, постигнет ли кара самого Барнса или его газету. Но виноват был Барнс, а мне было известно, что наказан всегда бывает невиновный, и потому я был уверен, что за преступление Барнса пострадает в будущем газета.

И точно! На одном из первых снимков, которые попали мне недавно в руки, среди развалин города высилось здание "Морнинг колл", подобно памятнику Вашингтону; впрочем, от самого здания ничего не осталось, на его месте торчал железный скелет! Вот тогда-то я и сказал себе: "Неисповедимы пути провидения! Я давно знал, что так случится. Знал целых сорок лет. За все это время я ни разу не усомнился в провидении. Возмездие было отложено на более долгий срок, чем я рассчитывал, но зато оно оказалось более радикальным, более внушительным. Некоторым могло показаться странным, что провидение уничтожило целый город с населением в четыреста тысяч жителей ради того, чтобы свести счеты сорокалетней давности между каким-то несчастным репортером и газетой, но я тут не видел ничего странного, - я был воспитан в этих правилах, всосал их с молоком матери и остался пресвитерианином на всю жизнь, а потому знал, как такие дела делаются. Я знал, что в библейские времена если один человек совершал грех, то обычно истреблялось все его племя вместе со скотом и всем прочим, - этого всегда следовало ожидать. Я знал, что в остальном провидение не станет особенно разбираться, лишь бы под руку подвернулся кто-нибудь из близких настоящего виновника. Помню, в "Магналии" {275} один человек выругался, возвращаясь домой с молитвенного собрания, и не прошло девяти месяцев, как он получил предостережение свыше. У него была жена и семеро детей, и все они сразу были поражены страшной болезнью и умерли в мучениях один за другим, так что к концу недели в живых оставался только один этот человек. Я знал, что тут был умысел покарать этого человека; если у него имелась хоть капля мозгу, он должен был согласиться, что эта цель достигнута, хотя пострадали главным образом другие.

В те времена бухгалтерия "Морнинг колл" помещалась в первом этаже, этажом выше была канцелярия управляющего Монетным двором Соединенных Штатов, а Брет Гарт служил личным секретарем управляющего. Сотрудники редакции и единственный репортер помещались на третьем этаже, а наборная на четвертом и последнем. Я проводил очень много времени с Брет Гартом в его канцелярии - после того, как Смигги Макглюрол пришел ко мне на помощь, но не до того. Гарт очень много писал для "Калифорниен", печатал там "Короткие романы" и очерки и, кажется, работал также редактором. Я тоже там сотрудничал, и Чарльз Г. Уэбб, и Прентис Мэлфорд, и молодой адвокат по фамилии Гастингс, подававший надежды стать незаурядным писателем. Чарльз Уоррен Стоддарт тоже там сотрудничал. Амброз Бирс, который и сейчас пишет вполне приемлемые для журналов рассказы, работал тогда для какой-то газеты в Сан-Франциско, может быть, для "Золотого века". Мы очень

хорошо проводили время вместе: очень дружно, весело и приятно. Но это было уже после того, как Смигги Макглурол начал помогать мне, до того свободного времени у меня не было. Смигги был настоящим кладом для меня в течение месяца. А потом стал прямо-таки бедствием.

Брет Гарта открыл мистер Свэн, директор Монетного двора. Гарт приехал в Калифорнию в пятидесятых годах, лет двадцати трех - двадцати четырех, и забрел в золотоискательский посёлок Янра, получивший это курьезное имя, - а в первые дни своего существования он очень нуждался в имени, - совершенно случайно. Там была пекарня с холщовой вывеской, которую еще не прибили, а только намалевали и растянули для просушки так, что видна была изнанка со словом "ПЕКАРНЯ", вернее - с половиной слова. Какой-то приезжий прочел его неправильно, с конца - "Янра", и решил, что так называется поселок. Золотоискатели были и этим довольны, название привилось.

В этом поселке Гарт несколько месяцев пробыл учителем. Кроме того, он редактировал еженедельную тряпицу, исполнявшую обязанности газеты. Очень недолго он прожил в поселке Ослиное Ущелье, где добывалось жильное золото (несколькими годами позже я тоже там застрял на три месяца). Именно в Иреке и Ослином Ущелье Гарт научился так внимательно наблюдать и с фотографической точностью запечатлевать на бумаге лесные пейзажи Калифорнии и ее своеобразные черты; дилижанс, его возницу и пассажиров, костюм и все повадки золотоискателя, игрока и их женщин; здесь же он выучился, не тратя сил на наблюдения, всему, чего он не знал о приисках; а кроме того, выучился с видом знатока преподносить все это читателю. Там же он выучился пленять Европу и Америку характерным диалектом золотоискателя, - диалектом, на котором не говорил ни один человек в мире, пока Брет Гарт не изобрел его. Диалект умер вместе с Брет Гартом, но жалеть об этом не стоит.

Со временем он перебрался в Сан-Франциско. По профессии он был наборщиком, и ему удалось получить работу в редакции "Золотого века" на десять долларов в неделю.

Гарту платили только за набор, но он облегал себе труд и развлекался тем, что без приглашения сотрудничал в газете. Редактор и владелец газеты Джо Лоуренс ни разу не видел рукописей Гарта, потому что их и не было. Гарт придумывал свои произведения тут же у наборной кассы и набирал их по мере того как придумывал. "Золотой век" был, по всей видимости, литературной газетой и явно гордился этим, но литература эта была весьма слабая и бесцветная, воспринявшая от настоящей литературы одни лишь внешние признаки, по существу же не имела с ней ничего общего. Мистер Свэн, управляющий Монетным двором, заметил новую ноту в оркестре "Золотого века", свежую и жизнерадостную ноту, поднимавшуюся над нестройной разноголосицей этого оркестра и звучащую как настоящая музыка. Он спросил Джо Лоуренса, кто этот музыкант, и Джо Лоуренс сказал ему. Мистер Свэн считал просто постыдным, что Брет Гарт растрчивает себя попусту на таком месте и за такую нищенскую плату; он взял его к себе, сделал своим личным секретарем, дал ему хорошее жалованье и освободил почти от всяких обязанностей, лишь бы он следовал своим наклонностям и развивал свой талант. Гарт был не прочь, и развитие началось.

Брет Гарт был один из самых приятных людей, каких я знал. Он был также одним из самых неприятных людей, каких я знал. Он был позер, насквозь фальшивый и неискренний, и даже в своей манере одеваться постоянно проявлял эти свойства. Он был положительно недурен, несмотря на то, что его лицо было сильно попорчено оспой. В те дни, когда он мог себе это позволить, а также и в те дни, когда не мог, его костюм всегда был несколько впереди моды. Всегда бросалось в глаза, что он одет более модно, чем все остальные модники в нашем обществе, даже самые заядлые. У него был хороший вкус. Хотя его костюм и бросался в глаза, в нем никогда не было ничего кричащего или резкого. В нем всегда была какая-нибудь особенно изящная деталь, эффект которой был заранее рассчитан, и эта деталь выделяла бы Гарта из целой толпы сверхмодников. Чаще всего - галстук. Он был всегда одноцветный и очень яркий. Иногда галстук бывал алый, точно вспышка пламени под подбородком, иногда цвета индиго, такого теплого и живого, точно на грудь ему села

блестящая и пышная бразильская бабочка. Жеманство Брет Гарта сказывалось даже в его манере держаться и в его походке. Держался он изящно и свободно, а походка у него была жеманная, но это так и следовало, потому что естественная походка не гармонировала бы ни с его характером, ни с его костюмом.

В нем не было ни одной искренней жилки. Я думаю, что он был не способен на какое бы то ни было чувство, потому что ему было нечем чувствовать. По-моему, сердце у него просто исполняло должность насоса и никаких других функций не несло. Я могу даже поклясться, что оно не несло никаких других функций. Я хорошо знал его в те дни, когда он секретарствовал на втором этаже, а я, погибающий репортер, сидел на третьем, и роковая фигура Смигги грозно маячила где-то поблизости от меня. Я близко знал его и впоследствии, когда пятью годами позже, в 1870 году, он перебрался на восток, чтобы стать редактором "Лейксайд мэгезин", который хотели издавать в Чикаго, и пересек всю страну, возбуждая такой интерес к себе среди народа и вызвав такое волнение, как будто он был путешествующим вице-королем Индии или долгожданной кометой Галлея{278}, возвратившейся к нам после семидесятипятилетнего отсутствия.

Я был с ним очень близок и позднее, пока он не уехал за океан и не стал консулом, сначала в Крефельдте, в Германии, а потом в Глазго. Он так и не вернулся в Америку. Он умер в Лондоне, через двадцать шесть лет после того, как уехал из Америки и бросил жену и детей.

И это тот самый Брет Гарт, чей пафос, заимствованный у Диккенса, исторгал у читателей целые ручьи слез и был просто находкой для фермеров обоих полушарий. Он сам сказал мне однажды с циничной усмешкой, что, кажется, овладел искусством выкачивать слезу чувствительности. Как будто слеза чувствительности нечто вроде нефти и ему посчастливилось найти источник.

Однажды, когда Брет Гарт приехал на две недели поработать у меня в Хартфорде, он сказал мне, что слава пришла к нему случайно и что некоторое время он об этом жалел. Он сказал мне, что написал "Некрещеного китайца" ради забавы и бросил стихи в корзину, но вскоре к нему прислали за материалом, которого не хватало для того, чтобы сдать в печать очередной номер "Оверленда"{279}. Ничего другого у него под руками не было; он выудил из корзины "Китайца" и послал его в типографию. Как все мы помним, стихи вызвали такой взрыв восторга, отголоски которого докатились до самых отдаленных уголков просвещенного мира, и имя Гарта, еще неделю тому назад ничем не замечательное и никому не известное, сразу стало известно так, как если бы оно было написано на небе буквами астрономической величины. На свою славу Гарт смотрел как на бедствие, потому что в то время он уже работал над такими вещами, как "Счастье ревущего стана", представлявшими более высокую ступень, - ступень, на которую он надеялся подняться на глазах у всего мира.

"Некрещеный китаец" помешал осуществиться этой мечте, но ненадолго. Иная, лучшая слава пришла на смену этой: ее принесли "Счастье ревущего стана", "Компаньон Теннесси" и другие умелые подражания Диккенсу. Во времена Сан-Франциско Брет Гарт несколько не стыдился, когда его хвалили как удачного подражателя Диккенсу, - наоборот, он гордился этим. Я слышал от него самого, что он считает себя лучшим подражателем Диккенсу в Америке, и это признание доказывает, что в то время в Америке было немало людей, которые очень старательно, и не скрывая этого, подражали Диккенсу. Его большой роман "Габриэль Конрой" так похож на Диккенса, как будто его написал сам Диккенс.

Жаль, что нам нельзя уйти из жизни, пока мы еще молоды. Когда, тридцать шесть лет тому назад, в ореоле своей новорожденной славы, приковав к себе внимание всего мира, Брет Гарт отправился на восток страны, он прожил уже всю ту жизнь, которую стоило прожить. Он прожил всю ту жизнь, которая была достойна уважения. Он прожил всю ту жизнь, которую мог уважать сам. Для него начиналось самое жалкое существование: нищета, долги, унижения, бесчестье, позор, горечь - и мировая слава, которая подчас, должно быть, становилась ему ненавистна, так как рядом с ней слишком бросались в глаза и его нищета и низость его характера, и этого не в силах было скрыть никакое искусство.

Был счастливый Брет Гарт, довольный Брет Гарт, честолюбивый Брет Гарт, полный надежд Брет Гарт, жизнерадостный, веселый, смеющийся Брет Гарт, Брет Гарт, для которого жить было огромным, безмерным наслаждением. Этот Брет Гарт умер в Сан-Франциско. Труп этого Брета Гарта торжественно проследовал через весь материк. Это он отказался в Чикаго приехать на банкет, который давали в его честь, потому что в этикетке было сделано упущение: за ним не прислали кареты; это он проделал путешествие на восток, связанное с планами журнала "Лейксайт", и потерпел неудачу. Это он обещал в течение одного года отдавать все плоды своего таланта только в "Атлантик" за десять тысяч долларов - огромная сумма по тому времени! - и за такую плату не дал ничего, о чем стоило бы говорить всерьез, но деньги забрал вперед и истратил еще до срока. А потом началось мрачное и полное тревог существование живого трупа: займы у мужчин и жизнь на счет женщин - и так до могилы.

31 июля 1906 г.

[ЮМОРИСТЫ]

Издатель-пират с Запада, о котором сообщил мне Дунека{280}, действительно выпустил эту книгу, и адвокат прислал мне ее - поглядеть. Это толстый том грубого и нахального вида; мое имя, как виновника преступления, не обозначено, но зато на обложке красуется мой портрет, выполненный кричащими красками и указывающий читателю, что преступник все-таки я. В одном отношении эта книга весьма любопытна. Она прямо свидетельствует, что на протяжении всех сорока лет, что я выступаю перед публикой в качестве профессионального юмориста, вместе со мной трудились на том же поприще еще семьдесят восемь моих американских коллег. Все эти семьдесят восемь начинали вместе со мной, порой добивались славы, но после сошли на нет. Иные из них были не менее известны, чем Джордж Эйд{280} и Дули{280} сейчас. И все же их так позабыли, что не разыщешь теперь пятнадцатилетнего мальчика, которому знакомо хоть одно из этих имен. Эта книга - настоящее кладбище. Листая ее, я вспомнил, как четыре года тому назад на кладбище в Ганнибале, Миссури, я читал на надгробных плитах позабытые имена, столь знакомые, близкие мне в дни моей юности - а тому уже полвека. И сейчас, в этом поминальном томе я нахожу Нэсби, Артимеса Уорда, Джакоба Строуса, Дерби, Бардетта, Эли Перкинса, "Газетчика Дэнбери", Орфеуса Керра, Смита О'Брайена, Джоша Биллингса и десятка два или три других, рассказы и шутки которых были у всех на устах, но теперь позабыты. Семьдесят восемь имен за четыре десятка лет - какой громадный урожай юмористов - и притом ведь не все вошли в эту книгу. Нет Айка Партингтона, которого все мы любили и знали, нет Дастикса, ни одного из Пфаффов, нет и многочисленных и недолговечных подражателей Артимеса Уорда, нет трех очень известных в то время юмористов-южан, имена которых я сейчас не припомню, и еще доброй дюжины однодневок, которые ярко сверкнули, но угасли уже очень давно.

Почему они оказались недолговечны? Потому что были только лишь юмористами. Только лишь юмористы не выживают. Ведь юмор - это аромат, украшение. Источником юмора может служить причудливый оборот речи, смешная ошибка в правописании, как это было у Биллингса, Уорда, у "Демобилизованного волонтера", у Нэсби, но мода уходит и слава - за ней. Иногда приходится слышать, что роман должен быть только произведением искусства, романисту не следует проповедовать, поучать. Быть может, подобное требование годится для романиста; юмористу оно не подходит. Юмористу не следует быть проповедником, он не должен становиться учителем жизни. Но если он хочет, чтобы его книги получили бессмертие, он должен и проповедовать и учить.

Когда я говорю - получили бессмертие, - я имею в виду лет тридцать. Сколько ни проповедай, больше этого не проживешь. Дело в том, что сама тема проповеди, даже новая для своего времени, лет через тридцать стареет, становится общим местом. И проповедник не найдет себе слушателей.

Я всегда проповедовал. Вот почему я держусь эти тридцать лет. Когда юмор, не званный мною, по собственному почину входил в мою проповедь, я не гнал его прочь; но я никогда не писал свою проповедь, чтобы смешить. С юмором или без юмора - я бы ее

написал.

Я хвастаюсь так бесстыдно потому, что я умер и держу речь из могилы. Даже я не решился бы высказать это при жизни. Я считаю, что все мы не в силах стать откровенными, до конца самими собою, пока не умрем; скажу больше - пока не пролежим в земле годы и годы. Если бы все мы начинали с того, что умирали, то становились бы искренними гораздо скорей.

11 августа 1906 г.

[Я ПОКУПАЮ МОЛИТВЕННИК]

Первое, что я увидел в сегодняшней утренней газете, было письмо, которое я написал Эндрию Карнеги несколько лет назад.

МАРК ТВЕН ВЫПРАШИВАЕТ МОЛИТВЕННИК

"Уважаемый мистер Карнеги, я узнал из газет, что Вы очень богаты. Мне нужен молитвенник. Он стоит шесть шиллингов. Я благословляю Вас, бог благословит Вас, и из этого произойдет много добра.

Искренне Ваш

Марк Твен.

Не присылайте мне молитвенник, пришлите мне шесть шиллингов".

Кое-кто может подумать, что молитвенник был всего лишь предлогом, что на самом деле я вовсе не хотел никакого молитвенника, а хотел лишь заграбастать деньги. Такое подозрение несправедливо - я хотел только молитвенник. Я страстно мечтал получить его, но хотел выбрать его сам. Если бы мне удалось получить деньги, я бы купил на них именно молитвенник и больше ничего. Хотя на этот счет не имеется никаких свидетельских показаний, кроме моих собственных, я полагаю, что они вполне достойны доверия и достаточны. Я говорю из могилы, и вряд ли я стал бы пробиваться сквозь толщу земли со словами неправды на устах.

15 августа 1906 г.

[МОЛИТВА О ПРЯНИКЕ]

Я начал ходить в школу четырех с половиной лет. В те времена общественных школ в Миссури не было, зато было две частных школы, где брали за учебу двадцать пять центов в неделю, да и те попробуй получи. Миссис Горр учила малышей в бревенчатом домике на южном конце Главной улицы. Мистер Сэм Кросс занимался с детьми постарше, в доме, обшитом тесом, на горке. Меня отдали в школу миссис Горр, и я даже теперь, через шестьдесят пять с лишним лет, очень ясно помню мой первый день в этом бревенчатом домике, по крайней мере один эпизод этого дня. Я в чем-то провинился, и меня предупредили, чтоб больше я этого не делал и что в следующий раз меня за это накажут. Очень скоро я опять провинился, и миссис Горр велела мне найти прутик и принести его. Я обрадовался, что она выбрала именно меня, так как полагал, что скорей всякого другого сумею найти подходящий для такого случая прутик.

В уличной грязи я разыскал старую щепку от бочарной дубовой клепки дюйма в два шириной, в четверть дюйма толщиной и с небольшим выгибом с одной стороны. Рядом валялись очень хорошие новые щепки того же сорта, но я взял именно эту, хотя она была совсем гнилая. Я понес ее миссис Горр, отдал и остановился перед ней в кроткой и смиренной позе, которая, по-моему, должна была вызвать сочувствие и снисхождение, но этого не случилось. Она посмотрела на меня и на щепку в равной степени неодобрительно, потом назвала меня полным именем: Сэмюел Ленгхорн Клеменс (вероятно, я еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь произносил все эти имена сразу, одно за другим), и сказала, что ей стыдно за меня. Впоследствии я узнал, что если учитель называет ученика полным именем, то это ничего доброго не сулит. Она сказала, что постарается выбрать мальчика, который больше моего смыслит в прутьях, и мне до сих пор становится горько при воспоминании о том, сколько мальчиков просияло от радости, в надежде что выберут их. За прутом отправился Джим Данлеп, и когда он принес выбранный им прут, я убедился, что он знаток в этом деле.

Миссис Горр была дама средних лет, уроженка Новой Англии, строго следовавшая всем ее правилам и обычаям. Она всегда начинала уроки молитвой и чтением главы из Нового Завета; к этой главе она давала краткие пояснения. Во время одной из таких пояснительных бесед она остановилась на тексте: "Просите, и дастся вам", - и сказала, что если человек очень хочет чего-нибудь и усердно об этом молится, то его молитва, без сомнения, будет услышана.

Должно быть, я тогда узнал об этом впервые - так меня поразило это сообщение и те приятные перспективы, которые передо мной открывались. Я решил немедленно сделать проверку. Миссис Горр я верил на слово и нисколько не сомневался в результатах. Я помолился и попросил имбирного пряника. Дочь булочника Маргарет Кунимен каждый день приносила в школу целую ковригу имбирного пряника; раньше она ее прятала от нас, но теперь, как только я помолился и поднял глаза, пряник оказался у меня под руками, а она в это время смотрела в другую сторону. Никогда в жизни я так не радовался тому, что моя молитва услышана, и сразу уверовал. Я во многом нуждался, но до сих пор ничего не мог получить; зато теперь, узнав, как это делается, я намеревался вознаградить себя за все лишения и попросить еще чего-нибудь.

Но эта мечта, как и все наши мечты, оказалась тщетной. Дня два или три я молился, полагаю, не меньше, чем кто-либо другой в нашем городе, очень искренне и усердно, - но ничего из этого не вышло. Даже самая усердная молитва не помогла мне стянуть пряник вторично, и я пришел к заключению, что тому, кто верен своему прянику и не спускает с него глаз, совершенно незачем утруждать себя молитвами.

Что-то в моем поведении встревожило мать; она отвела меня в сторонку и озабоченно стала расспрашивать. Мне не хотелось сознаваться в происшедшей со мной перемене: я боялся причинить боль ее доброму сердцу, - но в конце концов, обливаясь слезами, я признался, что перестал быть христианином. Убитая горем, она спросила меня:

- Почему?

- Я убедился, что я христианин только ради выгоды, и не могу примириться с этой мыслью, - так это низко.

Она прижала меня к груди и стала утешать. Из ее слов я понял, что если я буду продолжать в том же духе, то никогда не останусь в одиночестве.

30 августа 1906 г.

[КОГДА КНИГА УСТАЕТ]

За все эти тридцать пять лет ни разу не было такого времени, чтобы на моей литературной верфи не стояло на стапелях двух или трех незаконченных кораблей, заброшенных и рассыхающихся на солнце; обычно их бывает три или четыре, сейчас их у меня пять. Выглядит это легкомысленно, но делается не зря, а с умыслом. Пока книга пишется сама собой, я - верный и преданный секретарь, и рвение мое не ослабевает; но как только книга попытается взвалить на мою голову труд придумывания для нее ситуаций, изобретения событий и ведения диалогов, я ее откладываю и забываю о ней. Потом я пересматриваю мои неоконченные вещи - на случай, нет ли среди них такой, у которой интерес к себе ожил за два года отдыха и безделья и не возьмет ли она меня опять к себе в секретари.

Совершенно случайно я обнаружил, что книга непременно должна устать, это бывает приблизительно на середине, - и тогда она отказывается продолжать работу, пока ее силы и интерес к делу не оживут после отдыха, а истощившийся запас сырья не пополнится с течением времени. Я сделал это неопределимое открытие, дописав "Тома Сойера" до половины. На четырехсотой странице моей рукописи книга неожиданно и решительно остановилась и отказалась двинуться хотя бы на шаг. Прошел день, другой, а она все отказывалась. Я был разочарован, огорчен и удивлен до крайности, потому что я знал очень хорошо, что книга не кончена, и я не понимал, отчего я не могу двинуться дальше. Причина была очень простая: мой резервуар иссяк, он был пуст, запас материала в нем истощился, рассказ не мог идти дальше без материала, его нельзя было сделать из ничего.

Рукопись пролежала в ящике стола два года, а затем в один прекрасный день я достал ее и прочел последнюю написанную главу. Тогда-то я и сделал великое открытие, что если резервуар иссякает - надо только оставить его в покое, и он постепенно наполнится, пока ты спишь, пока ты работаешь над другими вещами, даже не подозревая, что в это же самое время идет бессознательная и в высшей степени ценная мозговая деятельность. Материал опять накопился, и книга пошла и закончилась сама собой, без всяких хлопот.

С тех пор, работая над книгой, я безбоязненно убирал ее в ящик каждый раз, когда пересыхал резервуар, прекрасно зная, что в два-три года он наполнится снова без всяких забот с моей стороны и что тогда довести ее до конца будет легко и просто. "Принц и нищий" забастовал на середине оттого, что иссяк резервуар; и я не дотрагивался до книги в течение двух лет. Двухлетний перерыв был с "Янки при дворе короля Артура". Такие же перерывы бывали и с другими моими книгами. С двумя такими перерывами писалась книга "Что это было?". Сказать по правде, второй интервал изрядно затянулся: ведь прошло уже четыре года с тех пор, как он прервал мою работу над книгой. Я уверен, что резервуар теперь полон и что я мог бы снова взяться за эту книгу и дописать вторую половину, не останавливаясь и с неубывающим интересом, но я этого не сделаю. Писание меня раздражает. Я родился лентяем, и диктовка меня избаловала. Я уверен, что больше не дотронусь до пера, а потому эта книга останется незаконченной; жаль, конечно, потому что мысль там действительно новая и в конце читателя ждет приятный сюрприз.

Есть и другая незаконченная книга, которую я, вероятно, озаглавлю "Убежище покинутых". Она написана наполовину и останется в таком виде. Есть еще одна под заглавием "Приключения микроба за три тысячи лет, описанные им самим". Она также сделана наполовину - и так и останется. Есть и еще одна: "Таинственный незнакомец". Она написана больше чем наполовину. Я много дал бы, чтобы довести ее до конца, и мне по-настоящему больно думать, что этого не будет. Все эти резервуары теперь полны, и все эти книги двинулись бы весело вперед и сами дошли бы до конца, если б я мог взять перо в руки, но я устал его держать.

Была и еще одна наполовину написанная книга. Четыре года тому назад я довел ее до тридцати восьми тысяч слов, потом уничтожил - без боязни, что когда-нибудь вздумаю закончить ее. Рассказчиком был Гек Финн, а героями, разумеется, Том Соьер и Джим. Но я подумал, что эта тройка достаточно потрудились в этом мире и заслужила вечный отдых.

Есть такие книги, которые отказываются быть написанными. Год за годом они упрямо стоят на своем и не сдаются ни на какие уговоры. Это не потому, что книги еще нет и не стоит ее писать, а только потому, что для нее не находится соответствующей формы. Для каждой книги существует только одна такая форма, и если вам не удастся ее найти, то не будет и книги. Можете испробовать хоть десять неудачных форм, но каждый раз, как бы далеко вы ни продвинулись в работе, вы вдруг обнаруживаете, что форма не та; после этого книга неизменно останавливается и отказывается идти дальше. "Жанну д'Арк" я начинал шесть раз, и когда показывал результаты миссис Клеменс, она отвечала мне одной и той же убийственной критикой: молчанием. Она не говорила ни слова, но у ее молчания был громовый голос. Когда я наконец нашел верную форму, я сразу понял, что это то, что нужно, и знал, что скажет миссис Клеменс. Именно это она и сказала, без сомнений и колебаний.

В течение двенадцати лет я шесть раз пытался написать простой маленький рассказ, который, я знал, можно было бы написать в каких-нибудь четыре часа, если б только найти верную отправную точку. Я шесть раз зачеркивал неудачное начало; потом, как-то в Лондоне, я предложил сюжет рассказа Роберту Мак-Клюру<sup>{287}</sup>, с тем чтобы он напечатал его в журнале и назначил премию тому, кто лучше напишет. Я сам очень заинтересовался и говорил на эту тему полчаса; потом он сказал: "Вы сами его рассказали. Вам остается только закрепить его на бумаге точно так, как вы рассказали".

Я понял, что это правда. Через четыре часа рассказ был кончен; значит, понадобилось двенадцать лет и четыре часа на то, чтобы получился тот крошечный рассказик, который я озаглавил: "Красный кружок".



Начать правильно, без сомнения, очень важно. Мне это известно лучше, чем кому-либо. Лет двадцать пять - тридцать назад я начал рассказ, в котором речь шла о чудесах телепатии. Некто должен был изобрести систему общения между двумя людьми, находящимися за тысячу миль друг от друга, которая действовала бы так, чтобы они могли свободно беседовать без помощи провода. Четыре раза я начинал рассказ неверно, и он у меня не шел. Три раза я обнаруживал свою ошибку, написав около сотни страниц. Я обнаружил ее в четвертый раз, когда написал четыреста страниц; после этого я бросил писать и сжег всю рукопись в печке.

7 сентября 1906 г.

[МЫ - АНГЛОСАКСЫ]

Не знаю, к худу или к добру, но мы продолжаем учить Европу. Мы занимаемся этим уже более ста двадцати пяти лет. Никто не звал нас в наставники, мы навязались сами. Ведь мы - англосаксы. Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется "В дальних концах земли", председательствующий, отставной военный в высоких чинах, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: "Мы - англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет".

Заявление председателя вызвало бурные аплодисменты. На банкете присутствовало не менее семидесяти пяти штатских гостей и двадцать пять армейских и морских офицеров. Прошло, наверное, около двух минут, пока они истошили свой непомерный восторг по поводу этой изумительной декларации. Сам же вдохновенный пророк, изрыгнувший ее из своей печени, пищевода или кишечника, точно не знаю, - стоял эти две минуты, сияя счастливой улыбкой и излучая довольство каждой порой своего организма. Вспоминаю на старинной картинке в календаре человека, источавшего знаки зодиака из распахнутой настежь утробы и такого довольного, такого счастливого, что, как видно, ему невдомек, что он рассечен опаснейшим образом и нуждается в срочных услугах хирурга.

Если перевести приведенную мной декларацию (и чувства в ней выраженные) на простой английский язык, она будет звучать так: "Мы, англичане и американцы, - воры, разбойники и пираты, чем и гордимся".

Изо всех находившихся там англичан и американцев не нашлось ни единого, у кого хватило бы гражданского мужества встать и сказать, что ему стыдно быть англосаксом, что ему стыдно за цивилизованное общество, раз оно терпит в своих рядах англосаксов, этот позор человечества. Я не решился принять на себя эту миссию. Я вспыхнул бы и был бы смешон в роли праведника, пытающегося обучать этих моральных недорослей основам порядочности, которые они не в силах ни понять, ни усвоить.

Поистине, зрелище достойное восхищения, - этот по-детски непосредственный, искренний, самозабвенный восторг по поводу зловонной сентенции пророка в офицерском мундире! Это пахло саморазоблачением: уж не излились ли здесь, случаем, тайные порывы нашей национальной души? В зале были представлены наиболее влиятельные группы нашего общества, те, что держат в руке рычаги, приводящие в движение нашу цивилизацию, даруют ей жизнь. Адвокаты, банкиры, торговцы, заводчики, журналисты, политики, офицеры армии, флота, - словно сами Соединенные Штаты, прибывшие на банкет и полноправно высказывающие от лица нации свой сокровенный кодекс морали.

И восторг их не был изъятием нечаянно прорвавшихся чувств, о котором позже вспоминают с краской стыда. Нет, стоило кому-нибудь из дальнейших ораторов на минуту почувствовать холодок зала, и он тут же немедленно втискивал в свою кучу банальностей все ту же великую истину об англосаксах и пожинал новую бурю оваций. Что ж, таков род человеческий. У него про запас две морали - официальная, напоказ, и другая, о которой умалчивается.

Наш девиз: "В господу веруем...". Когда я читаю эту богомольную пропись на бумажном долларе (стоимостью в шестьдесят центов), мне всегда чудится, что бумажка трепещет и похныкивает в религиозном экстазе. Это наш официальный девиз. Подлинный же, как видим, совсем иной: "Когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет". Наша

официальная нравственность нашла выражение в величавом и в то же время гуманном и добросердечном девизе: "Eх pluribus unum"\*; из которого как бы следует, что все мы, американцы, большая семья, объединенная братской любовью. А подлинная наша мораль выражена в другом бессмертном девизе: "Эй, ты там, пошевеливайся!".

---

\* Из многих одно (лат.).

Мы позаимствовали империализм у монархов Европы, а вместе с ним и наши понятия о патриотизме (пусть, наконец, хоть один здравомыслящий человек растолкует мне, что мы в Америке разумеем под патриотизмом). Значит, по справедливости, в благодарность за эти заимствования и мы должны тоже чему-нибудь их научить.

Сто с лишним лет протекло с той поры, как мы преподали европейцам первые уроки свободы; мы немало способствовали успеху французской революции - в ее благотворном действии есть наша доля. Позднее мы преподали Европе и другие уроки. Без нас европейцы никогда не увидели бы газетного репортера; без нас европейские страны никогда не вкусили бы сладости непомерных налогов; без нас европейский пищевой трест не овладел бы искусством кормить людей ядом и брать с них за это деньги; без нас европейские страховые компании никогда не научились бы обогащаться с такой быстротой за счет вдов и сирот; без нас вторжение желтой прессы в Европу, быть может, наступило бы еще не так скоро. Неустанно, упорно, настойчиво мы американизируем Европу и надеемся со временем завершить это дело.

16 октября 1906 г.

[ДЖИМ ВУЛФ И ОСЫ]

Дядюшка Римус все еще жив, и ему, наверное, уже за тысячу лет, никак не меньше. На днях я видел в газете его последнюю фотографию; на этом портрете вид у него совершенно ископаемый, и ясно видно, что он вспоминает о мастодонтах и плезиозаврах, с которыми играл в детстве.

Прошло как раз четверть века со дня моей последней встречи с дядюшкой Римусом. Он посетил нас в Хартфорде, и Сюзии с Кларой благоговейно пожирали его своими большими глазами, ибо я произвел глубокое и неизгладимое впечатление на малышей (я каждый вечер читал им сказки Римуса, и они выучили его книгу наизусть), рассказав им по секрету, что это - настоящий дядюшка Римус, которого так хорошо побелили, что он может входить в дома порядочных людей через парадную дверь.

Он был самым застенчивым из всех моих взрослых знакомых. Когда вокруг были люди, он молчал и до тех пор, пока они не уходили, испытывал ужасные страдания. Тем не менее он был очень славный, ибо в глазах его светились кротость и доброта бессмертного Римуса, а лицо говорило о привлекательном и открытом характере.

Очень может быть, что Джим Вулф был таким же застенчивым, как Гаррис. Это кажется маловероятным, но, оглядываясь на пятьдесят шесть лет назад и вспоминая Джима Вулфа, я почти уверен, что именно так оно и было. Этот долговязый и тощий мальчик состоял учеником в типографии моего брата в Ганнибале. Впрочем, я уже упоминал о нем в одной из предыдущих глав. Джим тот самый мальчик, которому я давал непрошенные советы и выражал неуместное сочувствие в ту ночь, когда произошло достопамятное приключение с кошками. Ему было семнадцать лет, но тем не менее он был в четыре раза застенчивее меня, хотя мне было всего четырнадцать. Он жил у нас в доме, но в присутствии моей сестры всегда молчал, и даже моя кроткая мать слышала от него только испуганные и односложные ответы. Он ни за что не вошел бы в комнату, где находилась девушка, - ничто не могло заставить его это сделать.

Однажды, когда он был в нашей маленькой гостиной, туда вошли две величественные старые девы. Они уселись так, что Джим мог удрать, только пройдя мимо них, а он скорее прошел бы мимо плезиозавров Гарриса в девяносто футов длиной. Вскоре появился я и, очень довольный ситуацией, сел в уголке, чтобы насладиться страданиями Джима. Минуту спустя в гостиную вошла моя мать. Она села и принялась беседовать с гостями. Джим сидел

на стуле очень прямо и в течение четверти часа ни на йоту не изменил своего положения - ни генерал Грант, ни бронзовая статуя не могли бы с большим успехом сохранять такую неподвижность позы. То есть я хочу сказать, что неподвижно было только его туловище, руки и ноги. С лицом дело обстояло совсем наоборот. По выражению его я понял: происходит нечто из ряда вон выходящее. Время от времени мускулы на лице Джима судорожно подергивались, искажая все его черты, но через секунду это мимолетное выражение бесследно исчезало. Судороги постепенно учащались, но кроме как на лице у Джима ни разу не дрогнул ни один мускул, и ничто не выдавало ни малейшего интереса к тому, что с ним происходит. То есть, я хочу сказать: если что-нибудь действительно происходило, - а я отлично знал, что именно так оно и есть. Наконец две крупные слезы медленно потекли по его дергающимся щекам, но Джим сидел тихо и не мешал им течь. Потом я увидел, как его правая рука потихоньку потянулась к бедру, и, не дойдя до колена, яростно вцепилась в штанину.

Как оказалось, Джим схватил осу. Целая колония ос ползала по его ногам, производя изыскания вокруг, и всякий раз, когда он вздрагивал, запускала в него свои жала. Добрых четверть часа группы экскурсантов одна за другой лезли вверх по ногам Джима, и малейшее судорожное движение, которое он с отчаяния позволял себе, вызывало их яростный гнев. Когда это развлечение стало почти невыносимым, Джиму пришла в голову мысль выводить ос из строя, зажимая их между пальцами. Таким образом ему удалось расправиться со множеством насекомых, правда весьма дорогою ценой, ибо, не видя ос, он мог с равной степенью вероятности схватить их не с того конца, с какого надо, и тогда издыхающая тварь на память об этом происшествии вонзала в него свое жало.

Если бы гости просидели у нас целый день и если бы все осы штата Миссури расплозились по ногам Джима, об этом не узнал бы никто, кроме Джима, ос и меня. Он все равно просидел бы там до ухода гостей. Когда они ушли, мы поднялись наверх. Джим снял брюки, и нам представилось невиданное зрелище: ноги Джима выглядели так, словно их сплошь обшили пуговицами, причем посередине каждой пуговицы зияла красная дырочка. Боль была невыносимой - то есть была бы невыносимой, если бы не присутствие этих дам: по сравнению с той болью, которую причиняло оно, боль от укусов казалась необычайно сладкой и приятной.

Джим никогда не любил ос. Помню, как однажды...

30 октября 1906 г.

Я припоминаю случай, подтверждающий одно мое убеждение; он произошел до эпизода, о котором я только что рассказал. В дни ранней юности я еще не понимал, что играть скверные шутки с людьми - подлое и неблагоприятное занятие, не говоря уже о том, что, как правило, это вовсе не остроумно. В те далекие времена я над этим не задумывался, а наоборот - сам вечно кого-нибудь разыгрывал, не утруждая себя размышлениями о нравственной стороне шуток. В течение трех четвертей моей жизни я считаю таких шутников достойными безграничного отвращения; я презираю их больше, чем всех прочих преступников, и теперь, когда я высказываю свое мнение о них, мысль о том, что я сам играл с кем-то скверные шутки, не смягчает моего негодования, а скорее его усиливает.

Однажды вечером я заметил, что верхняя часть окна Джимовой спальни покрыта плотным слоем ос. Джим всегда спал на том краю кровати, который был ближе к окну. И тут меня осенило вдохновение. Я снял с постели одеяло, не обращая внимания на укусы, сбил с окна несколько сот ос, уложил их на простыню, прикрыл одеялом и таким образом взял в плен. Затем я сделал глубокую складку вдоль середины постели, чтобы осы не могли вторгнуться на другой край простыни, а вечером сказал Джиму, что хочу спать с ним в одной кровати. Джим не возражал.

Я постарался забраться в постель первым, дабы убедиться, что моя сторона в полной безопасности. Так оно и было. Ни одной осе не удалось перейти границу. Когда Джим разделся, я задул свечу, и ему пришлось ложиться в темноте. Он болтал, как всегда, но я не мог ему ничего ответить, ибо заранее предвкушал удовольствие и, хотя заткнул себе рот

уголком простыни, каждую минуту готов был лопнуть от смеха. Джим вытянулся во весь рост, все еще продолжая весело болтать, но вскоре речь его сделалась прерывистой и бессвязной, между словами появились паузы, причем каждая пауза подчеркивалась более или менее внезапной и резкой судорогой, и я понял, что иммигранты приступили к делу. Я знал, что мне следует выразить сочувствие, спросить, в чем дело, но не мог, потому что всякая попытка открыть рот вызвала бы приступ хохота. Вдруг Джим окончательно перестал говорить - по крайней мере на ту тему, о которой шла речь, - и сказал: "Тут в постели что-то есть".

Мне это было известно, но я промолчал.

Он сказал: "Их тут тысячи".

Потом он сказал, что посмотрит, что это такое, и принялся шарить в постели. Ос возмутило это вторжение, и они начали жалить его куда попало. Потом Джим сказал, что поймал кого-то из них, и попросил меня зажечь свет, что я и сделал. Когда он слез с кровати, вся его рубашка была черной от полураздавленных ос. Он обеими руками держал целую горсть пленниц, которые его энергично кусали и жалили; однако он крепко зажал их и не выпускал из рук. Увидев их при свете свечи, Джим вскрикнул: "Осы!"

Это были его последние слова: за всю ночь он больше ничего к ним не добавил. Молча раскрыв свою половину постели, он десятками швырял ос на пол, с суровым и мстительным удовлетворением давя их башмаком, а я тем временем сотрясал кровать взрывами немого смеха, который не доставлял мне ни малейшего удовольствия, ибо я чувствовал, что молчание Джима зловеще. Закончив истребление, Джим задул свечу, лег в постель и, казалось, погрузился в спокойный сон, - во всяком случае, он лежал так тихо, как только можно было ожидать при подобных обстоятельствах.

Я бодрствовал сколько мог, изо всех сил стараясь, чтобы от моего смеха не тряслась кровать и чтобы это не возбудило подозрений, но даже страх не мог побороть сон, и в конце концов я заснул, но под давлением обстоятельств тотчас же проснулся. Джим придавил мне коленями грудь и обоими кулаками колотил меня по лицу. Мне было очень больно, но он выбил из меня все силы, которые удерживали меня от смеха, и я хохотал до полного изнеможения, а тем временем Джим, как мне казалось, превращал мое лицо в кашу.

Джим больше никогда не возвращался к этому эпизоду, и у меня хватило ума последовать его примеру, ибо он был в полтора раза выше меня, хотя и ничуть не шире.

Я много раз подшучивал над Джимом, но все эти шутки были жестокими и неостроумными, их мог бы изобрести любой безмозглый каверзник. Когда взрослый человек играет с кем-нибудь злую шутку - это, по-моему, совершенно ясно свидетельствует о его трусости и слабоумии.

30 ноября 1906 г.

[НЕГРИТЯНСКИЙ БАЛАГАН]

Где теперь Билли Райс{295}? Он был моей отрадой, подобно другим звездам негритянской комедии: Билли Берчу, Дэвиду Уомболду, Бэксу и веселой плеяде их собратьев, которые скрашивали мою жизнь лет сорок тому назад, да и позже. Берч, Уомболд и Бэкс давно умерли, и вместе с ними отошла в невозвратное прошлое негритянская комедия - подлинная негритянская комедия, сумасбродная негритянская комедия, которая, на мой взгляд, не имеет соперников ни в прошлом, ни в настоящем. У нас есть оперный театр, и я с огромным наслаждением слушал первые акты всех вагнеровских опер, но они всегда действовали на меня так сильно, что и одного акта было за глаза довольно. Прослушав два акта, я уходил из театра в полном изнеможении, прослушать же всю оперу до конца было для меня равносильно самоубийству. Но если бы я мог вернуть негритянскую комедию в былой ее чистоте и совершенстве, мне больше не понадобилась бы опера. По-моему, для возвышенного ума и чувствительной души шарманка и негритянская комедия это образец и вершина искусства, до которой далеко всем другим музыкальным формам.

Я как сейчас помню первый негритянский балаган, виденный мною. Это было, вероятно, в начале сороковых годов. По тем временам балаган считался новинкой. У нас в

Ганнибале про него и не слыхивали и приняли его как радостный и сногшибательный сюрприз.

Балаган пробыл у нас неделю и давал представления каждый вечер. Благочестивые горожане не ходили на них, зато все прочие сбегались толпой и были в восторге. В те времена благочестивые горожане вообще не посещали балаганов.

Актеры выходили на сцену с черными, как уголь, лицами и руками, в кричаще-ярких костюмах, пародировавших тогдашний костюм негра с плантации; пародировались и высмеивались не лохмотья негров-бедняков - ибо никакая пародия ничего не прибавила бы к собранию заплат и прорех, составлявшему этот костюм, - пародировались цвет и покрой одежды. Тогда носили высокие воротнички, и актер выходил в воротничке, закрывавшем чуть ли не всю голову, и с такими длинными уголками, что актеру почти ничего не было видно ни справа, ни слева. Сюртук шился из занавесочного ситца, с фалдами до пят; пуговицы были большие, как жестянки с ваксой. Башмаки на актере были нечищенные, неуклюжие и тяжелые, на несколько номеров больше, чем нужно. Было много разновидностей этой одежды, и все они были карикатурны, и многим казалось, что это очень смешно.

Актер говорил на самом грубом негритянском диалекте, но пользовался им очень умело и свободно там, где нужно, и это действительно было очень забавно и смешно. Но один актер в труппе не одевался в яркие тряпки и не говорил на диалекте. Он был одет, как белый джентльмен из общества, и говорил высокопарным, изысканно вежливым и тяжеловесно правильным языком, который простодушные горожане принимали за тот самый, на каком говорят в высшем столичном обществе. Они искренне восхищались им и завидовали актеру, который может сочинять такие фразы не сходя с места не задумываясь ни на секунду, и произносить их так быстро, легко и с таким блеском. Все музыканты сидели в ряд: Флейта на одном конце, Банджо на другом, а вышеописанный изящный джентльмен - как раз посередине.

Этот джентльмен был главным актером труппы. Элегантность и свежесть его костюма, преувеличенная изысканность речи и манер, благообразие черт, не искаженных гримом, - все это выделяло его из труппы, особенно по контрасту с Флейтой и Банджо. Эти двое были комики, и из грима и шутовского костюма они извлекали максимум комического эффекта. Оба малевали себе губы ярко-красной краской - для того чтобы они казались толще и больше, так что рты у них походили на ломтики спелого арбуза.

Программа представлений много лет оставалась неизменной. Первое время занавеса не было; пока зрители дожидались начала, им не на что было смотреть, кроме ряда пустых стульев за рампой; вскоре появлялись музыканты, и публика горячо приветствовала их; они рассаживались по местам, каждый со своим музыкальным инструментом; потом сидевший в середине аристократ начинал представление такой фразой:

- Надеюсь, джентльмены, что я имею удовольствие вас видеть по-прежнему в добром здравии, и что все у вас шло благополучно с тех пор, как мы имели счастье встретиться с вами.

Флейта отвечала ему за себя и рассказывала какой-нибудь случай, свидетельствующий о том, что ей здорово повезло на днях, но Банджо прерывал ее, выражая сомнение в правдивости рассказа; тут поднимался забавный спор: один утверждал, другой отрицал; ссора становилась все более шумной, голоса звучали все громче и громче, все настойчивее и сердитее, оба актера вскакивали с мест, подбегали друг к другу, потрясая кулаками и инструментами и грозя кровопролитием, а в это время изящный джентльмен заклинал их не нарушать мир и соблюдать приличия, - но, разумеется, тщетно. Иногда ссора длилась минут пять, спорщики выкрикивали друг другу в лицо страшные угрозы, а весь зал покатывался со смеху, глядя на эту удачную и очень меткую пародию на негритянскую ссору, всем знакомую и привычную. Наконец ожесточившиеся враги начинали мало-помалу пятиться в разные стороны, причем каждый страшал противника самым немилосердным образом: пусть, мол, не вздумает, на свое несчастье, становиться поперек дороги "в

следующий раз". Потом они садились на свои места и злобно ворчали, переглядываясь через весь ряд стульев, а публика тем временем приходила в себя и успокаивалась после неистового, судорожного смеха.

Тут аристократ сделал замечание, которое вызывало на рассказ одного из музыкантов, сидевших с краю: он напоминал ему какой-нибудь смешной случай из его жизни. Обычно это бывал самый затасканный и избитый анекдот, старый, как Америка. Один из таких анекдотов, приводивший публику того времени в восторг, пока актеры вконец не затрепали его, повествовал о том, как Банджо бедствовал во время бури на море. Шторм не утихал так долго, что у путешественников вышла вся провизия. Аристократ участливо спрашивал, как же они не умерли с голода.

Банджо отвечал:

- Мы ели яичницу.

- Вы ели яичницу? Где же вы брали яйца?

- А во время шторма наше судно так и несло.

В течение первых пяти лет этот каламбур смешил публику до судорог, но потом он намозолил уши населению Соединенных Штатов до такой степени, что зрители к нему совершенно охладели и встречали его укоризненным и негодующим молчанием, так же как и другие анекдоты того же сорта, утратившие всякую занимательность от частого повторения.

В бродячих труппах бывали хорошие голоса, и пока балаганы существовали, я с наслаждением слушал и хоровые и сольные номера. Вначале песенки были грубо комические: "Девчонки из Буффало", "Скачки в Кэмптауне", "Старик Дэн Тэккер" и т.п., а немного позднее появились и чувствительные романсы, как, например: "Голубая Джуниата", "Милая Эллен Бейн", "Нелли Блай", "Жизнь на волнах", "Лево руля" и т.д.

Балаган появился на свет в сороковых годах и процветал лет тридцать пять, затем он выродился в варьете, и его программа стала обычной программой варьете, за исключением двух-трех случайных негритянских номеров.

Настоящий негритянский балаган вот уже тридцать лет как умер. На мой взгляд, балаган был просто прелесть, там умели смешить как нигде, - мне очень жаль, что его больше нет.

Как я уже говорил, сперва в негритянский балаган ходили только те жители Ганнибала, которые не отличались набожностью. Лет через десять двенадцать балаган стал таким же общепризнанным развлечением в Америке, как и праздник Четвертого июля; однако моя мать так и не побывала ни на одном представлении. Ей было в то время лет шестьдесят, и она приехала в Сент-Луис с одной милой и славной дамой ее возраста, тетушкой Бетси Смит, старожилкой Ганнибала. Собственно, Бетси не была чьей-нибудь тетушкой, она была тетушкой всего Ганнибала, благодаря своей нежной, доброй и любящей душе и подкупающей простоте обращения.

Как и моя мать, тетушка Бетси никогда не бывала в негритянском балагане. Обе они были очень живые старушки, и годы совсем на них не сказывались: они любили развлечения, любили всякую новизну, любили принимать участие во всем, что не считалось грехом и не противоречило их правилам. Они вставали ни свет ни заря, чтобы полюбоваться, как цирк входит в город, и очень огорчались тем, что их правила не позволяют им войти вслед за процессией в палатку. Они никогда не отказывались присутствовать на процессии Четвертого июля, на празднике воскресной школы, на собраниях в Обществе религиозного возрождения, на лекциях, на конференциях, молитвенных собраниях. Словом, они принимали участие во всех развлечениях, не противоречивших христианской религии, и не пропускали ни одних похорон.

В Сент-Луисе им захотелось новых впечатлений, и за помощью они обратились ко мне. Они мечтали о чем-нибудь таком, что было бы весело и вполне пристойно. Я сказал, что не знаю ничего по их части, кроме собрания в большом зале Коммерческой библиотеки, на котором выступят четырнадцать африканских миссионеров, только что вернувшихся с черного материка, и продемонстрируют образцы туземной музыки. Я сказал, что если они в

самом деле хотят послушать что-нибудь поучительное и возвышающее душу, то советую пойти на это собрание, а если им хочется чего-нибудь более легкомысленного, я поведу их в другое место. Но нет, мысль об этом собрании привела старушек в восторг, им не терпелось пойти именно туда. Я сказал им не всю правду, и сделал это сознательно, но беда была невелика: не стоит тратить силы на то, чтобы говорить людям правду, когда они и так принимают за чистую монету все, что бы им ни говорили.

Те, кого я называл "миссионерами", были актеры труппы Кристи, одной из лучших и самых известных в то время трупп. Мы отправились заблаговременно и получили билеты в первом ряду. Скоро все места в просторном зале были заняты, собралось тысяча шестьсот человек. Когда негры-комедианты вышли вереницей на сцену в своих шутовских костюмах, у старушек дух захватило от изумления. Я объяснил им, что в Африке так одеваются все миссионеры.

Тетушка Бетси сказала укоризненно:

- Но ведь они же негры!

Я сказал:

- Это не беда, можно считать, что они американцы: ведь они состоят на службе в американском миссионерском обществе.

Тогда старушки начали сомневаться, прилично ли смотреть на то, что проделывают негры, где бы они ни служили, а я сказал, что в зале присутствует цвет общества Сент-Луиса, весь он налицо, стоит только оглянуться по сторонам; и уж, конечно, эти люди не сидели бы тут, если бы показывалось что-нибудь не совсем приличное.

Старушки успокоились и самым бессовестным образом радовались тому, что сидят здесь. Новизна положения приводила их в восторг, они прямо сияли от счастья; им нужен был только предлог, чтобы успокоить свою совесть, и теперь эта совесть молчала, как мертвая. Они с жадным любопытством разглядывали комедиантов, сидевших перед ними полукругом. "Аристократ" начал свою речь. Скоро дело дошло и до старого анекдота, о котором я только что рассказывал. Все в зале, кроме моих старушек, слышали его в сотый раз; все тысяча шестьсот человек торжественно и негодуя молчали, и в этой гнетущей атмосфере несчастный Банджо старался как можно скорей досказать анекдот. Но для моих почтенных дебютанток это было полнейшей новостью, и когда Банджо дошел до конца, они откинули назад головы и залились таким искренним смехом, захлебываясь, фыркая и чихая, что удивили и привели в восторг всю залу. Публика встала как один человек, стараясь разглядеть, кто же это до сих пор не слышал такого старого анекдота. Мои дебютантки смеялись так долго и заразительно, что за ними начали смеяться все тысяча шестьсот человек, и стены балагана долго еще дрожали от громовых раскатов хохота.

В этот вечер моя мать и тетушка Бетси создали комедиантам блестящий успех, потому что для них все шутки были настолько же новы, насколько они были знакомы всем прочим зрителям. Каждую шутку они встречали взрывом смеха, и их веселье заражало других: зрители выходили на улицу еле живые, ослабев от смеха и благодаря про себя наивных старушек, которые доставили их окостеневшим душам такое редкое и драгоценное удовольствие.

1 декабря 1906 г.

[ГИПНОТИЗЕР]

Приезд гипнотизера в наш городок явился необыкновенным событием. Кажется, это было в 1850 году. В этом я не совсем уверен, но месяц помню хорошо: тогда был май. Эта подробность удержалась в моей памяти, несмотря на пятидесятилетнюю давность. С этим месяцем связаны для меня два незначительных случая, оттого все это и сохранилось так свежо в моей памяти; оба случая настолько незначительные, что их не стоило бы балзамировать, однако моя память бережно их сохранила, отбросив все более ценное, чтобы им было удобнее и просторнее. Поистине, память человека не умнее его совести и ничего не смыслит в относительной ценности вещей и их пропорциях. Однако не будем заниматься пустяками; теперь мой предмет гипнотизер.

Он шумно рекламировал свои вечера и сулил чудеса. Входная плата обычная: двадцать пять центов, дети и негры платят половину. Наш городок кое-что слышал о гипнотизме, но еще не встречался с ним лицом к лицу. На первом сеансе побывали немногие, но на следующий день они рассказывали такие чудеса, что весь город загорелся любопытством, и после этого недели две дела гипнотизера шли очень недурно. Мне было тогда лет четырнадцать-пятнадцать, а в этом возрасте мальчишка готов все вытерпеть, все перенести, даже сгореть заживо, лишь бы обратить на себя внимание и пощеголять перед публикой; и как только я увидел на эстраде "медиумов", вызывающих смех, шум и восхищение публики своими идиотскими выходками, мне самому страшно захотелось стать медиумом.

Три вечера подряд я сидел на эстраде среди кандидатов и, держа магический диск на ладони, силился заснуть, но ничего не выходило: я никак не засыпал и должен был удалиться с позором, как и большинство кандидатов. Кроме того, меня глодала зависть к Хиксу, нашему поденщику: я должен был сидеть сложа руки и смотреть весь вечер, как он порывается бежать и подскакивает на месте, когда гипнотизер Симмонс восклицает: "Змея! Вы видите змею!", или слушать, как он говорит: "Боже, какая красота!", когда ему внушают, что перед ним великолепный закат солнца, и т.д.

Я не мог смеяться, не мог аплодировать; мне было горько, что другие это могут, горько, что Хикса возвели в герои и что люди толпятся вокруг него по окончании сеанса, расспрашивают, какие чудеса он видел под гипнозом, и всеми способами стараются показать, что гордятся знакомством с ним. Это с Хиксом-то, вы подумайте только! Я не мог этого перенести; я кипел в собственной желчи.

На четвертый вечер искушения я не в силах был ему противиться. Поглядев некоторое время на диск, я притворился, будто засыпаю, и начал клевать носом. Профессор сейчас же ко мне подошел и стал делать пассы над моей головой, вдоль всего туловища и ног, заканчивая каждый пасс щелчком в воздух, чтобы разрядить лишнее электричество; потом он начал "притягивать" меня диском, держа его в руках и объясняя, что теперь я не могу отвести от него глаз, сколько бы ни старался; я медленно поднялся, уставившись на диск, и, не разгибаясь, пошел за диском по всей эстраде, как на моих глазах ходили другие. Потом меня заставили проделать и другие штуки. По внушению я убежал от змей, выливал ведра воды на огонь, с волнением следил за пароходными гонками, ухаживал за воображаемыми девицами и целовал их, закидывал удочку с эстрады и вытаскивал огромную рыбу, тяжелее меня самого, - словом, проделывал все то же, что и другие. Но не так, как другие. Сначала я боялся, как бы профессор не обнаружил мое самозванство и не изгнал меня с позором, но как только я понял, что эта опасность мне не грозит, я решил покончить с Хиксом как с медиумом и занять его место.

Это оказалось довольно легко. Хикс был от природы честен, а у меня такой помехи не было, - это я от многих слышал. Хикс видел только то, что видел, и докладывал соответственно, а я - гораздо больше, да еще прибавлял разные подробности. У Хикса совсем не было воображения, а у меня - вдвое больше, чем нужно. У него был спокойный характер, а я отличался восторженностью. Никакая галлюцинация не могла довести его до экстаза, и язык у него был деревянный, а я, стоило мне что-нибудь увидеть, сразу высыпал весь свой лексикон, да еще вдобавок лишался последних остатков разума.

Через какие-нибудь полчаса о Хиксе забыли и думать: это был теперь поверженный кумир, развенчанный герой, - я это понял, возликовал и сказал про себя: "Дорогу преступлению!" Хикса никак нельзя было загипнотизировать до такой степени, чтобы он поцеловал при публике воображаемую девушку или хотя бы настоящую, а у меня это получалось отлично. Где Хикс проваливался, там я старался блеснуть, каких бы физических или душевных сил мне это ни стоило. Он обнаружил несколько слабых мест, и я их запомнил. Например, если гипнотизер спрашивал: "Что вы видите?" - и предоставлял ему самому придумать, что он видит, то Хикс пребывал слеп и нем, он ничего не видел и ничего не мог сказать, и гипнотизер очень скоро убедился, что я гораздо лучше справляюсь без его помощи, как только дело доходит до самых поразительных и заманчивых для публики



видений.

Было и еще одно обстоятельство: Хикс гроша ломаного не стоил, если ему внушали что-нибудь без слов. Когда Симмонс становился за его стулом и смотрел ему в затылок, пытаясь что-то внушить, Хикс сидел с ничего не выражающей физиономией и даже не подозревал об этом. Если бы он хоть что-нибудь соображал, он мог бы догадаться по зачарованным лицам зрителей, что за его спиной происходит что-то, требующее его участия. Как самозванец, я боялся этого испытания, так как понимал, что, если профессор захочет от меня чего-нибудь, а я не буду знать, что это такое, меня разоблачат и прогонят. Однако, когда пришло мое время, я рискнул. По напряженным и выжидающим лицам зрителей я заметил, что Симмонс стоит за моим стулом и гипнотизирует меня изо всех сил. Я ломал себе голову, стараясь догадаться, чего ему надо, но ничего не мог придумать. Только я почувствовал себя очень несчастным и устыдился. Я подумал, что теперь-то я опозорюсь и меня выгонят отсюда через какую-нибудь минуту. Стыдно сознаться, но следующая моя мысль была не о том, чтобы завоевать сочувствие добродушных горожан, удалившись смиренно и скромно, скорбя о своих прегрешениях, а о том, чтобы сойти со сцены как можно эффективнее, с треском.

На столе, среди "реквизита", которым пользовались во время сеансов, лежал старый заржавленный револьвер с пустым барабаном. Две или три недели назад на школьном празднике я полез в драку с большим мальчишкой, первым забиякой в классе, и вышел из нее отнюдь не с честью. Теперь этот мальчишка сидел посередине залы, недалеко от среднего прохода. Я подкрался к столу с мрачным, злодейским выражением лица, заимствованным из одного популярного романа, схватил револьвер, размахивая им, соскочил с эстрады, выкрикнул имя забияки, бросился к нему и погнал из залы, прежде чем ошеломленная публика могла вмешаться и спасти его. Поднялась целая буря аплодисментов, и чародей, обращаясь к зрителям, сказал самым внушительным тоном:

- Для того чтобы вы поняли, как это замечательно и какого изумительного медиума мы имеем в лице этого мальчишка, я могу сказать вам, что без единого слова он выполнил все то, что я мысленно приказывал ему сделать, до мельчайших подробностей. Я мог бы остановить его в любую минуту простым усилием воли, поэтому бедный мальчик, за которым он гнался, ни на миг не подвергался опасности.

Значит, я не опозорился. Я вернулся на эстраду героем, чувствуя себя счастливым, как никогда в жизни. Все мои страхи пропали. Я решил, что на тот случай, если не угадаю, чего от меня хочет профессор, можно будет придумать что-нибудь другое, и это тоже отлично сойдет с рук. Я оказался прав, и с тех пор сеансы внушения без слов начали пользоваться наибольшим успехом у публики. Когда я замечал, что мне что-то внушают, я вставал и делал что-нибудь - все, что придет в голову, - и гипнотизер, не будучи дураком, всегда подтверждал, что именно это и было нужно. Когда меня спрашивали: "Как вы могли угадать, чего он от вас хочет?" - я отвечал: "Это очень легко"; и мне говорили с восхищением: "Просто не понимаю, как это вы можете!"

Хикс проявлял слабость и в другом отношении. Когда профессор делал над ним пассы и говорил: "Все его тело теперь нечувствительно, подойдите, убедитесь сами, леди и джентльмены", то леди и джентльмены с удовольствием соглашались и втыкали в Хикса булавки, и стоило воткнуть булавку чуть поглубже, как Хикс морщился, а несчастный гипнотизер должен был объяснять, что "сегодня Хикс плохо поддается внушению". А я не морщился. Я страдал молча, проливая незримые слезы. Каких только мучений не вынесет самолюбивый мальчик ради своей "репутации"! И самолюбивый мужчина тоже, это я знаю по себе и наблюдал это на тысячах других людей. Профессору следовало бы защитить меня, когда испытания становились непомерно жестоки, но он этого не делал. Быть может, он был введен в заблуждение, как и другие, хотя я лично этому не верил и не считал, что это возможно. Все это были славные, добрые люди, но крайне простодушные и легковверные. Они втыкали булавки мне в руку, загоняя их на целую треть, а потом ахали от изумления, что профессор одним усилием воли может превратить мою руку в железо и сделать ее

нечувствительной к боли. А какое там нечувствительной: я терпел смертную муку!

После четвертого вечера, победного вечера, триумфального вечера, я остался единственным медиумом. Симмонс больше не вызывал желающих на эстраду. Я один выступал в каждом сеансе две недели подряд. Первое время несколько престарелых умников, самые верхи городской интеллигенции, еще держались и упорно не признавали гипнотизма. Меня это так оскорбляло, как будто я и не думал плутовать. Тут нет ничего удивительного. Люди оскорбляются чаще всего тогда, когда больше всего заслуживают оскорбления. Эти умничающие старцы только покачивали головами всю первую неделю и говорили, что всякие чудеса можно проделывать, если сговориться заранее; они чванились своим неверием, любили выказывать его при всяком удобном случае и относились свысока к невеждам и простофилям. Особенно грозен был старый доктор Пик, вожак непримиримых. Это был один из отцов города, очень ученый, почтенный, убеленный сединами старец; одевался он богато, со вкусом и с той особой изысканностью, какая была принята в старину; высокий, осанистый, он не только казался мудрым, но и был таким на самом деле. Он пользовался у нас влиянием, с его мнением считались больше, чем с чьим бы то ни было. Когда мне наконец удалось покорить и его, я понял, что одержал полную победу; и даже теперь, через пятьдесят лет, роняя скупые старческие слезы, я признаюсь, что торжествовал, не испытывая ни малейших угрызений совести.

2 декабря 1906 г.

[Я ПОБЕЖДАЮ ДОКТОРА ПИКА]

В 1847 году мы жили в большом белом доме на углу Главной и Нагорной улиц; он стоит и сейчас, но кажется совсем небольшим, хотя все доски в нем целы; я видел его в прошлом году и заметил это усыхание. Мой отец умер в этом доме в марте того же года, а переехали мы оттуда несколькими месяцами позже. В этом доме жила не одна наша семья, там была еще и другая - доктора Гранта. Однажды доктор Грант и доктор Рейберн поссорились из-за чего-то на улице и подрались на складных шпагах, и доктора Гранта принесли домой всего исколотого. Старый доктор Пик залепил ему чем-то раны и потом приходил каждый день лечить его.

Гранты были родом из Виргинии, как и доктор Пик, и однажды, когда Грант настолько поправился, что мог уже выходить в гостиную и разговаривать, зашла речь о Виргинии и старых временах. Я при этом присутствовал, но, по всей вероятности, незаметно для собеседников, так как был тогда мальчишкой и в счет не шел. Двое из собеседников - доктор Пик и миссис Кроуфорд - матушка миссис Грант - тридцать шесть лет тому назад были в ричмондском театре в тот самый вечер, когда театр сгорел, и пустились описывать ужасные подробности этой памятной всем трагедии. Оба они были ее очевидцами, и их глазами я видел все это нестерпимо ярко и живо: я видел клубы черного дыма, застилающие небо, видел, как сквозь них пробивалось багровое пламя, слышал крики погибающих, видел их лица в окнах сквозь заволакивающий все вокруг дым, видел, как они прыгали в окна навстречу смерти или увечью, худшему, чем смерть. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами и никогда не потускнеет.

Затем разговор перешел на усадьбу Пиков, на дом с величественными колоннами и обширным садом, и по отдельным деталям у меня составилось полное представление об этой усадьбе. Я очень заинтересовался, так как до сих пор мне ни разу не приходилось слышать о таких чертогах от людей, которые видели бы их своими глазами. Одна случайно упомянутая подробность сильно поразила мое воображение. В стене возле парадной двери была круглая дыра величиной с блюдечко: английское ядро пробило ее во время Войны за независимость. У меня буквально дух захватывало: ведь теперь история становилась для меня реальностью, а до сих пор в моем представлении она ничего общего не имела с действительностью.

Так вот, тремя или четырьмя годами позже я стал единственным медиумом в городе и безраздельно царил на гипнотических сеансах. Это произошло в начале второй недели; сеанс уже был в разгаре, когда вошел, опираясь на трость с золотым набалдашником, величественный доктор Пик в крахмальных брыжах и манжетах, и один из горожан

почтительно встал и уступил ему место рядом с Грантами. Это было как раз в ту минуту, когда я пытался изобрести что-нибудь новенькое по части видений, сообразуясь со словами профессора:

- Соберите всю вашу волю! Смотрите, смотрите внимательно!.. Так! Теперь вы видите? Сосредоточьтесь, сосредоточьтесь! Ну, теперь опишите, что видите.

Доктор Пик, войдя в залу, невольно напомнил мне разговор, который я слышал три года назад. Сам того не подозревая, он снабдил меня материалом и стал моим сообщником, помощником в моем обмане. Я начал описывать видение, очень смутное и неопределенное (так оно и полагалось вначале, слишком ясно видеть что-либо не годилось, люди могли подумать, что ты пришел сюда под свежим впечатлением). Видение развивалось, постепенно приобретая силу, размах, энергию. Это был пожар в Ричмонде. Доктор Пик вначале смотрел холодно, и его красивое лицо носило отпечаток вежливого презрения. Но как только он узнал этот пожар, выражение лица у него изменилось и глаза загорелись. Заметив это, я открыл клапаны и, пустив пар вовсю, угостил зрителей такой порцией ужасов, что им должно было хватить ее надолго. Они едва смели вздохнуть, когда я кончил, они просто окаменели. Доктор Пик поднялся с места и стоял, тяжело дыша. Он произнес звучным голосом:

- Конец всем моим сомнениям. Это просто чудо, и его нельзя объяснить никаким сговором. Он никак не мог знать все эти подробности, однако он описал их с точностью очевидца, и как правдиво! Видит бог, только я один могу оценить это!

Я приберег дом с белыми колоннами до следующего раза и окончательно укрепил новообращенного доктора Пика в его убеждении с помощью пробитой ядром дыры. Он объяснил публике, что я не мог знать этой незначительной подробности, которая отличала дом Пиков от других домов в Виргинии и была его верной приметой, а это именно и доказывает, что я видел его под гипнозом. Силы небесные!

Любопытная вещь. После отъезда гипнотизера в нашем городе остался только один человек, который не верил в гипнотизм, и это был я. Все прочие были обращены, но я упорно и непримиримо отрицал магнетизм и гипнотизм в течение пятидесяти лет. Это потому, что я ни разу не захотел исследовать сущность этих явлений. Я не мог. Мне было противно. Быть может, они напоминали мне тот эпизод в моей жизни, который я больше всего хотел бы забыть из гордости, хотя я думал - или убедил себя, что думал, - что никогда не встретил бы "доказательств", которые не были бы натянуты, легковесны или не пущены в ход каким-нибудь обманщиком вроде меня.

Сказать по правде, мне довольно скоро надоело упиваться моими триумфами. Даже и месяца не прошло. Слава, которая основана на лжи, скоро становится тяжким бременем. Разумеется, первые дни я наслаждался тем, что обо мне и моих подвигах без конца говорят в моем присутствии, не устают изумляться им и ахать; но я очень хорошо помню, что скоро настало время, когда эти разговоры сделались для меня тягостными и невыносимыми, и я уже с трудом терпел эту ненавистную обузу. Я помню, как бесился и ругался генерал Шерман, когда оркестр играл "Поход через Джорджию" {308}, мелодия, которой генерала неизменно встречали везде, где бы он ни появился.

Как легко заставить человека поверить неправде - и как трудно его разуверить! Через тридцать пять лет после этих малопохвальных подвигов я был в гостях у моей старушки матери, с которой не виделся уже лет десять, и, движимый, на мой взгляд, благородным и даже героическим чувством, решил смириться и исповедаться ей в моем старом грехе. Это решение далось мне нелегко: я боялся, что увижу на ее лице печаль, а в ее глазах - стыд за меня; но после долгих и мучительных размышлений эта жертва показалась мне необходимой и справедливой; я собрался с духом и приступил к исповеди.

К моему удивлению, никаких эффектов в стиле Джорджа Вашингтона, ничего драматического и чувствительного не последовало: мать ничуть не волновалась, - она просто мне не поверила, вот и все. Я был не только разочарован, я был уязвлен тем, что моя драгоценная правдивость не нашла сбыта, что от нее отказались так спокойно и

невозмутимо, в то время как я надеялся нажать на ней капитал. Я стоял на своем, я утверждал со всевозрастающим жаром, что все, что я делал на сеансах, было обман и ложь; а когда она, спокойно покачав головой, сказала, что ее не проведешь, я поднял руку и поклялся, прибавив торжествующе: "Ну а теперь что ты скажешь?"

Моя клятва не произвела на нее никакого впечатления, не сдвинула ее с позиции хотя бы на сотую долю дюйма. Если уж и это мне трудно было вынести, то каково же мне пришлось, когда она посыпала свежую рану солью и, как бы в подтверждение бесполезности моей клятвы, начала доказывать, что я сам не знаю, что говорю, потому что был введен в заблуждение. Она отказывалась верить, что я сам выдумывал свои видения; она говорила, что это сущее безумие, что я был в то время еще ребенок, неспособный на такой обман. В качестве примера она привела ричмондский пожар и дом Пиков и сказала, что выдумать все это я просто не мог. Я ухватился за этот шанс. Да, сказал я, она совершенно права: я этого не выдумал, я слышал это от доктора Пика. Но даже и этот меткий выстрел не попал в цель. Она ответила, что свидетельство доктора Пика тут важнее моего, а он ведь прямо заявил, что я не мог этого слышать.

Со стыдом и бессильной досадой я увидел, что разбит наголову. У меня оставалась всего одна карта, но зато это был крупный козырь. Я пустил в ход свой козырь. Казалось подлостью взрывать крепость, после того как старушка так доблестно ее защищала, но побежденные не знают жалости. Я пустил в ход свой козырь. Это были булавоочные уколы. Я сказал торжественно:

- Даю тебе честное слово, что каждая булавка, которую в меня втыкали, причиняла мне жестокую боль.

На это я услышал:

- Ведь прошло уже тридцать пять лет. Это теперь тебе так кажется, но я сама там была и знаю лучше тебя. Ты ни разу не поморщился.

Она была так спокойна! А я просто бесился.

- Боже ты мой! - воскликнул я. - Позволь, я докажу, что говорю правду. Вот моя рука: воткни в нее булавку, воткни до самой головки, я не поморщусь.

Она только покачала седой головой и сказала просто и убежденно:

- Ты теперь мужчина и можешь скрывать боль, а тогда ты был еще ребенок и не стерпел бы.

И, таким образом, ложь, в которую я заставил ее поверить, будучи еще мальчишкой, осталась для нее неоспоримой истиной до самой смерти. Карлейль {310} сказал: "Ложь недолговечна". Это доказывает, что он не умел лгать. Если бы я застраховал эту свою ложь, меня давным-давно разорили бы одни страховые взносы.

13 декабря 1906 г.

[АМЕРИКАНСКАЯ МОНАРХИЯ]

О грядущей американской монархии. До того как государственный секретарь сделал свое заявление, председательствующий на банкете сказал:

- Мистер Рут {310}, в нынешние беспокойные времена весьма утешительно сознавать, что главным советником президента является такой человек, как вы.

После этого мистер Рут поднялся с места и в высшей степени спокойно и методично вызвал новое землетрясение в Сан-Франциско. В результате были основательно поколеблены и значительно ослаблены органы самоуправления многих штатов. Мистер Рут пророчествовал. Он пророчествовал, и мне кажется, что в Америке уже много лет никто не изрекал столь верных и точных предсказаний.

Он не сказал прямо, что мы неуклонно шествуем к конечной и неизбежной цели - к замене республики монархией, но я думаю, что именно это он имел в виду. Он отметил множество шагов, обычных шагов, которые во все времена приводили к сосредоточению независимых и разбросанных органов управления в руках мощной централизованной власти, но на этом остановился и итогов не подвел. Ему известно, что до сих пор конечным итогом всегда была монархия и что одни и те же слагаемые всегда и везде неизбежно будут давать

одинаковый итог до тех пор, пока человеческая природа останется неизменной. Однако ему не было необходимости производить это сложение, - ведь его может произвести каждый, а с его стороны это было бы просто нелюбезно.

Указывая на изменившиеся условия, которые с течением времени должны неотвратимо и неизбежно привести к тому, что вашингтонское правительство присвоит себе обязанности и прерогативы, которыми многие из штатов пренебрегли и злоупотребили, он не приписывает этих изменений и далеко идущих последствий, которые должны из них проистечь, какой-нибудь продуманной политической программе каких-либо партий или групп мечтателей и прожектеров. Напротив, он совершенно правильно и справедливо приписывает их той огромной силе - силе обстоятельств, - которая развивается согласно своим собственным законам, независимо от партий и политических программ, той силе, чьим не подлежащим обсуждению декретам должны - и непременно будут - повиноваться все. Железная дорога - это Обстоятельство, паром Обстоятельство, телеграф - тоже Обстоятельство. Они были чистой случайностью, и для всех людей - равно и умных и глупых - казались вполне тривиальными, совершенно незначительными, более того - даже нелепыми, смешными и дикими. Ни один человек, ни одна партия, ни одна продуманная политическая программа не заявляла: "Вот мы соорудили железные дороги, пароходы и телеграфы, и вскоре вы увидите, как коренным образом изменятся условия и образ жизни всех мужчин, женщин и детей в стране; за этим последуют неслыханные изменения законов и обычаев, и никто никакими средствами не сможет этого предотвратить".

Изменение условий наступило, и Обстоятельство знает, что за ним следует и что последует дальше. Знает это и мистер Рут. Его слова кристально ясны и недвусмысленны.

"Вся наша жизнь отошла от старых центров, находившихся в штатах, и кристаллизуется вокруг центров общенациональных... старые барьеры, которые сохраняли штаты в виде независимых общин, совершенно исчезли.

...принадлежавшая штатам законодательная власть постепенно переходит в руки общенационального правительства.

Осуществляя экономические связи между штатами или разрабатывая систему налогов, общенациональное правительство берет на себя выполнение тех обязанностей, которые при изменившихся условиях отдельные штаты уже не в состоянии должным образом выполнять.

Мы движемся вперед в развитии деловой и общественной жизни, и это все более и более влечет за собой уничтожение грани между штатами и уменьшение власти штатов по сравнению с властью общенациональной.

Защитники прав штатов совершенно напрасно ополчаются против... расширения общенациональной власти в области необходимого контроля, то есть в той области, в которой сами штаты оказались неспособными выполнять свои обязанности".

Мистер Рут не провозглашает какую-либо политическую программу, он не предсказывает, что именно осуществит какая-нибудь прожектерская партия, он просто говорит, чего потребует и чего добьется народ. И он мог бы добавить - причем с полной ответственностью, - что людей вынудят к этому не размышления, предположения или проекты, а Обстоятельство - та сила, которая определяет все их действия, та сила, над которой они не имеют ни малейшей власти.

"Это еще не все".

Поистине верные слова. Мы шествуем вперед, но в настоящее время мы еще только сдвинулись с места.

В том случае, если штаты и в дальнейшем окажутся не в состоянии выполнять свои обязанности так, как этого требует народ, "...будет найдено соответствующее истолкование конституции, которое облечет властью орган, способный ее осуществлять, - а именно общенациональное правительство".

Я не знаю, не заключен ли в этих словах зловещий смысл, и потому не стану распространяться на эту тему, дабы не совершить ошибки. Это звучит так, как будто снова появилась корабельная пошлина{313}, но возможно, что подобных намерений здесь вовсе и

не было.

Свойства человеческой природы таковы, что, по-моему, мы в скором времени должны скатиться к монархии. Это очень грустное предположение, но мы не можем изменить свою природу - мы все одинаковы, в нашей плоти и крови неистребимо укоренились семена, из коих произрастают монархии и аристократии: поклонение мишуре, титулам, чинам и власти. Мы непременно должны поклоняться побрякушкам и их обладателям, такими уж мы родились на свет и ничего с этим поделать не можем. Нам непременно нужно, чтобы нас презирал кто-то, кого мы считаем выше себя; иначе мы не чувствуем себя счастливыми; нам непременно нужно кому-то поклоняться и кому-то завидовать, в противном случае мы не чувствуем себя довольными. В Америке мы демонстрируем это всеми испытанными и привычными способами. Вслух мы смеемся над титулами и наследственными привилегиями, а втихомолку страстно их жаждем и при первой же возможности платим за них наличными или своими дочерьми. Порою нам удается купить хорошего человека, который стоит своей цены; впрочем, мы все равно готовы взять его - независимо от того, здоров ли он, или прогнил насквозь, независимо от того, порядочный ли это человек, или просто из знатных священных и родовитых отбросов. И когда мы его получаем, вся страна вслух насмехается и глумится, втихомолку завидуя и гордясь той честью, которая была нам оказана. Время от времени мы просматриваем в газетах список купленных титулов, обсуждаем их и смакуем, преисполняясь благодарностью и ликованием.

Подобно всем остальным народам, мы поклоняемся деньгам и тем, кто ими обладает. Это наша аристократия, нам непременно нужно такую иметь. Мы любим читать в газетах о богачах; газеты это знают и изо всех сил стараются удовлетворить наши аппетиты. Время от времени они даже вычеркивают заметки о футболе или о бое быков, чтобы поместить подробный отчет под сенсационным заголовком: "Богатая женщина упала в погреб. Отделалась легким испугом". Падение в погреб не представляет для нас интереса, если женщина не богата, но не было случая, чтобы богатая женщина упала в погреб и чтобы мы не жаждали узнать все подробности этого падения и не мечтали очутиться на ее месте.

При монархии люди добровольно и радостно чтят свою знать, гордятся ею, и их не унижает мысль, что за их верноподданнические чувства им платят презрением. Презрение их не смущает, они к нему привыкли и принимают как должное. Мы все таковы. В Европе мы легко и быстро приучаемся вести себя так по отношению к коронованным особам и аристократам; более того, было замечено, что, когда мы усваиваем это поведение, мы начинаем хватать через край и в своем раболепии и тщеславии очень быстро превосходим местных жителей. Следующий шаг - брань и насмешки по адресу республик и демократий вообще. Все это естественно, ибо, сделавшись американцами, мы не перестали быть человеческими существами, а род человеческий создан для того, чтобы им управляли короли, а не воля народа.

По-моему, следует ожидать, что неизбежные и непреодолимые Обстоятельства постепенно отнимут всю власть у штатов и сосредоточат ее в руках центрального правительства и что тогда наша республика повторит историю всех времен и станет монархией; но я верю, что, если мы будем препятствовать этим поползновениям и упорно им сопротивляться, наступление монархии удастся отсрочить еще очень надолго.

1906.

[СМЕРТЬ СЮЗИ]

Сюзи скончалась в нашем доме в Хартфорде 18 августа 1896 года. Когда она умирала, с ней были Джин, Кэти Лири, Эллен и Джон. Ливи, Клара и я 31 июля прибыли в Англию после кругосветного путешествия и сняли дом в Гилдфорде. Неделью спустя, когда мы ждали приезда Сюзи, Кэти и Джин, пришло это письмо.

В письме говорилось, что Сюзи больна, впрочем, ничего серьезного. Мы, однако, встревожились и послали несколько телеграмм, чтобы узнать что случилось. Была пятница, мы прождали ответа весь день, между тем завтра в полдень из Саутгемптона отходил пароход в США. Клара и Ливи стали укладываться, чтобы ехать немедленно, если вести

будут дурные. Наконец, пришла телеграмма; в ней говорилось: "Ждите другую телеграмму на утро". Это не успокаивало, не рассеивало тревоги. Я послал новую телеграмму и просил ответить в Саутгемптон, потому что день шел к концу. До полуночи я просидел на почте, пока ее не закрыли. Я ждал, не придет ли какое-нибудь обнадеживающее сообщение. До часу мы не ложились, сидели молча и ждали, сами не зная чего. Первым же утренним поездом мы выехали в Саутгемптон, там нас ждала телеграмма. В телеграмме сообщалось, что болезнь затяжная, но опасности нет. Я воспрянул духом, но Ливи была удручена и испугана. Они с Кларой сели на пароход и поехали в США, чтобы ухаживать там за Сюзи. Я остался, чтобы искать для нас в Гилдфорде другой дом, попросторнее. Это было 15 августа 1896 года. Три дня спустя, когда Ливи и Клара были уже на половине пути, а я стоял у себя в столовой, ни о чем таком не раздумывая, мне принесли телеграмму. В ней было сказано: "Сюзи тихо скончалась сегодня".

То, что человек, пораженный подобным ударом, может остаться в живых, загадка нашей природы. Я нахожу только одно объяснение. Рассудок парализован и оцепью, как бы вслепую начинает доискиваться - что же случилось? По счастью, нам не хватает сил, чтобы все осознать полностью. Есть смутное понимание огромной потери - и все. Месяцы, может быть, годы разум и память будут по крохам восстанавливать нашу потерю, и лишь тогда мы поймем, чего мы лишились. У человека сгорел его дом. Дымящиеся развалины говорят лишь о том, что дома, который долгие годы был ему так дорог и мил, больше не существует. Но вот прошло несколько дней, неделя, и ему понадобилась какая-то вещь. Одна вещь, другая. Он ищет их, не находит и вдруг вспоминает: они остались в том доме. Они ему очень нужны, других таких вещей нет на свете. Их ничем не заменишь. Они остались в том доме. Он лишился их навсегда. Он не думал, что они так нужны ему, когда ими владел. Он понял это сейчас, когда отсутствие их ошеломляет его, лишает последних сил. И еще многие годы ему будет недоставать все новых и новых вещей, и лишь постепенно он осознает, как велика катастрофа.

Страшная весть дошла до меня 18 августа. Ее мать и сестра пересекали Атлантический океан, проехали еще только половину пути, не имея понятия о том, что их ждет, спеша навстречу этому непредставимому горю. Родные, друзья сделали все, что могли, чтобы смягчить жестокий удар. Они выехали навстречу им в Бэй, обождали там до утра и утром вызвали Клару. Когда Клара вернулась в каюту, она ничего не сказала матери, об этом не было надобности. Ливи взглянула на нее и сказала: "Сюзи умерла".

В тот же вечер, в половине одиннадцатого, Ливи и Клара завершили свое кругосветное путешествие и вернулись в Элмайру тем поездом и в том самом вагоне, который увез их на запад вместе со мной - год, месяц и одну неделю тому назад. И Сюзи была снова здесь, но она не махала на прощанье рукой, как это было тогда, а лежала в гробу, бледная и прекрасная; в доме, где она родилась.

Последние тринадцать дней своей жизни Сюзи провела в нашем доме в Хартфорде, в доме, в котором прошло ее детство и который был для нее любимейшим местом на свете. Ее окружали близкие люди: мистер Твичел, священник, знавший ее с колыбели и проделавший дальнейшее путешествие, чтобы быть возле нее; ее дядя и тетка; Кэти, поступившая к нам, когда Сюзи было всего восемь лет, кучер Патрик, Эллен и Джон, которые живут у нас тоже долгое время, мистер и миссис Теодор Крейн. И Джин была с ней.

Когда Ливи и Клара выехали из Англии, состояние Сюзи еще не считалось опасным. Через три часа произошел перелом к худшему. Начался менингит, стало ясно, что нет надежды. Это случилось 15 августа, в пятницу.

"В тот вечер она поела в последний раз" (Из письма Джин ко мне). На утро воспаление мозга было в полном разгаре. Измученная болью, в бреду, она побродила по комнате, но ослабела и снова легла в постель. До того она разыскала в гардеробе мамино платье, решила, что это мама и что она умерла, стала рыдать и целовать это платье. К полудню она ослепла (так шла болезнь) и горестно сказала об этом своему дяде.

Вот еще одна фраза из письма Джин: "В час дня мы в последний раз слышали ее голос".

Она произнесла одно только слово, в котором излила свою тайную муку. Она протянула руки, рядом стояла Кэти. Ласково глядя ее по лицу, Сюзи сказала: "Мама!"

Какое великое счастье, что в последний час, в час крушения и гибели, когда смертный мрак уже окутал ее, ее посетил этот благодатный обман. Последним видением в тускнеющем зеркале ее разума, последним чувством, с которым она покинула жизнь, был покой и радость этой воображаемой встречи.

В два часа дня она потеряла сознание и больше не шевелилась. Она пролежала так двое суток и еще пять часов, а во вторник вечером, в семь минут восьмого, она скончалась. Ей было двадцать четыре года и пять месяцев.

23-го мать и сестры проводили ее на кладбище. Ее, нашу гордость, наше сокровище!

15 января 1907 г.

[КУПЛЯ-ПРОДАЖА ГРАЖДАНСКОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ]

Род человеческий всегда был очень интересен, и история учит нас, что он всегда - неизменно - таким и будет. Он всегда одинаков, он никогда не меняется. Условия его жизни временами меняются - к лучшему или к худшему, но характер рода человеческого остается постоянным и не меняется никогда. В течение веков человечество создало несколько великих и сильных цивилизаций и явилось свидетелем того, как незаметно возникали неожиданные обстоятельства, приносившие с собою смертоносные дары, - люди принимали их за благодать и приветствовали их появление, - после чего эти величавые цивилизации разрушались и гибли.

Нет никакого смысла пытаться помешать тому, чтобы история повторялась, ибо характер человека всегда будет обрекать эти попытки на неудачу. Всякий раз, когда человек делает большой шаг вперед в области материального благосостояния и прогресса, он неизменно полагает, что это его прогресс, тогда как на самом деле он не продвинулся вперед ни на йоту, вперед продвинулись лишь условия его жизни, он же остается на прежнем месте. Он знает больше, чем знали его предки, но интеллект его ничуть не выше их интеллекта и никогда выше не станет. Он стал богаче своих предков, но характер его по сравнению с их характером не улучшился. Богатство и образование не являются вечным достоянием, они исчезнут, - так было с Римом, Грецией, Египтом и Вавилоном, - а за ними последует моральная и духовная ночь, тяжелый долгий сон и медленное пробуждение. Время от времени происходит нечто напоминающее изменение его характера, но это изменение преходяще. Человек не может даже придумать себе религию и сохранить ее в целостности - обстоятельства всегда оказываются сильнее его самого и всех его деяний. Условия и обстоятельства постоянно меняются и постоянно заставляют человека видоизменять свои верования, дабы привести их в соответствие с новой обстановкой.

В течение двадцати пяти - тридцати лет я тратил очень много - пожалуй, даже слишком много - времени на догадки о том, каков будет процесс, который превратит нашу республику в монархию, и скоро ли наступит это событие. Каждый человек - господин, но одновременно слуга, вассал. Всегда есть кто-то, кто взирает на него с почтением, кто восхищается им и завидует ему; всегда есть кто-то, на кого взирает с почтением он, кем он восхищается и кому завидует. Такова природа человека, таков его характер, - он нерушим и неизменен; и потому республики и демократии не годятся для человека: они не могут удовлетворить его потребностей. Его свойства всегда будут порождать такие условия и обстоятельства, которые в конце концов дадут ему короля и аристократию, коим он мог бы почтительно поклоняться. При демократическом режиме человек будет пытаться - причем самым искренним образом - не допускать к власти корону, но обстоятельства обладают огромной силой и в конечном счете заставят его покориться.

Республики жили подолгу, монархия живет вечно. Еще в школе мы узнаем, что огромное материальное благосостояние влечет за собою условия, которые развращают народ и лишают его мужества. Вслед за этим гражданские свободы выносятся на рынок; их продают, покупают, расточают, выбрасывают вон, и ликующая толпа на щитах и плечах поднимает своего кумира и навсегда водворяет его на трон. Нас всегда учат, - то есть прежде всегда



учили, - не забывать о примере Рима! Учитель рассказывал нам о суровой добродетели Рима, об его неподкупности, любви к свободе, о безграничном патриотизме, всеми этими свойствами Рим отличался во времена своей молодости и бедности; затем учитель рассказывал, как позже народ, ликуя, приветствовал расцвет материального благосостояния и могущества Римской республики, не ведая о том, что это не благодатные дары, а смертельный недуг.

Учитель напоминал нам о том, что гражданские свободы Рима были проданы с молотка не за один день, - наоборот, их покупали медленно, постепенно, понемножку, из-под полы; сначала за них давали немного зерна и масла самым бедным и обездоленным, потом зерно и масло раздавали избирателям, которые были уже не столь бедны, а потом все то же зерно и масло раздавали направо и налево - всем, кто мог продать свой избирательный голос. Словом, было то же самое, что происходит и в нашей истории. Вначале мы - по справедливости и с честными намерениями - давали пенсии тем, кто этого заслужил, инвалидам Гражданской войны. С этого честные намерения начались, и на этом они окончились. Мы внесли множество самых неожиданных добавлений в пенсионный список, причем наши цели опозорили военный мундир и законодательные органы, которые голосовали за эти добавления: ведь единственной причиной этих дополнительных списков была покупка избирательных голосов. Опять все то же самое: зерно и масло за обещание содействовать окончательному ниспровержению республики и замене ее монархией. Монархия победит так или иначе, даже и без этого, но это представляет для нас особый интерес в том смысле, что в огромной степени приближает день ее победы. У нас имеются два условия, которые были в Риме баснословное богатство с неизбежно следующей за ним коррупцией и моральным разложением, а также состоящие из зерна и масла пенсии, - то есть, иными словами, подкуп избирателей. Все это лишило гордости тысячи не устоявших перед соблазном людей и превратило их в нищих, охотно и без зазрения совести принимающих подаяния.

Достоин удивления, что физическая храбрость встречается на свете так часто, а моральная храбрость так редко. Года два назад один ветеран Гражданской войны спросил меня, не хочется ли мне когда-нибудь выступить с речью на ежегодном съезде Великой Армии Республики. Я вынужден был признаться, что у меня не хватит духу отважиться на такое предприятие, ведь мне пришлось бы упрекать старых солдат, что они не возмущаются нашим правительством, которое покупает голоса избирателей за места в пенсионном списке, тем самым превращая остаток их доблестной жизни в одно сплошное позорище. Я мог бы попытаться произнести эти слова, но у меня не хватило бы смелости, и я потерпел бы полное фиаско. Я бы являл собою жалкого морального труса, который пытается осуждать толпу существ той же породы людей почти столь же робких, как он сам, и ничуть не хуже его.

Да, так оно и есть - морально я так же труслив, как и все прочие, и все же мне кажется удивительным, что из сотен тысяч бесстрашных людей, не раз встречавшихся лицом к лицу со смертью на кровавых полях сражений, не нашлось ни одного человека, у которого хватило бы смелости открыто предать анафеме законодателей, низведших его до уровня жалкого прихлебателя, выпрашивающего подачки, а также изданные ими ублюдочные законы. Все смеются над нелепыми дополнениями к пенсионному списку, все смеются над самым нелепым, самым бесстыдным, самым откровенным из всех этих законов, над единственным открыто незаконным из всех этих законов - над бессмертным приказом № 78. Все смеются - втихомолку, все глумятся - втихомолку, все возмущаются - втихомолку; всем стыдно смотреть в глаза настоящим солдатам, - но никто не выражает своих чувств открыто. Это вполне естественно и совершенно неизбежно, ибо человек вообще не любит говорить неприятности. Таков его характер, такова его природа; так было всегда. Природа человека не может измениться: до тех пор пока человек существует, она никогда не изменится ни на йоту.

25 января 1907 г.

[КЛАРК, СЕНАТОР ОТ МОНТАНЫ]

Третьего дня под вечер один из моих близких друзей - назовем его Джонс - позвонил мне и сказал, что заедет за мной в половине восьмого и повезет меня обедать в Юнион-Лиг Клуб. Он сказал, что отвезет меня обратно домой, как только я пожелаю. Он знал, что, начиная с этого года - и до конца моих дней - я взял за правило отклонять вечерние приглашения, во всяком случае, те, которые связаны с поздним бдением и застольными речами. Но Джонс близкий друг, и потому я без особого неудовольствия согласился нарушить для него свое правило и принять приглашение. Впрочем, это не так: я испытал неудовольствие, и к тому же немалое. Сообщая, что обед будет иметь приватный характер, Джонс назвал в числе десяти приглашенных Кларка, сенатора от Монтаны.

Дело в том, что я имею слабость считать себя порядочным человеком, с установившимися моральными правилами, и не привык общаться с животными той породы, к которой принадлежит мистер Кларк. Тщеславным быть очень стыдно (тем более в этом признаваться), и тем не менее я вынужден сделать такое признание. Я горд, что моя дружба к Джонсу столь велика, что ради нее я согласился сесть за стол с сенатором Кларком. И дело не в том, что он состоит в нашем Сенате - другими словами, занимает сомнительное положение в обществе. Вернее, не только в том, потому что имеется немало сенаторов, которых я до некоторой степени почитаю и даже готов с ними встретиться на каком-нибудь званом обеде, если уж будет на то воля божья. Недавно мы отправили одного сенатора в каторжную тюрьму, но я допускаю, что среди тех, кто пока избежал этого продвижения по службе, могут встретиться и некоторые неповинные люди, - я не хочу сказать, разумеется, полностью неповинные люди, потому что таких сенаторов у нас не найдешь, - я имею в виду неповинные в некоторых из наказуемых преступлений. Все они грабят казну, голосуя за бесчестные законы о пенсиях, потому что хотят быть приятелями с Великой Армией Республики, с сыновьями солдат этой Армии, с внуками их и праправнуками. А голосование за эти законы - прямое преступление и измена присяге, которую они принесли, вступая в Сенат.

Итак, хотя я готов до известных пределов пренебрегать моральными правилами и встречаться с сенаторами средней преступности, даже с Платтом или Чонси Делью, - это не касается сенатора от Монтаны. Мы знаем, что он покупает законодательные собрания и судей, как люди покупают еду и питье. Он сделал коррупцию столь привычной в Монтане, так ее подсластил, что она уже там никого не шокирует. Каждый знает его историю. Едва ли можно найти в стране человека, стоящего в нравственном отношении ниже его. Думаю, что среди тех, кто выбрал его в сенаторы, не было ни одного, кто не знал бы, наверное, что истинное место ему на каторге с цепью и чугунным ядром на ногах. Со времен самого Туида {322} наша республика не производила более гнусной твари.

Обед был сервирован в одной из малых гостиных клуба. Пианист и скрипач, как обычно, делали все, чтобы помешать мирной беседе. Вскоре я выяснил, что гражданин штата Монтана был не просто одним из числа приглашенных: обед был дан в его честь. Пока шел обед, мои соседи справа и слева сообщили мне о причинах подобного торжества. Для выставки в клубе мистер Кларк предоставил Юнион-Лиг (самому влиятельному и, вероятно, самому богатому клубу в нашей стране) принадлежащее ему собрание картин европейских художников стоимостью в миллион долларов. Было ясно, что мой собеседник рассматривает этот поступок как проявление почти сверхчеловеческой щедрости. Мой другой собеседник почтительным шепотом сказал, что если сложить все пожертвования мистера Кларка, внесенные в кассу клуба, включая расходы, связанные с названной выставкой, то получится сумма не менее ста тысяч долларов. Он ожидал, что я подскочу и буду кричать от восторга, но я воздержался, так как пятью минутами ранее он успел мне сообщить, что доход мистера Кларка равен тридцати миллионам долларов в год.

Люди не разбираются в простых величинах. Подачка в сто тысяч долларов от лица, располагающего тридцатью миллионами годового дохода, никак не может рассматриваться как повод для истерических и коленопреклоненных восторгов. Если бы, скажем, я дал бы на что-нибудь десять тысяч (девятую часть моего заработка за нынешний год), это было бы для

меня более чувствительно и более достойно восторга, чем двадцать пять миллионов из кармана монтанского каторжника, у которого еще при этом осталась бы добрая сотня тысяч в неделю на мелкие расходы по дому.

Это наводит меня на мысль о единственном, насколько мне помнится, акте благотворительности, исходившем от Джея Гулда. Когда в Мемфисе, в штате Теннесси, вспыхнула желтая лихорадка, этот бесстыднейший развратитель американских коммерческих нравов, купавшийся в бесчисленных награбленных им миллионах, пожертвовал в пользу страдальцев Мемфиса пять тысяч долларов. Пожертвование мистера Гулда не нанесло ему большого ущерба, это был для него доход одного только часа, к тому же того, который он посвящал ежедневной молитве, - он был исключительно богобоязненным человеком. Но ураган восторга и благодарности, который пронесся по Соединенным Штатам, сокрушая общественное мнение, газеты, церковные кафедры, не мог не убедить интересующихся нашей страной иностранцев, что когда американский богач жертвует пять тысяч долларов на больных, умирающих и умерших бедняков, вместо того, чтобы на эти деньги подкупить окружного судью, он ставит рекорд благородства и богоугодности, невиданный в американской истории.

В должное время поднялся председатель клубного комитета изящных искусств и начал с замшелого и никого уже не способного обмануть заявления, что сегодня застольных речей не будет; будет лишь дружеский разговор. После чего он последовал далее по своему поросшему мхом пути и выдал нам речь, которая могла быть рассчитана только на то, чтобы каждому слушателю, еще не потерявшему полностью разум, стало стыдно за род человеческий. Если бы к нам на обед попал чужестранец, он подумал бы, что присутствует на божественной литургии в личном присутствии божества. Он заключил бы, что мистер Кларк - благороднейший гражданин, каким может похвастаться наша республика, образец самопожертвования и великодушия, расточительнейший благотворитель, какого не видывал свет. И этому коленопреклоненному почитателю денег и их владельцев не пришло даже в голову, что Кларк из Монтаны просто бросил монетку в протянутую ему клубом шляпу, и при этом потерпел не больше убытка, чем потеряв на улице десять центов.

Когда докучный оратор закончил свою молитву, поднялся президент Юнион-Лиг и продолжил молебствие. Его рвало комплиментами по адресу этого каторжника, которые с любой точки зрения могли восприниматься лишь как грубейшая шутка (хотя сам оратор об этом, как видно, не знал). Обоим ораторам дружно заплодировали. Но вот второй из них выступил с заявлением, которое, как мне сперва показалось, будет принято слушателями с неодобрением, с прохладцей. Он сказал, что доходы клуба от продажи билетов на выставку не покроют понесенных клубом издержек. Но оратор здесь сделал легчайшую паузу, - ту самую паузу, которую делают все ораторы, готовя коронный ход, - и сообщил, что сенатор Кларк, узнав о случившемся, вынул из кармана полторы тысячи долларов - половину того, что стоила страховка картин, - и тем спас клубную кассу. Не дай мне боже покинуть сей мир, если участники литургии не разразились овациями при этом сообщении. Не дай мне боже навек успокоиться, если каторжник не расплылся до ушей в блаженной истоме, которую он испытает еще только раз - в тот день, когда Вельзевул отпустит его на воскресный день из котла понежиться в холодильнике.

Я близился уже к последнему издыханию, когда председатель клуба прикрыл свою ярмарку пошлостей, представил обществу Кларка и сел на место. Кларк поднялся под яростный грохот рояля и визгливое пикивание скрипок. Это было "Звездное знамя" {324}, или нет - "Боже храни короля" {324}, а потом все участники во всю глотку пропели "Он такой славный мальчик!". Далее последовало настоящее чудо. Я всегда полагал, что ни одно существо не в силах произнести застольную речь о собственной добродетели. Оказывается, я упустил из виду ползучих гадюк. Сенатор Кларк нес свою околесицу около получаса. Темой его были уже знакомые нам комплименты предыдущих ораторов по поводу его грошовых щедрот. Но он не удовольствовался тем, что повторил их дословно. Он добавил по своему адресу кучу новых похвал, причем восхвалял себя с таким чувством и пылом, что все

предыдущие комплименты пожухли, поблекли, утратили силу и блеск. Уже сорок лет я сижу на банкетах, изучая человеческую глупость и человеческое тщеславие, но ни разу мне не пришлось наблюдать что-нибудь даже чуть приближающееся к ослиному самодовольству этого наглого, пошлого, бесконечно тупого деревенского олуха.

Я навсегда благодарен Джонсу за то, что он дал мне случай побыть на этом молебне. Мне казалось, что я успел наглядеться на всех речепроизносящих зверей и познакомился со всеми их разновидностями. Но здесь я впервые увидел, как люди бесстыдно лезут в помойную яму и открыто поклоняются долларам и тем, кто владеет долларами. Я знал, конечно, об этом, иной раз читал в газетах, но еще никогда не видел, как они преклоняют колена и читают молитвы вслух.

30 января 1907 г.

[ПАЛЛАДИУМ{325} СВОБОД]

Американские политические и коммерческие нравы уже не только повод для шуток - это целый спектакль.

Человек - достойное удивления, странное существо. Чтобы поднять политические и коммерческие нравы в Англии до мало-мальски пристойного уровня, потребовалась десятилетняя работа Кромвеля{325} и многих тысяч его проповедников и богомольных солдат. Но достаточно было Карлу II{325} поцарствовать несколько лет, и англичане снова сидели в своей грязной луже. Когда я был молод, порядочность у нас в США не была такой редкостью - в течение нескольких поколений нацию воспитывали честные люди, пользовавшиеся заслуженным влиянием в стране. Однако Джей Гулд - один, без всякой подмоги - всего за шесть лет подорвал нравственность американцев. А за три последующих десятилетия сенатор Кларк и компания так разложили страну, что, насколько я в силах судить, нет надежды на ее исцеление.

В минувшие времена у нас был популярен девиз, - звучный и не лишенный известной доли изящества. Мы внимали ему без устали и любили его повторять: "Пресса - палладиум наших свобод!" Этим словам придавали серьезный смысл. Но это было давно, перед тем как явился Джей Гулд. Если кто и решится теперь их повторить, то только как злую шутку.

Мистера Гуггенхайма недавно избрали в Сенат от Колорадо. Он подкупил для этого законодательное собрание штата, что является нынче почти общепринятым средством для избрания в Сенат. Как утверждают, Гуггенхайм купил законодательное собрание своего штата и уплатил за покупку наличными. Он настолько проникся духом политического гниения, господствующим в нашей стране, что не согласен признать свои действия преступлением, не считает их даже подлежащими критике. Что до "палладиума наших свобод", то во многих, известных мне случаях он охраняет интересы мистера Гуггенхайма и рассыпает ему похвалы. Так, выходящая в Денвере, штат Колорадо, газета "Пост", считающаяся надежным выразителем общественных настроений, пишет буквально следующее: "Действительно мистер Гуггенхайм потратил на выборы крупную сумму денег, но он лишь следовал практике многих других штатов. По существу же в его поступке нет ничего дурного. Мистер Гуггенхайм будет лучшим сенатором, какого когда-либо избирал Колорадо, он добьется для Колорадо того, в чем мы насущно нуждаемся: притока капиталов в Колорадо и нужных нам поселенцев. Мистер Гуггенхайм добьется для нас в Вашингтоне того, чего не добился Том Паттерсон. Гуггенхайм - человек, который нам нужен. Пора оставить попытки совершенствовать мир. Этим попыткам уже две тысячи лет, и особого успеха пока что они не имели. Народ избрал Гуггенхайма сенатором, и он должен быть утвержден в сенаторской должности, даже если он и потратил на это миллион долларов. Мы выставили двух кандидатов - Тома Паттерсона и Саймона Гуггенхайма. Народ предпочел Гуггенхайма. Наша газета склоняется перед волей народа".

Покупая для личных надобностей то, что в древности именовалось "священными привилегиями сенатора", мистер Гуггенхайм дал взятку не всем депутатам законодательного собрания. Он проявил уместную в этих случаях разумную экономию и не вышел за пределы того большинства, в котором нуждался, чтобы быть наверняка избранным. Это не очень

понравилось тем, кто остался без взятки, и они внесли резолюцию, требуя расследования всех обстоятельств, при которых сенатор был избран. Однако большинство, получившее взятку, не только отклонило внесенную резолюцию, но и добилось изъятия ее из протоколов собрания. Сначала я принял это за проявление застенчивости, но после понял, что я ошибался. Человек так устроен, что даже самый отъявленный вор не хочет быть выставленным в Галерее мазуриков.

30 января 1907 г.

[МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ]

Этот случай был мне рассказан одним из гостей на чествовании достопочтенного сенатора Кларка.

Его преподобие Эллиот Х. - неутомимый и ревностный библиофил, собиратель редких книг. Благодаря тому, что жена его богата, он может свободно предаваться своей страсти. Несколько лет тому назад он проезжал по малонаселенной сельской местности и остановился в доме фермера - отдохнуть, закусить или что-то в этом роде. Дом был очень скромный, почти бедный, но фермер с женой и двумя детьми казались довольными и счастливыми. Скоро внимание пастора привлек большой фолиант, на который дети то и дело садились во время игры. По-видимому, это была фамильная библия. Господин Х. очень огорчился, увидев, что священным писанием пользуются вместо скамейки; а кроме того, при виде старинного переплета в нем проснулась коллекционерская страсть. Он взял книгу в руки и перелистал ее. Вдруг радость потрясла его от затылка до пят: это был Шекспир, первое издание, и притом без изъянов!

Как только он овладел собой и успокоился, он спросил фермера, откуда у него эта книга. Фермер ответил, что она еще в незапамятные времена досталась его семье и что, перебираясь из Новой Англии на Запад, он захватил ее с собой просто потому, что это книга, - не выбрасывать же ее.

Господин Х. спросил, не продаст ли ему фермер Шекспира. Фермер ответил, что отчего же и не продать или не обменять на что-нибудь другое, поновее и поинтереснее.

Господин Х. сказал, что в таком случае он возьмет книгу с собой и...

Тут кто-то вмешался и прервал рассказ, и больше мы к нему не возвращались. Я вернулся домой, думая о незаконченном рассказе, и, ложась в постель, я все еще думал о нем: ситуация была интересная, и я жалел, что рассказ прервали. Потом, так как спать мне не хотелось, я решил сам придумать конец. Я знал, что это будет нетрудно: такие рассказы всегда идут по определенному, хорошо известному пути, и все они стремятся к одной и той же развязке.

Здесь я должен вернуться немного назад: дело в том, что я забыл одну подробность. Книга доставила пастору еще одно радостное потрясение: он нашел в ней подлинный автограф Шекспира. Чудесная находка, ибо до сих пор были известны всего только два его автографа. Кроме имени Шекспира, он нашел и другое имя - Уорд. Зная это имя, можно было проследить родословную книги и установить ее подлинность.

Как я уже сказал, придумать конец для рассказа не представляло труда. Я придумал его и остался им очень доволен. Вот он:

МОЯ ВЕРСИЯ

По приезде домой пастор справился о ценах на редкие книги и узнал, что неповрежденные экземпляры первого издания Шекспира повысились в цене на пять процентов сравнительно с осенью прошлого года, следовательно экземпляр фермера стоит 7300 долларов. Кроме того, он узнал, что за подлинный автограф Шекспира предлагают теперь 60 000 долларов вместо прежних 55 000. Пастор смиренно и горячо возблагодарил создателя за то счастье, которое он ему послал в виде этих сокровищ, и решил присоединить их к своей коллекции, чтобы прославить ее и утвердить эту славу навеки. Фермер получил от пастора чек на 67300 долларов, и его удивление и благодарность невозможно описать словами.

Я был очень доволен своей версией и немало ею гордился. Поэтому мне не терпелось

узнать конец рассказа и посмотреть, совпадает ли он с моим. Я отыскал рассказчика, и он удовлетворил мое любопытство. Ниже следует

#### КОНЕЦ РАССКАЗА

Необыкновенная находка оказалась подлинной и по существующим ценам стоила много тысяч долларов: в самом деле, ценность автографа прямо-таки не поддавалась исчислению в долларах, и не один из американских мультимиллионеров с радостью отдал бы за нее три четверти своего годового дохода. Великодушный пастор не забыл бедного фермера: он послал ему Энциклопедию и 800 долларов.

Клянусь духом Цезаря, я был разочарован и не скрыл этого! Возник спор, в котором приняло участие несколько человек. Я утверждал, что пастор поступил с фермером невеликодушно и, воспользовавшись его невежеством, попросту обокрал его. Другие доказывали, что ученость пастора сама по себе есть ценность, на приобретение которой он потратил много времени и труда, и что ему по праву принадлежит вся та выгода, какую он может извлечь из своей учености; что он не обязан делиться своими познаниями с человеком, который интересовался лишь картофелем, кукурузой да свиньями, тогда как мог бы посвящать свой досуг приобретению тех самых познаний, которые оказались столь ценными для пастора.

Меня это не убедило, и я все же настаивал на том, что сделка невыгодна для фермера и что, во всяком случае, пастор должен был уплатить ему половину стоимости книги и автографа. Я бы уплатил половину, - так мне казалось, - и я прямо об этом заявил. Я не был в этом уверен, но по крайней мере мне так казалось. В глубине души я сознавал, что будь я на месте пастора, то сгоряча я согласился бы уплатить фермеру все, а не половину, а когда первый порыв прошел бы, я урезал бы долю фермера на десять процентов; потом, остыв еще немножко, я опять урезал бы долю фермера; если же у меня хватило бы времени для дальнейшего охлаждения, я, весьма вероятно, послал бы фермеру Энциклопедию и на этом покончил бы. Именно так свойственно поступать человеческой породе, а ведь я и есть человеческая порода в сжатом виде, втиснутая в пару платья, но вполне способная отражать все настроения и чувства всей многоликой человеческой массы.

4 февраля 1907 г.

[БРЕТ ГАРТ]

В наши дни происходят события, снова напомнившие мне о Брет Гарте; они всколыхнули воспоминания о нем, уводящие меня на тридцать - сорок лет назад.

Однажды, когда Брет Гарт, совсем молодым парнем, приехал на Тихоокеанское побережье и скитался по стране в поисках хлеба с маслом, с ним случилось любопытное приключение. Он рассказывал мне кое-что о своей жизни в те годы. Одно время он был учителем в бойком золотоискательском поселке Янра и немного прирабатывал, редактируя маленькую местную газетку для двух наборщиков, которым она принадлежала.

В обязанности редактора входило чтение корректуры. Однажды перед ним положили полосу с одним из тех старомодных некрологов, которые, к несчастью, пользовались таким широким распространением в Соединенных Штатах в те времена, когда мы были мягкосердечным и сентиментальным народом. В некрологе было полстолбца, и написан он был по трафарету, то есть состоял из прилагательных в превосходной степени, с помощью этих превосходных степеней автор пытался превознести до небес покойную миссис Томпсон, в результате чего получилось необыкновенно цветистое, высокопарное и в высшей степени неправдоподобное похвальное слово, кончавшееся фразой, неизбежной для всех трафаретных некрологов: "Мы ее потеряли, она же приобрела вечное блаженство".

В корректуре Брет Гарт нашел такую фразу: "Даже в Янре она выделялась своей добродетелью". Разумеется, это была ошибка наборщика. Надо было "добротой", но Брет Гарт об этом не подумал, он знал одно: что наборщик ошибся, а в чем - будет видно, когда набор сверят с рукописью; поэтому он последовал правилу корректоров и своим пером сделал обычную пометку, которая означала, что нужно заглянуть в рукопись. Делается это очень просто, в одну секунду: он подчеркнул слово "добродетель", а на полях поставил в

скобках вопросительный знак. Это был сокращенный способ выразить следующее: "В слове есть ошибка, сверьте с рукописью и исправьте, что нужно". Но есть и другой корректорский закон, о котором он позабыл. Этот закон гласит, что, когда слово выделено недостаточно, надо подчеркнуть его, и тогда наборщик должен набрать это слово курсивом.

И вот, развернув утром газету и увидев этот некролог, Гарт больше не захотел смотреть на него. Он сел на мула, который бродил без присмотра, и рысью выехал из города, зная очень хорошо, что вдовец скоро сделает ему визит, захватив с собой револьвер. Несчастливая фраза в некрологе теперь приняла такой вид: "Даже в Янре она выделялась своей добродетелью (?)", что сделало ее зловеще и неуместно иронической!

О другом приключении Гарта мне напомнило, по некоторой, очень отдаленной ассоциации, одно замечание в письме, недавно полученном от Тома Фитча, которого Джо Гудмен искалечил на дуэли; Том Фитч жив и до сих пор, но переселился в Аризону. Проведя долгие годы в скитаниях вокруг света, Фитч вернулся к тому, что любил в молодости: к пескам, полыни, зайцам, к старинному укладу жизни, и все это обновило его дух и вернуло утраченную молодость. Добродушный народ хлопает его по плечу и зовет его... впрочем, не важно, как его зовут: ваш слух это может оскорбить, а для Фитча нет ничего приятней. Он знает, что в этом прозвище есть глубокий смысл, что так его зовут в знак приязни, и потому это прозвище звучит для него как музыка, и он даже благодарен за него.

Когда "Счастье ревущего стана" появилось в печати, Брет Гарт сразу же прославился: имя автора и похвалы ему были у всех на устах. Как-то ему пришлось поехать в Сакраменто. Сойдя на берег, он позабыл запастись билетом для обратного путешествия. Возвратившись на пристань к вечеру, он понял, что совершил роковую ошибку; по-видимому, все Сакраменто собралось ехать в Сан-Франциско: очередь тянулась от каюты судового казначея по сходням и заворачивала на улицу, теряясь из виду.

У Гарта была одна надежда: так как в театрах, в концертных залах, на катерах и на пароходах всегда оставляют десяток лучших мест для избранной публики, которая опаздывает, то, может быть, его имя поможет ему достать одно из этих запасных мест, если он тайком передаст свою карточку казначею; и вот он пробрался сторонкой мимо очереди и наконец очутился плечом к плечу с огромного роста и свирепого вида золотоискателем, по-видимому горцем, с пистолетом за поясом, в широкополой шляпе, бросавшей тень на его бородатое разбойничье лицо, в одежде, забрызганной глиной от подбородка до сапог. Очередь медленно подвигалась к окошечку кассы, и каждый, подойдя ближе, выслушивал роковые слова: "Коек не осталось, нет ни одного свободного места". Казначей как раз говорил это свирепому гиганту-золотоискателю, когда Брет Гарт сунул ему в окошко свою карточку. Казначей воскликнул, просовывая ему ключ от каюты: "Ах, мистер Брет Гарт! Очень рад вас видеть, сэр! Возьмите себе всю каюту, сэр!"

Оставшийся без койки золотоискатель угрюмо покосился на Брет Гарта так, что у перепуганного писателя потемнело в глазах и ключ звякнул о деревянный номерок в его дрожащей руке; он постарался спрятаться от золотоискателя и стал искать уединения и безопасности за шлюпками и прочими предметами на штормовой палубе. Но то, чего он ожидал, все-таки случилось: золотоискатель тоже забрался туда и стал расхаживать по палубе, заглядывая во все уголки; когда он подходил слишком близко, Гарт менял свое убежище и прятался в другом месте. Все шло довольно благополучно около получаса, но в конце концов Гарт сделал промах. Он осторожно выглянул из-за шлюпки и очутился лицом к лицу с золотоискателем! Положение было ужасное, можно сказать - трагическое, но спастись нечего было и думать, и Брет Гарт стоял неподвижно и ждал своей гибели.

Наконец золотоискатель спросил сурово:

- Вы Брет Гарт?

Гарт слабым голосом сознался в этом.

- Вы написали "Счастье ревущего стана"?

Гарт и в этом сознался.

- Это верно?

- Да (шепотом).

Золотоискатель рывкнул восторженно и любовно:

- Ах ты сукин сын! Давай руку! - и, ухватив руку Брет Гарта своими мощными копытами, чуть не раздавил ее.

Тому Фитчу знакома эта формула приветствия, а также та любовь и восхищение, которые очищают ее от всего земного и делают ее возвышенной.

В молодости я любил Брет Гарта, и другие тоже, но со временем я его разлюбил, и другие тоже. Он не умел сохранять друзей надолго. Это был дурной человек, решительно дурной: бесчувственный и бессовестный. Его жена была всем, чем только может быть хорошая женщина, хорошая жена, хорошая мать и хороший друг, но, уехав в Европу консулом, он бросил ее с маленькими детьми и так и не вернулся к ним до самой смерти, которая последовала через двадцать шесть лет.

Он постоянно брал в долг и был в этом отношении неисправим; если он и вернул хоть раз деньги, которые занимал, то, во всяком случае, это событие не вошло в его биографию. Он всегда готов был дать расписку, но этим дело и кончалось. Мы отплыли в Европу 10 апреля 1878 года, а накануне состоялся банкет в честь Байярда Тэйлора{333}, который был назначен нашим посланником в Германии и уезжал с тем же пароходом. На этом обеде я познакомился с одним джентльменом, чье общество нашел весьма интересным, и мы с ним очень сошлись и дружески беседовали. Он заговорил о Брет Гарте, и скоро оказалось, что он им не совсем доволен.

Когда-то он так восхищался произведениями Брет Гарта, что от души желал познакомиться с ним самим. Знакомство состоялось, и начались займы. Этот человек был богат и с радостью давал в долг. Гарт каждый раз писал расписку, писал по собственной инициативе, потому что этого от него не требовали. Тогда Гарт пробыл на востоке около восьми лет, и займы продолжались почти все это время; в общем набралось около трех тысяч долларов. Мой собеседник признался мне, что расписки Брет Гарта были для него мучением, так как он думал, что они были мучением и для Брет Гарта.

Потом ему пришла в голову, как он полагал, счастливая мысль: он собрал расписки в одну пачку и послал их Гарту 24 декабря 1877 года в виде рождественского подарка, приложив к ним письмо, в котором просил Брет Гарта простить ему эту вольность ради теплых и искренних дружеских чувств, продиктовавших его. Гарт на следующий же день вернул ему всю пачку вместе с посланием, которое было исполнено чувства оскорбленного достоинства и в котором он в категорической форме, официально и навсегда порывал всякие отношения со своим другом. Но о том, чтобы уплатить когда-нибудь по распискам, не было и речи.

Совершив в 1870 году триумфальное шествие с запада на восток, Брет Гарт избрал своей резиденцией Ньюпорт, в штате Род-Айленд - этот питомник аристократии, так сказать племенной завод аристократии, аристократии американского типа, торжище, куда английская знать ездит для обмена своих наследственных титулов на американских невест и звонкую монету. В какой-нибудь год Брет Гарт спустил все десять тысяч и уехал из Ньюпорта, задолжав мяснику, булочнику и всем, кому только было можно, и поселился в Нью-Йорке с женой и детьми. Замечу кстати, что, живя в Ньюпорте и Кохассете, Брет Гарт постоянно обедал у своих светских знакомых и был единственным гостем, которого приглашали без жены. В нашем языке очень много резких выражений, но я не знаю ни одного, которое было бы достаточно резко, чтобы охарактеризовать подобное поведение мужа.

Прожив в Нью-Йорке два-три месяца, Гарт приехал в Хартфорд и остановился у меня. Он говорил, что у него нет денег и никаких видов на будущее, что в Нью-Йорке он задолжал двести пятьдесят долларов мяснику и булочнику и что больше отпускать в долг они не согласны; что он должен за квартиру и что хозяин грозит выгнать его семью на улицу. Он приехал ко мне просить взаймы двести пятьдесят долларов. Я сказал, что это поможет разделаться только с булочником и мясником, а хозяин будет по-прежнему преследовать его;



лучше уж взять пятьсот долларов, - что он и сделал. Все остальное время до отъезда он только и делал, что отпускал ядовитые остроты насчет нашей мебели, нашего дома и вообще насчет нашего домашнего быта.

Гоуэлс заметил вчера, что Гарт был одним из самых привлекательных людей, с которыми он встречался, и одним из самых остроумных. Он сказал, что в нем было какое-то обаяние, которое заставляло забывать, хотя бы на время, о его низости, его ничтожности и его нечестности и даже прощать все это. Что Брет Гарт был очень остроумен, в этом Гоуэлс не ошибается, но он, вероятно, никогда не задумывался над тем, какого характера это остроумие. Характер-то все и портил. Его остроумие было неглубоко и односторонне: оно проявлялось только в насмешках и издевательствах. Когда не над чем было издеваться, Гарт не блистал и не сверкал и казался ничуть не интереснее нас грешных.

Как-то он написал пьесу, в которой был выведен очаровательный китаец, - пьесу, которая непременно имела бы успех, если бы ее написал кто-нибудь другой, но Гарт нажил себе врагов в лице нью-йоркских театральных критиков, постоянно и без стеснения обвиняя их в том, что они никогда не дадут благоприятного отзыва о новой пьесе, если только этот благоприятный отзыв не куплен и не оплачен заранее. Критики давно ждали удобного случая и, как только пьеса Гарта была поставлена, с радостью набросились на нее, изругали и высмеяли безжалостно. Пьеса провалилась, и Гарт считал, что в этом провале повинны критики. По прошествии некоторого времени он предложил мне написать вместе с ним пьесу, в которой каждый из нас взял бы на себя по несколько персонажей. Он приехал в Хартфорд и прогостил у нас недели две. Он никогда не мог заставить себя взяться за работу до тех пор, пока не будет исчерпан весь кредит, потрачены все деньги и нужда не постучится в двери. Тогда он садился и работал, как никто, - до тех пор, пока откуда-нибудь не приходила помощь.

Я немного уклонюсь в сторону: как-то он приехал к нам накануне рождества - погостить денек и закончить для "Нью-Йорк сан" рассказ, который назывался, если память мне не изменяет, "Тэнкфул Блоссом". За этот рассказ он должен был получить 150 долларов во всяком случае, но мистер Дана пообещал ему 250, если рассказ успеет попасть в рождественский номер. Гарт дошел до середины рассказа, но времени оставалось так мало, что он должен был уехать к нам, чтобы ему не мешали работать визиты назойливых кредиторов.

Он приехал к обеду. Он сказал, что времени у него в обрез и потому он сядет за работу сейчас же после обеда. Затем он принялся спокойно и безмятежно болтать - и болтал в течение всего обеда, а потом в библиотеке у камина. Так продолжалось до десяти часов вечера. Миссис Клеменс ушла спать, мне принесли горячий пунш, и вторую порцию пунша для Брет Гарта. Болтовня не прекращалась. Я обычно выпиваю только один стакан пунша и за этим занятием просиживаю до одиннадцати, а Гарт все подливал и подливал себе и глотал стакан за стаканом. Наконец пробило час, я извинился и пожелал ему доброй ночи. Он попросил, нельзя ли ему взять к себе в комнату бутылку виски. Мы позвонили Джорджу, и он принес виски. Мне казалось, что Гарт уже выпил достаточно, чтобы потерять всякую работоспособность; однако я ошибся. Больше того, было совершенно незаметно, чтобы виски хоть сколько-нибудь подействовало на его умственные способности.

Он ушел к себе в комнату и, вооружившись бутылкой виски и разведя для комфорта огонь в камине, работал всю ночь. В шестом часу утра он позвонил Джорджу: бутылка была пуста, и он велел принести другую; к девяти часам утра он успел выпить и добавочную порцию и явился к завтраку не пьяный и даже не на взводе, а такой же как всегда, веселый и оживленный. Рассказ был кончен - кончен вовремя, и лишняя сотня долларов была ему обеспечена. Мне любопытно было знать, на что похож рассказ, дописанный в таких условиях, и через какой-нибудь час я это узнал.

В десять часов утра у нас в библиотеке собрался клуб молодых девушек, "Клуб субботних утренников" - так он назывался. Беседовать с девочками должен был я, но я попросил Гарта занять мое место и прочесть им свой рассказ. Он начал чтение, но скоро

стало ясно, что он, как большинство людей, не умеет читать вслух; тогда я взял у него рассказ и прочел сам. Вторая половина рассказа была написана при неблагоприятных условиях, о которых я уже говорил; насколько я знаю, об этом рассказе никогда не говорили в печати, и, кажется, он остался совершенно неизвестен, но, по моему убеждению, это одно из лучших созданий Гарта.

Вернемся ко второму его приезду. На следующее утро мы с ним пошли в бильярдную и приступили к пьесе. Я дал имена своим персонажам и описал их, то же сделал и Гарт для своих персонажей. Потом он начал набрасывать план, акт за актом, сцену за сценой. Он работал быстро, по-видимому, не задумываясь, не колеблясь ни минуты; то, что он сделал в час-полтора, стоило бы мне нескольких недель тяжелого напряженного труда, а по прочтении оказалось бы никуда не годным. Но то, что написал Гарт, было хорошо и годилось в дело; я смотрел на это как на чудо.

Потом началось заполнение пробелов. Гарт быстро писал диалоги, а мне нечего было делать; только когда кто-нибудь из моих персонажей должен был что-нибудь сказать и Гарт говорил мне, какого характера нужна реплика, я находил подходящие выражения, которые Гарт тут же записывал. Так в течение двух недель мы работали по три, по четыре часа в день и написали неплохую, вполне сценичную комедию. Написанное Брет Гартом было лучшей частью комедии, но критиков это не смутило: когда пьеса была поставлена, они хвалили только меня, расточая похвалы с подозрительной щедростью, а на долю Гарта доставался весь яд, какой был у них в запасе. Пьеса провалилась.

Все эти две недели Гарт старался быть особенно занимательным в разговоре за завтраком, за обедом, за ужином и в бильярдной, где мы работали, и изоощрялся в язвительных остротах, высмеивая решительно все в нашем доме. Ради миссис Клеменс я терпел все это до последнего дня, но в тот день в бильярдной он угостил меня последней каплей, переполнившей чашу: это было не прямое, как будто завуалированное и небрежное ироническое замечание по адресу миссис Клеменс. Он отрицал, что оно было сделано на ее счет, и, будь я настроен помягче, я мог бы удовольствоваться его объяснением, но мне слишком хотелось высказать ему откровенно все, что я о нем думаю. В основном я сказал ему следующее:

"Гарт, ваша жена достойна всяких похвал, она милое и чудесное существо, и я не преувеличу, если скажу, что она во всех отношениях равна миссис Клеменс; а вы никуда не годный муж, вы часто говорите о ней с иронией, если не издевательски, - так же, как и обо всех других женщинах. Но на этом ваши привилегии и кончаются: миссис Клеменс вы должны оставить в покое. Вам не подобает над ней издеваться; вы здесь ничего не платите за кровать, на которой спите, - однако вы позволили себе весьма ядовито острить на этот счет, а вам следует быть посдержаннее и не забывать, что собственной кровати у вас нет уже десять лет; вы говорили нам колкости по поводу мебели в спальне, по поводу посуды на столе, по поводу прислуги, по поводу коляски, саней и ливреи кучера, - да, по поводу каждой мелочи в доме и доброй половины его обитателей; вы судили обо всем этом свысока, обуреваемый нездоровым стремлением острить во что бы то ни стало. Но это вам не к лицу; ваши обстоятельства, ваше положение исключают возможность всякой критики с вашей стороны; у вас есть талант и известность, вы могли бы содержать семью самым достойным образом и ни от кого не зависеть, но вы прирожденный бродяга и лодырь, вы лентяй и бездельник, вы ходите в лохмотьях, на вас нет ни одного лоскутка без дыр, кроме огненно-красного галстука, да и за тот еще не уплачено по счету; ваш доход состоит на девять десятых из займов, и эти деньги, в сущности, краденые, потому что вы и не намеревались их возвращать; вы обираете вашу труженицу сестру, живя на ее счет в меблированных комнатах, которые она содержит; последнее время вы не смеете к ней носу показать, потому что вас стерегут кредиторы. Где вы жили все это время? Никто не знает. Ваша семья и та не знает. А я знаю. Вы скрывались в джерсейских лесах и болотах, жили как бродяга, - вы сами в этом сознаетесь не краснея. Вы издеваетесь над всем в этом доме, а вам бы следовало быть деликатней и не забывать, что все здесь приобретено честным путем и оплачено трудовыми

деньгами".

В то время Гарт был мне должен полторы тысячи долларов, впоследствии он довел этот долг до трех тысяч. Он предлагал мне расписку, но я не держу музея и не взял ее.

Гарт относился ко всяким договорам и обязательствам с феноменальной небрежностью. Он мог быть весел и радостен, когда ему грозило расторжение договора, он мог даже шутить по этому поводу; если даже это его и тревожило, то посторонним это было совершенно незаметно. Он обязался написать роман "Габриэль Конрой" для моего издателя в Хартфорде - Блисса. Роман должен был издаваться по подписке. После заключения договора начались мытарства Блисса. Драгоценное время тратилось попусту. Блисс получал от Гарта одни обещания, но не рукопись, - по крайней мере до тех пор, пока у Гарта были деньги или он мог их занять. Он брался за перо только тогда, когда нужда буквально хватала его за горло. Два-три дня он усиленно работал и ухитрялся получить от Блисса аванс под свою рукопись.

Приблизительно раз в месяц Гарту приходилось очень туго; тогда он старался нацарапать побольше, чтоб хоть на время выпутаться из долгов, относил рукопись к Блиссу и просил аванс. Эти покушения на будущую прибыль никогда не принимали угрожающих размеров и казались опасными только Блиссу: в его глазах какая-нибудь сотня долларов, которая не была еще заработана, принимала гигантские размеры. В конце концов Блисс встревожился не на шутку. Вначале он считал, что договор на большой роман Брет Гарта - это ценная находка, и, не удержавшись, протрубил о своей удаче везде и всюду. Такая огласка была бы даже полезна Блиссу, если бы он имел дело с человеком, который привык держать свое слово. Но он имел дело с человеком другого сорта, и потому действие огласки потеряло свою силу задолго до того, как Гарт довел книгу до середины. Если подобного рода интерес пропадает, то его уже не воскресишь.

Наконец Блисс понял, что "Габриэль Конрой" - нечто вроде белого слона. Книга близилась к концу, но как подписное издание совсем не шла. Гарт успел получить 3600 долларов аванса, - мне кажется, мой подсчет правилен, - и Блисс потерял сон и аппетит, придумывая, как вернуть эти деньги. Наконец он продал право издания романа одному журналу за ту же ничтожную сумму, и это была выгодная сделка, потому что право издания не стоило этих денег.

Я думаю, чувство стыда было органически чуждо Брет Гарту. Как-то он рассказал мне на первый взгляд незначительный случай, который вспомнился ему так, между прочим, - что в те времена, когда он, еще юношей, жил в Калифорнии, когда вся жизнь была у него еще впереди и ему приходилось искать хлеб с маслом, он содержал одну женщину, вдвое старше него, - то есть наоборот: эта женщина его содержала. Двадцатью - тридцатью годами позже, когда он был консулом в Англии, его временами содержали женщины; это вошло в историю вместе с именами этих женщин; он жил у них и в доме одной из них умер.

Мне вспоминается еще случай, который относится ко времени моего знакомства с Гартом и напоминает другой такой же, имевший место во время моего пребывания на Тихоокеанском побережье. Разорившись на спекуляции бумагами Хейла и Норкросса с помощью моего заботливого брата Ориона, я остался с тремя сотнями долларов в кармане, и мне буквально некуда было деваться. Я отправился в Ослиное Ущелье и некоторое время жил в хижине у своих приятелей, искавших золото. Это были славные ребята, хорошие товарищи во всех отношениях, честные и всеми уважаемые люди; им отпускали в кредит свинину и бобы, и это было счастье, потому что золото они искали самым ненадежным способом: они разрабатывали "карманы", а насколько мне известно, этот способ на нашей планете не практикуется нигде, кроме Ослиного Ущелья и его окрестностей.

"Карман" - это место скопления золотого песка на очень небольшом пространстве по склону горы; оно находится близко к поверхности; дождь смывает частицы золота вниз, и они располагаются веером, - чем ниже, тем все шире и шире; золотоискатель промывает песок в тазу, находит блеск-другую золота, делает шаг направо или налево, промывает песок второй раз, опять находит крупинку или две и продолжает промывку, пока не дойдет до краев веера и справа и слева, а об этом ему скажет самая верная примета: промывка не

даст больше ни крупинки золота. Дальше уже легче: он делает промывки, подвигаясь вверх по склону, причем веер все суживается, и, наконец золотоискатель доходит до "кармана". В "кармане", может быть, лежит всего сотня-другая долларов, которую он добудет двумя взмахами лопаты, а может быть - и целое состояние. Он гонится за богатством и будет искать его всю жизнь, никогда не теряя надежды.

Мои приятели искали это сокровище ежедневно на протяжении восемнадцати лет; они так ничего и не нашли, но отнюдь не приходили в отчаяние. Они были совершенно уверены, что когда-нибудь да найдут. За те три месяца, что я пробыл с ними, мы не нашли ровно ничего, но искали с увлечением, и время летело незаметно. Вскоре после того как я уехал, один мексиканец, шатаясь по окрестностям, нашел "карман", в котором было на сто двадцать пять тысяч золота, и в таком месте, где нашим и в голову не приходило искать. Вот что значит счастье! И вот как несправедливая и коварная природа относится к честности и упорству в труде.

Наши костюмы порядком поизносились, но беда была невелика. Мы не отстали от моды: остальное население одевалось не лучше нас. У моих приятелей вот уже несколько месяцев не было ни цента, да они и не нуждались в деньгах: у них имелся прочный кредит на свинину, кофе, муку, бобы и патоку. Если уж говорить о какой-то разнице, то из нас троих всего хуже был одет Джим Гиллис; если можно было уловить какую-нибудь разницу в степени ветхости, то лохмотья Джима казались самыми ветхими, но он отличался врожденным изяществом и держался так, что на нем всякая рвань казалась достойной короля. Однажды мы сидели в ободранном, полуразвалившемся кабачке, когда туда зашли бродячие музыканты: один играл на банджо, а другой очень неуклюже плясал и пел комические песенки так, что делалось тошно. Они пустили по рукам шляпу и собрали с десятка обанкротившихся старателей центов тридцать. Когда шляпа дошла до Джима, он сказал мне независимым тоном миллионера: "Дай мне доллар".

Я дал ему две пятидесятицентовые монеты. Вместо того чтобы скромно опустить их в шляпу, он швырнул их издали, точь-в-точь как герцог в старинных романах: не подает нищему милостыню, а "бросает" ее или "швыряет" к его ногам, и всегда это - "кошелек с золотом". В романах очевидцы неизменно бывают поражены; великодушие Джима было во вкусе этих романов: две монеты казались ему полным кошельком золота; как и герцог, он играл для галерки, но на этом и кончается параллель. В случае с герцогом очевидцы знали, что он имеет возможность бросить кошелек с золотом, и их восхищение больше чем наполовину состояло из зависти к человеку, который в состоянии так изящно и небрежно швыряться кошельками. Золотоискатели восхищались красивой щедростью Джима, но им было известно, что такие поступки ему не по карману, и это умеряло их восторг. И тем не менее Джим стоил сотни таких, как Брет Гарт, потому что это был настоящий человек, и человек без изъянов. Проявив тщеславие и притворство, он выказал черты характера, делавшие его похожим на Брет Гарта, но на этом сходство и кончалось.

Перехожу к случаю с Брет Гартом. Когда наша пьеса была готова и надо было передать ее режиссеру Парслоу, я приехал по другому делу в Нью-Йорк и остановился, как всегда, в "Отель Сент-Джеймс". Брет Гарт все откладывал и откладывал: пьеса уже два дня как должна была быть передана Парслоу, но Брет Гарт об этом не заботился. Около семи вечера он вошел в вестибюль отеля; на нем был старый серый костюм, до того заношенный, что брюки внизу обтрепались и превратились в бахрому; башмаки тоже были стоптанные, все мокрые и в грязи, а на голове сидела слегка набекрень измятая фетровая шляпа, размера на два меньше, чем следует. Яркий узенький галстук был налицо и казался еще крикливее и самодовольнее, чем обычно, и еще больше бросался в глаза. Пьесу он держал в руках. До театра Парслоу не было и трех минут ходьбы; я так и думал, что он скажет: "Пойдем отнесем пьесу к Парслоу".

Но он этого не сделал; он подошел к конторке, передал сверток портье и сказал тоном маркиза:

- Для мистера Парслоу. Пошлите в театр.

Портье сурово оглядел его и сказал с видом человека, собирающегося здорово отбрить:

- Посыльному следует уплатить десять центов.

Брет Гарт сказал:

- Позовите посыльного.

Портье позвал. Явился посыльный, взял сверток и остановился, ожидая приказа. На лице портье изобразилось нечто вроде злорадного любопытства. Брет Гарт обернулся ко мне и сказал:

- Дайте мне доллар.

Я дал ему доллар. Он отдал его посыльному и сказал:

- Бегите скорей.

Портье сказал:

- Погодите, я дам вам сдачи.

Брет Гарт сделал великолепный, чисто герцогский жест и сказал:

- Не трудитесь. Пусть мелочь останется посыльному.

Эдвард Эверетт Гейл {342} написал рассказ, который вызвал большую сенсацию, выйдя из печати в те страшные дни перед Гражданской войной, когда Север и Юг присели перед прыжком, готовые ринуться вперед и вцепиться друг другу в горло. Он назывался "Человек без родины". В некотором роде Брет Гарт был именно такой человек, то есть человек без родины; нет, не человек: человек - это слишком сильно сказано, - был беспозвоночное без родины. Он любил родину не больше, чем устрица свою отмель, в сущности - даже меньше, и я извиняюсь перед устрицей. Более высокие чувства были чужды Брет Гарту, он знал о них только из книг. В его собственных книгах он только имитировал их; нередко это была очень хорошая имитация, в которую могли поверить люди, не знавшие Брет Гарта, как могут верить актеру, "симулирующему" на сцене высокие страсти, которые он не переживает, а воспроизводит искусственно, следуя затверженным наизусть правилам.

7 ноября 1876 года (кажется, это было 7-го) он неожиданно явился в Хартфорд и прогостил у нас весь следующий день - день выборов. Как всегда, он был безмятежно спокоен; он был невозмутимо благодушен. Несомненно, это был единственный безмятежно спокойный и невозмутимо благодушный избиратель во всех Соединенных Штатах; остальные - обычное явление в нашей стране захлебывались от предвыборных волнений, ибо в те дни пылал пресловутый политический пожар, которому вскоре суждено было закончиться одним из самых хладнокровных надувательств, какими республиканская партия когда-либо морочила американский народ: кражей президентского кресла у мистера Тилдена, который был избран, и передачей его мистеру Хейзу, который потерпел на выборах поражение.

Я был ярим сторонником Хейза, - вполне естественно, потому что в то время я был очень молод. С тех пор я пришел к убеждению, что политические взгляды нации в любом случае ничего не стоят, но если в них есть хоть какая-то ценность, искать ее надо среди стариков, а не среди молодежи. Я был так же взволнован, так же вне себя, как и все остальные избиратели, и удивился, когда Брет Гарт сказал, что собирается погостить у нас в день выборов и еще следующий; впрочем, удивился я не очень сильно, так как, зная обычную беззаботность Брет Гарта, решил, что он просто перепутал числа. У него еще было достаточно времени, чтобы исправить эту ошибку. Я сказал, что он вполне успеет вернуться в Нью-Йорк к голосованию. В ответ он сказал, что не собирается голосовать, что уехал нарочно, чтобы не голосовать и в то же время иметь благовидное оправдание.

Затем он объяснил мне, почему не хочет голосовать. Он сказал, что благодаря помощи влиятельных друзей ему удалось получить и от мистера Тилдена и от мистера Хейза обещание назначить его консулом; чем бы ни кончились выборы, консульство ему обеспечено, а сами они его нисколько не интересуют. Он сказал, что ему нельзя голосовать за одного из кандидатов, ибо если об этом узнает другой, это может послужить для него достаточным поводом, чтобы взять назад свое обещание. Непроизвольная, но довольно едкая сатира на нашу политическую систему! Собственно говоря, какое дело президенту до того,

как проголосовал предполагаемый консул? Консульская должность не имеет никакого отношения к политике. Казалось бы, право человека на должность консула должно определяться только тем, насколько он для нее подходит, и при всякой здоровой политической системе вопрос о его политической окраске не играл бы никакой роли. Однако человек, отвергнутый нацией, был возведен на президентское кресло, а человек без родины получил свой консульский пост.

Гарт был человек бесчувственный по той причине, что ему нечем было чувствовать. Актер Мак-Куллох {344} был человек высокой нравственности, великодушный, внушающий к себе симпатию, человек, правдивость которого не вызывает сомнений. Он был большой поклонник произведений Брет Гарта, а в былые времена, в Сан-Франциско, нежно любил и самого Брет Гарта; с течением времени эта любовь поостыла, в чем следует винить только Гарта. Как бы то ни было, эта привязанность лишь несколько уменьшилась, но отнюдь не исчезла; однако вскоре случилось нечто такое, что уничтожило и последние остатки этой привязанности. Джон Мак-Куллох рассказал мне, как это вышло.

Однажды к нему на нью-йоркскую квартиру явился молодой человек и сказал, что он сын Брет Гарта, что он только что приехал из Англии с рекомендательным письмом от отца, и подал письмо. Мак-Куллох сердечно его приветствовал и сказал:

- Я ждал вас, мой мальчик. Я знаю, зачем вы приехали, из письма, которое я уже получил от вашего отца; к счастью, я могу исполнить ваше желание. У меня как раз есть для вас место, и вы можете считать себя на службе с этого дня и даже с этой минуты.

Молодой Гарт горячо поблагодарил его и добавил:

- Я знал, что вы меня ждете: отец обещал мне, что предупредит вас письмом.

Письмо Гарта было у Мак-Куллоха в кармане, но он не стал читать его юноше. Вот оно в общих чертах:

"Мой сын помешан на театре и собирается обратиться к вам за помощью, так как ему известно, что мы с Вами старые друзья. Чтобы он ко мне больше не приставал, я решил отправить его в Америку с письмом, в котором рекомендую его Вашему вниманию, прошу о нем позаботиться и ради меня сделать все, что можно, для осуществления его желаний. Я вынужден был написать это письмо, иначе было нельзя, но я заранее предупреждаю Вас, чтобы вы не обращали на него внимания. Мой сын помешан на театре, но он ничтожество и никогда ничего не добьется; а потому не хлопчите о нем, Вы только даром потратите Ваше время и заботы".

Джон Мак-Куллох помог юноше, способствовал его успехам на сцене и был ему вторым, лучшим, отцом.

Я уже не раз говорил, что у Брет Гарта не было ни сердца, ни совести, говорил также, что он был низок и бесчестен. Я, кажется, забыл сказать, что он был вероломен, но если я упустил это из виду, то добавлю сейчас.

Все мы время от времени совершаем нелепые промахи словом или делом, я не составляю исключения, мне тоже доводилось их делать. Лет десять тому назад я зашел как-то в клуб актеров и застал там человек пять собеседников в уютном уголке за пуншем. Я присоединился к ним. Вскоре кто-то упомянул в разговоре имя Брет Гарта, и это упоминание так зажгло молодого человека, сидевшего рядом со мной, что он говорил не умолкая минут десять, говорил так, как можно говорить, только если принимаешь предмет разговора близко к сердцу. Никто его не прерывал, все слушали с интересом. Речь молодого человека состояла из искренних и безудержных восторгов и похвал: похвал миссис Гарт и ее дочерям. Он рассказал, как они живут в маленьком городке в штате Нью-Джерси, как много они трудятся, чтобы заработать себе на жизнь, с каким усердием, с какой радостью и удовольствием миссис Гарт дает уроки музыки, а ее дочери занимаются разными искусствами: вышивают, рисуют и т.п. А я тем временем слушал так же внимательно, как и все прочие: я знал, что он говорит правду и ничуть не преувеличивает.

Но вскоре он перешел к похвалам так называемому главе этого покинутого семейства - Брет Гарту. Он сказал, что для счастья семьи не хватает только одного: присутствия Брет

Гарта. Что трогательно видеть, как они любят и уважают его, как жалеют его за вынужденное изгнание. Что трогательно и то, как горюет сам Брет Гарт в своем печальном изгнании; столь же трогательно, что он неизменно пишет им с каждым пароходом, что он всякий раз стремится приехать домой на время отпуска, но не может, так как жалование у него слишком маленькое; тем не менее он в каждом письме говорит о счастье свидеться с родными и откладывает его от одного парохода до другого; что жалко смотреть на разочарование семьи, когда пароходы прибывают без него; что такое самопожертвование - образец добродетели; что в своем благородстве он доходит до того, что отказывает себе во всем и каждый месяц посылает часть жалования семье, а будь на его месте эгоист, он истратил бы эти деньги на путешествие по морю.

До сих пор я терпел, но тут не выдержал и вмешался.

Я понял, что молодой человек плохо осведомлен. Я счел своим долгом рассказать ему всю правду.

Я сказал:

- Какого черта! Все это враки. Брет Гарт бросил семью - вот вам сущая правда. Может, он им и пишет, но я на эту удочку не поддамся и не поверю, пока не увижу писем; может, он и жаждет вернуться домой, к брошенной семье, но тот, кто его знает, никогда этому не поверит. Но есть одно, в чем невозможно усомниться, а именно - что он ни разу не прислал им хотя бы доллар, да и не собирался посылать. Брет Гарт - самый презренный, самый бездушный и пустой человек, какой только есть на свете...

По судорожно искаженным лицам вокруг меня я смутно, очень смутно догадывался, что что-то случилось. Случилось со мной, но я этого не знал.

Но когда я дошел до середины последней фразы, кто-то схватил меня за руку и настойчиво прошептал мне на ухо:

- Ради бога, замолчите! Фамилия этого молодого человека - Стил. Он помолвлен с одной из дочерей Брет Гарта.

Я убежден, что характер человека есть закон, железный закон, и этому закону приходится повиноваться, невзирая на чьи бы то ни было осуждения; по-моему, совершенно очевидно, что характер есть закон, данный нам свыше, и что он главнее и важнее всех законов человеческих. Я убежден, что все человеческие законы, какие только существуют, имеют одну-единственную цель: противопоставить себя закону, данному богом, обойти его, принизить, осмеять и попрасть его. Мы не осуждаем паука за то, что он предательски нападает на муху и отнимает у нее жизнь; мы не называем это убийством; мы допускаем, что паук не сам выдумал свой характер, свою природу и потому не отвечает за те поступки, которые диктует и которых требует закон его природы. Мы допускаем даже - и это очень важно, - что никакое искусство, никакая изобретательность не могут исправить паука и убедить его, чтобы он перестал убивать. Мы не осуждаем тигра за то, что он повинует жестокomu закону природы, который вложен в него свыше и которому тигр должен повиноваться. Мы не осуждаем осу за ее страшную жестокость, когда она парализует паука, ужалив его, а потом надолго закапывает в землю, чтобы ее личинки каждодневно терзали беспомощную тварь, питаюсь ее телом и обрекая свою жертву на медленную и мучительную смерть; мы допускаем, что оса строго и неуклонно выполняет закон божий, поскольку этого требует инстинкт, вложенный в нее богом. Мы не осуждаем лисицу, сойку и многих других тварей, которые живут воровством: мы допускаем, что они повинуются закону, который проявляется в характере, данном им богом. Мы не говорим барану и козлу: "Не прелюбы сотвори", ибо знаем, что это неразрывно связано с их характером, то есть с их природой, что бог сказал им: "Прелюбы сотвори".

Если бы мы стали рассматривать и выделять по отдельности индивидуальные характеры у мириад особей животного царства, мы нашли бы, что каждый вид отличается одной выдающейся чертой, а затем мы нашли бы, что всеми этими чертами и всеми их оттенками наделено также и человечество; что в каждом человеке имеется более десятка этих черт и что во многих людях имеются следы и оттенки всех этих черт. У тех, кого мы

называем низшими животными, характер нередко строится всего на одном или двух-трех таких свойствах; но человек - животное сложное, и в его характер входят все эти черты. В кролике мы всегда находим кротость и робость и никогда не встретим храбрости, дерзости, хищности; и поэтому, когда говорят о кролике, мы всегда вспоминаем, что он кроток и робок; если у него имеются иные свойства и отличительные черты, - кроме, быть может, непомерной плодовитости, - нам они никогда не приходят в голову. Когда мы думаем о мухе или блохе, нам вспоминается, что "ни рыцарь в доспехах, ни тигр сравниться с ними не могут" и что по своей дерзости и наглости они превзошли всех животных, включая даже человека; если у этих тварей имеются иные свойства, то мы о них никогда не думаем, настолько их затмили те о которых я упомянул. Когда говорят о павлине, нам приходит на ум тщеславие, а не какая-нибудь иная черта; когда говорят о некоторых породах собак, нам приходит на ум верность, а не какое-нибудь иное свойство; когда говорят о кошке независимость, черта, свойственная ей одной из всех творений божиих, включая и человека, приходит нам в голову, если только мы не глупцы и невежды, - тогда мы вспоминаем вероломство, которое свойственно многим породам собак, но не свойственно кошке. Можно отыскать одну-две выдающиеся черты у каждого семейства тех животных, которых мы, не стыдясь, называем низшими; в каждом случае эти одна-две черты отличают данное семейство от других; и в каждом случае эти одна-две черты встречаются у каждого животного данного семейства, и они настолько заметны, что вечно и неизменно сопутствуют нраву этой особи животного мира. Во всех таких случаях мы допускаем, что различие характеров - это божий закон, божье веление, и все, что ни делается во исполнение этого закона, осуждению не подлежит.

Человек произошел от этих животных; от них он унаследовал каждое свойство, какое у него имеется; от них он унаследовал все их многочисленные свойства в совокупности, а с каждым из них и свою долю божьего закона. Он сильно отличается от них вот чем: у него нет ни одной такой черты, которая в равной мере была бы свойственна всем и каждому из существ его породы. Вы видите, что комнатная муха безгранично смела, и, сказав это, вы описываете всех комнатных мух; вы можете сказать, что кролик безгранично робок, и этими словами вы определите всех кроликов; вы можете сказать, что паук безгранично кровожаден, и этим вы определите всех пауков; вы можете сказать, что ягненок безгранично невинен и кроток, и этими словами вы определите всех ягнят; вы можете сказать, что козел безгранично похотлив, и этими словами вы определите всех козлов. Едва ли сыщется животное, которое нельзя было бы вполне исчерпывающе определить по одному свойству. Но человека нельзя определить по одному свойству. Не все люди трусливы, как кролики; не все смелы, как комнатные мухи; не все кротки и невинны, как ягнята; не все кровожадны, как пауки и осы; не все вороваты, как лисицы и сойки; не все тщеславны, как павлины; не все красивы, как золотые рыбки; не все проказливы, как обезьяны; не все похотливы, как козлы.

Всему человечеству нельзя дать одно определение: каждую особь приходится определять отдельно. Один человек храбр, другой труслив; один кроток и добр, другой свиреп; один горд и тщеславен, другой скромн и смиренн. Многообразные черты, рассеянные по одной и по две зараз во всем животном мире, заложены в форме инстинкта в каждом из людей - где сильнее, где слабее, со всеми возможными оттенками и степенями силы и слабости. В некоторых людях дурные свойства почти незаметны, а более благородные свойства выделяются и выступают на первый план. Мы судим о таком человеке по этим благородным чертам, хвалим его за них и вменяем их ему в заслугу. Это кажется смешным. Он не выдумал черт своего характера, не сам наделил себя ими; он унаследовал их при рождении, они даны ему богом, - это закон, который ниспослан ему свыше, и уклониться от его выполнения он не мог бы, сколько бы ни пытался. Иногда человек является прирожденным убийцей или прирожденным негодяем - как Стенфорд Уайт{350}, - и весь мир порицает и осуждает его, но он только повинуетс закону своей природы, закону своего характера; вряд ли он станет ему противиться, а если б и попытался, это ему не удастся. Странно и смешно, что мы находим оправдание всему дурному, что проделывают те твари,



которые ползают, летают, плавают и ходят на четырех лапах, по той вполне достаточной причине, что они только повинуются закону природы, данному им свыше, и потому на них нет вины; потом мы делаем крутой поворот и, вопреки логике, утверждаем, что хотя мы и унаследовали все наши неприятные черты от этих тварей, но свою безнаказанность они нам не оставили в наследство, и потому наш долг игнорировать, отменять и нарушать данные свыше законы. Мне кажется, что этот довод лишен всякого основания и что он не только смешон, но и просто нелеп.

По своему старинному воспитанию и унаследованной привычке я возводил на Брет Гарта обвинение за обвинением, осуждение за осуждением и искренне думал все то, что говорил. Но теперь, когда мой гнев остыл, я его уже не осуждаю. Закон его природы был сильнее установлений человеческих, и он должен был ему повиноваться. Я убежден, что человечество не подходящая мишень для резких слов и суровой критики и что единственное чувство, которого оно заслуживает, - это сострадание; люди не сами себя выдумали, и они неповинны во всех тех слабостях и безрассудствах, из которых складывается их характер.

10 февраля 1907 г.

[У МЕНЯ НЕТ ЧУВСТВА ЮМОРА]

Недавно я получил письмо от некоего английского джентльмена, исполненного веры в искусство френологов. Он удивляется, почему я так холоден к френологии и никогда о ней не пишу. Я ответил ему следующее:

"Уважаемый сэръ, я никогда специально не изучал френологии и потому не имею ни основания, ни права о ней писать. Тридцать три или тридцать четыре года тому назад, будучи в Лондоне, я решил познакомиться с френологией и произвел небольшой проверочный опыт. Укрывшись под чужим именем, я отправился к Фаулеру{351}. Обследовав шишки и впадины на моей голове, он вручил мне характеристику, которую я, вернувшись к себе в "Лэнгем-отель", прочел с большим интересом и не без удовольствия. Это был портрет самозванца, который не походил на меня ни единой крохотной черточкой. Выждав три месяца, я снова отправился к Фаулеру и послал ему визитную карточку, на которой были указаны мой литературный псевдоним и фамилия. Я унес от него вторую характеристику, в которой были отмечены некоторые черты, действительно мне очень свойственные; но зато эта характеристика не имела ни малейшего сходства с полученной ранее. Эти два случая зародили во мне недоверие к френологам, и я не расстался с ним до сего дня. Сознаю, что мои сомнения должны были бы относиться более к Фаулеру, нежели к френологии в целом, но я не более, чем человек, и подвержен всем человеческим слабостям".

Прошло уже сорок - пятьдесят лет с тех пор, как Фаулер и Уэллс{351} возглавляли в Америке френологический "бум"; их имена тогда были знакомы каждому. Они выпускали специальные журналы и книжки, которые имели самую широкую популярность и изучались как сторонниками учения френологов, так и всякого рода любознательными людьми. В Ганнибал, деревеньку, где я жил мальчуганом, частенько захаживал бродячий френолог. Он безвозмездно читал нам лекцию о чудесах френологии, а потом за двадцать пять центов ощупывал желающим шишки на черепе и определял черты их характера. Насколько я помню, все у нас оставались довольны своими характеристиками, точнее сказать - их френологическим вариантом, потому что то, что он нам объявлял, было переводом обыденных, тривиальных понятий на мудреный и специальный язык френологии; и в процессе этого перевода смысл характеристики обычно почти улетучивался. Френологи, как известно, обнаружили на человеческом черепе множество шишек и для каждой придумали непонятное иностранное имя. Наш френолог наслаждался, оперируя этими иностранными именами, они изливались из его уст величавым широким потоком. Подобная демонстрация сугубой учености не могла не породить у слушателей зависти и восторга. Но мало-помалу люди запомнили словечки френолога, освоились с ними, а после и сами стали вставлять их в беседу; причем так сияли при этом, что не могли бы, я думаю, наслаждаться сильнее, даже узнав, что сии термины значат.

Сомневаюсь, чтобы бродячий эксперт дал хоть одному из жителей нашей деревни

истинную характеристику. Как я теперь понимаю, рисуя своих клиентов, он исходил из известного всем образца, из характера Вашингтона. Протекло много времени, но я до сих пор вспоминаю, что во всей нашей деревне не нашлось ни единого черепа, который с честью не выдержал бы конкуренции с черепом Вашингтона. Подобная близость к конечному совершенству, обнаруженная одновременно у столь значительного числа наших сограждан, должна была бы, казалось, рождать подозрения; но этого не случилось. Народ восхищался френологом, верил в него, и протестующих голосов я не слышал.

Итак, я воспитан в атмосфере почтения к френологии и веры в нее и, думаю, все еще был во власти этих традиций, когда на афише в Лондоне снова встретился с именем Фаулера. Я был доволен, что он еще действует, и был рад удобному случаю проверить его мастерство. Правда, то, что я скрыл свое имя, показывает, что прежняя детская вера сохранилась во мне не полностью. С годами, должно быть, мое почтение к френологии поослабело. Я застал Фаулера за работой, окруженного внушительными эмблемами его ремесла. Весь его кабинет был заставлен сверкавшими мраморной белизной черепами; на их лысой поверхности не оставалось даже квадратного дюйма, не занятого какой-нибудь шишкой. На каждой из шишек черными письменами было начертано ее ученое имя.

Фаулер принял меня без всякого интереса, ощупал как бы лениво шишки на моем черепе и монотонно, с видимой скукой, определил мой характер. Он сказал, что меня отличают неустрашимость, сверхъестественная отвага, железная воля и безграничная предприимчивость. Я был удивлен и польщен его приговором, - ничего подобного я за собой не знал. После чего, перебравшись на другую половину моей головы, он обнаружил там шишку, которую определил как шишку моей осторожности. Эта шишка, сказал он, так велика, так высится на моем черепе, что обнаруженная им до того шишка неустрашимости сравнительно с ней не более, чем жалкий пригорок (а я между тем уже счел ее столь выдающейся, что решил в дальнейшем использовать как вешалку для своей шляпы!).

Фаулер мне разъяснил, что рядом с Маттерхорном моей осторожности шишка храбрости, которую он только что превознес, практически не имеет значения. Он добавил, что если бы природа не наделила меня этой альпийской вершиной, я был бы одним из самых отважных людей на свете, вернее всего - самым отважным из всех; но осторожность, доставшаяся на мою долю, настолько превосходила мою природную смелость, что не только сводила ее на нет, но превращала меня в исключительное по робости существо. Он произвел еще ряд открытий на моем черепе, в итоге которых я остался, что называется, "при своих", так как сотня великих и потрясающих добродетелей, которые он во мне обнаружил, сводилась на нет добавочной сотней не менее примечательных недостатков.

Ко всему он еще обнаружил у меня на черепе впадину - впадину на том месте, где у каждого нормального человека красуется выпуклость. Эта впадина, сказал он, особенная, редкая, дефект в чистом виде, не умеряемый и не компенсируемый каким-либо бугорком. Он испугал меня на смерть, когда заявил, что эта впадина значит, что я полностью лишен чувства юмора! Подобное уродство, как видно, заинтриговало его. Открыв свою Америку, он сделался красноречивым.

Да, сказал он, ему попадались отдельные случаи, когда шишка юмора была у людей недоразвита, и стоило немалых усилий ее обнаружить. Но впервые за всю свою многолетнюю практику он встречает на месте шишки юмора - впадину.

Я был оскорблен, рассержен, я чувствовал себя опозоренным, однако скрыл свои чувства. В глубине души я считал, что диагноз ошибочен, хотя и не могу утверждать, что был в этом совершенно уверен. Я решил, что для собственного спокойствия обожду, пока Фаулер забудет мое лицо и строение черепа, а потом приду снова, проверить, тверд ли он в своем приговоре.

Выждав три месяца, я снова явился в его кабинет, на этот раз не скрываясь, назвав свое имя. Тут он сделал потрясающее открытие. Впадины на моем черепе как не бывало. На ее месте возвышалась гора Эверест высотой в 31. 000 футов - наиболее развитое свидетельство юмора, какое ему доводилось наблюдать за всю его многолетнюю практику! Я ушел

предубежденный против френологов, хотя, как я написал английскому джентльмену\*, быть может, было бы правильнее ограничить мое недовольство одним только Фаулером, не распространяя его на френологию в целом.

---

\* Английский джентльмен оказался не таким уже джентльменом: мое частное письмо к нему он продал в газету. (М.Т.)

Одиннадцать лет назад, на пароходе, когда мы плыли в Европу, Уильям Т. Стэд{354} сфотографировал ладонь моей правой руки и в Лондоне, скрыв мое имя, послал отпечатки двенадцати хиромантам с просьбой прочесть характер по линиям на ладони. Получив характеристики, Стэд опубликовал шесть или семь из них в издаваемом им журнале. Характеристики не содержат ничего чрезвычайного. Я во всем схож с остальным человечеством, кроме одной детали. Если я правильно помню - все характеристики, за исключением одной, глухо молчат о юморе; в последней же сказано прямо, что характеризуемое лицо лишено чувства юмора.

Позднее, два года тому назад, полковник Харви взял у меня отпечатки обеих ладоней и послал их в Нью-Йорк шести прославленным хиромантам. Он тоже скрыл мое имя. История повторилась. В пяти полученных характеристиках слово юмор отсутствует вовсе, в шестой оно фигурирует с прямым указанием, что характеризуемое лицо полностью лишено чувства юмора. Таким образом у меня имеется характеристика Фаулера, шесть или семь характеристик, полученных Стэдом, и полдюжины, полученных Харви. Они говорят о том, что я лишен чувства юмора, говорят убедительно, ясно, отчетливо, - и я начинаю думать, что это действительно так.

23 мая 1907 г.

[УЧЕННЫЕ СТЕПЕНИ]

Три недели тому назад из Англии пришла телеграмма, в которой меня приглашают прибыть в Оксфорд 26-го июля, чтобы получить почетную университетскую степень. Долго не думая, я ответил согласием. За последние два года я не раз заявлял, причем очень решительно, что покончил навсегда с путешествиями и ничто больше не побудит меня пересечь океан. Тем не менее я не был нисколько смущен, когда отменил принятое решение, как только получил эту лестную телеграмму. Если бы мне предложили отправиться в Лондон, чтобы получить в дар от города земельный участок, я отказался бы в ту же минуту, но университетская степень - другое дело. За этой наградой я отправлюсь куда угодно. Новая ученая степень доставляет мне каждый раз такое же наслаждение, как индейцу свежесодранный скальп. И как индеец не скрывает ни от кого своей радости, я не скрываю своей.

Помню, мальчишкой я однажды нашел на дороге старый стертый медяк. Помню, что он показался мне неоценимым сокровищем, потому, что был незаработанным, свалился, так сказать, с неба. Десять лет спустя, в Кеокуке, я подобрал на улице пятидесятидолларовую ассигнацию, и она тоже показалась мне безмерным богатством, поскольку досталась мне даром. Прошло еще восемь лет, я жил тогда в Сан-Франциско и был без гроша в кармане; уже три месяца я сидел без работы. На углу Коммершиел-стрит и Монтгомери-стрит я поднял десятицентовую монетку и получил от нее больше радости, чем от сотни других десятицентовиков, если бы они достались мне честным трудом. За свою жизнь я заработал несколько сот тысяч долларов, но поскольку я их заработал, они не представляют для меня ни малейшего интереса - помимо своей номинальной стоимости. Обстоятельства, при которых я их заработал, я помню довольно смутно или забыл совсем. А три незаработанные, доставшиеся даром находки сверкают огнем в моей памяти и не потускнеют вовеки.

Так вот, ученые степени для меня то же, что эти находки. И удовольствие, которое я от них получаю, того же рода, что от незаработанных денег. И тех находок и этих у меня ровно по три. Две степени я получил от Йейлского университета; третью от университета в Миссури. Когда Йейл преподнес мне степень бакалавра искусств, я был в восторге, поскольку ничего не смыслю в искусстве. Когда тот же Йейл избрал меня доктором

литературы, моя радость не имела границ: единственная литература, которую я решаюсь лечить, - та, что я сам сочиняю; да и она бы давно окачурилась, если бы не заботы моей жены. Я возликовал еще раз, когда Миссурийский университет сделал меня доктором законовещения. Чистейшая прибыль! О законах я знаю только, как их обходить, чтобы не попасть на скамью подсудимых. Сейчас в Оксфорде меня произведут в доктора изящной словесности. Снова прибыль - потому что, если бы я перевел в наличные деньги все, чего я не знаю об изящной словесности, я сразу вышел бы в первые ряды миллионеров. К тому же оксфордская телеграмма исцеляет тайную рану в сердце, которая много лет причиняла мне жестокую боль. В глубине души я уверен, что в своем особенном жанре на протяжении долгого времени я стою во главе цеха и не имею соперников. Вот почему мне было так тяжело читать каждый год, что наши университеты преподнесли двести пятьдесят почетных дипломов каким-то случайным и малозначащим личностям, популярность которых была узко местной, нестойкой и по прошествии десяти лет должна была наверняка испариться. Да, всем, кроме меня! За истекшие сорок лет они разбазарили так до десяти тысяч почетных дипломов. Из всех, получивших награду, не более пятидесяти известны за пределами нашей страны и едва ли сотня известна в самой Америке. Человека менее крепкого подобное пренебрежение убило бы наповал. Я отделался пустяками; здоровье мое расшатано, жизнь укорочена. Но сейчас прежние силы вернуться ко мне. Из всех награжденных и уже позабытых тысяч не более десятка получили оксфордскую степень. Между тем я прекрасно знаю, - и вся Америка знает, и весь белый свет, - что оксфордская степень значит больше любой степени по обе стороны океана, и равняется двум десяткам других почетных дипломов, как в Америке, так и в Европе.

Теперь, когда я излил, наконец, тридцатипятилетний запас ущемленного самолюбия и застоявшейся желчи, давайте оставим это. Я чуточку отдышусь, и мы перейдем к другой теме.

26 мая 1907 г.

[ДЖИМ ГИЛЛИС]

Я узнал от мистера Пейна{357}, что две недели назад в Калифорнии умер Джим Гиллис. Он умер после продолжительной болезни, в возрасте семидесяти семи лет. Мистер Пейн и мистер Гудмен ездили с ним повидаться, но Джиму было очень плохо, и он не мог никого видеть. Конец Стива Гиллиса тоже близок, и он спокойно и бодро ожидает его, лежа в постели. Он живет в лесах Ослиного Ущелья вместе с другими Гиллисами, которых я хорошо знал более сорока лет назад - с Джорджем и Билли, братьями Стива и Джима. У Стива, Джорджа и Билли многочисленные выводки внучат, но Джим остался холостяком до конца.

Мне кажется, что Джим был гораздо более замечательным человеком, чем думали его друзья и родные. Он обладал тем смелым и ярким воображением, которое способно создавать импровизации, создавать их смело, легко, свободно, без всякой предварительной подготовки. Слово за слово, не заботясь о развитии сюжета, он мог рассказывать какую-нибудь историю, радуясь каждой новой выдумке, которая приходила ему в голову, и не помышляя ни о том, чтобы привести свой рассказ к эффектному концу, ни даже о том, чтобы закончить его вообще. Джим был прирожденным и очень талантливым юмористом. Когда я вспоминаю замечательные рассказы этого самоучки, меня не покидает чувство уверенности, что если бы его открыли и несколько лет обучали писать, он стал бы настоящим виртуозом. Маловероятно, что талант откроет себя сам; столь же маловероятно, что он будет открыт близкими друзьями; по правде говоря, я могу заявить еще более решительно: близкие друзья не могут открыть талант - во всяком случае, талант литературный: они находятся так близко от него, что он для них не в фокусе, они не могут различить его масштабы, не могут понять, чем он отличается от них. Они не могут увидеть его в перспективе, а разницу между ним и остальными членами их узкого круга можно осознать лишь в перспективе.

Собор св. Петра не может поразить своими размерами человека, который всегда

смотрит на него с близкого расстояния и никогда не бывал за пределами Рима; только чужеземец, подъезжающий со стороны Кампаньи, которому Рим представляется смутным, расплывчатым пятном, видит огромный собор, в одиноком и гордом величии возвышающийся над городом. Тысячи талантов живут и умирают в неизвестности, потому что их не открыли ни они сами и никто другой. Если бы не Гражданская война, то Линкольна, Гранта, Шермана и Шеридана{358} никогда бы не открыли, и они бы не прославились. Я уже касался этого предмета в небольшой книжке, которую написал много лет назад, но до сих пор еще не опубликовал, - в "Путешествии капитана Стормфилда в рай". Когда Стормфилд попал в рай, он хотел взглянуть на непревзойденных и несравненных военных гениев - Цезаря, Александра и Наполеона, но один небесный старожил сказал ему, что здесь эти военные гении котируются не слишком высоко, что они просто ничтожные капралы по сравнению с неким колоссальным военным гением, по профессии сапожником, который жил и умер в неизвестности в одном из поселков штата Новая Англия и за всю свою земную жизнь не видал ни одного сражения. Пока он оставался на земле, его никто не открыл, но рай признал его тотчас же по прибытии и осыпал его почестями, которые он заслужил бы на земле, если бы земля знала, что он величайший военный гений из всех, когда-либо выросших на этой планете.

Я провел три месяца в бревенчатой хижине Джима Гиллиса и его "партнера" Дика Стокера в Ослином Ущелье, в этом восхитительном, спокойном, сказочном и безмятежном лесистом раю, о котором я уже говорил. Время от времени Джима осеняло вдохновение, и тогда, стоя спиной к очагу, заложив назад руки, он начинал декламировать какую-нибудь замысловатую импровизированную историю - волшебную сказку или невероятный любовный роман, героем которого неизменно оказывался Дик Стокер. Джим всегда с невозмутимым видом утверждал, будто все его рассказы - отнюдь не выдумка, а чистейшая, истиннейшая правда. Добродушный седой Дик Стокер сидел, бывало, покуривал трубку, с безмятежным спокойствием внимал этим чудовищным измышлениям и никогда ни словом не перечил рассказчику.

В одной из своих книг, - если не ошибаюсь, в "Гекльберри Финне", - я использовал одну импровизацию Джима, которую он назвал "Трагедией жгучего стыда". Чтобы сделать рассказ пригодным для печати, мне пришлось значительно его смягчить, и это нанесло ему большой ущерб. В том виде, как излагал его Джим, по ходу дела сочиняя все подробности, это был самый невообразимо смешной рассказ из всех, какие мне когда-либо приходилось слышать. Каким слабым и бледным выглядит он в книге, и как он оригинален, великолепен и ярок в своем непечатном виде! Еще одну импровизацию Джима я использовал в своей книге "Пешком по Европе". Это рассказ о том, как простодушные и невежественные провинциалы пытались наполнить желудьями дом. Это прелестный, очаровательный рассказ, полный ярких, талантливых находок. Джим стоял у очага, легко и непринужденно развивал свой сюжет, на ходу выдумывал подробности и, как всегда, утверждал, что все это голые, неприкрашенные факты, подлинная, незапятнанная ложью история. В другой книге я использовал Джимов рассказ о коте Джима Бейкера, достославном Томе Кварце. Джим Бейкер - это, разумеется, Дик Стокер; что же касается Тома Кварца, то его никогда не было на свете, он существовал лишь в воображении Джима Гиллиса.

Иногда пылкая фантазия Джима доставляла ему неприятности. Однажды явилась индианка, которая пыталась продать нам какие-то дикие плоды, похожие на крупный ренклюд. Дик Стокер прожил в этой хижине восемнадцать лет, и ему было отлично известно, что эти фрукты несъедобны; однако, не подумав - просто так, без всякой задней мысли, - он сказал, что никогда о них не слыхивал. Для Джима этого было достаточно. Он принялся расточать пламенные похвалы этому дьявольскому плоду, и чем больше он о нем распространялся, тем сильнее разгоралось его восхищение. Он заявил, что ел его тысячу раз, что его нужно только поварить, добавив немного сахару, и тогда во всей Америке не сыскать более восхитительного блюда. Он говорил только потому, что ему доставляло удовольствие слушать самого себя; и когда Дик прервал его разглагольствования вопросом: если это такой

замечательный продукт, то почему же он его не покупает, - Джим на минуту или на две лишился дара речи. Он сел в лужу, но не хотел этого показать; он попал в переделку, однако он был не из тех, кто способен отступить или признать, что он не прав; он сделал вид, будто счастлив еще раз насладиться этим бесценным даром Божиим. О, он был верен своему слову! Я убежден, что он поел бы этих фруктов даже в том случае, если бы знал, что в них содержится смертельный яд. Он купил у индианки все, что у нее было, с благодушным и беззаботным видом заявил, что очень доволен своим приобретением и что если мы с Диком не желаем насладиться вместе с ним - не надо, ему на нас наплевать.

Затем последовало несколько часов, которые я считаю самыми восхитительными в своей жизни. Джим взял пустую трехгаллонную жестянку из-под керосина, налил ее до половины водой, поставил на огонь, высыпал в нее с полдюжины дьявольских плодов и, как только вода как следует закипела, бросил в нее горсть сахара. Время от времени он пробовал кипящую бурду; бесовский фрукт постепенно разваривался, становился все более мягким и рыхлым, и вскоре Джим стал пробовать его столовой ложкой. Он зачерпывал полную ложку, пробовал, с притворным удовольствием чмокал губами, замечал, что, пожалуй, не мешает немножко подсластить, швырял туда еще горсть сахара и продолжал варить дальше. Сахар горсть за горстью отправлялся в жестянку. Джим уже два часа подряд пробовал свое варево, мы с Диком все это время насмехались, глумились и издевались над ним, он же сохранял невозмутимое спокойствие.

Наконец Джим заявил, что блюдо достигло должной степени совершенства. Он зачерпнул ложку компота, попробовал, почмокал губами, разразился восторженным панегириком, а потом дал попробовать по ложке нам с Диком. Насколько мы могли убедиться, вышеозначенные тонны сахара не оказали ни малейшего воздействия на эту убийственную кислятину. Кислятина? Да что говорить, компот был кислый насквозь, он был невообразимо, неслышанно, пронзительно кислый; мы не обнаружили в нем ни малейшего следа той смягчающей сладости, которую придал бы ему сахар, если бы этот плод был взращен где-либо за пределами ада. Мы удовлетворились одной ложкой, но доблестный Джим, этот отважный страдалец, все сосал, сосал и сосал, все хвалил, хвалил и хвалил - до тех пор, покуда не набил себе оскомину, а мы со Стокером тем временем чуть не умерли от смеха. Ближайшие два дня Джим ничего не пил и не ел - у него так болели зубы, что он не мог ничего взять в рот и содрогался даже от своего собственного дыхания, однако несмотря на это, упорно продолжал восхищаться своим отвратительным компотом и возносить хвалы господе. Поистине удивительное проявление силы воли, но Джим, как и все прочие Гиллисы, отличался необыкновенной твердостью.

Примерно раз в год он приезжал в Сан-Франциско, сбрасывал свою грубую шахтерскую одежду, покупал за пятнадцать долларов готовый костюм и, заломив шляпу набекрень, с чрезвычайно довольным видом отправлялся гулять по Монтгомери-стрит. Его нимало не смущали насмешливые взгляды проплывавшей мимо толпы элегантных денди; казалось, он их совершенно не замечает. В один из его приездов мы с Джо Гудменом и еще с несколькими друзьями пригласили Джима в самую фешенебельную бильярдную. Это было излюбленное место богатых и модных франтов. Было около десяти часов вечера, и на всех двадцати столах шла игра. Мы прогуливались по залу, чтобы дать Джиму возможность насладиться зрелищем этой достопримечательности Сан-Франциско.

Время от времени какой-нибудь щеголеватый молодой человек отпускал саркастическое замечание по адресу Джима и его наряда. Мы слышали эти замечания, но надеялись, что Джим слишком доволен собой и не заметит, что они относятся к нему; однако эта надежда оказалась напрасной. Джим вскоре начал замечать что-то неладное, а затем решил поймать одного из этих молодчиков на месте преступления. Вскоре ему это удалось. Автором замечания оказался высокий, элегантно одетый юноша. Джим подошел к нему, остановился, задрал подбородок и, выражая всем своим видом крайнюю надменность и высокомерие, выразительно произнес:

- Это относилось ко мне. Извинитесь, или будем драться.

Его слова услышали с десяток игроков; они повернулись к нему, оперлись на свои кии и с интересом ждали, чем все это кончится. Жертва Джима иронически засмеялась и ответила:

- Вот как? А что, если я откажусь?
- Вы получите трепку, которая научит вас хорошим манерам.
- Да что вы? Не может быть!

Джим оставался серьезным и невозмутимым. Он сказал:

- Я вас вызываю. Вы должны со мной драться.
- Ну что ж! Будьте любезны назначить время.
- Сию минуту.
- Как мы торопимся! А место?
- Здесь.
- Очаровательно. Какое оружие?
- Двустволки, заряженные жеребейками, дистанция тридцать футов.

Пора было вмешаться. Гудмен отвел юного дурня в сторону и сказал ему:

- Вы не знаете, с кем имеете дело, и подвергаете себя величайшей опасности. Вы, наверное, думаете, что он шутит. Но он вовсе не шутит; не такой он человек, он говорит совершенно серьезно. Если вы не откажетесь от дуэли, он убьет вас на месте; вы должны принять его условия, не теряя ни минуты: соглашайтесь на дуэль или просите извинения. Вы, разумеется, извинитесь, и сделаете это по двум причинам: во-первых, вы ни за что ни про что оскорбили его; а во-вторых, вы, естественно, не хотите убить невинного человека или быть убитым сами. Вам придется извиниться и слово в слово повторить за ним текст извинения; это извинение будет гораздо более сильным и недвусмысленным, чем то, какое могли бы составить вы, даже если бы руководствовались самыми лучшими намерениями.

Молодой человек дословно повторил за Джимом текст извинения, собравшаяся вокруг них толпа внимательно слушала его, - причем характер этого извинения точно соответствовал предсказанию Гудмена.

Я горько оплакиваю Джима. Он был добрым, верным, мужественным и великодушным другом; он был честным, благородным, симпатичным человеком. Он никогда не заводил ссор, но если кто-нибудь вызывал его на ссору, он всегда был готов к бою.

Август 1907 г.

[МАРИЯ КОРЕЛЛИ{363}]

Я познакомился с Марией Корелли в Германии, пятнадцать лет тому назад, на званом обеде, и возненавидел ее с первого взгляда; с каждым новым блюдом это чувство росло и крепло во мне, так что когда мы наконец расстались, первоначальная простая антипатия превратилась в сильнейшее отвращение. И вот, когда я приехал в Англию, в "Браун-Отеле" я нашел от нее письмо. Письмо было теплое, любящее, красноречивое, убедительное; под его чарами моя застарелая ненависть растаяла и испарилась. Мне показалось, что эта ненависть ни на чем не основана; я подумал, что, пожалуй, я ошибочно судил об этой даме; я даже почувствовал некоторые угрызения совести. Я немедленно ответил на ее письмо - можно даже сказать на ее любовное письмо - не менее любовно. Она жила там же, где жил Шекспир: в Стратфорде. Она немедленно написала мне, всячески соблазняя остановиться и позавтракать у нее по пути в Лондон, двадцать девятого числа. Как будто бы и нетрудно, но бог знает какое придется совершить путешествие, подумал я, и потому с обратной почтой ответил согласием.

Так я не в первый раз и даже не в тысячный преступил свое же правило, старое, мудрое и безошибочное, а именно: "Предполагай, что хочешь, но верь только опыту". Предположения кончились, письмо было отправлено; пришла пора опыта. Эшкрофт посмотрел расписание поездов, и оказалось, что если утром двадцать девятого я выеду из Оксфорда в одиннадцать часов, а из Стратфорда среди дня, то в Лондон попаду не раньше половины седьмого. Другими словами, семь с половиной часов мне придется пробыть, если можно так выразиться, между небом и землей, не отдыхая ни минуты, а мне еще предстояло

произнести речь на банкете у лорд-мэра! Само собой разумеется, я пришел в ужас: к лорд-мэру меня привезут, должно быть, не иначе как на катафалке.

Тогда мы с Эшкрофтом пустились в безнадежную авантюру: мы взялись уговорить эту бессовестную дуру, чтобы она смилостивилась над нами и отказалась от проекта саморекламы, столь милой ее сердцу. Она не уступала; всякий, кто ее знал, мог бы предсказать это. Она сама приехала в Оксфорд двадцать восьмого, чтобы добыча как-нибудь от нее не ускользнула. Я просил ее освободить меня, умолял, просто в ногах валялся; ссылаясь на мою седую голову и семьдесят два года, на то, что я, верно, слягу и попаду в больницу после целого дня в поездах, которые останавливаются через каждые триста шагов и стоят минут по десять. Это не подействовало. С таким же успехом я мог бы упрашивать Шейлока. Она сказала, что никак не может освободить меня от данного слова, что это совершенно невыносимо, и прибавила:

- Войдите же и вы в мое положение. Я пригласила леди Люси и еще двух дам и трех джентльменов; отменить завтрак теперь было бы в высшей степени неудобно: они, несомненно, отклонили другие приглашения, чтобы принять мое; да и я сама ради этого завтрака отказалась от трех приглашений.

Я сказал:

- Что же, по-вашему, хуже: то, что будут поставлены в неудобное положение ваши пятеро гостей - или триста гостей лорд-мэра? А если вы уже отказались от трех приглашений и поставили в неудобное положение гостей в трех домах - значит, для вас это уже привычное дело; и мне кажется, вы могли бы отменить приглашение в четвертый раз, хотя бы из жалости к больному страдальцу.

Никакого впечатления: не женщина, а камень. Думаю, что ни в одной тюрьме не сыщется преступника с таким жестоким, таким тугоплавким, твердокаменным, не поддающимся обработке сердцем, как у Марии Корелли. Если бы ударить по этому сердцу чем-нибудь стальным, мне кажется, посыпались бы искры.

Ей лет пятьдесят, но седых волос у нее нет; она толстая и вся расплылась; лицо у нее мясистое, грубое, одевается, как шестнадцатилетняя; очень неуклюже и без всякого успеха, зато с чувством имитирует невинную грацию и очарование этого милого и прелестного возраста; так что внешность у нее соответствует внутреннему содержанию и находится с ним в полной гармонии; она вся насквозь фальшива; по-моему, это самая обидная подделка под человека, клевета и сатира на человечество наших дней. Я с удовольствием сказал бы о ней еще что-нибудь, но даже и пробовать не стоит: все прилагательные кажутся мне сегодня вялыми, бледными и совсем невыразительными.

Итак, мы поехали в Стратфорд по железной дороге, с двумя-тремя пересадками по пути, не зная того обстоятельства, что для сохранения времени и сил нам проще было бы отправиться пешком. Она встретила нас в Стратфорде на станции, усадила в свою коляску и хотела было везти в шекспировскую церковь, но я это отменил; она настаивала, но я сказал, что на сегодня наша программа и без того достаточно утомительна и не нуждается в дополнениях. Она сказала, что в церкви соберутся люди, они хотят приветствовать меня и будут разочарованы; но я уже до краев был полон враждебного чувства и, как мальчишка, порывался нагрубить ей и не уступал, - особенно потому, что теперь уже понимал Марию и предвидел, что в церкви мне расставлена западня и что там меня непременно заставят произнести речь, а у меня и так все зубы расшатались от непрерывного говорения, и одна мысль о том, что опять придется что-то бормотать, была мучительна. К тому же Мария, которая никогда не упускала случая рекламировать себя, непременно постаралась бы, чтобы все это попало в газеты, а я, со своей стороны, не желал упустить случая напакостить ей и, естественно, воспользовался этой возможностью.

Она сказала, что покупает дом, в котором жил когда-то основатель Гарвардского университета, и хочет подарить его Америке, - опять реклама. Ей захотелось остановиться у этого дома и показать его мне; она сказала, что там тоже соберется публика. Я сказал, что не желаю видеть этот чертов дом, - конечно, не в этих выражениях, но в этом духе и со злостью,



так что до нее дошло; даже ее лошади поняли и были шокированы: я сам видел, как они вздрогнули. Она упрашивала меня, говорила, что мы остановимся только на минутку. Но теперь я уже знал, сколько тянутся ее минутки, когда дело пахнет рекламой, и отказался. Когда мы проезжали мимо, я увидел, что и дом и тротуар перед домом полны народа, а это означало, что Мария создала соответствующую обстановку и для второй речи. Тем не менее мы проехали мимо, раскланиваясь в ответ на приветственные крики, и скоро остановились перед домом Марии, очаровательным и удобным английским домом.

Я сказал Марии, что очень устал и желал бы сейчас же пойти и где-нибудь прилечь отдохнуть, хотя бы на четверть часа. Она разохалась, выразила мне нежнейшее сочувствие и сказала, что все будет по моему желанию, а вместо этого ловко препроводила меня в гостиную и представила своим гостям. Когда с этим было покончено, я попросил разрешения удалиться, но она пожелала показать мне свой сад и уверяла, что это одна минута. Мы осмотрели сад, причем я одновременно и хвалил его и проклинал - хвалил вслух, а проклинал в душе. Потом она сказала, что есть еще один сад, и потащила меня смотреть его. Я чуть не падал от усталости, но по-прежнему хвалил и проклинал - в надежде, что скоро этому будет конец и я смогу умереть спокойно; а она заманила меня к чугунным решетчатым воротам и вытащила за ограду, на какой-то пустырь, где выстроились полсотни учеников военной школы с учителем во главе, - все это опять-таки для рекламы.

Она попросила меня произнести маленькую речь, сказав, что мальчики этого ждут. Я согласился, не тратя лишних слов, пожал руку учителю, поговорил с ним немного, потом... потом мы пошли обратно. Мне удалось отдохнуть четверть часа, и я сошел вниз к завтраку.

К концу завтрака эта неумолимая женщина поднялась с бокалом шампанского в руке и произнесла речь! Темой речи, конечно, был я. Опять реклама, как вы сами понимаете, - с расчетом протащить эту речь в газеты. Когда она замолчала, я встал, сказал: "Благодарю вас", и сел. Иначе я не мог поступить, это было необходимо. Если бы я сказал что-нибудь, то из учтивости и по обычаю я должен был бы построить свою речь из комплиментов и благодарностей, а во всем моем существе нельзя было сыскать и клочка этого материала.

Мы дотащились до Лондона в седьмом часу вечера, под проливным дождем, и через полчаса я уже лежал в постели, еле живой от усталости. А все-таки день кончился, и то уже было утешительно. Это был самый отвратительный день за все семьдесят два года моей жизни.

Ну вот, я себя разоблачил, и теперь всем известно, какой у меня скверный характер и какую зверскую грубость я могу проявить при случае. Но, невзирая на то, что разоблачив себя, я выполнил свой долг перед читателем и перед самим собой, я все-таки утверждаю самым решительным образом, что во всяком другом обществе, кроме общества Марии Корелли, я способен проявлять величайшую кротость, до сих пор не виданную на земле и унаследованную мной от моих предков - ангелов.

В тот же вечер я выступил с речью на банкете у лорд-мэра - и провалился.

Август 1907 г.

[СВЯТОЙ ГРААЛЬ]

Запись секретаря: "Днем мистер Клеменс нанес визит леди Стэнли, вдове исследователя".

Действительно, это был один из моих первых визитов в тот день. Леди Стэнли оказалась такой же энергичной и темпераментной, такой же искренней в проявлении своих чувств, как много лет назад, в дни нашего первого знакомства, когда она была счастливой юной новобрачной. Прошло уже три с половиной года с тех пор, как умер Стэнли{367}, но мне кажется, что она поклоняется ему день и ночь, и я уверен, что для нее он остался таким же близким, каким был при жизни.

Леди Стэнли - убежденная спиритка{367} и давно уже живет в атмосфере этого культа. Ее сестра, миссис Майерс, - вдова одного из виднейших спиритов, покойного президента Британского Психологического общества. Я не интересуюсь потусторонним миром, уверен, что мы ровно ничего о нем не знаем, но считаю, что держать нас в полнейшем невежестве по

этому вопросу неправильно, несправедливо и неучтиво. Поэтому общение с леди Стэнли, которая твердо верит в его существование, и не просто верит, а считает это чрезвычайно важным, всегда было для меня полезным и приятным. Она столь же безгранично счастлива своею верой, сколь я доволен отсутствием оной, и мне даже показалось, что мы без всякого ущерба для себя могли бы поменяться местами; ибо в конечном счете единственное условие, необходимое для сохранения душевного покоя, - это отсутствие сомнений. Леди Стэнли, я и чернокожий дикарь в африканских джунглях, который поклоняется смолянному чучелку и не озабочен никакими религиозными сомнениями, ничем не отличаемся друг от друга и находимся в равно счастливом положении; любой из нас без всякого ущерба для себя мог бы поменяться местом с остальными, причем на этой сделке ни одна сторона не потеряла бы ни фартинга.

Леди Стэнли хотела обратить меня в свою веру; было время, когда и я хотел бы сделать ее сторонницей своих убеждений, - но это время давно прошло; теперь я не стал бы пытаться поколебать чью-либо не омраченную никакими сомнениями религию - будь то даже религия африканского дикаря. Мне было очень трудно отказаться от миссионерства, от этого наименее простительного из всех человеческих ремесел, - но я вынужден был это сделать, ибо я не мог продолжать им заниматься, не испытывая тайного стыда оттого, что одновременно публично осмеиваю и проклинаяю других миссионеров.

Я узнал, что после Стэнли осталась незаконченная автобиография. В ней он честно и искренне описывает события своего детства и юности и, если память мне не изменяет, заканчивает ее рассказом о своем участии в Гражданской войне. Леди Стэнли готовит этот труд к изданию, и я был немало удивлен, но в то же время обрадован тем, что она не намерена скрывать некоторые обстоятельства, слухи о коих шепотом распространялись еще при жизни Стэнли, - в частности, что он был весьма низкого происхождения и родился в работном доме. Без сомнения, было время, когда она желала бы скрыть и предать забвению эти обстоятельства, однако теперь она выше этого; она живет в более возвышенном и благородном мире и, быть может, понимает, что теперь этим скромным происхождением следует гордиться, если вспомнить, что, вопреки ему, замечательный исследователь столь многого добился.

Здесь я снова отвлекусь в сторону, чтобы сопоставить некоторые любопытные явления в области умственной гимнастики. Леди Стэнли верит, что дух Стэнли ни на минуту ее не покидает и все время беседует с нею о самых простых, обыденных вещах, - явление, которое представляется мне невероятным. Интересно, счел бы его невероятным архидиакон Уилберфорс? Не знаю, но мне кажется, что да. Мне кажется, что непорочное зачатие и прочие описанные в библии несообразности не представляют для него никаких затруднений, ибо его с колыбели приучали верить в невероятное, и он так к ним привык, что это получается у него легко и естественно; однако подобная тренировка не может убедить в существовании других невероятных явлений, если судить о них здраво и непредвзято. Уилберфорс - человек образованный, интеллигентный, он наделен тонким и острым умом и происходит из семьи, обладающей такими же качествами; поэтому он в состоянии беспристрастно судить о новых чудесах, и мне кажется, что он отвергнет притязания спиритизма с такою же твердостью, с какою принимает непорочное зачатие. Неужто мистера Уилберфорса с колыбели приучали верить в Святой Грааль {369}? Вряд ли, но тем не менее он в него верит, причем верит не только в существование Грааля, но и в то, что он им обладает.

Если б я узнал об этом поразительном факте из вторых рук, я бы не поверил, я не поверил бы даже в том случае, если бы о нем говорилось в удостоверениях, выданных всеми двенадцатью апостолами, подписи которых были бы засвидетельствованы государственным нотариусом. Я сказал бы, что ученый, образованный, высокоинтеллигентный человек, который уверен в том, будто держит в руках Святой Грааль, может легко и безоговорочно поверить в рассказы барона Мюнхгаузена и в прочую немислимую чепуху.

Текст, который я имею в виду, я нашел в следующей записи Эшкрофта:

"Воскресенье, 23 июня. - Днем мистер Клеменс посетил архидиакона Уилберфорса в Вестминстере. При этом присутствовали сэр Уильям Крукс{369}, сэр Джеймс Ноулс, миссис Майерс (вдова автора книги "Человеческая личность и ее существование после телесной смерти") и еще семьдесят пять или сто человек".

Не успел я войти, как архидиакон сообщил мне, что произошло поразительное событие - наконец нашли давно утраченный Святой Грааль, причем в его подлинности не может быть никаких сомнений. Если бы у меня над самым ухом выстрелили из пушки, я бы, наверное, не был так ошеломлен. С минуту - во всяком случае с полминуты - я думал, что он шутит, но потом это предположение улетучилось: он был как нельзя более серьезен и глубочайшим образом взволнован. Следуя за ним, я проложил себе путь сквозь толпу на середину гостиной, где стоял прославленный ученый сэр Уильям Крукс. Сэр Уильям - спирит. Мы окружили сэра Уильяма; миссис Майерс окликнула меня и присоединилась к нам. Затем мистер Уилберфорс обратился ко мне и продолжал свой рассказ о Святом Граале, причем было ясно, что сэр Уильям уже все это знает и, более того, верит в чудо. История вкратце состояла в следующем: молодому торговцу зерном, некоему мистеру Поулу, недавно явился ангел, приказал ему отправиться к старинному аббатству Гластонбери и откопать зарытый там Святой Грааль. Мистер Поул повиновался. Он отыскал указанное ангелом место, принялся копать и обнаружил реликвию под слоем твердой, утрамбованной земли в четыре фута толщиной. Все это произошло за неделю или за десять дней до нашего разговора 23 июня.

Теперь Святой Грааль находился в доме архидиакона. Приличествующий случаю пиетет препятствовал тому, чтобы выставлять его напоказ толпе, но мистер Уилберфорс предложил дать мне возможность взглянуть на него, и поэтому я последовал за ним и за сэром Уильямом. К нам присоединилась миссис Майерс. Когда мы вошли в комнату, где находилась реликвия, мы увидели там того, кто нашел Грааль, и еще одного человека, - последний, по-видимому, охранял помещение. Мистер Поул принес ничем не примечательный, невзрачный деревянный ящик, осторожно вынул оттуда нечто завернутое в кусок белого полотна и передал это в руки мистеру Уилберфорсу, который неторопливо, очень осторожно и с необычайно серьезным видом начал разворачивать полотно. Царившая вокруг торжественная тишина сама по себе производила глубокое впечатление, и я был очень взволнован. Тишина и торжественность всегда покоряют - независимо от того, что именно происходит. Торжественное настроение постепенно усиливалось и углублялось, ибо полотняная обертка оказалась довольно длинной. Наконец взорам открылся священный сосуд, который, по преданию, принял в себя драгоценную кровь распятого Христа.

Двое из присутствующих верили, что перед ними тот самый сосуд, который под покровом ночи принесли и тайно вручили Никодиму{371} почти девятнадцать веков назад, после того как создатель вселенной во искупление грехов рода человеческого окончил свою жизнь на кресте; та самая чаша, которую четырнадцать веков назад, во времена короля Артура{371}, бесстрашный сэр Галахад, рыцарь без страха и упрека, искал в далеких странах, среди трудов и приключений; та самая чаша, в долгих и терпеливых поисках которой сложили свои головы и, горько сетуя, расстались с жизнью многие благородные рыцари иных, давно ушедших времен. И вот наконец она здесь; ее откопал какой-то торговец зерном из Ливерпуля; он не пролил ни капли крови, он не отправлялся в дальние странствия, от него не требовалось какой-либо особой чистоты сверх той, какая требуется от всякого торговца зерном в двадцатом веке; он даже не носил громкого имени; он не сэр Галахад, не сэр Борс де Ганис{371}, не сэр Ланселот Озерный{371} - он просто какой-то мистер Поул, о котором даже неизвестно, как его зовут, впрочем, кажется, Питерсон. Для этого не потребовалось ни кольчуги из сверкающей стали, ни увенчанного султаном шлема, ни щита с гербом, ни смертоносного копья, ни наделенного баснословной силою грозного меча - да и вообще никаких доспехов и никакого оружия, кроме плебейской кирки и заступа. И вот у нас перед глазами Святой Грааль, прославляемый в течение девятнадцати веков, самая знаменитая реликвия на свете, о которой так страстно мечтали, которую так долго, преданно

и упорно искали; и тут же рядом, так близко, что до него можно дотронуться рукой, стоит тот, кто ее спас - человек по имени Питерсон Поул, да хранит его господь! Вот уж поистине волнующая минута.

Строго говоря, это была вовсе не чаша, не ваза и не кубок. Это было просто блюдечко - зеленое стеклянное блюдечко, в которое было вставлено блюдечко из серебра. Поверхность блюдечка была украшена цветочками мягких тонов, с прорезями, сквозь которые виднелось заключенное внутри серебряное блюдечко. По форме, размеру и глубине это блюдечко ничем не отличалось от всех прочих блюдечек на свете. Быть может, когда-то оно было чашей, бокалом или кубком, но если даже так, то от времени оно сильно съезжилось.

Мистер Уилберфорс сказал, что это подлинный Святой Грааль, что в этом нет ни малейших сомнений, что в настоящее время нигде не существует другого подобного сосуда, что ему не менее четырех тысяч лет, а тот факт, что он был спрятан под четырехфутовым слоем твердой земли, служит лишним доказательством его древности, ибо для создания четырехфутового слоя твердой земли требуется много веков. Было совершенно ясно, что сэр Уильям Крукс (как ученый, он не признает никаких спорных научных открытий до тех пор, пока они, будучи подвергнуты самому строгому и беспощадному испытанию, не выдержат его и не будут абсолютно доказаны) вполне удовлетворен этими детскими догадками и пустыми рассуждениями, совершенно уверился в подлинности и неподдельности Святого Грааля и даже не сомневался в существовании того ангела несварения желудка, который принес торговцу зерном это известие.

Я рад, что мне довелось дожить до этого часа, до этого удивительного часа. В моей жизни он единственный в своем роде, нет ничего, хоть сколько-нибудь его напоминающего. Я давно уже подозревал, что право человека называть себя мыслящим существом весьма сомнительно, но данный случай сокрушил все мои сомнения; теперь я совершенно уверен, что часто, очень часто в вопросах, касающихся религии и политики, мыслительные способности человека не выше, чем у обезьяны. Миссис Майерс уже много лет живет в атмосфере спиритизма и принимает все его утверждения, и тем не менее Святой Грааль оказался не по зубам даже ей, о чем она сообщила мне по секрету.

Если бы этот случай произошел в Америке, то газеты всей страны корчились бы от смеха - независимо от того, находился ли попечитель Грааля на самой вершине церковной иерархии или в самом ее низу, но мистер Уилберфорс - высокопоставленный священнослужитель великой англиканской церкви, случай этот произошел в Англии, - и в этом все дело. Следуя обычаю, мы хранили молчание. Так же поступила и английская пресса. Через две-три недели после 23 июня в одной из лондонских газет появилась короткая заметка об открытии Грааля и были названы причастные к этому лица. Заметку передали по телеграфу через океан и опубликовали в американской прессе; на этом дело кончилось, и до сего дня я ни разу не видел и не слышал ни единого упоминания об этом происшествии ни в Европе, ни в Америке.

7 сентября 1907 г.

[ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ]

Три дня назад газета "Уорлд" окончательно признала мистера Рузвельта виновным в том, что он купил свою президентскую должность за деньги. Уже давно - в сущности, с самого дня выборов - его подозревали в этом невероятном преступлении, но до сих пор никто еще не приводил доказательств. Судья Паркер{373}, кандидат оппозиции, в то время обвинял его в вежливых парламентских выражениях, но мистер Рузвельт яростно опровергал эти обвинения, тем самым прибавив к бремени своих дурных поступков еще и ложь. Впрочем, эта прибавка не так уж велика для него, - он к ней привык, у него к ней особый талант, хотя он не любит и не терпит, чтобы неправду говорили другие. За последние три года он в разное время открыто обвинил в неправдивости целый десяток самых чистых людей в стране, всякий раз делая вид, будто преисполнен самого подлинного и искреннего негодования.

Мистер Рузвельт поистине представляет собой самое поразительное событие в истории

Америки (не считая ее открытия Колумбом). Теперь стали известны подробности того, как мистер Рузвельт приобрел президентскую должность, подкупив избирателей - вплоть до имен людей, которые давали деньги, и размеров их пожертвований. Эти люди - заправила крупных корпораций, причем трое из них возглавляют монополию "Стандард Ойл". Теперь известно, что за неделю до дня выборов, когда закончилась избирательная кампания и были исчерпаны все законные способы использования ассигнованных на нее средств, мистер Рузвельт испугался и вызвал в Вашингтон мистера Гарримана {373}, чтобы тот принял меры для обеспечения победы республиканской партии в штате Нью-Йорк. Встреча состоялась, и Гарримана убедили раздобыть на это дело двести тысяч долларов. Он раздобыл двести шестьдесят тысяч, и все они были израсходованы на выборы за последнюю неделю кампании, - несомненно на покупку избирательных голосов, ибо время для использования денег каким-либо другим способом уже истекло. В заявлении, опубликованном в печати, судья Паркер теперь заявляет:

"Совершенно очевидно, что в последние часы кампании этим деньгам можно было найти только одно практическое применение, а именно - увеличить уже имеющийся фонд, предназначенный для того, чтобы заручиться голосами широкого контингента неустойчивых избирателей, который образовался за долгие годы систематической коррупции на средства, жертвуемые людьми, готовыми купить поддержку тех, кто готов продать ее".

Из общей суммы этих пожертвований двести тысяч долларов было израсходовано в Нью-Йорке, и мистер Гарриман утверждает, что благодаря этому пятьдесят тысяч неустойчивых избирателей, вопреки своему первоначальному намерению, подали голос за мистера Рузвельта, что составило разницу в его пользу в сто тысяч голосов.

В течение многих лет богатые корпорации тратили крупные суммы на укрепление господства республиканской партии, с условием, что взамен им будет обеспечена поддержка и защита их монополий. Все эти годы их честно поддерживали в соответствии с соглашением, но на сей раз было совершено предательство. Мистер Рузвельт увидел, что нападение на большие корпорации будет способствовать его популярности и, ни минуты не колеблясь, нарушил свой контракт. Мистер Гарриман и все прочие купили его и заплатили за него, но это ничего не значит для человека, который всегда готов продать свою честь за такую сумму, какую он может получить на рынке, - да что там, просто за ширококвещательную рекламу.

Мистер Рузвельт теперь восхищается поступком федерального судьи из Чикаго. Вот человек, который ему по душе. Этот судья ухитрился оштрафовать компанию "Стандард Ойл" на двадцать девять миллионов двести сорок тысяч долларов, и президент в восторге от такой грандиозной рекламы. Маловероятно, что после апелляции Верховный суд утвердит это решение, но президенту все равно - реклама остается рекламой.

Он отправил государственного секретаря Тафта {375} в предвыборное турне вокруг света. Опять реклама.

Он отправляет флот Соединенных Штатов в Сан-Франциско через Магелланов пролив - все напоказ, все для рекламы, - хотя ему известно, что если корабли во время этого рискованного плавания будут повреждены, в Тихом океане их нельзя будет отремонтировать из-за отсутствия верфей; но экскурсия наделает много шума, а мистеру Рузвельту только того и надо.

Мистер Рузвельт сделал все что мог, чтобы уничтожить все отрасли американской промышленности, и теперь, находясь в полуразрушенном состоянии, они с ужасом ожидают, что он станет делать дальше. Еще один удар, и им, быть может, придет конец. Он безусловно позаботится об этом ударе, если сможет его достаточно разрекламировать. Землетрясение в Сан-Франциско, которое разрушило город и наделало столько шума в мире, было лишь ничтожным эпизодом местного значения; оно ограничилось узкой полосой Тихоокеанского побережья и было жалким провинциалом по сравнению с мистером Рузвельтом, ибо он - настоящее, и притом самое колоссальное землетрясение в истории человечества; когда он трясется, он приводит в содрогание всю страну от Атлантического до Тихого океана и от

Канады до Мексиканского залива; этих конвульсий не может избежать ни один самый ничтожный поселок.

За какие-нибудь полгода он обесценил все виды собственности в Соединенных Штатах - в одних случаях на десять процентов, в других случаях - на двадцать, а в некоторых - на пятьдесят. Полгода назад страна оценивалась в сто четырнадцать миллиардов, теперь она не стоит и девяноста. Правительство лишилось доверия общества; возможно, что вслед за этим оно лишится и кредита. Мистер Рузвельт - самое ужасное из всех бедствий, какие обрушивались на нашу страну со времени Гражданской войны, но огромная масса населения обожает его, любит его до безумия, просто боготворит. Такова истина. Она звучит как клевета на умственные способности рода человеческого, но это не так; возвести клевету на умственные способности рода человеческого совершенно невозможно.

Снизойдем до мелочей: президент собирается совершить еще одно рекламное турне: через две-три недели он намерен обозреть реку Миссисипи, этот несчастный, старый заброшенный водный путь, который был полем моей деятельности, когда я служил лоцманом в дни его процветания, почти пятьдесят лет назад. Он выедет из Каира, спустится вниз по течению на пароходе и всю дорогу будет производить страшный шум. Он готов принять участие в любом, изобретенном первым встречным фантастическом плане разграбления государственного казначейства, при условии, что сможет использовать его для рекламы. На этот раз он выступает в качестве орудия старой ненасытной шайки заговорщиков, называющих себя Обществом по улучшению Миссисипи, - в течение тридцати лет они ежегодно сосали кровь государственного казначейства под видом фантастических попыток улучшить состояние этой бесполезной реки, а на самом деле питали этой кровью избирательную машину республиканской партии. Эти попытки ничуть не улучшили реку - по той простой причине, что никакие человеческие усилия не могут ее улучшить. Миссисипи всегда будет поступать по-своему, никакие технические средства не могут заставить ее поступать иначе; она всегда смывала жалкие плетеные изгороди инженеров и разливалась куда ей заблагорассудится и всегда будет продолжать в том же духе. Поездка президента предпринята с целью совершить еще одну растрату государственных средств, и этот проект принесет ему успех - успех и рекламу.

3 октября 1907 г.

[СОБАКА]

В некоторых отношениях я был всегда исключительно щепетилен. Даже в самом раннем возрасте я не мог заставить себя воспользоваться деньгами, добытыми нечестным путем. Я пытался не раз, но добродетель всегда торжествовала.

С полгода тому назад генерал-лейтенант Нельсон А. Майлс давал в Нью-Йорке пышный обед. Перед тем, как идти к столу, мы с генералом о чем-то болтали в гостиной, и он мне сказал:

- Мы с вами знакомы лет тридцать, не правда ли?

Я сказал:

- Да, в этом роде.

Он задумался и сказал:

- А ведь мы могли встретиться в Вашингтоне в 1867 году. Мы были там в одно время.

Я сказал:

- Да, но вы забываете, что я был никому не известен. Не подавал еще даже надежд. Вы же, прославленный герой Гражданской войны, только что вернулись с блистательной кампании на Дальнем Западе, получили звание бригадного генерала, и ваше имя было у всех на устах. Если бы мы и встретились, эта встреча давно испарилась бы в вашей памяти - разве что, если бы она была связана с чем-нибудь чрезвычайным. Прошло уже сорок лет, разве можно так долго хранить в памяти случайную встречу?

Тут я направил беседу по другому пути и имел к тому достаточный повод. Я мог бы напомнить без труда генералу, что мы с ним встречались в 1867 году в Вашингтоне, но я воздержался из боязни сконфузить себя и его. Дело было вот так.

Я только вернулся тогда из поездки на "Квакер-Сити" и заключил договор с Элиша Блиссом из Хартфорда на книгу о моем путешествии. Я был без гроша и отправился в Вашингтон поискать что-нибудь подходящее, чтобы продержаться, пока я буду писать свою книгу. В Вашингтоне я встретил Уильяма Суинтона, и мы вместе с ним разработали план, как добывать хлеб насущный. Мы стали отцами и основателями совсем нового начинания, столь привычного ныне в газетной работе. Мы создали первый на нашей планете газетный синдикат. Он был невелик, но начинают с малого. В списке наших клиентов значилось двенадцать газет. Это были газетки, влачившие жалкое существование в самых безвестных глухих углах нашей страны. Все они были чрезвычайно горды, что имеют собственного корреспондента в столице, а мы были очень довольны, что являемся предметом их гордости. Каждая из газет получала от нас два еженедельных письма - по доллару за письмо. Каждый из нас писал раз в неделю письмо и, размножив его в двенадцати экземплярах, посылал нашим патронам. Таким образом мы вдвоем зарабатывали двадцать четыре доллара, на которые при наших скромных расходах могли жить вполне беспечно.

Суинтон был одним из самых милых людей, каких мне доводилось встречать, и согласие нашей совместной жизни не знало предела. Суинтон был от природы тактичен; воспитание развило в нем эту черту. Он был высокообразованным человеком; был ангельски кроток; был чист и в речах и в помыслах. Он был шотландец и пресвитерианин старой закваски, я имею в виду, что он был предан своей религии, относился к ней с глубокой серьезностью и черпал в ней утешение и душевный покой. Пороков у Суинтона не было ни одного, не считая бескорыстной и нежной страсти к шотландскому виски. Я не считал это пороком; Суинтон, как сказано, был шотландцем, а для шотландца шотландское виски все равно, что молоко для человека другой национальности. Скорее это была добродетель - правда, не из дешевых. Еженедельные двадцать четыре доллара были для нас состоянием, если бы не бутылка. Бутылка же требовала непрерывных расходов. Стоило денежному переводу чуть задержаться, и мы оказывались на краю бездны.

Был как раз такой случай. Нам требовались три доллара. Они были нужны нам сию же минуту, немедленно. Уже не помню на что они были нужны, только помню, что были нужны до зарезу. Суинтон сказал мне, чтобы я шел и достал три доллара; сказал, что и он пойдет тоже. У него не было и тени сомнения, что мы с ним достанем нужные деньги, - такова была твердость его религиозных воззрений. Я, говоря по совести, не разделял его веры. Я понятия не имел, где мне добыть три доллара, и так ему и сказал. Я увидел, что ему стало стыдно за слабость моей веры. Он сказал, чтобы я не раздумывал; бог нам поможет. Он сказал это так, словно это само собой разумелось. Я увидел, что он действительно уповает на божью помощь и счел нужным сказать, что, насколько я знаком с этим предметом... Не буду передавать нашего спора. Его твердая вера подкрепила меня. Я вышел почти уверенный, что бог нам поможет.

Битый час я скитался по улицам, тщетно стараясь придумать, как мне достать три доллара. Наконец, я забрел в "Эббит-Хауз" - это был новый отель - и присел отдохнуть в холле. Вскоре в холл вбежала собака. "Ты не обидишь меня?" - прочел я в ее глазах. Я ответил ей тоже взглядом, что она найдет во мне друга. Она благодарно помахала хвостом, подошла, положила мордочку мне на колени и устремила на меня неотразимо-ласковый взгляд карих глаз. Это было прелестное существо, изящное, как юная девушка, все в шелке и бархате. Я поглаживал ее шелковистую голову и ласкал ее вислые ушки, - мы походили на влюбленную пару. В эту минуту бригадный генерал Майлс, герой дня, вошел в холл отеля молодцеватой походкой в синем с золотом нарядном мундире, привлекая к себе внимание присутствующих. Он увидел собаку и сразу остановился, глаза его загорелись; в его сердце, как видно, жила еще страсть к этим милым зверям.

Генерал наклонился и погладил собаку.

- Какой чудный песик, просто красавец! Не продадите ли вы его?

Я был поражен. Вот оно чудо! Предсказание Суинтона начинало сбываться.

Я сказал:

- Что же, могу продать.

- Сколько вы просите?

- Три доллара.

Генерал, видимо, удивился.

- Три доллара? Только три доллара? Но ведь это замечательная собака. Она должна стоить не меньше пятидесяти долларов. Будь я хозяин, я не продал бы ее и за сто. Подумайте, я не хочу обижать вас.

Если бы он знал действительное положение вещей, он понял бы, что не может меня обидеть, равно, как я не могу обидеть его. Я ответил твердо, так же, как в первый раз:

- Три доллара. Я прошу за собаку три доллара.

- Что же, пусть будет по-вашему, - сказал генерал.

Он уплатил мне три доллара, взял собаку и поднялся с ней по лестнице.

Минут через десять в холл вошел пожилой человек с меланхолическим выражением лица и стал бродить взад-вперед, заглядывая под столы и под кресла. Я спросил его:

- Что вы ищете? Не собаку ли?

Его лицо было озабочено и печально. Теперь оно засветилось радостью, он воскликнул:

- Да! Вы ее видели?

- Видел, - сказал я. - Она только что была здесь. Я видел, как она пошла за одним джентльменом. Если желаете, я мог бы ее разыскать.

Я никогда не встречал такого выражения признательности. Дрожащим от благодарности голосом он сказал, что просит меня поискать собаку. Я сказал, что готов быть полезным, но поиски могут быть хлопотными. Могу ли я рассчитывать на некоторое вознаграждение? Он сказал, что вознаградит меня с радостью, он несколько раз повторил это "с радостью", и спросил, сколько я хочу.

Я сказал:

- Три доллара.

Он был удивлен. Он сказал:

- Это же гроши! Я охотно уплачу вам десятку.

Но я повторил:

- Нет, я прошу три доллара, - и, не дожидаясь ответа, направился к лестнице, ведущей вверх. Божья помощь испрашивалась Суинтоном в размере трех долларов, и я счел бы кощунственным просить хоть на цент больше. Проходя мимо конторки портье, я узнал у него номер комнаты генерала и, поднявшись, застал генерала Майлса поглощенным блаженной возней с собакой.

Я сказал:

- Мне очень жаль, но я пришел за собакой.

Он был поражен и сказал:

- За собакой? Но это моя собака. Вы ее продали мне, я уплатил вам, сколько вы попросили.

- Верно, - сказал я. - Все так. Но я должен вернуть собаку хозяину.

- Какому хозяину?

- Хозяину этой собаки. Собака - чужая.

Генерал был изумлен пуще прежнего и на минуту лишился речи. Потом он сказал:

- Вы хотите сказать, что вы продали чужую собаку, и сделали это сознательно?

- Да, я знал, что это чужая собака.

- Как же вы ее продали?

Я сказал:

- Вы задаете странный вопрос. Я продал ее потому, что вы попросили. Вы предложили купить собаку, вы не можете этого отрицать. Я не навязывал ее вам и вообще не думал ее продавать, но мне показалось, что раз представляется случай оказать вам услугу...

Он прервал меня на полуслове:

- Оказать мне услугу! Это самый поразительный способ оказывать людям услуги.



Подумать только! Продать мне заведомо чужую собаку!

Тут я прервал его и сказал:

- Вы спорите не по существу, генерал. Вы сами сказали, что такая собака может стоить сто долларов. Я взял с вас три доллара, разве это не доказывает мое бескорыстие? Вы предлагали мне больше, вы помните. А я взял только три доллара, вы не можете это оспаривать.

- Боже мой, какое это имеет отношение к делу? Суть в том, что собака не ваша, неужели вам это не ясно. Вы, очевидно, считаете, что в продаже чужой собаки нет ничего худого, если вы продаете ее по дешевой цене? В таком случае...

Я сказал:

- Давайте прекратим этот спор. Цена, которую я взял за собаку, учитывая, что это чужая собака, была справедливой и честной - вы не можете обойти этот факт. Спорить дальше, значит попусту тратить время. Сейчас я должен забрать собаку, потому что хозяин ищет ее, это ясно как день. Я должен забрать собаку, другого выхода нет. Поставьте себя на мое место. Допустим, вы продали мне чужую собаку. Допустим теперь...

- Послушайте, - сказал генерал, - не сводите меня с ума своими идиотскими рассуждениями. Берите собаку и оставьте меня в покое.

Тогда я вернул ему полученные за собаку три доллара, спустился по лестнице, передал собаку владельцу и получил от него другие три доллара за беспокойство.

Я ушел с чистой совестью: барыш мой был честным. Я никогда не смог бы потратить три доллара, которые я получил за собаку, потому что собака была чужой. Но три доллара, которые я получил, вернув собаку владельцу, были мои целиком и полностью, ибо я заработал их честным трудом. Без меня он, возможно, не нашел бы собаку, лишился бы ее навсегда.

Мои нравственные правила остались непоколебленными. Я всегда стремился быть честным и не сойду с этой стези. Никогда я не мог заставить себя воспользоваться деньгами, добытыми нечестным путем.

Так было дело. Кое-что, впрочем, я выдумал.

10 октября 1907 г.

[ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ]

То, что называется "публичным чтением", было, по-моему, впервые введено в качестве общественного развлечения Чарльзом Диккенсом. Он привез эту идею из Англии в 1867 году. У себя на родине он завоевал этой идее признание, а в Америке она так привилась и стала так популярна, что Диккенс всегда читал в переполненном зале и за один только сезон заработал двести тысяч долларов. В том сезоне я слышал его один раз: это было в декабре, в Стайнуэй-Холле, и это принесло мне богатство - не в долларах, сейчас речь идет не о долларах, нет, - настоящее богатство всей моей жизни: в тот день я зашел в "Отель Сент-Николас" навестить Чарли Ленгдона, моего товарища по путешествию на "Квакер-Сити", и был представлен милой, застенчивой и прелестной девушке, его сестре. Все семейство отправилось слушать Диккенса, и я вместе с ними. Это было сорок лет тому назад; с того дня и до сих пор сестра Чарли Ленгдона ни на минуту не покидала моего сердца и моих мыслей.

Мистер Диккенс читал по книге отрывки из своих произведений. С моего места он показался мне маленьким, тоненьким, довольно причудливо одетым, далеко не заурядным и живописным по внешности. На нем был черный бархатный сюртук с большим ярко-красным цветком в петлице. Он стоял под навесом, обитым красной материей, за косым краем которого висело несколько ярких ламп: таким устройством пользуются художники, когда хотят сильнее осветить большую картину. Слушатели Диккенса сидели в приятном полумраке, а он выступал освещенный ярким светом скрытых от зрителя ламп. Он читал с неподдельным чувством и воодушевлением в сильных местах и производил потрясающее впечатление. Надо сказать, что он не просто читал, но играл при этом. В его чтении сцена бури, во время которой гибнет Стирфорт {383}, была так выразительна, так полна жизни, что

слушатели были буквально потрясены.

Диккенс создал моду, которой пытались следовать другие, но не помню, чтобы кому-нибудь удалось добиться на этом поприще прочного успеха. Публичные чтения были через некоторое время прекращены и не возобновлялись в течение двадцати с лишним лет, после того как Диккенс положил им начало; затем они опять выплыли на поверхность и некоторое время барахтались в виде того курьезного и нехитрого промысла, который назывался "авторские чтения". Когда самому господу богу стало невмоготу от этих злодеяний, "авторские чтения" перестали докучать миру и канули в Лету.

Чтение лекций и просто чтение были совсем разные вещи: лектор не пользовался ни записями, ни тетрадками, ни книгами, он заучивал свою лекцию наизусть, читал ее из вечера в вечер, не меняя ни единого выражения, весь лекционный сезон - четыре зимних месяца. Лекции уже много лет пользовались популярностью у нас в стране, а я вступил на это поприще в 1868 году, в эпоху их расцвета: в каждом городе тогда завелась общественная организация, которая ежегодно в мертвый сезон готовила программу лекций к наступлению зимы; лекторов они выбирали по списку Бостонского лекционного агентства, в зависимости от количества населения в данном городе и его платежеспособности. Курс обычно состоял из восьми или десяти лекций. Требовалось только одно: чтобы этот курс окупился, на прибыль никто не рассчитывал. Совсем маленьким городкам приходилось мириться с пятидесятидолларовыми лекторами и лектрисами и с одной-двумя второсортными звездами в виде аттракциона. Города побольше приглашали только стодолларовых лекторов и лектрис, добавляя к ним в качестве аттракциона Джона Б. Гофа, Генри У. Бичера, Уэндела Филиппа: в больших городах пускали в ход всю эту плеяду звезд. Анне Дикинсон платили четыреста долларов за вечер, столько же и Генри Уорду Бичеру, столько же и Гофу, если он не брал пятьсот, а то и шестьсот долларов. Не помню, сколько платили Уэнделу Филиппу, но тоже много.

Я занимался лекционной деятельностью три сезона - ровно столько, сколько нужно, чтобы обучиться этому ремеслу; потом, после утомительной кочевой жизни, удалился в лоно семьи в новом для меня качестве женатого человека и отдыхал под домашним кровом лет четырнадцать-пятнадцать. Теперь за устройство лекций взялись спекулянты и любители легкой наживы, надеясь на этом разбогатеть. В пять лет они окончательно развалили это дело, и когда я на один сезон вернулся на эстраду, в 1884 году, там царило блаженное молчание, длившееся уже десять лет, и новое поколение понятия не имело о лекциях и не знало, как к ним относиться и что с ними делать. Трудная была публика эти новобранцы, и нам с Кейблом приходилось подчас очень туго.

Кейбл уже три года разъезжал по всей стране один, читая отрывки из своих романов; он был хорошим чтецом, потому что обладал природным даром, но, к несчастью, он стал готовиться к чтениям и брал уроки дикции у одного учителя, - и так хорошо и основательно обучился, что, когда понадобилось выступать, он сделался театрален и неестествен, и слушать его было уже и вполнину не так приятно и занимательно, как в золотые дни его невежества. Мне захотелось попытать счастья. Я нанял на процентах майора Понда{384} с тем, чтобы он возил меня по всей стране, а в помощники взял Кейбла за шестьсот долларов в неделю, - путевые расходы на мой счет, - и мы отправились в наше рискованное турне.

Это было чудовищно! По крайней мере вначале. Отрывки я выбрал довольно удачно, но не выучил их. Я думал, что надо только делать, как Диккенс: выходить на эстраду и читать по книжке. Так я и сделал - и все испортил. Написанные вещи не годятся для живой речи, у них книжная форма, они жестки, лишены гибкости и в устной передаче теряют весь свой смысл и эффект; там, где цель рассказа только развлекать, а не поучать, надо его смягчить, обломать, оживить и перевести в простую форму непринужденного разговора, иначе публика соскучится, а не развеселится. Целую неделю я выступал с книжкой, а потом отложил ее в сторону и больше никогда не выносил на эстраду; тем временем я выучил рассказы наизусть, в устной передаче они скоро приобрели гибкую разговорную форму, и вся излишняя точность и правильность исчезли без следа.

Среди других вещей, читанных мной с эстрады, был написанный на диалекте и потому производящий необычное впечатление отрывок из "Налегке", который я озаглавил "Старый дедушкин баран". Я его выучил наизусть, и после этого при рассказывании с эстрады он начал меняться и сам собой редактировался и корректировался вечер за вечером, и в конце концов я уже не боялся выступать с ним перед публикой, а, наоборот, полюбил его и рассказывал с удовольствием. Я и сам не знал, насколько значительны были внесенные изменения, а узнал это только через десять или одиннадцать лет, к концу сезона в Нью-Йорке, когда мне пришлось однажды взять свою книгу в гостиную и по просьбе десятка знакомых обоюбого пола прочесть эту главу. Она не читалась: то есть я был не в состоянии прочитать ее вслух. Я возился с ней минут пять, потом бросил и сказал, что лучше постараюсь рассказать, если вспомню. Оказалось, что память меня не подвела; после такого долгого перерыва она почти безошибочно воспроизвела тот вариант, который я рассказывал с эстрады. Кажется, я и сейчас помню этот вариант, и мне хочется повторить его здесь, чтобы читатель, если желает, мог сравнить его с тем, который рассказан в "Налегке", и отметить, насколько устная версия разнится от написанной и напечатанной.

Замысел рассказа - показать дурное влияние хорошей памяти, такой памяти, которая чересчур хороша, все помнит и ничего не забывает, которая лишена чувства меры, не умеет отличить значительного события от незначительного, хранит их все, отмечает их все и замедляет ход рассказа, делает его невозможно, непроходимо запутанным и невыносимо скучным для слушателя. У рассказчика "Старого барана" была именно такая память. Он не раз пытался рассказывать эту историю своим товарищам, тоже золотоискателям, но никогда не мог довести ее до конца, ибо память препятствовала всем его попыткам удержаться на прямой дороге; она упорно нагромождала на его пути кучу ненужных подробностей, не имевших никакого отношения к рассказу. Эти новые подробности увлекали его и уводили в сторону; как только подвертывалось какое-нибудь имя, или знакомое семейство, или еще что-нибудь, не относящееся к делу, он отступал от своей темы, чтобы рассказать все о человеке, который носил это имя, или все подробности об этой семье, и в результате, положив на это столько трудов, уходил все дальше и дальше от незабвенного случая с дедушкиным бараном и обыкновенно засыпал, не добравшись до конца, а вместе с ним засыпали и все его приятели. Один раз он подошел так близко к концу, что ребята загорелись надеждой: они поверили, что наконец-то узнают, какой такой случай вышел с дедушкой и что же, собственно, произошло. После обычного вступления рассказчик начал:

"Так вот, я и говорю, он купил этого старого барана у одного человека в округе Сискью, привез его домой и выпустил на луг, а на следующее утро вышел поглядеть на него, да нечаянно уронил в траву десятицентовую монетку и нагнулся за ней - вот так - и стал шарить в траве, а баран стоял на горке и глядел на него; а дедушка не видел барана, потому что стоял к нему спиной и искал монетку. Вот я и говорю, он стоял вот здесь, под горкой, нагнувшись вот так, и шарил в траве, а баран стоял повыше на горке, а Смит - Смит стоял вот тут... нет, не тут, а немножко подальше, шагах, может, в пятнадцати; значит, дедушка нагнулся пониже, вот так, а баран стоит наверху и смотрит, знаете ли, а Смит... (В раздумье.) Нет, баран нагнул голову вот так... а Смит из Калавераса... Нет, это не мог быть Смит из Калавераса: я теперь припоминаю, что не он... Ей-богу, это был Смит из округа Туларе; конечно он, я теперь отлично припоминаю.

Значит, Смит стоял вот тут, а дедушка вот здесь, знаете ли, и нагнулся вот так, шаря в траве, и когда старый баран увидел его в такой позе, он это счел за приглашение, и вот он - пожалуйста! - скатился вниз под горку со скоростью тридцать миль в час, и по глазам видно, что неспроста. Понимаете ли, дедушка повернулся к нему спиной, да еще нагнулся вот так, и само собой... Да нет! Это был вовсе не Смит из Туларе, это был Смит из Сакраменто, - боже ты мой, как же я мог перепутать этих Смитов! Ведь Смит из Туларе просто никто, а Смит из Сакраменто... Ну как же, ведь Смиты из Сакраменто южане, из лучшего рода во всех Соединенных Штатах, лучше их семьи нет никого на Юге. Сами посудите, один из Смитов женился на мисс Уитекер! Кажется, из этого можно помять, с какими людьми водились

Смиты: нет и не было семьи лучше семьи Уитекеров, это вам всякий скажет.

Возьмите хоть Марию Уитекер - вот это была девушка! Мала ростом? Ну да, роста она была маленького, так что ж из этого? А зато какое сердце! Сердце у нее было прямо как у буйвола: мягкое, доброе, великодушное - не сердце, а чистое золото. Своего добра не жалела: чего у нее ни попросят, отдаст обеими руками - бери, пользуйся, ей не жалко; да, вот какая была Мария Уитекер, - ничего для других не жалела, все, бывало, отдаст - нате, берите. Один глаз у нее был стеклянный, так она и его давала займы Флоре Энн Бэкстер, когда приходили гости, а та была большого роста, и этот глаз ей не годился: глаз был номер седьмой, а ей бы надо номер четырнадцатый, и он никак не сидел спокойно, а все вертелся; стоит ей, бывало, моргнуть, как он уже и завертится. Красивый был глаз и очень был ей к лицу, потому что спереди он был светло-голубой, а сзади позолоченный; к другому глазу он, пожалуй, не совсем подходил, тот был желтовато-карий, такой спокойный, тихий, - знаете, какие бывают эти глаза. Не беда, зато вместе они отлично действовали и выглядели очень интересно. Когда Флора Энн, бывало, моргнет, голубой с золотом глаз начинает вращаться, а другой смотрит неподвижно; а когда она оживлялась, искусственный глаз начинал вертеться, вертеться, все быстрее и быстрее, и сверкало то голубым, то желтым, то голубым, то желтым, так что даже первый мудрец на свете не мог бы сказать, какое у нее выражение лица с этой стороны. Флора Энн Бэкстер вышла замуж за Хогадорна. По одному этому, я думаю, вы можете судить, из какой семьи она была, это же старый мэрилендский род с восточного побережья; во всех Соединенных Штатах не найти семьи лучше, чем эти Хогадорны.

Салли, то есть Салли Хогадорн, вышла за миссионера, и они отправились вместе проповедовать евангелие людоедам на какие-то отдаленные острова, где-то посередине океана, объехали ради этого чуть ли не вокруг света, и людоеды ее съели; и его тоже съели, а это уже непорядок: есть полагается не миссионеров, а только членов их семей, и когда людоеды поняли, что наделали, то ужасно огорчились, и когда родственники прислали к ним за вещами, то они так и сказали, - сказали, что очень сожалеют и извиняются и что больше этого не будет, просто вышел несчастный случай.

Несчастный случай! Вот это уж глупости, никаких несчастных случаев не бывает и быть не может, все в мире происходит по воле провидения, более мудрого, чем мы, и всегда направлено к благой цели; какая это благая цель, мы, конечно, не всегда знаем, - так же вот было и с родными, которые недосчитались миссионера с женой. Но сейчас нам это ни к чему, да и не наше это дело; нам следует знать только, что это совершилось по воле провидения и с благой целью. Да, сэр, никаких несчастных случаев на свете не бывает и быть не может. Если стряется что-нибудь такое, что вам покажется несчастным случаем, то вы так себе и говорите, что это вовсе не несчастный случай, а воля провидения.

Взять хоть моего дядю Лема, - что вы на это скажете? Я вас только прошу - послушайте, что вышло с дядей Лемом, а потом будем говорить о несчастных случаях! Вот как это было: дядя со своей собакой был в центре города и стоял, прислонившись к лесам, - больной или пьяный, или я уж не знаю что, - а какой-то ирландец поднимался в это время по лестнице вверх вместе с кирпичами, свалился на какого-то прохожего и вышиб из него душу, так что через две минуты можно было звать следователя. Так вот, все говорили, что это несчастный случай.

Несчастный случай! Никакого тут не было несчастного случая, а воля провидения, и во всем этом таилась самая высокая, благая цель. Если бы не подвернулся прохожий, то этот ирландец убился бы. Говорили: "Воля провидения! Как бы не так! А собака-то была зачем? Почему же собака для этого не годилась?" По очень простой причине: собака увидела бы, что он валится; ни на одну собаку нельзя рассчитывать, что она выполнит волю провидения. Ирландец никак не мог бы свалиться на собаку, потому что... позвольте, как же звали эту собаку?.. (В раздумье.) Ах да, Джаспер! Очень хорошая была собака; не какая-нибудь простая и не убудок, а помесь. Помесь - это такая собака, которая подобрала все самые лучшие качества, какие только есть у собачьей породы, - это вроде синдиката; а убудок - всякую дрянь, что останется. Вы еще не видывали такой замечательной собаки, как этот

Джаспер. Дядя Лем достал его у Уилеров. Вы, верно, слышали про Уилеров: во всех южных штатах не найти семьи лучше, чем эти Уилеры.

Так вот, в один прекрасный день Уилер о чем-то замечтался, да так, замечтавшись, и расхаживал по ковровой фабрике, как вдруг его зацепило машиной и поволокло, и не успели бы вы оглянуться, как он уже сновал по всей фабрике, от чердака до подвала с такой быстротой, что даже ничего не было видно; слышно только было, как он со свистом проносился мимо. Ну, вы сами понимаете, что, попав в такую передрагу, человек уж не может вернуться домой в том же виде, в каком вышел. Нет, Уилера воткало в тридцать девять ярдов первосортного ворсистого ковра. Вдова очень расстроилась, просто до невозможности, ужасно его жалела и сделала для него все что могла при тех обстоятельствах, надо сказать, из ряда вон выходящих. Она купила всю штуку - тридцать девять ярдов, - решила устроить ему приличные похороны, чтобы все было честь честью; только свертывать ковер она не пожелала, сказала, что она этого не вынесет, а взяла и растянула во всю длину. Вдова хотела купить для покойника туннель; только в то время не случилось продажных туннелей, и она уложила его в красивый ящик и поставила на пьедестал в двадцать один фут вышиной, так что получились и памятник и могила вместе, и обошлось дешевле - шестьдесят футов вышины, и отовсюду видно; и она сделала надпись: "Незабвенной памяти тридцати девяти ярдов самого лучшего ворсистого ковра, заключающего в себе бранные останки Миллингтона Дж. Уилера. Ступай и сделай так же".

На этом месте голос рассказчика оборвался, веки сами собой закрылись от усталости, и он погрузился в дремоту, так что мы и до сих пор остаемся в неведении, нашел ли дедушка монетку в траве, и не имеем никакого представления о том, что, собственно, произошло, и даже произошло ли что-нибудь.

Сравнив вышеприведенную версию с первоначальной, напечатанной в книге, я все-таки не могу дать точного и определенного объяснения, почему одну можно с успехом рассказывать публике, а другую - нет; причина есть, но она слишком невесома, и на громоздкой подводе слов ее не привезешь; я ее чувствую, но выразить не могу; она неуловима, как запах, резкий и бьющий в нос, но не поддающийся анализу. Это безнадежно. Я знаю только, что одну версию можно рассказывать, а другую нельзя.

Под рассказыванием я разумею, конечно, рассказ наизусть; читать по книжке нельзя ни ту, ни другую версию. Существует очень много причин, почему это так, но есть одна причина, которая уже сама по себе достаточна: читая по книжке, вы как бы передаете рассказ о том или ином человеке из вторых рук, вы - мим, а не участник, то есть во всем этом есть нечто искусственное, а не реальное, тогда как, рассказывая без книжки, вы сливаетесь с героем рассказа и скоро сами становитесь этим человеком, точно так же, как это бывает с актером.

Величайший из актеров не мог бы увлечь публику, читая по книжке; при таком чтении пропадают самые тонкие приемы чтения. Я имею в виду те рассчитанные эффекты, которые кажутся вдохновением минуты и производят такое сильное впечатление: например, рассчитанные поиски нужного слова, якобы невольные паузы, якобы невольное смущение, якобы ошибочное подчеркивание не того слова, таящее в себе некий умысел, - все то, что вместе с другими удачно придуманными приемами придает прочитанной вещи пленительную естественность рассказа экспромтом. Это может быть пущено в ход и чтецом, и пускается в ход, но искусственность заметна сразу, и хотя слушатели могут восхищаться тем, как все это ловко сделано, - это восхищение рассудка, а не сердца, и успех чтеца не полон.

Читая по книжке с эстрады, чтец очень скоро убеждается, что одно орудие в его батарее приемов работает непропорционально калибру, - это пауза: то выразительное молчание, то красноречивое молчание, то в геометрической прогрессии нарастающее молчание, которое часто позволяет добиться нужного эффекта там, где его порою не дает даже самое счастливое сочетание слов. Пауза мало чем поможет человеку, который читает по книжке, потому что он не знает и не может знать, какой именно длины она должна быть.

Не он сам находит эту меру - это делают за него слушатели. Он должен уловить по их лицам, когда эта пауза достигнет нужной длины, но он смотрит не на лица, а в книгу, и поэтому определяет длину паузы наугад; точно угадать он не может, а ничто другое, кроме точности, абсолютной точности, здесь не годится.

Тот, кто рассказывает без книжки, имеет все преимущества: когда он доходит до хорошо знакомой фразы, которую он произносил в течение ста вечеров подряд, - до фразы, после которой или перед которой есть пауза, то лица слушателей скажут ему, где кончить эту паузу. Для одной аудитории эта пауза должна быть короче, для другой - длиннее, для третьей - еще длиннее; рассказчик должен варьировать длину паузы соответственно степени различия между аудиториями. Эти вариации так неуловимы, так тонки, что их можно, пожалуй, сравнить с делениями прибора Пратта и Уитни, измеряющего величины до одной пятимиллионной дюйма. Публика - двойник этого прибора: она тоже может измерить паузу до мельчайшей дроби, сходящей на нет.

Я, бывало, играл паузой, как ребенок игрушкой. Среди рассказов, которые я, разъезжая по свету, читал в пользу кредиторов мистера Уэбстера, было три или четыре таких, где паузы играли важную роль, и я их удлинял или укорачивал, смотря по надобности, и испытывал большое удовольствие, когда пауза была точно отмерена, и некоторое огорчение - когда ошибался. В негритянской сказке с привидениями "Золотая рука" одна из таких пауз встречается как раз перед заключительной фразой. Когда я выдерживал паузу именно столько, сколько следует, последняя фраза производила потрясающий эффект; если же пауза была короче или длиннее хотя бы на одну пятимиллионную дюйма, то публика за эту бесконечно малую долю секунды успевала опомниться от глубоко захватившей ее страшной сказки, предугадать развязку и подготовиться к ней, - и дело кончалось провалом.

В моей коротенькой биографии, которую написала Сюзи, рассказывается о том, как я читал эту страшную сказку молоденьким студенткам Вассарского колледжа; бедняжка Сюзи сама всегда боялась этой сказки, но на этот раз она собрала все свои силы и твердо решила, что ни за что не испугается; однако все ее приготовления не помогли ей: когда рассказ дошел до своего кульминационного пункта, по ее словам, - "все девушки вскочили как один человек", а это доказывает, что я выдержал паузу именно столько, сколько нужно.

В рассказе "Старый дедушкин баран" тоже имеется пауза: она следует за определенной фразой, и когда мы совершали кругосветное турне, миссис Клеменс вместе с Кларой терпели добровольные мучения, просиживая целые вечера только для того, чтобы наблюдать за публикой, когда дело доходило до этой паузы; они считали, что по ее действию на публику можно безошибочно судить об интеллектуальном уровне аудитории. Я держался другого мнения, но не в моих интересах было об этом говорить. Если пауза была выдержана правильно, эффект был обеспечен; если же пауза была короче или длиннее на одну пятимиллионную дюйма, смеялись умеренно, взрыва не получалось. В рассказе "Старый дедушкин баран" это как раз то место, где обсуждается вопрос, случайно ли свалился ирландец на прохожего, или по воле провидения. Если по воле провидения и если единственной целью тут было спасти ирландца, то зачем же понадобилось принести в жертву прохожего? "Ведь там была собака? Почему же он не свалился на собаку? Почему собака для этого не годилась? Потому что собака увидела бы, что он валится". Последняя фраза и была та самая, которой ждало мое семейство. Пауза после этой фразы была абсолютно необходима для всякой аудитории, ибо ни один человек, как бы сообразителен он ни был, не может в одно мгновение оценить новый и чуждый для него логический ход, кажущийся на первый взгляд почти непогрешимым, ход, согласно которому собаку нельзя считать подходящим орудием для спасения ближнего, особенно там, где требуется самопожертвование, ибо она слишком равнодушна к подвигам благочестия и слишком усердно соблюдает собственные интересы, чтобы воспринять повеление свыше.

18 октября 1907 г.

[ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ]

Вчера произошли два колоссальных исторических события - события, отголоски

которых будут в течение многих веков звучать в лабиринтах времен, события, которые не исчезнут из памяти людей до тех пор, пока они не перестанут писать свою историю. Вчера компания "Маркони" {393} впервые передала по беспроводному телеграфу сообщения через Атлантику - прямо с одного берега на другой; и в этот же самый день президент Соединенных Штатов в четырнадцатый раз вспугнул находящегося на расстоянии трех миль медведя. Когда медведь наткнулся на стоящую в ожидании толпу собак, егерьей, шталмейстеров, камергеров, маркизантов, поваров, судомоек, наездников добровольческого кавалерийского полка, пехоты и артиллерии, он, по привычке, переплыл на противоположный берег пруда и скрылся в лесу, президент, по своему обыкновению, находился где-то далеко, где именно никто не знал. Пока одна половина толпы наблюдала за тем местом, куда скрылся медведь, другая, трубя в рога, галопом помчалась рыскать по штату Луизиана в поисках великого охотника. Почему они совсем не прекратили охоту на медведя и не начали охотиться на президента? Он единственный из этой парочки, кого никак нельзя найти, когда он нужен.

Вскоре президента обнаружили, навели на след, и он вместе с собаками промчался несколько миль по лесу, но потом бросил это дело, потому что преподобный доктор Лонг, "факир природы", пришел и заявил, что это след коровий. Таков печальный исход мощного предприятия. Сегодня его превосходительство отбывает в Вашингтон, где займется дальнейшей разработкой своего плана: с помощью линейных кораблей спровоцировать Японию на войну {393}. Многие мудрые люди утверждают, будто цель этого плана состоит, наоборот, в том, чтобы принудить Японию к миру. Но я думаю, что он хочет войны. Он как-то раз участвовал в перестрелке при Сан-Хуан-Хилл и покрыл себя столь пышной славой, что с тех пор никак не может перестать похвастаться своими подвигами. Помню, как однажды, на завтраке у Брандера Мэтьюза, где присутствовало несколько мужчин, он три или четыре раза заводил разговор о Сан-Хуан-Хилл, несмотря на все попытки здравомыслящих людей поговорить о чем-нибудь более интересном. Мне кажется, что президент во многих отношениях явно безумен, особенно когда дело касается войны и славных военных подвигов. Мне кажется, что он жаждет большой войны, дабы эффектно сыграть роль главного генерала и главного адмирала и войти в историю как единственный монарх нового времени, который одновременно занимал обе эти должности.

Вчера станции Маркони на обоих берегах Атлантики обменялись посланиями общим объемом в пять тысяч слов со скоростью от сорока до пятидесяти слов в минуту. Это событие мирового значения. Семь лет назад я видел мистера Маркони в Лондоне в обществе сэра Хайрема Максима {393}; в то время он был уверен, что настанет день, когда он сможет без промежуточных станций передавать через океан сообщения по беспроводному телеграфу, но лишь немногие разделяли эту уверенность. Я рад, что встречался и беседовал с профессором Морзе {393}, с Грэхемом Беллом, Эдисоном {393} и с другими людьми, которые увенчали величественное здание современной материальной цивилизации. Ни в Англии, ни в Америке не было никакого шума вокруг вчерашнего великого события; время для этого наступит позднее, как было с телеграфом Морзе.

Я помню взрыв изумления и восторга, охвативший весь земной шар в 1858 году, когда по телеграфному кабелю, проложенному под поверхностью океана, было передано первое сообщение через Атлантику. Это событие не казалось вероятным, напротив - оно казалось совершенно невероятным, но нам пришлось в него поверить и постепенно к нему привыкнуть и приспособиться; потом, как это обычно бывает с такими важными открытиями, оно вскоре стало будничным. Это было в год великой кометы {394} - самого выдающегося из всех небесных скитальцев, какие появлялись в небесах при жизни нынешнего поколения. Комета испускала удивительный поток белого света, света настолько яркого, что казалось, он может отбрасывать тени, - однако, хотя он, несомненно, мог их отбрасывать, нет необходимости искать тому доказательств; достаточным доказательством служит хотя бы то, что в любое время ночи при этом свете можно было читать газету. В то время я был учеником лодчана, и много ночей подряд это ослепительное сияние помогало

мне коротать одинокую вахту в рулевой рубке. Много раз я читал газету при ярком свете, который струился от этого изумительного исследователя сверкающих архипелагов мирового пространства.

Пройдет немного времени, и Маркони, подобно Морзе, дождетя своего триумфа. Мне не посчастливилось присутствовать при триумфе Морзе, но я помню, какую это произвело сенсацию. Старый, согбенный годами Морзе, весь в звездах, лентах и крестах, которые были поднесены ему в знак уважения крупнейшими научными обществами и венценосными правителями мира сего, сидел на сцене Музыкальной академии, где собралось несколько тысяч человек, и при помощи телеграфного ключа отправлял через материки и океаны послания монархам и городам, разбросанным по всему земному шару. Я пропустил это грандиозное событие, но надеюсь присутствовать при его повторении, когда за ключом будет сидеть Маркони.

21 октября 1907 г.

[ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ]

Увы, президент все-таки добрался до этой коровы! Если только это была корова. Некоторые утверждают, что это был медведь - настоящий медведь. Они - очевидцы, но все они служат в Белом доме и состоят на жалованье у великого охотника, а когда свидетель находится в таком положении, его показания весьма сомнительны. То обстоятельство, что сам президент думает, будто это был медведь, ничуть не ослабляет, а лишь укрепляет сомнения. Он когда-то был довольно скромным человеком, но в его представлении так давно сместились все масштабы, что все его дела - большие и малые - кажутся ему колоссальными.

Он безусловно искренне верит в то, что это был медведь, но количество косвенных улик, доказывающих, что это была корова, слишком велико. Животное вело себя так, как вела бы себя корова; от начала до конца оно действовало именно так, как действовала бы корова, попавшая в беду; оно даже оставило за собой коровий след - как поступает всякая корова, когда она расстроена или, во всяком случае, когда она знает, что ее преследует президент Соединенных Штатов, - в надежде, видите ли, возбудить его сострадание и, быть может, думая, что он сохранит ей жизнь из уважения к ее полу, беспомощности и заведомой безобидности. Обратившись в бегство, она вела себя так, как вела бы себя всякая насмерть перепуганная корова, преследуемая президентом Соединенных Штатов и целой сворой лающих псов; когда силы ее иссякли и она уже не могла двигаться дальше, она поступила так, как поступила бы на ее месте всякая отчаявшаяся корова, остановившись на открытой лужайке в пятьдесят футов шириной, она, обливаясь слезами, смиренно взглянула на президента Соединенных Штатов и с немым красноречием сдающегося на милость победителя существа сказала: "Сжальтесь, сэр, и пощадите меня. Я одна, а вас много; у меня нет иного оружия, кроме моей беспомощности, вы же ходячий арсенал; мне грозит неминуемая гибель, вы же находитесь в полной безопасности - словно в воскресной школе. Сжальтесь, сэр, нет ничего геройского в убийстве измученной коровы".

Вот сенсационные заголовки, возвещающие об удивительных, достойных бульварного романа подвигах:

**РУЗВЕЛЬТ РАСКАЗЫВАЕТ О ПОЕЗДКЕ НА ОХОТУ**

"Съели всю дичь, кроме дикой кошки, но и та спаслась лишь чудом.

Плавал, невзирая на аллигаторов.

Ринулся в заросли камыша за медведем и после меткого выстрела сжимал в объятиях проводников".

Вот оно - после меткого выстрела он сжимал в объятиях проводников. В этом - весь президент; прожив полсотни лет, он все еще остается четырнадцатилетним мальчишкой, который обожает пускать пыль в глаза: он вечно сжимает в объятиях что-нибудь или кого-нибудь, если вокруг стоит толпа, которая глазееет на объятия и завидует обнимаемым. Взрослый человек подоил бы корову и отпустил ее, но этот мальчишка должен непременно убить ее и прослыть героем. В отчете говорится: "Медведь, застреленный президентом, был убит в четверг; свидетелями меткого выстрела были Алекс Эннолдс и один из Маккензи".



Эти имена навеки войдут в историю - вместе с деянием, которое отнимет немалую долю славы у двенадцати подвигов Геркулеса {396}. Показания свидетелей: "Они утверждают, что президент вел себя в высшей степени по-спортсменски".

Весьма возможно. Всякий знает, что значит держаться по-спортсменски, без эпитетов, употребляемых для усиления; но никому из нас не известно, что значит "в высшей степени по-спортсменски", потому что нам никогда еще не приходилось встречаться с такой преувеличенной формой спортсменского поведения. По всей вероятности, данное спортсменское поведение было не намного более спортсменским, чем поведение Геркулеса; вполне возможно, что этот эпитет чисто эмоциональный и объясняется надеждой на повышение жалованья. Погоня за испуганным существом продолжалась три часа, и описание ее читается как завлекательная глава из бульварного романа, но на сей раз это глава, содержащая описание на редкость жалких подвигов.

В итоге все заслуги на стороне коровы, и ни одной - на стороне президента. Когда несчастная загнанная тварь не могла двигаться дальше, она обернулась и, гордо бросив вызов своим врагам и своему убийце, доблестно встретилась с ними лицом к лицу. Находящийся на безопасном расстоянии Геркулес пустил ей пулю в самое сердце, но, даже умирая, она боролась, значит, там все-таки имел место геройский подвиг. Вторая пуля положила конец этой трагедии, и Геркулес был настолько охвачен восторгом перед самим собой, что сжимал в объятиях своих слуг и заплатил одному из них двадцать долларов за комплимент. Но мое резюме слишком бледно, пусть это событие войдет в историю, разукрашенное всеми цветами радуги:

"Медведь, застреленный президентом, был убит в четверг; свидетелями меткого выстрела были Алекс Эннолдс и один из Маккензи. Они утверждают, что президент вел себя в высшей степени по-спортсменски. Собаки гнались за медведем в течение трех часов, и все это время президент следовал за ними. Когда они наконец приблизились на расстояние голоса, президент спешил, сбросил куртку и ринулся в заросли камыша. Всего двадцать шагов отделяло его от зверя. Собаки, предводительствуемые Рауди, любимицей президента, быстро приближались.

Когда медведь остановился, чтобы оказать сопротивление гончим, президент выпустил из своего ружья роковую пулю прямо в жизненные центры зверя. Медведь, собрав последние силы, кинулся на собак. Тогда президент всадил между лопаток медведя еще одну пулю, которая перебила зверю хребет. Вскоре подоспели другие охотники, и президент так радовался своему успеху, что заключал в объятия каждого из своих спутников. Эннолдс сказал: "Мистер президент, вы не новичок".

В ответ мистер Рузвельт дал Эннолдсу двадцатидолларовую кредитку.

Вчера охота длилась недолго, ибо собаки наткнулись на стадо диких кабанов, еще более свирепых, чем медведи. Одна из лучших собак была убита диким вепрем.

Охотники, в том числе и президент, ежедневно плавали в озере.

"Вода была очень теплая, - сказал он, - и я не боялся аллигаторов, как некоторые другие".

Геркулесу кажется замечательным все, что он делает; когда другие проявляют небрежность и то там, то сям пропускают какую-нибудь достойную восторженного комментария деталь, он восполняет пробел самолично. Мистер Эннолдс упустил случай: если бы он внимательно следил за происходящим, он мог бы сам сказать комплимент насчет аллигатора и получил бы за него еще одну двадцатку.

1 ноября 1907 г.

[ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ]

Это очень странный кризис. Он не похож ни на какой другой кризис в истории нашей страны. Кризис, к которому мы привыкли, - это буря, ураган, циклон, сметающий на своем пути все ценности и разрушающий производство, подобно тому как циклон вырывает с корнем леса и оставляет от городов беспорядочные груды развалин. Но теперешний кризис - это нечто новое; это тихий, бесшумный, полузадушенный кризис; он не вызывает ни шума,

ни истерик, ни вспышек безумия; он не похож на бурю, это скорее мор или паралич, - как будто деловая жизнь нашего восьмидесятимиллионного народа внезапно остановилась и все в изумлении и страхе празднично опустили руки. Обстановка напоминает какую-то мощную машину, с которой соскочил приводной ремень, но под действием прежнего толчка, ныне ставшего губительным, она все еще продолжает работать вхолостую. В финансовом мире не произошло ни одного значительного банкротства. Не было ни взрывов, ни раскатов грома, ни землетрясений; нет ничего, кроме страшной гнетущей тишины и насыщенной мрачными предчувствиями атмосферы.

Слова "временное увольнение" стали настолько распространенными, что просто навязли в зубах. То один, то другой, то третий огромный концерн временно увольняет одну, две или три тысячи человек, и это дает нам возможность судить об условиях, создавшихся во множестве крупных предприятий страны; однако существует гораздо более распространенное и губительное временное увольнение, о котором не пишут в газетах. Это временное увольнение происходит под спудом во всех концах страны; это сокращение одного служащего из каждых троих, занятых в скромных мелких фабриках и мастерских по всей Америке; это временное увольнение исчисляется не тысячами, как на предприятиях-гигантах, а сотнями тысяч, которые в сумме дают миллионы; по сравнению с ним временное увольнение в крупных компаниях - просто жалкий пустяк и безделица. Семьи, нанимавшие четверых слуг, теперь обходятся тремя; семьи, нанимавшие двоих слуг, обходятся одним; а семьи, у которых была одна служанка, обходятся вообще без прислуги. Приходящая гувернантка, воспитывавшая шестерых детей, потеряла троих воспитанников, а гувернантка, воспитывавшая троих детей, потеряла всех своих воспитанников; конторских служащих - мужчин и женщин - увольняют пачками; в стране не осталось ни одной отрасли торговли или промышленности, которая не сократила бы свой объем и не поставила под угрозу хлеб насущный одного или целой тысячи семейств. Везде и всюду царит уныние, и виновником его является мистер Рузвельт.

На прошлой неделе нам грозил огромный всеобъемлющий крах. Не разразился он только лишь потому, что "разбойники-миллионеры", которых президент так любит поносить, чтобы снискать аплодисменты галерки, вмешались и остановили разорение. Мистер Рузвельт быстро приписал эту честь себе, и имеются все основания полагать, что наш одурманенный народ считает это действительно его заслугой. Крупные финансисты спасли все значительные банки и кредитные общества в Нью-Йорке, за исключением кредитного общества "Никербокер". Это общество не имело друзей и вынуждено было временно приостановить платежи, причем его обязательства - главным образом вклады составляют около сорока двух миллионов. Вследствие временной приостановки платежей никто ничего не потеряет, однако двадцать две тысячи вкладчиков будут в той или иной степени испытывать неудобства. В течение недели Совет Болтунов этого общества колебался, пытаясь придумать способ спасти своих акционеров от обложения. Разумеется, я непременно должен был оказаться вкладчиком единственного концерна, попавшего в беду, - такова уж моя судьба. У меня там вклад в пятьдесят одну тысячу долларов. Я оскорблен и искренне сочувствую тому молодому человеку, который...

Кажется, я уже говорил об этом Молодом Христианине много лет назад в одной из глав этой "Автобиографии", точно не помню. Дело было так. Однажды в воскресенье я должен был выступить на собрании нескольких Христианских Ассоциаций Молодых Людей {400} в театре Маджестик. Мы с моей секретаршей вошли в здание через служебный вход, уселись в ложе и с удивлением озирали расстилавшиеся перед нами бесконечные ряды пустых скамеек. Секретарша тотчас же направилась к главному входу узнать, в чем дело. Не успела она выйти из зала, как туда, словно волны прибоя, ворвались толпы Молодых Христиан. С трудом прокладывая себе путь сквозь этот поток, секретарша добралась до главного входа. К этому времени театр был уже полон, а конная и пешая полиция отражала атаки оставшихся на улице толп Молодых Христиан, которые стремились прорваться в помещение. Наконец полиции удалось закрыть двери. На улице остался один-единственный человек - так уж

непрерывно всегда бывает. Ему удалось было просунуться в закрывающуюся дверь, но рослый полицейский оттолкнул его назад. Молодой человек понял, что все пропало. Обуреваемый обидой и возмущением, он с минуту не находил слов, а потом сказал: "Я семь лет был примерным членом Христианской Ассоциации Молодых Людей и ни разу не получил за это никакой награды, и вот опять это проклятое невезение, черт бы его побрал!" Я хоть и не такой богохульник, но вполне понимаю этого молодого человека и глубоко ему сочувствую.

2 декабря 1907 г.

[ЭНДРЬЮ КАРНЕГИ{400}]

Вчера я получил письмо для Эндрю Карнеги, который как раз справляет свое семидесятилетие с помощью друзей, и я поехал в город передать ему это письмо, предварительно предупредив его по телефону, что приеду в середине дня. Я приехал в его дворец вскоре после трех и передал письмо; затем мы удалились в комнату, которую он называет своим "уютным уголком", чтобы поболтать, пока я буду ждать мистера Брайса, британского посланника, - он должен был с кем-то повидаться, но просил меня подождать, так как скоро вернется. Я охотно согласился, ибо много лет встречаюсь с мистером Брайсом, главным образом за его гостеприимным столом в Лондоне, и всегда не только уважал и почитал его, но также благоговел перед ним. Прождав час, я убедился, что дальше ждать бесполезно, но этот час не пропал даром, ибо Эндрю Карнеги за все то долгое время, что я его знаю, всегда представлял собой интересный объект для изучения, а вчера он, как всегда, был на высоте.

Если бы я хотел кратко охарактеризовать мистера Карнеги, я назвал бы его Человек Без Утайки. Он ничем не отличается от прочих представителей рода человеческого, с тою лишь разницей, что прочие представители пытаются утаить свою истинную сущность и им это удается, тогда как Эндрю пытается утаить свою сущность, но ему это не удается. Вчера он был в ударе и все время разоблачал себя, казалось, сам того не сознавая. Я не могу взять на себя смелость заявить, что он этого не признавал. "Казалось" - пожалуй, более подходящее выражение. Он всегда говорит только на одну-единственную тему - о самом себе. Не то чтобы он упражнялся в автобиографическом жанре; не то чтобы он рассказывал вам, как он - одинокий, бедный юноша мужественно боролся за существование в чужой стране; не то чтобы он рассказывал вам о настойчивости и упорстве, с какими он умножал свои богатства, преодолевая препятствия, которые наверняка сломили бы всякого другого человека, находящегося в подобном положении; не то чтобы он рассказывал вам, как он наконец достиг вершины своих честолюбивых стремлений и сделался повелителем двадцати двух тысяч человек и обладателем одного из трех самых гигантских состояний своего времени, - нет, что касается этих успехов, то вы едва ли найдете человека столь же скромного; он почти никогда даже мимоходом не упоминает о них; и тем не менее, как я уже сказал, его излюбленная тема, единственная тема, которой он страшно интересуется в данный момент, то есть в тот момент, когда он находится в обществе, - это он сам. Я уверен, что на эту тему он способен заговорить самого себя до смерти, если только вы будете сидеть и слушать.

Но каким образом он превращает самого себя в свою тему? Вот каким. Он бесконечно, непрерывно и неустанно говорит о тех знаках внимания, которые ему оказывают. Иногда это существенные знаки внимания, но чаще всего они весьма незначительны; но все равно - ни один знак внимания не остается незамеченным, и он любит упиваться ими. Его друзья с ужасом замечают, что, беспрестанно добавляя новые знаки внимания к своему списку, он никогда не вычеркивает из этого каталога ни одного старого, залежалого знака, чтобы освободить место для более свежих. Он выкладывает перед вами полный и подробный список, и вы должны принять его целиком, включая последние поступления, если на это хватит времени и если вы это переживете. Это самое тяжкое испытание из всех, какие я знаю. Он - новоявленный "старый моряк"{402}; совершенно невозможно отвлечь его от этого излюбленного предмета, - в изнеможении и отчаянии вы пытаетесь отвлечь его всякий раз, когда вам представляется возможность, но эти попытки никогда не удаются: он

использует ваше замечание как предлог для того, чтобы снова вернуться к своей теме.

Года два назад Гилдер (из "Сенчюри") и я приехали к мистеру Карнеги по одному делу, связанному с генералом Карлом Шурцем{402}, который в то время был тяжело болен. Мы условились посетить вместе с мистером Карнеги семью Шурца - он его ближайший сосед, - после чего наша миссия была окончена, и мы хотели удалиться. Но не тут-то было. В своем кабинете мистер Карнеги носился от фотографии к фотографии, от автографа к автографу, от одной книги с авторской надписью к другой, жужжа над ними, словно упоенная счастьем колибри, ибо каждый из этих предметов представлял собой комплимент мистеру Карнеги. Некоторые из этих комплиментов стоили того, чтобы их хранить и помнить, но некоторые совершенно того не стоили; некоторые были знаками искреннего восхищения человеком, который щедрой рукой раздавал миллионы долларов на "библиотеки Карнеги", тогда как другие были явными знаками почтения к его денежному мешку; но каждый из них был для него источником радости, и он, захлебываясь от восторга, говорил о них, расписывая их и распространялся о них.

Одним из этих сувениров было стихотворение, сочиненное рабочим из Шотландии. Это недурное литературное произведение весьма музыкально воспевало славные деяния Эндрю. Оно было написано на шотландском диалекте, и Эндрю прочитал его нам, и прочитал хорошо, - так хорошо, что ни один человек, родившийся за пределами Шотландии, ровно ничего не мог понять. Затем он рассказал нам о том, как король Эдуард{410} нанес ему визит в замке Скибо в Шотландии. Мы уже раньше слышали, как он читает это стихотворение и рассказывает о визите короля, но мы были обречены на то, чтобы и впоследствии еще много раз услышать, как он читает это стихотворение и рассказывает об этом визите. Когда сей предмет был явно исчерпан, мы надеялись ускользнуть, но этому не суждено было сбыться. Он водил нас из одной комнаты в другую, заставляя заходить в каждую под предлогом того, что там находится нечто достойное нашего внимания; однако там неизменно оказывалось все то же - либо золотая шкатулка, в которой хранилась Хартия вольностей города Лондона, Эдинбурга, Иерусалима или Иерихона; либо большая фотография, изображающая всех литейщиков, которых он вспоил, вскормил и сделал миллионерами (эту фотографию они ему преподнесли, заодно устроив в его честь банкет); либо это оказывались полки - мы вынуждены были их осмотреть, - набитые сверху донизу присланными со всех концов света заявлениями с просьбой учредить "библиотеку Карнеги"; либо это было то, се, пятое, десятое или черт знает что еще в форме какого-нибудь распроклятого знака внимания, который был когда-то ему оказан. Но самым раздражающим во всем этом было следующее: ему ни на секунду не приходило в голову, что все эти знаки внимания большей частью были данью его деньгам, а вовсе не ему самому.

Он купил себе славу и заплатил за нее наличными; он тщательно обдумал и подготовил эту славу; он устроил так, чтобы его славное имя не сходило с уст грядущих поколений. Он искусно, ловко и надежно обеспечил осуществление своих планов и добьется того, чего хотел. Каждый город, поселок или деревня на земном шаре может получить публичную библиотеку на следующих неизменных условиях: когда заявитель соберет половину необходимой суммы, Карнеги предоставит вторую половину, а на здании библиотеки должно быть на вечные времена начертано его имя.

В течение последних шести - восьми лет он ежегодно затрачивал на это дело шесть или семь миллионов долларов. Он продолжает это до сих пор; по планете уже разбросано множество "библиотек Карнеги", и он все время вносит добавления в их список. После его смерти наверняка окажется, что он отложил огромную сумму, годовые проценты с которой должны до окончания времен использоваться на учреждение "библиотек Карнеги". Я уверен, что через три или четыре столетия мировая сеть "библиотек Карнеги" будет значительно гуще, чем сеть церквей. Это весьма дальновидный план, и он внушит многим уверенность в том, что Карнеги - человек дальновидный во многих других, более важных вопросах. Я не сомневаюсь, что он обладает дальновидностью в великом множестве мелких вопросов, - такой дальновидностью обладают флюгеры или ловкие спекулянты, такая дальновидность

помогает человеку, правильно высчитав уровень воды, входить в гавань с приливом, выходить из нее с отливом, постоянно оставаясь на гребне волны, тогда как другие, не менее умные люди, которые, однако, привержены скорее принципам, нежели выгоде, непременно сядут на мель.

Весьма возможно, хотя и маловероятно, что Карнеги думает, будто публика считает его библиотечный план проявлением широкой и бескорыстной благотворительности, тогда как на самом деле публика ничего подобного не считает. Публика благодарна мистеру Карнеги за его библиотеки и рада видеть, что он тратит свои миллионы на такое полезное дело, но она не обманывается относительно его мотивов. Это происходит не потому, что публика умна, - ибо публика отнюдь не умна, - а лишь потому, что предубеждение публики против мистера Карнеги мешает ей обмануться в мотивах Карнеги. Публика обманулась в мотивах президента Рузвельта, когда он издал противозаконный приказ 78, но это произошло потому, что публика была охвачена восторгом перед нашим маленьким кумиром. Даже глупые люди, не входящие в святую республиканскую общину, знали, что приказ 78 - попросту налет мастеров по подкупу избирателей на государственное казначейство. Было бы несправедливо утверждать, будто мистер Карнеги жертвует деньги всего лишь с целью приобретения славы. Он не раздает сколько-нибудь крупные суммы, не имея в виду создать рекламу, - но можно привести примеры, когда требуемое признание преходяще и быстро предается забвению.

Однако вернемся ко вчерашнему посещению мистера Карнеги в его дворце. Одно из его первых замечаний было весьма характерно - характерно в следующем отношении: в нем упоминалось о новом знаке внимания, который он получил; характерно также и в следующем отношении: он без всяких церемоний притянул этот знак за уши, даже не утруждая себя поисками удобного предложения.

Он сказал: "Я был в Вашингтоне и виделся с президентом". Затем он добавил с тем заученным и испытанным небрежным видом, какой принимают люди, собираясь констатировать факт, которым они гордятся, но не желают этого показать: "Он просил меня приехать".

Я знал, что он это скажет. Если верить Карнеги, то он никогда не ищет общества великих мира сего, - великие мира сего всегда ищут его общества. Он рассказал мне об этой беседе. Президент просил у него совета по поводу существующего ныне в Америке бедственного положения в области коммерции, и мистер Карнеги дал ему этот совет. Весьма характерно для мистера Карнеги было то, что он не вдавался в подробности совета, который он дал, и не пытался восхвалять себя как советчика. Это любопытно. Он знал, и я знал - и он знал, что я знаю, - что он вполне может давать советы президенту и что данный им совет в высшей степени важен и ценен, - и все же он не стал тратить на него хвалебных слов; он никогда не хвастается своими подлинными успехами, своими великими успехами; они, по-видимому, ничуть его не интересуют; он интересуется - и весьма сильно - лишь лестью, которая потоками изливается на него под видом похвал, а также другими приятными мелочами, которые другие люди тоже ценят, предпочитая, однако, скрывать этот факт. Я должен повторить, что он внушает изумление своей истинной скромностью относительно совершенных им великих дел и своим детским восторгом перед пустяками, которые питают его тщеславие.

Мистер Карнеги знает самого себя не лучше, чем если бы он впервые познакомился с самим собой позавчера. Он считает себя резким, прямым и независимым человеком, который высказывает свое мнение в письменной и устной форме с какой-то сверхнезависимостью в духе Четвертого июля, тогда как на самом деле он, подобно всем прочим представителям рода человеческого, смело высказывает свои мысли лишь в том случае, когда это совершенно безопасно. Он думает, что презирает королей, императоров и герцогов, тогда как, подобно всем прочим представителям рода человеческого, способен целую неделю упиваться малейшим знаком внимания со стороны любого из них и семь лет подряд восторженно болтать на эту тему.

Я пробыл там около часа и уже собирался уходить, когда мистер Карнеги вдруг - по

всей видимости, совершенно случайно - вспомнил нечто, что выскочило у него из головы, - это нечто на самом деле крепко засело у него в голове и не выскакивало оттуда ни на одну секунду в течение всего часа, и об этом нечто он ужасно хотел мне рассказать.

Он вскочил и воскликнул: "Постойте минутку! Я помню, что хотел вам кое-что сообщить. Я хочу рассказать вам о моей встрече с императором".

Он имел в виду германского кайзера. Его слова тотчас вызвали перед моими глазами картину: Карнеги и кайзер - так сказать линейный корабль и бруклинский паром; солидный высокий мужчина и крохотная божья тварь булавка, которой жена Голиафа пришила бы к веревке свою кофту, вывешенную для просушки, - во всяком случае, могла бы пришить, если б захотела. Я представил себе смелое крупное лицо кайзера, независимое лицо, каким я его помню, и представил себе поднятое к нему другое лицо - хитрую лисью мордочку, обрамленную седыми бакенбардами, счастливую, восторженную, сияющую священным пламенем мордочку, и услышал нечленораздельный писк: "Неужто я в раю или это всего лишь только сон?"

Я должен немного остановиться на росте Карнеги - если можно назвать это столь громким именем - ради грядущих поколений. Грядущие поколения будут счастливы услышать об этой черте от очевидца, ибо вопрос о росте неизменно будет интересовать грядущие поколения, когда они станут читать о Цезаре, Александре, Наполеоне и Карнеги. По правде говоря, мистер Карнеги нисколько не ниже Наполеона, он нисколько не ниже многих других прославленных в истории мужей, но он почему-то выглядит ниже ростом, чем на самом деле. Он выглядит невероятно, неправдоподобно низеньким. Я не знаю, чем объясняется это явление, я не знаю его причины - и потому должен оставить его без объяснений. Но всякий раз, когда я вижу мистера Карнеги, я вспоминаю один случай, который произошел в уголовном суде Хартфорда лет за десять до того, как я в 1871 году поселился в этом городе. Там жил крохотный адвокатик по имени Кларк, который прославился двумя вещами: своей миниатюрностью и своей необыкновенной дотошностью при перекрестном допросе свидетелей. Рассказывали, что когда он кончал допрос свидетеля, последний превращался в выжатый лимон. За одним исключением. Это был единственный случай, когда свидетель не превратился в выжатый лимон. Свидетельницей была ирландка огромного роста, которая давала показания по своему собственному делу - по делу об изнасиловании. Согласно ее показаниям, она, проснувшись поутру, увидела лежавшего рядом с нею обвиняемого и обнаружила, что ее изнасиловали. Многозначительно смерив глазами ее величественную фигуру, адвокат сказал:

- Сударыня, неужели вы надеетесь заставить присяжных поверить в столь небывалое чудо? Если кто-нибудь способен принять всерьез такую несообразность, вы могли бы с таким же успехом обвинить в этом деле меня. Представьте себе, что вы проснулись и увидели, что рядом с вами лежу я. Что бы вы подумали?

Ирландка критически смерила его неторопливым пронизательным взором и промолвила:

- Я бы подумала, что у меня был выкидыш!

Итак, Карнеги вскочил и заявил, что хочет рассказать мне о своей встрече с императором, а затем поведал мне нижеследующее:

- Мы с Тауэром поднялись на борт "Гогенцоллерна" совершенно неофициально - во всяком случае, поскольку речь идет обо мне, ибо для меня императоры и простые смертные совершенно равны, и поэтому я не заботился о том, чтобы о моем прибытии каким-либо образом возвещали. На палубе стоял император; он говорил, а собравшаяся в некотором отдалении обычная пышная толпа позолоченных и блистательных военно-морских и гражданских чинов почтительно слушала его речь. Я остановился в стороне, спокойно наблюдая, и погрузился в свои мысли. Император не знал, что я прибыл. Вскоре посол сказал:

- Ваше величество, здесь присутствует американец, которого вы неоднократно желали видеть.

- Кто это, ваше превосходительство?

- Эндрию Карнеги.

Император вздрогнул (это движение можно было бы выразить словами: "О боже!") и проговорил:

- Ага! Человек, которого я хотел видеть. Приведите его ко мне. Приведите его ко мне.

Он сам пошел мне навстречу, сердечно пожал мне руку и, смеясь, сказал:

- Мистер Карнеги, я знаю, что вы убежденный и неисправимый Независимый, что вы уважаете королей и императоров не больше, чем всех прочих людей, но мне это нравится; мне нравится человек, который имеет свое мнение и говорит то, что думает, не заботясь об одобрении высшего общества. Это правильный дух, это смелый дух, и на нашей планете его слишком мало.

Я сказал:

- Я рад, что вы, ваше величество, готовы принять меня таким, какой я есть. Мне не пристало отрицать, опровергать или даже смягчать то, что ваше величество сказали обо мне, ибо это чистая правда. Я при всем желании не мог бы не быть независимым, ибо дух независимости - свойство моей природы, а натура человека - нечто прирожденное, а не благоприобретенное. Но тем не менее, ваше величество, есть вещи, перед которыми я благоговею. Что я уважаю, почитаю, перед чем благоговею и чему поклоняюсь - это Человек! Человек, цельный человек, бесстрашный человек, мужественный, разумный и справедливый человек; мне безразлично - родился ли он в канаве или во дворце, - если он человек, я перед ним преклоняюсь. Ваше величество человек, цельный человек, мужественный человек, и я уважаю вас именно за это, а не за ваше высокое положение в мире.

И так далее и тому подобное. Это была битва комплиментов, славословия и до неприличия безмерных восторгов с обеих сторон. Некоторые речи, адресованные мистером Карнеги императору, представляли собой возвышенные, напыщенные, витиеватые, оглушительные образцы ораторского искусства, и теперь, произнося их снова, он воспроизводил их энергично, темпераментно, яростно жестикулируя. Это было прекрасное и волнующее зрелище.

Мы все похожи друг на друга - внутренне. Мы похожи друг на друга также и внешне - все, за исключением Карнеги. Хотя мы скептически настроенные демократы, мы захлебываемся от счастья, когда нас замечает герцог; а когда нас замечает монарх, то мы до конца дней своих страдаем размягчением мозга. Мы изо всех сил стараемся умолчать об этих бесценных встречах, и порою некоторые из нас ухитряются держать своих герцогов и монархов про себя; это стоит нам немалых трудов, но порою нам это удается. Что касается меня, то я так старательно и настойчиво тренировался в этом виде самоотречения, что ныне могу спокойно и безучастно наблюдать, как возвратившийся из Европы американец небрежно и с благодарностью подражает графам, с которыми встречался; я могу наблюдать молча и безмятежно, не пытаясь вывести его на чистую воду и заставить его раскрыть свои карты, хотя у меня у самого припрятаны на всякий случай три короля и парочка Императоров.

Для того чтобы достигнуть таких высот самопожертвования, требуется очень много времени, и Карнеги их не достиг - и никогда не достигнет. Он любит говорить о своих встречах с монархами и аристократами; любит говорить об этих великолепных, искусственно созданных кумирах слегка презрительным и сочувственным тоном, пытаясь показать, будто эти встречи вовсе не самые драгоценные безделушки в сокровищнице его памяти; но он - всего лишь человек и поэтому не может окончательно обмануть даже самого себя, не говоря уже о своей кошке. При всем его снисходительном презрении восторг Карнеги по поводу его связей с великими мира сего доходит до мании. Прошло уже, наверное, не меньше четырех лет с тех пор, как король Эдуард посетил его в замке Скибо, и все же я готов биться об заклад, что с той поры не было дня, когда бы он не рассказывал об этом кому-нибудь и не распространялся о том, будто он придавал так мало значения визиту, что даже забыл о нем,

вследствие чего королю пришлось ждать, пока мистера Карнеги известят о его приезде.

Мистер Карнеги никак не может оставить в покое визит короля, он во всех подробностях рассказывал мне о нем не меньше четырех раз. Когда он прибег к этой попытке во второй, в третий и в четвертый раз, он, разумеется, знал, что это второй, третий и четвертый раз, ибо у него превосходная память. Я уверен, что он не пропустит ни одного случая рассказать о визите короля, без того чтобы не выжать из этого случая все возможное. У него есть привлекательные качества, и он мне нравится, но вряд ли я смогу еще раз выдержать визит короля Эдуарда.

В разговоре о своем недавнем посещении президента - по его вызову мистер Карнеги необыкновенно деликатно критиковал некоторые последние безумства мистера Рузвельта; одно из них - это отказ президента от своего прошлогоднего требования: строить по одному линейному кораблю в год, и замена этого требования политикой, которой он придерживается с прошлой недели: он требует немедленно построить четыре линкора стоимостью в шестьдесят девять миллионов долларов. Карнеги намекнул ему, весьма сдержанно и дипломатично, что этот внезапный приступ воинственности не совсем гармонирует с тем положением в мире, коего мистер Рузвельт так старательно добивался, - с положением голубя мира, который получил Нобелевскую премию {410} размером в сорок тысяч долларов за то, что он самый главный голубь мира на земном шаре. Мистер Карнеги, кроме того, посоветовал - в осторожных дипломатических выражениях - отложить строительство кораблей и использовать эти шестьдесят девять миллионов на улучшение водных путей страны.

Я сказал, что предложение отказаться от линкоров - добрый совет, но что президент ему не последует, ибо такой отказ будет противоречить его политической программе, которая состоит в том, чтобы совершать необычайно эффектные деяния и заставлять всех говорить о себе.

Мистер Карнеги осторожно играл этим намеком на безумие, он ничем себя не выдал, но я этого от него и не ожидал. Он не имел оснований посвящать меня в опасные политические тайны; да ему и незачем было говорить мне то, что я уже знал, а именно: в Америке нет ни одного разумного человека, который втайне не был бы уверен, что президент основательно и по всем признакам безумен и что его следовало бы посадить в сумасшедший дом.

Я сказал, не требуя ответа и не ожидая его: "Мистер Рузвельт - это Том Сойер политического мира двадцатого века; он всегда пускает пыль в глаза; всегда ищет возможности пустить пыль в глаза; в его воспаленном воображении Великая республика - это цирк Барнума {411}, сам он - клоун, а весь мир зрители; если б он хоть наполовину был уверен, что ему удастся пустить пыль в глаза, он готов был бы отправиться в Галифакс, а если бы окончательно уверился в этом, то отправился бы прямо в преисподнюю.

Мистер Карнеги одобрительно хмыкнул, но ничего не ответил; впрочем, я и не ожидал, что он что-нибудь скажет.

Как я уже говорил, мистер Карнеги коснулся двух вопросов, которые возникли во время его визита в Вашингтон; об одном из них я уже упоминал, это - четыре корабля, а второй - "В господу веруем". В далекие времена Гражданской войны была предпринята попытка вставить имя божие в конституцию; эта попытка провалилась, однако удалось прийти к компромиссу, который частично удовлетворил почитателей божества: бога не ввели в конституцию, но зато предоставили ему почетное место на монетах страны. С тех пор на одной стороне монеты у нас красовался индеец, или богиня свободы, или что-то в этом роде, а на другой стороне мы выгравировали надпись: "В господу веруем". Ну вот, после того как эта надпись, никому не причиняя вреда, беспрепятственно оставалась там лет сорок, на днях президенту, как выражаются в народе, вдруг ни с того ни с сего что-то "ударил в голову", и он приказал удалить эти слова из нашей монетной системы.

Мистер Карнеги признал, что это несущественно, что монета без надписи имеет точно такую же стоимость, как и с надписью, и сказал, что осудил не действия президента, а лишь



его доводы. Президент приказал изъять этот девиз потому, что монета вводит имя божие в неподобающие места и что это профанация святого имени божия. Карнеги возразил, что имя божие и так всегда попадает в неподобающие места и что, по его мнению, аргументация президента весьма слаба и неубедительна.

Я согласился с его мнением и сказал:

- Но ведь это так характерно для президента. Вы, наверное, заметили, что он всегда имеет обыкновение весьма неубедительным образом объяснять свои действия, и хотя у него под самым носом торчат превосходные доводы, он их не замечает. Для удаления этого девиза имелась отличная причина, причина действительно безупречная, ибо этот девиз был лживым. Если наш народ когда-либо и верил в бога, это время давно прошло; уже почти столетия он верит только в республиканскую партию и в доллар - преимущественно в доллар. Я признаю, что делаю утверждение, не приводя никаких доказательств, - я очень сожалею, но такова моя привычка; я также сожалею, что в этом я не одинок, ибо, по-видимому, этой болезни подвержены все.

Приведу пример: удаление девиза вызвало шумные протесты духовенства; по всей стране собирались маленькие группы и небольшие общества священнослужителей, и одна из этих маленьких групп, состоящая из двадцати двух священников, выдвинула весьма удивительное заявление, которое не было подкреплено никакими опубликованными статистическими данными, и единогласно приняла его в форме резолюции. Это утверждение гласит, что Америка христианская страна. Ну и что ж, Карнеги, ад ведь тоже христианская страна. Эти священники знают, что, поскольку то обстоятельство, что "Пряма дорога в тесны врата, и лишь немногие - немногие - войдут туда", имело своим естественным следствием превращение ада в единственную действительно значительную христианскую общину во вселенной; мы этим не хвастаем, а значит, не пристало нам хвастать и гордиться и тем, что Америка - страна христианская, когда всем нам известно, что пять шестых ее населения никоим образом не смогли бы пройти в тесные врата.

3 июля 1908 г.

[ПОМИНКИ ПО ОЛДРИЧУ]

В понедельник на прошлой неделе Альберт Бигло Пейн самолично отвез меня в Бостон, а оттуда, во вторник, в Портсмут, Нью-Хемпшир, чтобы я мог присутствовать на торжественном открытии мемориального музея Томаса Бейли Олдрича.

Чтобы мне было с чего начать свои рассуждения, приведу главнейшие факты. Покойный Олдрич родился в доме своего деда, в крошечном городке Портсмуте, штат Нью-Хемпшир, семьдесят два или семьдесят три года тому назад. Его вдова недавно приобрела этот дом и набила его всякой всячиной, принадлежавшей когда-то младенцу Томасу Олдричу, затем школьнику Томасу Олдричу, наконец, престарелому поэту Томасу Олдричу, и превратила купленный дом в мемориальный музей в честь Томаса Олдрича и для увековечения его славы. Она учредила корпорацию мемориального олдричевского музея, охраняемую законами штата Нью-Хемпшир, передала свой музей в ведение корпорации, представляющей город Портсмут, - ибо он будет в дальнейшем его владельцем, - и загнала мэра Портсмута и других влиятельных лиц в правление музея в качестве директоров, а также живой рекламы. Непостижимая, пожираемая тщеславием гнусная баба! Не думаю, чтобы она могла мне понравиться при каких бы то ни было обстоятельствах, разве что на плоту после кораблекрушения, да и то если будет абсолютно нечего есть.

Имеется ли резон для создания музея Олдрича, который поклонники его таланта могли бы благоговейно посещать и осматривать? Если имеется, то небольшой. Олдрич никогда не пользовался громкой известностью, его книги никогда широко не читались. В прозе Олдрич пространен и неуклюж, не может считаться стилистом; как прозаик он мало известен. Слава его, как поэта, тоже не столь велика, но это настоящая слава, которой можно гордиться. Обязан он ею не своей поэзии в целом, но пяти-шести отдельным стихотворениям, которые по изяществу, прелести, совершенству не имеют равных себе в нашей литературе. Ценить по достоинству эти шедевры, восторгаться, любить их может, я думаю, один человек из десяти

тысяч.

Будь музей расположен в мало-мальски доступном месте, горстка истинных знатоков стала бы его посещать. Если бы, скажем, музей находился в Бостоне или в Нью-Йорке, то примерно один человек в месяц туда непременно зашел бы. Но музей находится в Портсмуте, в штате Нью-Хемпшир, час три четверти езды из Бостона по Бостонско-Мэйнской железной дороге, которая возит своих пассажиров в вагонах, вышедших на линию при ее основании, пятьдесят лет назад; все еще поит водой из чайника и жестяной кружки, передаваемых из рук в руки; топит паровоз мягким углем, а потом изрыгает золу и шлак в окошки, пазы и трещины своих достопочтенных вагонов. Думаю, даже мемориальный музей Вашингтона не мог бы рассчитывать на стойкую популярность, если бы его поместили в этом захудалом маленьком городке, а паломникам предложили бы пользоваться услугами Бостонско-Мэйнской железной дороги.

Когда требовалось высмеять какую-нибудь вздорную прихоть, нелепость, каприз, - блистательный Олдрич, безжалостный Олдрич, саркастический Олдрич, иронический Олдрич был на коне. Надо считать величайшей потерей, что он не смог посетить мемориальную церемонию в здании Портсмутской оперы, чтобы ее осмеять. Никто не сумел бы проделать это с такой бичующей силой, как он, загубить ее своим ядом. Впрочем, я упускаю одну деталь: он сделал бы это, и с величайшей охотой, если бы дурацкая мемориальная церемония касалась другого лица, не его, но ему не пришло бы в голову осмеять церемонию в честь Томаса Олдрича, потому что он ценил себя и свои таланты почти как покойный Стедмен; а тот был уверен, что солнце встает по утрам с единственной целью насладиться его стихами, садится так медленно, потому что не может расстаться с его стихами, медлит, теряет драгоценное время и не в силах соблюдать положенный график, пока Стедмен живет на земле. Стедмен был прекрасный человек. Олдрич был прекрасный человек. В чем же дело? Они были тщеславны. Если сложить тщеславие того и другого, в сумме будет мое тщеславие, а дальше идти уже некуда, если оставаться в пределах реальности.

В интересах читателя я должен признать, что не полностью уверен в своем беспристрастии. Не представляю, чтобы какие-нибудь действия миссис Олдрич могли снискать у меня хотя бы малейшее одобрение. Я почувствовал антипатию к ней, как только ее увидел, - тому тридцать девять лет, - и сохранил свои чувства полностью. Она из тех, кто расточает вам комплименты, но от ее комплиментов тошнит. Вы не верите ей, ни одному ее слову; за каждым словом вы чувствуете ложь, притворство, своекорыстный расчет. Мы очень любили Олдрича, но редко встречались, потому что, общаясь с ним, нужно было общаться и с ней.

Если мне когда-либо что-либо требовалось, чтобы усугубить, петрифицировать, кристаллизовать или еще каким-либо способом увековечить мое отвращение к ней, то должен сказать, что нехватка была пополнена три года тому назад, когда я провел шесть дней в Бостоне и не сумел отвертеться от визита к Олдричам в их "Понкапог" - дом с усадьбой в нескольких милях от Бостона, выклянченный у несчастного старика Пирса накануне его кончины. К тому времени, как он собрался умирать, одиннадцать лет назад, мадам свила недурное олдричевское гнездышко в его завещании. Он отдал им роскошный особняк на Маунт-Вернон стрит № 59 в Бостоне и построил им уютную виллу на взморье; пристрастие миссис Олдрич к безделушкам и прочему хламу наносило постоянный урон его кошельку; он давно уже не удивлялся, когда, купив всего, что ей вздумается, она направляла счета по его адресу; смирился он и со страстью Олдричей к путешествиям и возил их на собственный счет по всему белу свету самым роскошным и дорогостоящим образом. Однажды, в Европе, когда я был несостоятельным должником и с трудом управлялся с расходами, миссис Олдрич развлекала нас с миссис Клеменс, демонстрируя свои необъятные светские аппетиты; Олдрич и несчастный старик Пирс были оба при том и, как видно, ее одобряли. Она собралась совершить путешествие по Японии в обществе мистера Олдрича и мистера Пирса, и вот ей пришлось отсрочить эту поездку, потому что у

пароходной компании не нашлось ничего лучшего, нежели обычные каюты первого класса. Она не находила слов, чтобы выразить свое презрение к каютам первого класса, и рассказала, как она дала понять этим людям из пароходной компании, что, если они не проявят должных стараний, пусть пеняют тогда на себя. Сейчас она ждет, что они предоставят ей апартаменты за семьсот пятьдесят долларов с выходом на верхнюю палубу. Спальня в этих апартаментах рассчитана на двоих, и она не сказала нам, что она думает делать с мистером Пирсом, - быть может, решила возить его третьим классом! Вслед за тем она вытащила с десятков роскошных платьев, каждое стоило, наверное, несколько сот долларов, и поведала нам, как она задала жару Вурту, знаменитому парижскому модному кутюрье. Она сказала ему, что он со своей возней и примерками отнимает у нее драгоценное время, и дело тут не в цене - ей безразлична цена, - но она не потерпит, чтобы время у нее уходило зря на примерки; напрямик сказала ему, что терпение ее лопнуло, и пусть он не рассчитывает, что она еще раз к нему обратится.

Огни преисподней! Она - попрошайка всю жизнь - распускала перед нами этот павлиний хвост.

Умер Джоэл Чандлер Гаррис. Смолк голос дядюшки Римуса, любимца детей и взрослых. Какая потеря!..

Сейчас я попытаюсь вернуться назад, к инциденту, который помог мне дополнить, округлить, привести, так сказать, к совершенству отвлечение, которое я питал к миссис Олдрич. Это был незначительный случай, три года тому назад в "Понкапоге", - я начал о нем говорить. Я прибыл в Бостон, чтобы погостить неделю у одного из друзей. Мне ничуть не хотелось ехать с визитом к Олдричам; но, чтобы отказаться, требовался предлог, истинный или вымышленный; у меня его не было, и я поехал. Я заранее знал, что меня ждет беседа о "высшем обществе" или, точнее, об обществе богатых людей (то же и в Англии: если вы приглашены к титулованному лицу, беседа будет касаться почти исключительно других титулованных лиц и того, что они делали, когда ваш собеседник слышал о них или виделся с ними последний раз). Знал я и то, что будут выставлены напоказ различные светские козыри, перепавшие им от благодетелей мистера Пирса; и то, что нечаянно я уловлю несколько счастливых мгновений, когда Томас Олдрич будет самим собой, как в старые дни, милым и обаятельным; и то, что мадам будет всегда, неизменно, как в старые дни и как всю свою жизнь, самонадеянной, самодовольной, своекорыстной и льстивой, занимательной и возмутительной подделкой под себя самое.

Как я ожидал, так все, разумеется, и получилось. У них был автомобиль - в ту пору новинка; заводили автомобиль только те, кто мог себе это позволить, или же те, кто никак не мог себе это позволить. Автомобиль был дешевый, но эффектный и ярко покрашенный. У них была также моторная яхта, которую они не могли в тот момент показать, - впрочем, это неважно, так как они уже показали ее мне летом в Бар-Харборе; маленькая дешевая яхта, рассчитанная на трех пассажиров, однако весьма претенциозная и кричавшая о своих притязаниях, как если бы она обладала человеческим голосом; они, понятное дело, не могли обойтись без яхты, - яхта служила свидетельством финансового благополучия. Сын Олдричей играл в поло, играл не блестяще, но меня повели посмотреть, как он с полдюжиной других молодцов играет в эту аристократическую игру; обитатели "Понкапога" должны играть в поло, это символ, еще одна мерка финансового могущества. На игроках были спортивные костюмы самого новейшего образца, но, поскольку каждая из сторон имела всего двух лошадок, таймы были короткими, а игра примитивной и до смешного любительской - любительской и опасной для самих игроков; в безопасности был только мяч, так как никому не удавалось задеть его клюшкой. Бедный Олдрич без устали снабжал меня малоубедительными комментариями, чтобы сгладить ничтожное впечатление от этой игры.

Я все еще не добрался до происшествия, о котором столько времени хочу рассказать, но теперь цель близка. Меня долго водили по дому, и я исправно платил за любезность бесстыдно-фальшивыми похвалами каждый раз, как их ожидали. В двух случаях, впрочем, мои похвалы были искренними, и я высказал бы их и без принуждения. Сперва я похвалил

гостиную Олдричей, уютную, привлекательную и убранную со вкусом, - во всех отношениях отличную и удобную комнату; второй - была комната для гостей, уединенная, рассчитанная на одного человека, просторная, разумно обставленная, с превосходной широкой кроватью. Эту комнату предоставили мне, я был благодарен, и так и сказал хозяевам. Но под вечер неожиданно приехала двадцатилетняя девушка, меня тотчас же выселили и комнату предоставили ей. Меня же перевели в другую, отдаленную комнату, которая была узка, коротка и соответственно так тесна, что в ней нельзя было повернуться. Меблировка ее состояла из стула, стола, керосиновой лампочки, умывального таза с кувшином и круглой железной печки. Больше ничего не было. На что уж я тюремная птица, но и мне не приходилось сидеть в более тесной и жалкой камере-одиночке. На дворе был октябрь, ночи стояли холодные; печурка топилась сосновыми щепками и вмещала их с пригоршню; щепки прогорали с отчаянным ревом, - за эти мгновения печка раскалялась до самой верхушки - но через десять минут она была пуста, холодна и требовала новой подкормки. В течение трехминутного приступа ярости она нагревала камеру так, что нечем было дышать, а через полчаса снова трещал мороз. Керосиновая лампа светила неровно, скупо и чадила щедро, обильно - как только ее гасили.

Скоро выяснилось, почему меня перевели в этот гнусный зловонный чулан. Молодой Олдрич, которому стукнуло тридцать семь лет, был еще холост. Молодая девушка была дочерью бывшего губернатора штата и, значит, принадлежала к "высшему обществу". Мадам, желавшая заполучить ее для сынка, жала на все рычаги, с помощью которых привыкла осуществлять свои планы, интриги и происки. Она даже не думала скрывать своих замыслов и была глубоко уверена, что в них преуспеет. Не вышло. Девушка ускользнула.

Наконец-то я развязался с этой мерзкой историей, которая засела во мне как заноза. Я бешусь каждый раз, как вспоминаю ее. Только подумать, что эта женщина незвано-непрощено бросилась мне на шею, когда я приехал, расцеловала в обе щеки, а потом столкнула меня, семидесятилетнего старика, в этот погреб, чтобы освободить подходящую комнату для какой-то губернаторской дочки. Такого бесстыдства не видывал свет!

8 июля 1908 г.

Вернемся, однако, к мемориальному торжеству.

Я не спросил, сколько времени отнимет у нас поездка. По-видимому, нам грозило целое путешествие; нужно было доехать сперва до Нью-Йорка, а там сделать пересадку на Бостон, - невеселая перспектива при стоявшей тогда жаре. Целый день, длинный-длинный день, двенадцать часов, если считать с момента, когда я встану с постели, и до той желанной минуты, когда откроется дверь гостиницы в Бостоне. По счастливой случайности нам удалось узнать, что можно выгадать четыре часа, сделав пересадку в Саут-Норуоке, и в два часа дня, после довольно трудного переезда, запыленные, злые, мы прибыли в Бостон. В Портсмут мы ехали завтра - 30 июня. Все приглашенные получили по почте отпечатанные типографским способом карточки с подробным изложением маршрута. Из сказанного там следовало, что для приглашенных гостей резервировано несколько вагонов в девятичасовом экспрессе на Портсмут.

Каждый нормальный человек, каждый непредубежденный человек на моем месте, воспринял бы это сообщение, сообщение о том, что богатая семья Олдричей резервировала вагоны для прибывших по их приглашению гостей, как само собой разумеющееся, приличествующее случаю, - любезность настолько естественную и даже необходимую, что здесь, собственно, нечего обсуждать. Подобное сообщение просто принимают к сведению, и делу конец!

Но если в вас поселилась предвзятость, она мощно воздействует на ваши мысли и чувства и ваши конечные выводы. Во мне поселилась предвзятость, и, узнав об экстренном поезде, я был озадачен. Здесь что-то не то, сказал я себе. Любезно заказывать поезда и платить за свою любезность - это может годиться для простых, рядовых людей, но это совсем не годится для миссис Олдрич. Ей совсем не пристало швырять попусту деньги на любезности для гостей, каково бы там ни было доставшееся ей из подачек богатство.

Я чувствовал, что без крайней досады, обиды, протеста не смогу освоиться с мыслью, что миссис Олдрич ради семейного торжества сумела воспарить над своими страстями. Слепленный досадой, я искал объяснения ее поступку, который ее опорочил бы, - и вот я решил, что эта великая рекламистка, эта беззастенчивая, цепкая, неутомимая рекламистка вышла на авансцену со своей пышной затеей, чтобы о ней прокричали во всех газетах и вернули бы ей в форме рекламы все, что она потратила. Подобное объяснение более или менее устраивало меня, но предвзятость моя была столь велика, что я не затих и на этом. Мне тяжело было признать, что она отступила все же от своих исконных традиций, оказала кому-то гостеприимство за собственный счет. Факты были против меня, я терпел поражение. Но в злобе своей я решил, что за подачку в два доллара сорок центов я не стану споспешествовать ее прославлению, и велел Пейну пойти и купить нам билеты в Портсмут, туда и обратно. Сделав это, я немного утешился: известно, что если вам очень хочется поступить дурно, то вы извлечете из своего дурного поступка больше истинной радости, чем из тридцати добродетельных.

Все же мы с Пейном зашли в один из резервированных вагонов поболтать с пассажирами. Там сидели литераторы, мужчины и дамы; всех их я знал, а с некоторыми был даже в дружеских отношениях. Это была счастливая мысль зайти в их вагон, результаты были отличные. Не успел я усестыся, заняв такую позицию, чтобы мой приветственный вопль достиг всех, кто находился в вагоне, как вдруг заявился кондуктор со строгим надменным видом, характерным для млекопитающих его категории, и стал проверять билеты. Я увидел, - на этот раз без всякого удовольствия, - как несколько человек, оказавшихся рядом со мной, - я знал, что они небогаты, - поперхнулись от удивления и уставились на кондуктора с беспокойством и страхом. Они извлекли из своих карманов и ридикюлей изящно гравированные пригласительные билеты, а с ними и карточки, где говорилось об экстренном поезде, и вручили эти верительные грамоты малосимпатичному кондуктору, поясняя, что они приглашены на поминальные торжества, и, следовательно, едут бесплатно. Дьявольский кондуктор, сохраняя суровость, положенную кондуктору Бостонско-Мэйнской железной дороги, гулко и бессердечно пролаял, что не имеет указаний взять кого-либо без билетов и просит всех оплатить свой проезд.

Это происшествие помогло мне вновь обрести миссис Олдрич, какой я всю жизнь ее знал, без каких-либо озонирующих устройств со всеми характерными запахами. Вот она, эта богачка, пожинает славу от своей импозантной затеи, извлекает выгоду из рекламного шума, поднятого вокруг заказного поезда, а потом ретируется, прячется за кулисы, предоставив шестидесяти истомленным труженикам платить по ее счетам. Я понял, что снова владею утраченным было сокровищем, что подлинная миссис Олдрич снова со мной - "вся тут", как выразились бы любители модных словечек.

Была еще в этом происшествии одна небольшая подробность, которую нельзя было наблюдать без огорчения. Пассажиры, не путешествующие в роскошных пульмановских вагонах, а привыкшие к более простым переездам, обычно засовывают билеты за обивку на спинке впереди стоящего кресла, где они виднее всего для проходящего по вагону кондуктора. В Новой Англии кондуктор обходит вагоны каждые десять минут, проверяет билеты на спинках кресел и пробивает в них дырочку-две компостером; так это дело идет, пока билет перестает быть билетом и превращается просто в собрание пробитых дырочек; а владелец билета почиет тем временем в мире, ему не нужно лазить в жилетный карман каждые десять минут.

Так вот эти пассажиры резервированных вагонов, резонно решив, что их гравированные пригласительные билеты должны служить им и проездным документом, засунули их в спинки кресел перед собой, чтобы кондуктор, проходя по вагону, пробивал их, как это положено, не досаждая владельцам билетов. Теперь же, когда они так уверенно, подчас с нетерпением указывали ему пальцем на эти билеты, а он отвечал им непочтительной, глумливой grimасой, эти люди были так унижены, так озадачены, что даже сама миссис Олдрич, я думаю, почувствовала бы к ним чуть-чуть сожаления. Я оказался

достаточно благородным и был так огорчен, что даже подумал, что лучше бы мне этого вовсе не видеть. Гостей было шестьдесят человек, десяток полтора из Нью-Йорка, остальные из Бостона и прилежащих к Бостону мест; весь их переезд должен был бы ей стоить полторы сотни, это - самое большее; но скаредная богачка беспощадно заставила этих скромных писателей вдобавок ко всем жертвам, которые они принесли, еще уплатить за проезд из собственного кармана. А ведь мне приходилось видеть, как она, повиснув на несчастном старике Пирсе, гладила его и голубила, целовала в обе щеки и звала его "душечкой"... Лучше не вспоминать. Я подвержен приступам морской болезни на суше, и иной раз даже пустяк может вызвать у меня тошноту.

По дороге в наш поезд сел массачусетский губернатор с сопровождавшими его лицами, одетыми в мундиры, но скромно - не считая двоих; эти двое могли соперничать по блеску с райскими птицами. Один был молодой Олдрич, единственный сын и наследник. Он симпатичный и скромный молодой человек, но что толку от его скромности? Он собственность миссис Олдрич, как ранее его отец, а потому должен разыгрывать какого-то офицера или другую нарядную куклу, как ей приглянется, - лишь бы это было подходящей рекламой.

Время от времени кто-нибудь из обреченных на заклятие агнцев вопрошал соседнего агнца, кто же, в конце концов, ведает экстренным поездом, в котором они едут; по-видимому, экстренным поездом не ведал никто. На бостонском вокзале не было никого, кто растолковал бы гостям, куда им идти, где стоят резервированные для них вагоны; когда поезд тронулся, не было никого, кто в этот ужасающе жаркий томительный день позаботился бы прислать им железный чайник с водой. В Портсмуте не было никого, кто встречал бы гостей, - встречали лишь губернатора и еще двух-трех человек. Роскошный автомобиль, принадлежавший мадам, повез губернатора - я слышал, бесплатно.

В Опере три четверти прибывших гостей были тотчас же загнаны в зрительный зал, а губернатора со свитой и нескольких более или менее знаменитых писателей препроводили в зеленую гостиную, чтобы они подождали там, пока театр наполнится и все будет подготовлено для торжества. Там был и мэр Портсмута - крупное, мускулистое, добродушного вида животное, идеальный мэр города в наше убогое время. Вскоре мы промаршировали на сцену, сопровождаемые аплодисментами. Гоуэлс и я шли за мэром и губернатором с сопровождавшей их свитой; за нами тянулась прочая литературная братия. Мы уселись в ряд вдоль всей сцены. Гоуэлс устроился возле меня, в центре, на маленьком плетеном диванчике.

Он оглядел сидящих и пробормотал:

- Как все это напоминает милые старые времена. Если бы почернить всем нам лица и нарядить нас в высокие крахмальные воротнички, выпирающие вверх и наискось, вплоть до самых бровей, как шлагбаум на железной дороге, иллюзия была бы полнейшей; а если бы с нами был Олдрич, он, наверно, открыл бы наш вечер своей старой, доброй памяти присказкой: "Как вы себя чувствуете сегодня, братец Флейта? И вы, братец Тамбурин? Как ваше уважаемое здоровье?"

Чуть погодя мэр вышел к рампе и громко, уверенно произнес энергичную речь, в которой сказал об Олдриче много верного и хорошего. Он описал захолустный и сонный Портсмут, каким он был шестьдесят лет назад, в детские годы Олдрича, и сравнил его с сегодняшним Портсмутом, шумным и процветающим. Эти последние слова, правда, не были сказаны, он был достаточно осторожен и только имел их в виду. Потому что в сегодняшнем Портсмуте не заметно ни процветания, ни шума - это тихий-претихий город, погруженный в дремоту. Он рассказал и о том, как были собраны олдричские реликвии, как их разместили в доме, где Олдрич провел свое детство, как остаток их спрятали в огнеупорное здание во дворе дома. И как все это имущество было великодушно пожертвовано городу (вместе с правом хранить его для потомства за счет городского бюджета).

9 июля 1908 г.

Губернатор Гилд, не торопясь, произнес живую и приятную речь, вполне отвечающую

случаю и безукоризненно затверженную. Он не сказал ни единого лишнего слова, ни разу не запнулся, не сбился. Человек, которому предстоит сказать речь где бы то ни было и о чем бы то ни было, обязан, если у него есть свободное время, написать ее и вытвердить наизусть - это его долг перед собой и перед слушателями. В годы, когда я еще был способен заучить свою речь, я всегда это делал. Я заботился не о слушателях, а о себе самом. Если вы знаете речь назубок, то при помощи опыта и искусства вы сумеете околдовать своих слушателей; они будут от души восхищаться талантом, с каким вы без всякой предварительной подготовки преподносите им изящные и остроумные мысли; причем так же легко и свободно, как другие, менее одаренные люди высказывают пустые банальности. Я сейчас ни над кем не смеюсь, я просто констатирую факт. Отлично вытверженные речи мэра и губернатора всем очень понравились; это были живые, веселые, содержательные, толковые речи.

Затем началось погребальное шествие. Факельщики один за другим выходили на сцену и унылым, плаксивым, хнычущим голосом читали стихи, сочиненные к случаю. Большой частью они сообщали их по секрету; голос истинного поэта, даже третьеразрядного, редко способен достигнуть слушателя дальше десятого ряда. Очень скоро я понял, как хорошо поступил, приехав в черном костюме. Домашние объяснили мне, что я еду не на празднество, а на панихиду и что одеваться надо, имея в виду именно это, а не показания термометра. Сейчас я сидел на поминках, умирая от духоты, дымясь и потев в своем черном костюме. Зато мой черный костюм как нельзя лучше шел к слезливым стихам; он отлично шел к причитаниям, еще лучше к распаренным от жары унылым физиономиям слушателей; и я был доволен, что так ловко втянулся в общий поток бедствий.

Один за другим вставали поэты, подползали к пюпитру, извлекали из кармана листок и изливали на нас свою скорбь - один, другой, третий, десятый, пока эта торжественная процессия не стала смехотворной донельзя. Ни разу в жизни не приходилось мне слушать такое множество оглашаемых рукописных стихов. Я не стану утверждать, что стихи были вовсе не годными, я готов допустить, что они были сносными, даже хорошими, но ни один стихотворец ниже первого класса вообще не способен читать стихи вслух, и потому их публичные выступления должны рассматриваться как наказание божие для всех, кроме них самих.

Потом встал полковник Хиггинсон, чей ораторский стаж исчисляется многими и многими поколениями слушателей - до неправдоподобия старый, согнутый наподобие скобки, - и прочитал свою речь по написанному слабым, скрипучим голосом, призраком того голоса, который гремел, как набат, когда в былые года он вел полк в кровавую сечу. Речь Гоуэлса была краткой и непринужденно-изящной - изящество мысли и слога неотъемлемо от личности Гоуэлса; он выучил речь наизусть и отлично ее произнес, а потом прочитал стихи по бумаге, - и это он сделал легко, без нажима; потом положил свою рукопись на грудь других и уселся рядом со мной, довольный, что худшее уже позади; лицо его светилось радостью каторжника, отпущенного наконец на свободу.

Тогда я предал забвению свою заранее приготовленную и дурно заученную торжественную тираду и завершил спектакль двенадцатью минутами совсем не идущей к делу беспорядочной и святотатственной отсебятины.

Мемориальное торжество завершилось. Это было томительно, это было невыносимо, черт знает что, за два часа я почти задохнулся. Но даже если бы мне потребовалось дважды претерпеть муки Бостонско-Мэйнского переезда и съесть вдвое больше золы, чем я съел, и тогда я не пожалел бы о том, что поехал.

16 июля 1908 г.

[ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ]

Тридцать пять лет назад в письме, адресованном якобы моей жене, а на самом деле мистеру Гоуэлсу, я забавлялся сам и пытался позабавить своего адресата, предсказывая монархию и описывая воображаемое положение нашей страны после замены республики монархией. Сейчас я снова заинтересовался этим письмом. Не ради его содержания - ибо в

нем нет ничего серьезного, - а лишь потому, что оно освежило мою память и помогло мне вспомнить предыдущее письмо, в котором приближение монархии рассматривалось вполне серьезно.

Я не думал, что монархия возникнет при моей жизни, при жизни моих детей или в какой-либо период времени, наступление которого можно предсказать хотя бы с малейшей долей определенности. Она может возникнуть в ближайшее время, она может запоздать на два дня или на три столетия, но возникнет она непременно.

Есть ли на то какие-либо особые, из ряда вон выходящие причины? Да. Две особые причины и одно условие:

1) Человек всегда стремится иметь какое-то вполне определенное существо, которое он мог бы любить, почитать, перед которым он мог бы благоговеть, которому мог бы повиноваться, - например, бога или короля.

2) Маленькие республики в силу своей бедности и незначительности существовали долго, большие - нет.

3) Условие: огромная власть и богатство порождают коррупцию в деловой жизни и в политике и внушают любимцам публики опасное честолюбие.

Итак, моя мысль заключалась в том, что республики не вечны - со временем они умирают и большей частью остаются в могиле, тогда как свергнутая монархия постепенно снова оказывается на коне. Эту мысль можно выразить другими, более понятными словами: история повторяется: то, что в истории было законом, наверняка законом и останется. Не потому (как в рассматриваемом нами случае), что люди сознательно замышляют уничтожение и устранение своей республики, а потому, что Обстоятельства, которые эти люди, сами того не подозревая, создают, постепенно, к их же собственному смятению и ужасу, вынудят их ее уничтожить. Я полагал, что однажды - в далеком или недалеком будущем - Обстоятельства незаметно для людей сложатся так, что какой-нибудь честолюбивый кумир народа сможет свергнуть республику и на ее развалинах воздвигнуть себе трон и что тогда история готова будет поддержать его.

Но все это было тридцать пять лет назад. Теперь кажется странным, что я мог мечтать о будущей монархии, не подозревая о том, что монархия уже существует в настоящем, а республика стала делом прошлого. Но именно так оно и было. Республика оставалась только по названию, а фактически республики давно уже не было.

В течение пятидесяти лет наша страна является конституционной монархией, причем на троне восседает республиканская партия. Несколько коротких перерывов во время правления мистера Кливленда не в счет - это были досадные случайности, которые не могли серьезно подорвать владычество республиканцев. У нас не просто монархия, у нас наследственная монархия одного царствующего дома. Трон переходит от наследника к наследнику столь же регулярно, неизбежно и беспрепятственно, как любой трон в Европе. Наш монарх более могуществен, деспотичен и самовластен, чем любой европейский монарх; приказы Белого дома не ограничиваются ни законом, ни обычаем, ни конституцией, - он может командовать конгрессом так, как даже русский царь не может командовать Думой. Он может сконцентрировать в своих руках еще большую власть, лишив штаты их законных прав, и устами одного из министров он уже объявил, что намерен это сделать. Он может заполнить Верховный суд судьями, сочувствующими его честолюбивым замыслам, и он уже грозился это сделать - опять-таки устами одного из министров. Множеством хитроумных способов он так надежно укрепил свои позиции и так цепко держится за трон, что, сдастся мне, устроился там навсегда. Посредством системы чрезвычайных тарифов он в интересах нескольких богачей создал множество гигантских корпораций и с помощью ловких аргументов убедил многочисленных и благородных бедняков в том, что эти тарифы введены в их интересах! Далее монархия объявляет себя врагом своего же детища - монополий - и притворяется, будто хочет это детище уничтожить. Но она очень осторожна и предусмотрительна, она ни слова не говорит о том, чтобы поразить монополии в самое их сердце - в систему тарифов. Она благоразумно откладывает эту атаку до "после выборов", то



есть на тысячу лет, - совершенно ясно, что именно это она имеет в виду, но народ этого не знает. Наша монархия не делает ни одного шага назад, она движется только вперед, только к своей конечной, теперь уже вполне гарантированной цели - к полноте власти.

Я не надеялся дожить до того дня, когда она этой цели достигнет, но последний, самый поразительный ее шаг внушил мне новые надежды. Шаг этот заключается в следующем: до сих пор наша монархия формально выбирала свою Тень голосом народа, теперь же эта Тень сама назначила себе преемника!

Мне кажется, это срывает последние лохмотья, которые еще прикрывали тающую восковую фигуру нашей республики. То же самое произошло с Римской республикой.

31 октября 1908 г.

[БАТТЕРС УСКОЛЬЗНУЛ ОТ МЕНЯ]

Да, Баттерс ускользнул от меня. Мне не везет последнее время. Я вспоминаю по этому поводу случай с Уильямом Праймом{428}. Прайм был богомолен до крайности, все его мысли были о боге, он носился со своей религией, как пьяница с заветной бутылкой. Не то чтобы он падал с ног, но вполпьяна был пьян всегда, пошатывался и нес околесицу. В его отношениях с богом была одна занимательная особенность. В те минуты, когда Прайм не молился создателю и не возносил ему громогласных похвал, он обычно клял и бранил трех или четырех из своих супостатов, умоляя при этом господина уберечь их от гибели, ибо, как он объяснял, если он лишится возможности их проклинать, он не будет по-настоящему счастлив. Главным из тех, кого Прайм ненавидел, был Эдвин Стэнтон{428}, прославленный военный министр в правительстве Линкольна.

Когда Стэнтон скончался в 1869 году, Прайм путешествовал - плавал по Нилу со своим зятем, известным хартфордским филологом, Хэммондом Трамбулом. Однажды их парусник стоял на якоре у Луксора. Прайм прохаживался по берегу. Спускалась ласковая южная ночь. В экстазе Прайм прославлял Создателя, дозволившего жалкому червю своему вкусить столь невиданное блаженство в сем брэнном мире. С проходившего мимо судна Трамбулу сообщили горестную весть об утрате, которую понесла наша страна. Он сошел на берег поделиться новостью с Праймом. Подойдя, он остановился и стал выжидать. Прайм давал представление в своем лучшем молитвенном стиле, кося одним глазом на небеса, чтобы проверить, следят ли за ним оттуда. Он трудился над своим панегириком божеству, громоздя хвалу на хвалу и восторг на восторг и, закончив неслыханным взрывом богомольного красноречия, удовлетворенно мотнул головой, как бы говоря: "Так вот, прошу занести в мое личное дело!" Тут Трамбул сообщил ему новость.

Картина сразу переменялась. Воздев кулаки к небесам, Прайм издал злобный, яростный вопль:

- Как, ты отнял его у меня, отнял все, чем я владел, оставил меня нищим? Смиренно и преданно служил я тебе, служил с колыбели, всю жизнь, и вот что я получаю в награду!

Баттерс ускользнул, и я тоже чувствую, что меня обобрали. Целых семь лет он был моим любимым врагом, я так наслаждался ненавистью к нему. И вот его отняли у меня, без малейшего разумного повода, без всякой причины. Кончина тридцати родичей не причинила бы мне столько горя.

1908 г.

[ДИЛЕТАНТЫ В ЛИТЕРАТУРЕ]

Одна из трудностей, которые ждут человека, пишущего автобиографию, это обилие тем, которые просятся на язык. Только вы сядете и приметесь диктовать, на вас набрасывается не меньше двадцати тем; вас захлестывает Ниагара, вы тонете и пускаете пузыри. Нужно ограничить себя одной темой, но как на это решиться, какую из двадцати взять? Однако это необходимо, выхода нет; и вот вы берете одну-единственную из двадцати с горьким сознанием, что девятнадцать других, быть может, на век потеряны, - больше они не вернуться, никогда не придут вам на ум.

Но сейчас тема навязана мне. Навязана же потому, что еще горяча, не успела остыть - прошло всего пятнадцать минут. Речь идет о нескольких рукописях литераторов-дилетантов.

Долгий опыт меня научил, что когда литератор-любитель присылает свои сочинения, требуя, чтобы вы прочитали их трезво и беспристрастно и вынесли свой приговор, он ждет вовсе не этого; он ждет от вас поощрения, он ждет похвалы. Но мой опыт научил меня также, что в огромном большинстве случаев ни поощрение, ни похвала тут немыслимы поскольку, конечно, речь идет о нелицеприятной оценке.

Я прочитал рукописи, прибывшие с утренней почтой, и я в нерешительности. Если бы они пришли от незнакомых людей, я не стал бы даже читать их и отослал непрочитанными, - как поступаю обычно, - с объяснением, что я не в силах судить о литературных произведениях, за вычетом тех, которые пишу сам. Но сегодняшний урожай - сочинения людей, с которыми я дружески связан, и это меня обязывает. И я прочитал их. Как обычно, это не литература: там попадаетея мясо, но оно не проварено, разве только наполовину. Повторяю, мясо там есть и если бы оно досталось настоящему повару - думаю, что получилось бы съедобное блюдо. Одна из присланных рукописей почти что литература, но фатально всплывающая любительщина губит написанное. Автор просит меня, если вещь мне понравится, рекомендовать ее к напечатанию в какой-нибудь литературный журнал.

Эта наивная храбрость вызывает у меня восхищение. Подобной неустрашимости, наверно, не увидишь ни на каком другом поприще, кроме литературы. На поле сражения можно встретить нечто похожее, но лишь в отдаленной степени. Наверно, бывало не раз, что необстрелянный рекрут бодро шел на отчаянный штурм, шагая навстречу пулям. Но здесь сравнение кончается. Кто слышал, чтобы необстрелянный рекрут; даже самый лихой из рекрутов, требовал, чтобы его назначили на место бригадного генерала. Между тем автор-любитель выступает как раз с таким требованием. Не имея ни малейшего опыта литературной работы, он предлагает свою стряпню в один журнал за другим, - иными словами, претендует на место литературного генерала, который заслужил свое звание и должность годами и даже десятилетиями тяжелой солдатской службы.

Я глубоко убежден, что на свете нет ни единой профессии, в которой был бы возможен подобный случай. Если вы никогда не обучались тачать сапоги, вы не придете в сапожную мастерскую с предложением своих услуг. Даже самый напористый из претендентов в писатели не будет настолько глуп, чтобы так поступить. Он поймет, что это смешно, что это абсурдно, он столкнется с простейшей истиной, что для того, чтобы стать приличным жестянщиком или каменщиком, кладчиком кирпичей, наборщиком, ветеринаром, повитухой, трамвайным кондуктором, - словом, чтобы преуспеть в любой области или профессии, дающей славу и хлеб, нужно знать свое ремесло. Почему же, как только речь идет о литературе, здравый смысл у людей испаряется и все обретают уверенность, что для этой специальности не нужно ни обучения, ни опыта - только уверенность в своем даровании и храбрость льва.

Чтобы представить полностью всю странность и дикость подобных намерений, приведем наглядный пример. Допустим, что наш претендент на славу и деньги подвизается в какой-нибудь смежной профессии. Скажем, он является в оперу, чтобы стать вторым тенором. Дирекция договаривается с ним, зачисляет на штатное место (это чисто воображаемый случай, я не утверждаю, что такой случай был). Что происходит дальше?

В антракте директор вызывает второго тенора для объяснения:

- Вы учились когда-нибудь петь?
- Немножко... так... самоучкой... В свободное время... Знаете, от нечего делать.
- Вы хотите сказать, что вообще не учились пению? Систематически, под руководством профессора?
- Нет, никогда.
- Как же вы пришли к мысли, что сможете петь в "Лоэнгрине"?
- Почему-то мне показалось... Знаете, решил попытаться... Знакомые все говорят, что у меня сильный голос.
- Да, у вас сильный голос, и если вы пять-шесть лет поработаете с опытным педагогом, из вас может что-нибудь получиться. Пока что, поверьте мне, вам нельзя выступать в опере.

Природа даровала вам голос, осанку, детскую веру в себя и изумительную, я бы сказал, сверхчеловеческую отвагу. Все это ценные качества, и они говорят в вашу пользу. Но для успеха в нашей профессии требуются еще и другие ценные качества, которых у вас пока нет. И если вы не готовы к тому, чтобы тяжким трудом их добыть, забудьте об опере. Попробуйте счастья в другой профессии, где меньше нужны подготовка и опыт. Я лично советую вам поступить в больницу хирургом.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

ИЗ "АВТОБИОГРАФИИ" (Autobiography)

Стр. 8. Джексон Эндрю (1767-1845) - президент США в 1829-1837 гг., лидер демократической партии.

Вашингтон Джордж (1732-1799) - первый президент США (1789-1797). Лидер партии федералистов. Твен имеет в виду предвыборную борьбу между демократами, сторонниками Джексона и национальными республиканцами, которые продолжали традиции федералистов, партии Вашингтона.

Стр. 9. "Дальний Запад" - так назывались примыкавшие к Тихоокеанскому побережью западные области США.

Стр. 13. Четвертое июля - национальный американский праздник: 4 июля 1776 г. была провозглашена независимость английских колоний в Северной Америке.

Стр. 14. Вильгельм Завоеватель (1027-1087) - король Англии. Был нормандским герцогом; в 1066 г. высадился с войском на Британских островах и, одержав победу над англосаксами в битве при Гастингсе, овладел престолом.

Субституция - назначение в завещании второго наследника на случай, если первый не сможет вступить в права наследства.

Карл I (1600-1649) - английский король (1625-1649). Был свергнут с престола и казнен по приговору революционного трибунала в 1649 г.

Стр. 15. ...занился воспитанием будущих "американских претендентов". Намек на героя романа Твена "Американский претендент".

Стр. 17. Фэрфакс кромвелевских времен. - Фэрфакс Томас (1612-1671), генерал армии Кромвеля.

Берк Джон (1787-1848) - английский историк, специалист в области генеалогии. Его "Книга пэров" была весьма популярна в XIX в. и выдержала несколько изданий.

Стр. 18. Дрейк Фрэнсис (1540-1596) - английский мореплаватель, пират; совершил ряд плаваний к берегам Африки и Америки, содействовал усилению колониального могущества Англии.

Хокинс Джон (1532-1595) - английский адмирал, пират, работороговец.

Яков I (1566-1625) - английский король (1603-1625) из династии Стюартов.

Стр. 19. Джеффрис Джордж (1648-1689) - судья, получил известность своими кровавыми расправами над противниками режима Стюартов.

Яков II (1633-1701) - английский король (1685-1688) из династии Стюартов, сын казненного Карла I.

Стр. 21. ...после войны. - Речь идет о Гражданской войне между Севером и Югом (1861-1865). По окончании Гражданской войны республиканцы имели в основном опору на промышленном Севере; демократы - на бывшем рабовладельческом Юге.

Стр. 24. Реймонд Джон (1836-1887) - американский актер, с большим успехом исполнял роль полковника Малберри Селлера в инсценировке романа Твена "Позолоченный век".

Майо Френк (1839-1896) - американский актер, выступал, в частности, в инсценировке повести Твена "Простофиля Вильсон".

Уорнер Чарльз Дадли (1829-1900) - американский писатель, соавтор Твена по роману "Позолоченный век".

Стр. 25. Кейбл Джордж Вашингтон (1844-1925) - американский писатель, автор произведений из жизни южных штатов, по преимуществу креолов Луизианы; яркий представитель школы местного колорита.

Стр. 28. Случай с Бенвенуто Челлини и саламандрой... - В своем знаменитом "Жизнеописании" итальянский золотых дел мастер и скульптор Бенвенуто Челлини (1500-1571) вспоминает о том, как пятилетним ребенком он увидел в печном пламени маленького зверька наподобие ящерицы. Отец сказал ему, что это саламандра.

Келлер Эллиен (1880-1968) - американская писательница и общественный деятель, поборник социальных реформ. В возрасте двух лет ослепла и оглохла. В дальнейшем научилась говорить, читать и стала образованной женщиной.

Стр. 29. Линия Мэзон - Диксон. - Так накануне Гражданской войны называлась граница между рабовладельческими и нерабовладельческими штатами к западу от Огайо.

Стр. 39. Дядюшка Римус. - Старый негр-рассказчик в книге американского писателя Джоэла Ч. Гарриса (1840-1908) "Сказки дядюшки Римуса".

Стр. 51. Стоддарт Чарльз (1843-1909) - американский поэт и путешественник. Был некоторое время секретарем Марка Твена.

Стр. 52. Процесс Тичборна. - В 1873 году в Англии много шума наделало судебное дело некоего Артура Ортона, который предъявил иск о признании его сыном богача Тичборна и наследником большого состояния. Процесс длился 103 дня и закончился тем, что Ортон был осужден за лжесвидетельство.

Стр. 53. "Ежегодник" Тома Гуда - сатирический альманах, основанный английским писателем Томасом Гудом (1779-1845); после его смерти издавался его сыном.

Стр. 58. Несби Петролеум В. - псевдоним американского писателя-юмориста Дэвида Росса Локка (1833-1888). В годы Гражданской войны он сатирически осмеивал сторонников мятежного Юга. Демократическая партия в основном была партией рабовладельцев. "Медноголовыми" называли республиканцев, содействовавших южным мятежникам-рабовладельцам.

Кернер Теодор (1791-1813) - немецкий поэт-романтик и драматург, призывавший немцев к освободительной борьбе против Наполеона I.

Петефи Шандор (1823-1849) - великий венгерский народный поэт. Во время революции 1848-1849 годов вступил в армию восставших и погиб смертью героя в битве под Шегешваром.

Проклят будь Ханаан. - По библейской легенде, Ной проклял своего внука Ханаана, и потомки Ханаана были обращены в рабство. Лекция Нэсби была направлена против рабства негров в США.

Стр. 60. Редпат Джеймс (1833-1891) - журналист, организатор нескольких лекционных турне Марка Твена.

Стр. 61. Биллингс Джош - псевдоним американского юмориста Генри У. Шоу (1818-1885).

Стр. 62. Килер Ральф (1840-1873) - литератор, друг Твена.

Брет Гарт Фрэнсис (1836-1902) - видный американский писатель, приобрел широкую известность своими произведениями из жизни калифорнийских золотоискателей.

Бирс Амброс (1842-1914) - американский писатель, новеллист.

Мэлфорд Прентис (1834-1891) - американский писатель-юморист.

Стр. 63. Гоуэлс Уильям Дин (1837-1920) - известный американский писатель, близкий друг Марка Твена.

Олдрич Томас Бейли (1836-1907) - американский писатель.

О'Райли Джон Бойл (1844-1890) - американский писатель и журналист.

Филдс Джеймс (1817-1881) - американский писатель, юморист и публицист.

Эмерсон Ральф Уолдо (1803-1882) - американский критик и поэт, видный философ-идеалист.

Уиттнер Джон Гринлиф (1807-1892) - американский поэт, получил широкую известность в годы аболиционистского движения своими произведениями, направленными против рабства негров.

Холмс Оливер (1809-1894) - американский поэт и критик-эссеист.

Лоуэлл Джеймс Р. (1819-1891) - американский писатель, поэт и критик.

"Атлантик монсли" - один из самых влиятельных американских литературных журналов, основан в 1857 г.

Стр. 64. Бичер Генри Уорд (1813-1887) - священник, автор сочинений на морально-этические темы, брат Гарриет Бичер-Стоу.

Дикинсон Анна Элизабет (1842-1932) - американская общественная деятельница, приобрела известность своими речами против рабства и в защиту равноправия женщин.

Гоф Джон Б. (1817-1886) - один из популярных в Америке той поры лекторов, выступавших на тему о вреде алкоголя.

Грили Хорэс (1811-1872) - американский радикальный политический деятель и журналист, был редактором и основателем газеты "Нью-Йорк трибюн".

Филипс Уэндел (1811-1884) - прогрессивный политический деятель США, один из руководителей аболиционистского движения.

Агассиз Луис (1807-1873) - американский ученый естествоиспытатель, швейцарец по происхождению, автор исследований в различных областях зоологии и геологии.

Стр. 65. Логан Олив (1839-1909) - американская актриса, лектор и писательница.

Стр. 69. Браун Джон (1800-1859; иногда назывался Браун Осэватом, по названию местечка в штате Канзас, где находилась его штаб-квартира) известный американский аболиционист, борец против рабства. В 1859 г. с небольшой группой сторонников поднял восстание против рабовладельцев, был схвачен и повешен.

Стр. 72. Гладстон Уильям Юарт (1809-1898) - английский государственный деятель, лидер либеральной партии.

Стр. 78. Хэй Джон (1838-1905) - американский государственный деятель, а также литератор, автор десяти томной биографии Линкольна; был дипломатом, занимал пост государственного секретаря. Не разделяя политических взглядов Хэя, Марк Твен поддерживал с ним личные дружеские отношения.

Стр. 84. Мэтьюз Брандер (1852-1929) - американский писатель, драматург и театральный критик.

Гилдер Ричард (1844-1909) - журналист, поэт и издатель, редактор журнала "Сенчюри".

Миллет Фрэнсис (1846-1912) - американский художник и журналист, был военным корреспондентом во время испано-американской войны 1898 года.

Стр. 85. Сент-Годенс Огастес (1848-1907) - американский скульптор.

Стр. 87. Мак-Карди Ричард (1835-1916) - американский капиталист. Был председателем страховой компании, откуда должен был уйти в отставку в 1906 г., после того как в его деятельности были вскрыты злоупотребления и мошенничество.

Гайд Генри (1834-1899) - основатель одного из обществ по страхованию жизни. После смерти Гаида члены его семьи завладели значительной частью вкладов компании.

Комиссия Панамского канала была создана в 1904 г. для строительства Панамского канала; во главе ее стоял американский генерал Уитфилд Дэвис. Постройка сопровождалась прогретившими на весь мир злоупотреблениями и хищениями.

...угрозу войны между Францией и Германией из-за марокканского вопроса. - Имеется в виду так называемый первый марокканский кризис 1905 г., возникший из-за столкновения интересов Франции и Германии в Северной Африке, что едва не привело к войне. Кризис был урегулирован на Альхесирасской конференции 1906 г.

Фанстон Фредерик (1865-1917) - американский генерал, жестоко подавивший народное движение на Филиппинах.

Агинальдо Эмилио - один из лидеров национально-освободительного движения на Филиппинах, вероломно захваченный в плен американцами.

Стр. 88. Рузвельт Теодор (1858-1919) - президент США (1901-1909), республиканец. Проводил активную империалистическую внешнюю политику "большой дубинки" по отношению к странам Латинской Америки, а также Дальнего Востока. Во внутренней политике выступал с демагогическими "антитрестовскими" лозунгами, фактически отстаивая

интересы американского монополистического капитала.

Стр. 92. Гудмен Джозеф (1838-1917) - редактор Невадской газеты "Территориел энтерпрайз", в которой Твен сотрудничал в молодые годы. В дальнейшем Гудмен занимался археологией.

Стр. 93. Дэггет Роллин (1831-1901) - журналист, коллега Твена по газете "Территориел энтерпрайз".

Уокер Уильям (1824-1860) - американский авантюрист, организовал нападения на латиноамериканские республики Никарагуа и Гондурас.

Стив - один из трех братьев Гиллисов, друзей Твена в Неваде; в эту пору наборщик.

Стр. 94. Хауленд Роберт - старатель, вместе с которым Твен принимал участие в разработке серебряного рудника в Эсмеральде (Невада).

Стр. 100. ...господа Фортю и Гамбетта подрались на дуэли... - речь идет о ссоре, происшедшей в палате депутатов между французскими государственными деятелями - Л.Гамбеттой и М.Фортю, которая закончилась показательной дуэлью. Марк Твен рассказывает об этом в своей книге "Пешком по Европе".

Твичел Джозеф (1838-1918) - священник в Гартфорде, близкий друг Марка Твена.

Стр. 103. Миссис Гранди - олицетворение буржуазной респектабельности и ходячей морали. Часто упоминаемый, но не участвующий в действии персонаж комедии Томаса Мортонна (1764-1838) "Бог в помощь". Роль миссис Гранди сходна с ролью княгини Марьи Алексеевны в "Горе от ума" Грибоедова.

Стр. 104. Сид - герой испанского народно-героического эпоса "Поэма о моем Сиде".

Великое Сердце - аллегорический персонаж в книге английского писателя Д.Бэньяна (1628-1688) "Путь паломника", олицетворяющий верность и готовность прийти на помощь ближнему.

Сэр Галахад - один из героев рыцарского романа английского писателя Т.Малори (XV в.) "Смерть Артура".

Баяр (Байяр) Пьер де Террайль (1473-1524) - участник итальянских походов французских королей Карла VIII, Людовика XII, Франциска I, прозванный "рыцарем без страха и упрека".

Трамбул Джеймс Хэммонд (1821-1897) - друг Твена, американский филолог, изучал индейские языки Северной Америки.

Стр. 106. Блейн Джеймс (1830-1893) - американский политический деятель, запятнанный коррупцией. Был выдвинут на пост президента от республиканской партии на выборах 1884 г. и побежден демократом Кливлендом.

Кливленд Стивен Гровер (1837-1908) - президент США в 1885-1889 и 1893-1897 гг., демократ. Во время выборов 1884 г. умеренные республиканцы, отказавшись от поддержки Блейна и отдав Кливленду голоса, обеспечили его избрание.

Стр. 107. Уитмор Ф. Дж. - секретарь и поверенный в делах Твена.

Стр. 109. Холи Джозеф (1826-1905) - генерал, знакомый Твена по Гартфорду, редактор газеты "Карент". Вел активную политическую деятельность как сторонник республиканской партии.

Стр. 110. "Смоляное чучелко" - слепленная из смолы фигурка из "Сказок дядюшки Римуса" Дж.Ч.Гарриса.

Стр. 120. Колфакс Шюйлер (1823-1885) - американский государственный деятель, был вице-президентом США в 1868-1872 гг.

Стр. 121. Веддер Элиу (1836-1923) - американский художник. Известны его иллюстрации к переводам Э.Фицджеральда из Омара Хайяма.

Стр. 129. Магвампы ("магвамп" на языке алгонкианских индейцев означает "вождь") - прозвище группы "независимых республиканцев", отколовшихся от своей партии во время президентских выборов 1884 года и отказавшихся поддержать республиканского кандидата Блейна.

Стр. 149. Готорн Натанниель (1804-1864) - американский писатель-романтик.

Стр. 153. Грэй Дэвид (1836-1888) - американский журналист и поэт, редактор газеты "Курьер" в Буффало.

Стр. 155. Грант Уллис Симпсон (1822-1885) - командующий армией северян в Гражданской войне и президент США с 1869 по 1877 г.

Гулд Джей (1836-1892) - американский миллионер, наживший свое состояние спекуляцией, один из самых темных деятелей американского финансового мира.

Стр. 160. ...когда в мире объявилось одновременно два римских папы. После смерти папы Григория XI в 1378 г. в Риме на папский престол был избран Урбан VI, а в Авиньоне - Климентий VII. Раскол в католической церкви продолжался сорок лет.

Стр. 169. Вуд Леонард (1860-1927) - американский генерал. После испано-американской войны 1898 г. был назначен губернатором на Кубу, затем подавлял освободительное движение на Филиппинах.

Стр. 170. ...восемь лет проявляют наши войска на Филиппинах... - В 1896 г. на Филиппинах (бывшая испанская колония) вспыхнуло народно-освободительное движение. Во время испано-американской войны 1898 г. США вначале оказывали повстанцам "помощь", а после подписания мирного договора с Испанией высадили на Филиппинах в феврале 1899 г. свои войска. Началась длительная и кровопролитная война против Филиппинской республики.

Стр. 171. Кубинская война - имеется в виду испано-американская война 1898 г.

Стр. 173. "Золотая заповедь" - "Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" (еванг.).

Стр. 175. Гиллет Уильям (1855-1937) - американский актер и драматург. "Слишком много Джонсона" - одна из его популярных пьес.

Шалтай-Болтай - персонаж из детского английского стихотворения (русск. перевод С.Я.Маршака).

...в битве при Сан-Хуан-Хилл - этом двойнике Ватерлоо... - В этой битве во время испано-американской войны 1898 г. испанцы потерпели тяжелое поражение. Т.Рузвельт занимал тогда пост помощника морского министра.

Стр. 176. Харви Джордж (1864-1928) - американский журналист, был редактором крупного литературного журнала "Норс америкен ревью", издававшегося в Бостоне, а затем в Нью-Йорке.

Стр. 178. Мак-Кинли Уильям (1843-1901) - президент США (1897-1901), проводил агрессивную империалистическую политику.

Стр. 179. Рокфеллеры - семья крупнейших финансовых магнатов США. Ее основатель - Джон Дэвис Рокфеллер (1839-1937) - создал трест "Стандард Ойл", который монополизировал нефтяную промышленность в стране.

Стр. 181. Книга Бытия (библ.) - часть Пятикнижия.

Стр. 185. Браун Джон (1810-1882) - врач и литератор, с которым семья Твена познакомилась во время путешествия по Англии и Шотландии.

Стр. 188. Бичер-Стоу Гарриет (1811-1896) - американская писательница, автор знаменитого романа "Хижина дяди Тома".

Стр. 197. Бейтс Эдвард (1793-1869) - американский юрист, был министром юстиции в кабинете Линкольна.

Линкольн Авраам (1809-1865) - выдающийся американский государственный деятель, президент США в период Гражданской войны (1861-1865), противник рабства. В 1863 г. обнародовал прокламацию об отмене рабства негров.

...сегодня виг, через неделю демократ... - Виги и демократы были соперничающими буржуазными партиями в политической жизни США в первой половине XIX в. Они весьма часто меняли свою политическую ориентацию. К началу 50-х гг. партия вигов распалась, а в 1854 г. возникла республиканская партия.

Стр. 211. Уэбстер Ной (1758-1843) - выдающийся американский филолог и лексикограф, составитель знаменитого толкового словаря.

Чайковский Н.В. (1850-1920) - русский политический деятель, народоволец, позже эсер. В 1874 г. эмигрировал в Америку. После 1917 г. занимал антисоветскую позицию.

Стр. 212. ...президент решил выступить перед нациями земного шара в качестве новоявленного ангела мира... - Президент США Т.Рузвельт, преследуя империалистические цели, выступал посредником во время русско-японских переговоров, завершившихся мирным договором в Портсмуте.

Стр. 214. Чоут Джозеф (1832-1917) - американский дипломат и политический деятель.

Стр. 215. ...переносит его на острое Блекуэлл и оставляет там среди воров и проституток. - На острове Блекуэлл в Нью-Йорке находятся многочисленные тюрьмы.

Хаттон Лоуренс (1843-1904) - американский писатель.

Роджерс Генри (1840-1909) - миллионер, один из магнатов "Стандард Ойл". Марк Твен познакомился с ним в 90-х гг. и пользовался его помощью, когда оказался в серьезных материальных затруднениях.

Стр. 226. Терри Эллен (1847-1928) - выдающаяся английская актриса, с успехом выступала в шекспировском репертуаре.

"Ее разнообразью нет конца" - цитата из драмы Шекспира "Антоний и Клеопатра" (акт II, сцена вторая).

Стр. 227. Ирвинг Генри (1838-1905) - известный английский актер, создавший яркие образы Гамлета, Яго, Шейлока и др. Часто выступал вместе с Э.Терри.

Стр. 239. "Питер Пэн" - пьеса английского драматурга Дж.М.Барри (1860-1937).

Стр. 244. Уэбб Чарльз Генри (1834-1905) - издатель газеты "Калифорниен", редактором которой был Брет Гарт. С помощью Уэбба Твен напечатал в "Нью-Йорк сэттердей пресс" рассказ "Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса", принесший ему широкую известность.

Уорд Артимиес (1834-1867) - американский писатель-юморист.

Стр. 246. ...отплыл в путешествие на пароходе "Квакер-Сити". - В 1867 г. Марк Твен в качестве корреспондента газеты "Альта Калифорния" совершил на пароходе "Квакер-Сити" путешествие по странам Средиземного моря, впечатления от которого послужили основой для его книги "Простаки за границей".

Блисс Элиша (1822-1880) - один из владельцев фирмы "Америкен паблишинг компани" в Хартфорде, издавшей ряд произведений Твена.

Ричардсон А.Д. - американский журналист.

Стр. 252. Осгуд Джеймс Р. (1826-1892) - один из издателей и организаторов лекций Марка Твена, вместе с которым писатель совершил несколько деловых и лекционных поездок.

Стр. 255. Уэбстер Чарльз Л. (1851-1891) - муж племянницы Твена, акционер и управляющий издательской фирмы Твена (она официально называлась "Чарльз Уэбстер энд компани").

Стр. 259. Белл Грэхем (1847-1922) - американский изобретатель телефона.

Стр. 263. Фултон Роберт (1765-1815) - американский изобретатель, создатель первого парохода.

Кришна - в индийской мифологии одно из воплощений божества Вишну.

...миссис Грант получила за книгу своего мужа около полумиллиона долларов. - Имеются в виду изданные фирмой Твена мемуары генерала Гранта.

Стр. 264. Джефферсон Джозеф (1829-1905) - американский актер.

Стр. 265. Лазарь - житель Вифании, воскрешенный Христом (еванг. легенда).

Лаффен Уильям (1848-1909) - нью-йоркский художник, журналист и театральный критик.

Стр. 267. Стедмен Эдмунд Кларенс (1833-1908) - американский поэт и критик.

Стр. 272. ...сенсационное разоблачение Эптоном Синклером самого титанического и самого убийственного из всех - мошенничества Мясного треста. - Эптон Синклер - американский писатель. У Твена идет речь о его известном романе "Джунгли" (1906), в



котором была показана чудовищная эксплуатация трудящихся и преступная антисанитария на чикагских бойнях, контролируемых мясными монополиями.

Стр. 275. ...в "Магналии" ("Magnalia Christi Americana") (лат.) "Чудеса Христовы в Америке", книга американского богослова Коттона Мэзера (1663-1728).

Стр. 278. ...долгожданной кометой Галлея... - Галлей Эдмунд (1656-1742) - английский астроном и геофизик. В 1682 г. вычислил элементы орбиты большой кометы, носящей его имя, и доказал периодичность ее возвращения к Солнцу.

Стр. 279. "Оверленд монсли" - калифорнийский литературный журнал. В 1868-1870 гг. его редактировал Брет Гарт.

Стр. 280. Дунека Фредерик (ум. 1919) - американский журналист, был редактором нью-йоркской газеты "Уорлд".

Эйд Джордж (1866-1944) - американский писатель-сатирик и публицист, автор популярной в начале 900-х годов книги "Басни, написанные на просторечии".

Дули (псевдоним Дана Финли Питера; 1867-1936) - американский журналист и юморист, автор книг: "Мистер Дули в дни войны и в дни мира", "Философия мистера Дули", "Мистер Дули в сердцах своих соотечественников".

Стр. 287. Мак-Клур Сэмюел (1857-1949) - американский издатель. В 1884 году основал газетный синдикат, а с 1893 г. стал издавать "Мак-Клур мэгезин". Твен ошибочно называет Мак-Клюра Робертом.

Стр. 295. Райс Билли (1808-1860) - популярный американский актер и певец.

Стр. 308. Я помню, как бесился и ругался генерал Шерман, когда оркестр играл "Поход через Джорджию". - Уильям Т. Шерман (1820-1891) - генерал армии северян, участник Гражданской войны 1861-1865 гг. Осенью 1864 г. войска Шермана совершили через штаты Алабаму и Джорджия поход к Атлантическому океану, разрезав, таким образом, на две части мятежную Конфедерацию. Марш "Поход через Джорджию" постоянно исполнялся в армии Шермана.

Стр. 310. Карлейль Томас (1795-1881) - английский философ, историк, публицист.

Рут Элиу (1845-1937) - политический деятель США, государственный секретарь (1905-1909), проводил активную экспансионистскую политику.

Стр. 313. ...корабельная пошлина... - налог, введенный еще в XI в. в Англии для городов и графств, с целью собрать средства на содержание флота, охраняющего побережье. Был отменен в XVII в. Возобновление сбора корабельной пошлины Карлом I послужило одним из поводов для революционного выступления английской буржуазии.

Стр. 322. Туид Уильям М. (1823-1878) - один из лидеров демократической партии в Нью-Йорке, виновник огромных хищений в нью-йоркских муниципальных учреждениях.

Стр. 324. "Звездное знамя" - патриотическая песня, созданная в годы англо-американской войны 1812-1814 гг., впоследствии стала государственным гимном США.

"Боже, храни короля" - государственный гимн Англии.

Стр. 325. Палладиум - защита, оплот (от имени богини Афины Паллады, дарующей, согласно греческой мифологии, победу и защиту от врагов).

...десятилетняя работа Кромвеля... - Имеется в виду период с 1649 (время провозглашения республики) по 1658 г. - год смерти О.Кромвеля, вождя английской буржуазной революции.

Карл II (1630-1685) - король из династии Стюартов (1660-1685), восстановивший в 1660 г. королевскую власть в Англии.

Стр. 333. Тэйлор Байярд (1825-1878). - американский поэт, очеркист, переводчик. Находился некоторое время на дипломатической работе в России и Германии.

Стр. 342. Гейл Эдвард Эверетт (1822-1909) - американский писатель. Автор известного рассказа "Человек без родины".

Стр. 344. Мак-Куллох Джон (1837-1885) - американский актер-трагик.

Стр. 350. Уайт Стенфорд (1853-1906) - известный американский архитектор; был убит

неким Гарри Тоу.

Стр. 351. Фаулер Орсон (1809-1887) - американский френолог.

Уэллс Сэмюел (1820-1875) - американский френолог.

Стр. 354. Стэд Уильям (1849-1912) - английский журналист.

Стр. 357. Пейн Альберт Бигло (1861-1937) - секретарь и близкий друг Твена в последние годы его жизни.

Стр. 358. Шеридан Филипп (1831-1888) - один из видных генералов армии северян.

Стр. 363. Корелли Мария (1854-1924) - английская писательница, автор малозначительных романов, популярных в свое время у мещанского читателя.

Стр. 367. Стэнли Генри (1841-1904) - известный английский путешественник.

...убежденная спиритка... - Спириты верят в возможность общения с душами умерших. Это шарлатанское учение особенно распространилось в Европе и Америке с конца XIX в.

Стр. 369. Святой Грааль - чаша, в которой, согласно средневековой легенде, хранились капли крови распятого Христа.

Крукс Уильям (1832-1919) - английский ученый-физик.

Стр. 371. Никодим - тайный ученик Христа (еванг.).

...во время короля Артура... - Артур - легендарный король бриттов (V-VI вв.), один из центральных героев средневековой рыцарской литературы.

Сэр Борс - один из рыцарей при дворе короля Артура; персонаж романа Т.Малори "Смерть Артура".

Сэр Ланселот Озерный - самый прославленный рыцарь короля Артура, герой многочисленных рыцарских романов.

Стр. 373. Паркер Элтон (1852-1926) - американский юрист и государственный деятель, кандидат от демократической партии на президентских выборах 1904 г.

Гарриман Эдвард (1848-1909) - американский финансист и железнодорожный магнат.

Стр. 375. Тафт Уильям (1857-1930) - преемник Т.Рузвельта на посту президента США (1909-1913), в 1907 г. был отправлен Т.Рузвельтом со специальной миссией на Филиппины и в Японию.

Стр. 383. Стирфорт - персонаж из романа Ч.Диккенса "Дэвид Копперфилд".

Стр. 384. Понд Джеймс (1838-1903) - организатор кругосветной поездки Твена в 1895-1896 гг. и его лекционного турне в 1899 г.

Стр. 393. Маркони Гульельмо (1874-1937) - итальянский изобретатель, радиотехник. Добился значительных результатов в практической реализации радиотелеграфии. В 1901 г. осуществилась радиосвязь через Атлантический океан.

...с помощью линейных кораблей провоцировать Японию на войну. - После русско-японской войны 1904-1905 гг. обострилось японо-американское соперничество на Тихом океане.

Максим Хайрем (1840-1916) - английский изобретатель в области вооружения, создатель известной системы пулемета.

Морзе Сэмюел (1791-1872) - американский изобретатель, создал электромагнитный телеграфный аппарат и разработал к нему код, известный под названием "азбука Морзе".

Эдисон Томас Альва (1847-1931) - выдающийся американский изобретатель.

Стр. 394. Это было в год великой кометы... - Имеется в виду комета 1858 г., относящаяся к разряду больших комет.

Стр. 396. Геркулес - герой греческой мифологии. О нем создано множество легенд; согласно одной из них, Геркулес должен был совершить двенадцать подвигов, после чего Зевс даровал ему бессмертие.

Стр. 400. Христианская Ассоциация Молодых Людей - консервативная организация, созданная в 1851 г. в США; финансируется крупнейшей монополией Дюпона, связана с протестантской церковью.

Карнеги Эндрью (1835-1919) - американский миллионер, один из стальных королей; в рекламных целях жертвовал большие суммы филантропическим учреждениям.

Стр. 402. Он - новоявленный "старый моряк"... - Имеется в виду известное "Сказание о старом моряке" английского поэта-романтика С.Кольриджа (1772-1834), герой которого, матрос, рассказывает случайному встречному горестную историю своих странствий.

Шурц Карл (1829-1906) - американский государственный деятель. Выходец из Германии, участник революции 1848 г. Был сторонником Линкольна во время Гражданской войны, затем перешел на консервативные позиции. Позднее являлся одним из деятелей Лиги антиимпериалистов.

Стр. 410. Король Эдуард - английский король Эдуард VII (1901-1910).

...Рузвельт... получил Нобелевскую премию... - Рекламируя свое миротворчество (за что ему и была присуждена Нобелевская премия мира), Рузвельт на самом деле проводил агрессивную внешнюю политику в интересах американского империализма.

Стр. 411. Барнум Финеас (1810-1891) - известный американский импресарио и содержатель цирка.

Стр. 428. Прайм Уильям (1825-1905) - американский журналист и историк.

Стэнтон Эдвин (1814-1869) - американский государственный деятель и юрист, был военным министром при президенте Линкольне.

Избранные главы из "Автобиографии" расположены в соответствии с волей Твена в порядке авторских диктовок. Заголовки по большей части не принадлежат Твену и заключены в квадратные скобки.

Б.Гиленсон

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)